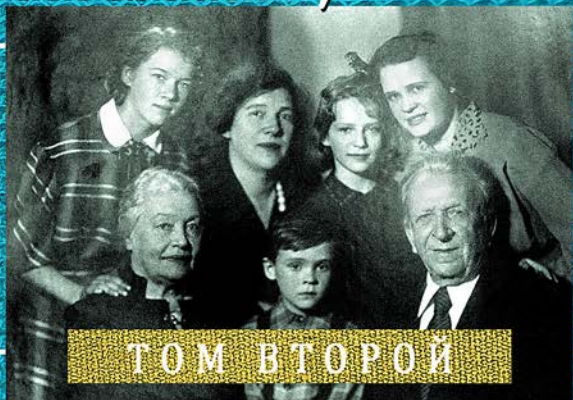


Марина
Джонтова



МОЁ ВРЕМЯ
в моей восприятии



ТОМ ВТОРОЙ

«Искусство вспоминать –
борьба с небытием,
с ужасом бесследности»

Марсель Пруст

*Посвящаю моим любимым дочкам –
Ксении Николаевне Маршак
и Юлии Николаевне Аэровой,
вдохновившим меня на этот труд*

Москва 1990-2000



*Марина
Жукова*

МОЁ ВРЕМЯ
В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ
мемуары в двух томах

ТОМ ВТОРОЙ

Киров (Вятка)
Аверс
2020

16+

Яхонтова, М. А.

Я90 Моё время в моём восприятии. Мемуары в 2 томах. Том 2 / М. А. Яхонтова – Киров (Вятка) : Аверс, 2020. – 514 с. : ил., фот., портр. ; 20 см. – 50 экз. – Текст (визуальный) : непосредственный.

В этой книге история семьи, составленная по архивам и личным воспоминаниям Мариной Александровной Яхонтовой. Это жизнеописание нескольких поколений наших предков, переплетённых с историей нашей страны. Это не просто текст, это не просто история... Прежде всего, это живое повествование, написанное талантливым автором.

Марины Александровны не стало в 2001 году. Книга сделана в память о ней для нас и для будущих поколений.

ББК 84(2Рос=Рус)

© Яхонтова М. А. и наследники, текст, 1990

© Ворончихин С. А., оформление, 2020

Оглавление

Часть VII

- | | |
|---------------------------------|----|
| 31. Саратов. Первые впечатления | 7 |
| 32. Проба сил | 26 |
| 33. Поток защит и райские кущи | 41 |
| 34. В Москве без меня | 74 |
| 35. Мост «Москва – Саратов» | 84 |
| 36. На пороге событий | 95 |

Часть VIII

- | | |
|---|-----|
| 37. Жду Ксаночку.
Начало Великой Отечественной | 128 |
| 38. Дочки-матери | 158 |
| 39. Невосполнимые потери | 173 |
| 40. Обеды в избранном обществе
и доблестный труд | 202 |
| 41. Партийное руководство
и домашний интерьер | 219 |

Часть IX

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 42. Зарево над Волгой | 237 |
| 43. Первые салюты | 252 |
| 44. Возвращение перелётных птиц | 261 |

Часть X	
45. Конец войны и радостные надежды	306
46. «Как хороши, как свежи были розы»	322
47. Прощай, Саратов!	341
Часть XI	
48. Юночка	352
49. Институт иностранных языков	363
50. В домашней обстановке	376
51. Середина века. Строгие моралисты и гневные патриоты	391
52. Развенчанный кумир	427
Часть XII	
53. Слуга двух господ	443
54. «Всемирка»	457
55. Лирическая исповедь	490
Эпилог	511

Ч А С Т Ь VII

31 © САРАТОВ. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Саратове, куда мы с Колей направились для того, чтобы свить там своё собственное гнездо, ни он, ни я никогда раньше не бывали. Но заранее с ним познакомились по специально приобретённому справочнику.

Сведения, которые мы оттуда почерпнули, были скудны и суховаты, но обнадеживающи. Нам стало известно, что судьба направила нас в один из крупнейших областных городов СССР, где имеется более десятка вузов разных специальностей, включая Консерваторию и Университет; что нас там ждут две солидные научные библиотеки: одна в так называемом «Университетском городке», другая – при художественном музее, где помимо книг и альбомов по изобразительному искусству, богато представлена гуманитарная научная литература и в широком плане, – в том числе и по литературоведению. Есть три театра: драматический, оперно-балетный и ТЮЗ – Театр юного зрителя. Есть концертный зал при Консерватории и многочисленные кинотеатры – само собой. Отлично! О большем и мечтать было нельзя.

Кроме того, меня заранее радовала близость к Волге,

о которой у меня с младенческих лет сохранились самые светлые и волнующие воспоминания. «О Волга!.. колыбель моя!» – с полным правом могла бы и я воскликнуть вслед за Некрасовым.

Саратов мне приглянулся сразу. Прежде всего – чёткой геометрической планировкой: вытянутый вдоль Волги на многие километры, он состоял из нескольких длинных улиц, параллельных её течению, и множества сравнительно коротких перпендикулярных, которые их пересекали под прямым углом. Никаких «Кривоарбатских» или «Кривоколенных»! Даже вообще никаких переулков – только улицы. Ориентироваться в этом городе было проще простого.

Легко было запомнить и названия саратовских улиц: улица Ленина, Кирова, Горького, площадь Дзержинского, Октябрьская площадь... «Ба! Знакомые всё лица!» Чем-то родным веяло и от названий местных кинотеатров: «Октябрь», «Ударник», «Спорт», «Пионер»... Только игральные карты из знакомой колоды были перетасованы по-новому и выглядели иначе.

А какие разнообразные и колоритные названия были раньше у этих улиц – московских (и, конечно, не только московских) тёзок, как я узнала позже от местных старожилов: Крапивная, Лопуховая, Коровий овраг, Бабушкин взвоз... Ничуть не хуже московских Плющихи, Зацепы, Соломенной сторожки.

Самобытными по названию были в Саратове лишь небольшие улочки. Одна из них, например, называлась улицей Сакко и Ванцетти – в память двух казнённых в США революционеров итальяно-эмигрантского происхождения. Не имея об этих людях никакого представления, обыватели объединили их в одну загадочную личность: «Исаака Ванцетти».

Саратов очень украшало большое количество зелени. Почти все его улицы были похожи на аллеи, обсаженные с обеих сторон деревьями – в большинстве случаев высокими и тенистыми. Особенно эффектно выглядели устремлённые ввысь пирамидальные тополя – большая редкость для Москвы. Были и липы, сосредоточенные главным образом на территории центрального городского парка, который так и назывался «Липками». Но какие уж тут «Липки»! Скорее «Липищи» – все деревья

в два обхвата. Видимо они были сверстницами самого города, отметившего в 1940 году своё 350-летие.

Жилые дома в своём подавляющем большинстве были приземистыми – одно- и двухэтажными. Лишь на центральных улицах выделялись, разбросанные то здесь, то там, пятиэтажки. Над всеми этими строениями возвышались острые шпили выстроенной в готическом стиле Консерватории. А церковных куполов совсем не было видно – явное свидетельство того, что в отношении борьбы с «опиумом для народа» Саратов далеко обскакал и Москву, и Ленинград.

Мне понравилось, что саратовские дома ниже окружавших их деревьев – благодаря этому город казался утопающим в зелени, хотя местным жителям наверняка хотелось бы обитать в зданиях повыше и покомфортабельнее, что и было осуществлено полвека спустя, когда меня там уже не было.

А что мне решительно не понравилось – это пренебрежение Саратова к Волге. Её набережные напоминали свалку, вдоль которой непрерывно тянулись какие-то лабазы, развалившиеся ящики, рассыпавшиеся бочки, тоже рассыпавшиеся никому не нужные лодки и останки барж – словом, всевозможная гниль. Хочешь полюбоваться волжской ширью – не получается. Город расположен в низине, и для того, чтобы полюбоваться широкой речной панорамой, было необходимо перелезть через так называемый Глебычев овраг и вскарабкаться на загородный холм, носящий гордое имя «Соколиная гора». Она была повыше Воробьевых, и никакой транспорт туда не поднимался. Любители широт и красот могли туда всходить на своих двоих, а Саратов в целом был как бы повёрнут к Волге задом. Характерно, что «Липки» – центральный городской парк – находился в стороне от неё.

Такое пренебрежительное отношение к реке долгое время было характерно и для Москвы. Все её набережные – и по обе стороны от Бородинского моста, и по обе стороны от Крымского – тоже были захламлены и выглядели крайне неказисто, пока уже на моей памяти не возникли Парк Культуры им. Горького, высотный дом на Котельнической, красивая Фрунзенская набережная, гостиница «Украина» и многое другое. Но для Мо-

сквы столь длительное пренебрежение рекой, подарившей ей своё имя, было более извинительно: не такая уж красавица Москва-река.

Лишь в недавнее время саратовцы взялись за ум, наконец-то заменив береговые свалки вдоль набережной бульварами-цветниками.

Так же, как город в целом, мне с первого взгляда приглянулось и место, где нам предстояло работать и жить, – так называемый «Пединститутский городок». Оба институтских корпуса – гуманитарный и физико-математический – смотрелись солидно и внушительно, так же, как и три примыкавшие к ним пятиэтажки. Две из них были студенческими общежитиями, третья – состояла из квартир, предназначенных для преподавательского состава.

Оно было только что построено, а в числе его будущих жильцов значились и наши фамилии. Никаких «архитектурных излишеств», а также лифта этот дом не имел – выглядел коробка коробкой, правда, с балконами и на фасаде, и с тыльной стороны. Но был, как говорится, «с иголочки», а, следовательно, никакая кусачая живность нас там не ждала, если только местные жители, получившие там квартиры, не привезут её вместе со своим скарбом или мы сами её не разведём. И этаж нам достался хороший – второй, – вернее, двухполовинный с полуподвальным этажом, предназначенным для продовольственного магазина. Наша квартира не была отдельной – но в те годы об отдельной квартире никто и не мечтал, особенно москвичи.

Мы с Колей радовались тому, что место нашей работы совсем рядом с нашим жильём: за какие-нибудь пять минут вполне можно туда добежать. Поэтому институтская библиотека вскоре стала почти нашей домашней: взять оттуда нужную книгу было проще, чем в настоящее время вытащить что-нибудь со второго ряда верхних полок моего собственного стеллажа.

Повезло нам и с районом нашего обитания. Многие саратовские вузы были разбросаны по городским окраинам, а Пединститут со всеми своими владениями разместился на улице Горького, которая, начинаясь от волжского берега, уходила от

него прочь, пересекая два главных проспекта – улицу Кирова и улицу Ленина. А это значит, что от нас были недалеко и оперный театр, и Консерватория, и центральный рынок, и большие магазины – в том числе и книжный.

Близка к нам была и Волга – достаточно сказать, что наш дом имел номер шесть, а нумерация начиналась с речного берега. Лишь два здания нас от него отделяли. Правда, самый берег представлял собой широкую полосу земли без булыжника или асфальта, заваленную всевозможной гнилью. Неприятно. А в сырые дни просто невозможно было приблизиться к реке. И с балкона нельзя было на неё полюбоваться: нас от неё отделяла пятиэтажка студенческого общежития. Лишь во время весеннего разлива Волга подходила вплотную к первым домам нашей улицы.

Удобство жить «ко всему близко» было особенно ценно потому, что, несмотря на большую протяженность некоторых улиц, по Саратову тогда не ходили ни автобусы, ни троллейбусы – только куцые одновагонные трамвайчики. К тому же эти трамвайчики показывались на глаза так редко и нерегулярно, что мы с Колей ими редко пользовались – благо, ноги у нас тогда были достаточно молодыми и крепкими.

Из-за каких-то мелких неисправностей и недоделок наш дом начал заселяться лишь недели через три после нашего прибытия. Первые дни нам пришлось прожить в одной из комнат студенческого общежития. Причём комендантша была так мила, что помимо необходимого мебельного минимума украсила наше временное пристанище букетиком гвоздик в бутылке из-под кефира и большим цветным портретом Ежова, повесив его как раз над моей койкой – как бы в знак благословения и молчаливого «добро пожаловать».

Наскоро приведя себя в порядок, мы первым делом со всеми нашими документами явились в институт – представляться начальству.

В XIX веке почтенные люди, впервые появляясь в городе, чтоб занять там чиновническую или преподавательскую должность, первым делом должны были вместе с супругой нанести визит своему будущему начальству в его домашней обстановке, так сказать «познакомиться домами». Как показал Гоголь,

визиты к городским властям даже такого случайного человека, как Чичиков, были естественны и никого не удивили, в то время как поведение воздержавшегося от подобных визитов Хлестакова показалось удивительным и подозрительным.

От старичков Яхонтовых и от бабушки Юли я слышала, что обычай при приезде в новый город на ответственную должность делать визиты начальству в сопровождении супруги сохранился до конца столетия (если визитёр был достаточно почтенным человеком, начальнику – и тоже с супругой – полагалось на этот визит ответить). Так дедушка Саша с бабушкой Машей, переехав из Владимира в Нижний, пошли знакомиться к другим моим деду и бабке – Глазовым.

Впоследствии, а тем более в советское время с этим обычаем было покончено. Новоприбывшим полагалось являться к директорам учреждений и к их замам в их служебные кабинеты, причём начинать знакомство с новым местом следовало не с них, а с начальника отдела кадров – то есть прикреплённого к данному учреждению или предприятию сотрудника НКВД. Если работа там шла спокойно – то есть кадры политических сомнений не вызывали, плановые задания выполнялись, – эти товарищи вели себя «тише воды, ниже травы», их присутствия, тем более надзора, никто не замечал, и помещались они со своим архивом в маленьком закутке, не идущем ни в какое сравнение ни с директорским кабинетом, ни с комнатой партбюро. Никто не знал, чем конкретно эти малозаметные люди заполняют свой рабочий день, но в чём-то их значение было даже выше директорского, – особенно если в их епархии возникали какие-нибудь неполадки.

Нам с Колей это было известно, поэтому-то мы, войдя в институтские двери, прежде всего двинулись не по парадной лестнице к директору, а принялись разыскивать закуток, именуемый Отделом кадров, неся с собой, помимо документов и наших характеристик, анкеты и автобиографии.

Анкеты у нас оказались благополучными: не были, не состояли, не владели, но по поводу наших автобиографий мы были не вполне спокойны, поскольку у меня был репрессирован кузен, а у Коли – муж сестры. Мы были не вправе скрывать

эти факты, ибо так называемое «сокрытие» в те годы считалось преступлением, требующим сурового возмездия.

Как бы не турнули нас обратно из города, который успел нам понравиться, за изъяны в наших родственных связях?

Нет, не турнули, поскольку институт остро нуждался в литературоведах-зарубежниках. К тому же в конце тридцатых годов в СССР невозможно было найти интеллигента, у которого не было хотя бы одного репрессированного родственника. Поэтому отделы кадров перестали обращать внимание на двоюродно-троюродное родство, а тем более, свойство. Шурины, девери, золовки, свояки никаким анкетным данным не вредили, хотя и скрывать их репрессированность не полагалось. Всё родство-свойство сотрудника обязано было быть прозрачным, как стёклышко.

Лишь о существовании Анатолия Дмитриевича Глазова – своего шурина – ни папа, ни дядя Бутя в своих анкетах не упоминали. Так им посоветовал Яков Николаевич. А. Д. Глазов даже до революции не жил с ними в одном городе, а после 1917 года не имел с ними никакой почтовой связи. Кто бы мог доказать, что этот эмигрант – их родня, а не просто однофамилец?

С тем большим основанием делала это я.

Успешно перескочив через колючую проволоку Отдела кадров, мы с Колей пошли представляться директору и его заму по учебно-научным делам, но эти посещения оказались коротенькими, поскольку экзамен на политическую благонадёжность мы уже выдержали «в кадрах». А потом двинули в деканат литфака, где познакомились с деканом – Ефимом Тимофеевичем Павловским. Он тут же представил нас нашим будущим коллегам, тоже оказавшимся в его кабинете. Это были зав.кафедрой литературы профессор Александр Павлович Скафтымов – красивый полуседой мужчина лет пятидесяти с небольшим – и зав.кафедрой русского языка – профессор Александр Митрофанович Лукьяненко, значительно его постарше. В былое время они оба работали на филфаке местного университета, но после того, как почти весь преподавательский состав университетских филфаковских кафедр арестовали или разогнали, они оказались в числе немногих уцелевших счастливых.

Правда, «счастье» А. П. Скафтымова, как я узнала впоследствии, было относительным: хотя его самого репрессии не коснулись, его жену Ольгу Александровну, преподавательницу немецкого языка, в 1937 году арестовали и сослали в далёкие сибирские края – правда, не в лагеря, а на так называемое «поселение». Пострадала Ольга Александровна за дружбу со своей коллегой по кафедре, уличённую в шпионаже.

В те годы само понятие «кафедра немецкого языка» звучало зловеще, тем более что работники этих кафедр во многих случаях были немцы (вернее, немки). Правда, родом эти немки были не из Германии, а из автономной советской республики немцев Поволжья, чьей столицей был город Энгельс. Никто из них, как и их родители, в Берлине ни разу не был. Однако для политически бдительных людей было вполне достаточно того, что на кафедрах немецкого языка люди не только свободно владели языком Гитлера и Геббельса, но и являлись их одноплеменниками.

Все мои будущие коллеги, с которыми я познакомилась в тот день и позже, оказались значительно старше меня: одним сорок с хвостиком, другим – пятьдесят и даже за шестьдесят. Поэтому меня удивило, что все они, за исключением Скафтымова и Лукьяненко, никаких учёных степеней не имели: ни декан Е. Т. Павловский, на вид очень почтенный человек, ни столь же солидная Анастасия Гавриловна Пенцова. То же самое характеризовало и лингвистов с кафедры русского языка. Никто из них, как мне стало известно, никакой аспирантуры не проходил. Они были, точно морковки из грядок, выдернуты непосредственно из средних школ, где учительствовали. Все они имели солидный педагогический стаж и принадлежали к числу лучших учителей города, но в качестве вузовских лекторов многие из них были такими же новичками, как и мы с Колей. Да и сам Саратовский пединститут был трёхлетним младенцем. Потому-то и он сам, и все принадлежавшие ему здания, сверкали новизной и чистотой.

До нашего с Колей появления курс зарубежной литературы преподавали, как умели, тоже местные учителя, обучавшие до этого школьников иностранным языкам. Естественно, что

такой беспорядок смущал дирекцию. Поэтому перед всем неопытным преподавательским составом Пединститута, за исключением самых почтенных стариков, была поставлена в виде требования задача: в кратчайшие сроки сдать кандидатские минимумы по своей специальности и защитить диссертации.

Сдать «минимум» было под силу каждому: готовясь к своим лекционным курсам, они тем самым готовились и к экзамену. Только марксизм-ленинизм и историю партии приходилось вы зубривать дополнительно.

С диссертациями дело обстояло хуже, поскольку далеко не каждый хороший учитель способен к исследовательской работе, требующей умения самостоятельно анализировать, синтезировать, аргументировано спорить с инакомыслящими и делать широкие обобщения. К этому оказались неспособны и некоторые мои товарищи по аспирантуре, зачисленные в неё на основании хороших анкетных данных. Но тех выручали научные руководители, которые не столько ими руководили, сколько диктовали им собственные мысли. У саратовских преподавателей такой возможности не было: их никто не опекал.

Поскольку вылеплять доцентов и вчерашних «шкрабов» было делом трудным, а иногда и безнадежным, Саратовский пединститут позаботился о том, чтобы при каждом его профессоре имелась стайка аспирантов из числа подающих надежду выпускников-отличников, чтобы он воспитывал достойную смену.

Имелись такие стайки и у обоих наших профессоров – Скафтымова и Лукьяненко. В их числе было много моих однолеток. Но до поры до времени я с ними не встречалась – как и мы в наши аспирантские годы, они редко появлялись в институтских стенах.

Поскольку мы с Колей были единственными в институте литературоведами-зарубежниками, мы были уверены, что нас из-за нашей малочисленности включают в состав кафедры Скафтымова. Но оказалось, что директор ради престижа незадолго до нашего появления выхлопотал у Министерства высшего образования разрешение на создание при литфаке специальной кафедры зарубежной литературы, как это было у нас в Бубнов-

ско-Ленинском. Неважно, что новорождённая кафедра получилась маловата: раз есть заведующий для организационной работы, раз есть секретарь для ведения протоколов – значит, коллектив налицо.

Мы, естественно, возражать не стали, тем более что заведующему полагалась дополнительная зарплата. Но я возроптала, когда на эту должность утвердили меня, как лицо, уже имевшее учёную степень.

В жизни многие жёны держат мужей «под каблуком» и командуют ими, по примеру пушкинской старухи, пожелавшей стать «владычицей морскою». Но в рабочей обстановке, официально... Это было противоестественно, тем более что Коля был и старше меня, и опытнее, да и до защиты диссертации ему было рукой подать.

Директор успокоил меня тем, что в следующем году, когда Колина диссертация будет защищена, ему нетрудно будет произвести перестановку – поменять нас местами.

Поскольку моё высокое назначение лишило меня надежды на то, что какой-нибудь чужой дядя включит меня в готовое расписание, мне пришлось самой в спешном порядке знакомиться с учебными планами и более или менее равномерно делить педнагрузку между нами обоими.

Нагрузка оказалась немалой, а главное – очень пёстрой: на всех четырёх курсах основного литфака плюс вечерники и заочники, а кроме того, – на историческом факультете и факультете иностранных языков. Причём будущим «французам» читалась история только французской литературы, а будущим «германистам» – только немецкой (английского отделения из-за отсутствия педагогических кадров в Саратовском пединституте тогда ещё не было).

Я понимала, что обязана распределить все эти потоки таким образом, чтоб дать Коле больше времени и возможности завершить диссертацию.

Но как? По какому принципу? Одному взять новую литературу, начиная от Великой французской революции, другому – все предыдущие? Невозможно! Тогда бы у каждого из нас рабочий день состоял бы из сплошных «окошек» – дневных,

вечерних, промежуточных... Какая уж тут диссертация! Нет, лучше по-иному: одному – все дневные потоки, другому – все вечерние. При этом дневные я брала себе, чтобы Коля по утрам, как он любил, спокойно трудился над своей писаниной, – в сущности, почти готовой.

Дневные занятия... Это было самопожертвование с моей стороны, так как я сроду не любила торопливых ранних вставаний, особенно в тёмные ноябрьско-декабрьские часы, а дневная смена на всех факультетах начиналась в восемь часов утра.

Но супружеский долг и долг начальника кафедры, обязанного заботиться о научном росте подчиненных ему кадров, меня к этому принудил.

Удобным для Коли было то, что работа с заочниками, которую я полностью ему поручила, почти целиком падала на летние месяцы, когда его защита должна была уже состояться.

Само собой разумеется, что в отношении количества учебных часов я загрузила себя по максимальной норме (даже с лихвой), а «члена моей кафедры» – по минимальной, в надежде на то, что в следующем учебном году этого делать уже не придётся.

Словом, я оказалась гуманным начальником, и Коля достойным образом это оценил, хотя в шутку жаловался моим родителям, что я «захватила себе лучшие курсы», подбросив ему «одни ошмётки».

Хотя и полным забот оказался для меня тот хвостик недели, который отделял день нашего приезда до начала занятий, я не была бы женщиной, если бы не выкроила из этого хвостика возможности пробежаться по магазинам.

Галантерейные и обувные меня разочаровали: скучно, старомодно, неинтересно. Лишь в чулочном отделе я встретила то, что тогда в московских магазинах стало модной новинкой, – блестящие шёлковые чулки стального цвета. Такие чулки хорошо выглядели на стройных ножках, но мои стройностью не отличались даже тогда, когда были ещё здоровыми, и у меня не было желания привлекать к ним внимание посторонних. «Стальные» чулки мне были ни к чему.

А вообще до появления капрона и нейлона чулки были сущим наказанием для женщин. Даже лучшие из них – так называемые

фильдекосовые или фильдеперсовые – рвались не хуже обычных шёлковых. На улице вечно оглядываешься: нет ли где-нибудь дырки, дома то и дело занимаешься штопкой.

Так же, как в галантереях и в парфюмериях, не нашла я никаких новинок и в Книготорге. А продовольственные магазины удивили меня своим контрастом. Хоть лозунг на них вывешивай: «Всё для богатых – шиш с маслом для скромного достатка». Ни круп, ни макарон, ни дешёвых карамелек или колбас – зато обилие шоколадных конфет в коробках и на развес, всевозможные копчёности, вплоть до такого деликатеса, как стерлядки горячего копчения. А сколько экзотики! Грузинское варенье из незрелых грецких орехов, азербайджанское – из лепестков роз... Этим вареньем я решила красиво завершить наш первый в Саратове ужин, но Коля его не одобрил: «Тряпочки какие-то... и одеколоном пахнут».

Позже я узнала, что и дешёвая бакалея в Саратове бывает, только её надо не покупать, а «ловить», обязательно с раннего утра и обязательно проторчав какое-то время в длинных очередях.

В местных молочных было пусто, зато булочные радовали разнообразием ассортимента. Особенно мне понравились маленькие калачики (в Москве я таких крошечных не видела), и я заплатила в кассе за четыре штуки, удивившись их дороговизне. Но удивилась не я одна: кассирша, а потом и продавщица посмотрели на меня с изумлением, изумилась и я, когда в обмен на мой чек передо мной принялись выкладывать огромные и пышные пшеничные караваи, из которых бы ни один не влез бы в мою авоську.

Оказалось, что в Саратове колачами (через «о») называют именно это мучное подобие автомобильных колес, а те калачики, которые мне приглянулись, величали в то время московскими калачиками (через «а»).

Если саратовские государственные магазины произвели на меня довольно разношёрстное впечатление, то центральный рынок явно превзошел московские своим богатством, тем более что моя первая встреча с ним состоялась в такое благословенное время, как конец августа.

Поистине картина, достойная кисти фламандских или голландских мастеров!

Длиннющие огурцы – точно такие, какие якобы видел в Риме крыловский Лжец. И помидоры им подстать: огромные, ярко-красные. Теперь все это знакомо и москвичам, но тогда было мне в новинку. Арбузы и дыни всевозможных видов, в том числе очень маленькие из саратовских пригородов, отличающиеся исключительной сладостью. Они назывались «колхозницами». В Москву таких дынь ещё не привозили. В окружении всех этих садовых, огородных и бахчевых богатств виделось и много другого, тоже аппетитного, – в частности, варенец почти коричневого цвета, покрытый тёмной-тёмной корочкой.

Такой варенец я в детстве видела только у бабушки Юли в Шатках, но там его держали в вынутых из русских печей крынках, а здесь – в стеклянных банках, литровых или полулитровых.

Мужчин продавцов было мало, преобладали женщины, внешний облик которых был характерен и для московских рынков. Заметно отличались от них только немки, прибывшие с противоположного волжского берега, из своей автономной республики. Они обычно держались особой группой – все вместе. У всех были белые передники, белые нарукавники и такого же цвета накрахмаленные наколки на головах – точь-в-точь горничные из барских хором, известные мне из кинофильмов. Всё – ослепительное белое, накрахмаленное.

Все они выглядели такими чистюлями, что когда я впоследствии начала ходить на рынок за покупками, то творог, сметану и баночки с варенцом покупала исключительно у них.

А цены? Они вполне соответствовали качеству продуктов. Поэтому далеко не все местные жители могли позволить себе пользоваться рыночной снедью, тем более регулярно. Но мы частенько это себе позволяли. Особенно в первые дни после получек.

Из всех ближайших магазинов, которые я торопливо обежала, пока лекционная деятельность меня ещё не затянула, я не заглянула лишь в аптеку, поскольку ни я, ни Коля на здоровье тогда не жаловались, да и заботливая мама перед нашим отъ-

ездом сунула на всякий случай в мою сумочку самые ходовые порошки, таблетки и скляночки.

Наша трудовая деятельность была уже в разгаре, когда мы получили, наконец, разрешение перебраться в наше собственное жильё, причём незамедлительно: комнатка, которую мы временно занимали, была необходима студентам.

Хоть и хлопотно было наспех запихивать в чемоданы уже развешанные платья и разложенные для работы книги, а потом всё это снова развешивать и раскладывать – мы были счастливы. Прощайте, завядшие гвоздики! До свиданья, Ежов!

Законное жильё, которое нам досталось, пахло мокрой известкой и ещё непросохшей краской, но это было приятнее, чем устоявшийся аромат нашей московской квартиры: там воздух был густо пропитан застарелой пылью от коридорного барахла в сочетании с запахом всевозможных лекарств.

Из четырёх комнат нашей квартиры две достались нам: одна побольше, с окнами на северо-запад и на улицу, другая, поменьше, смотрела на юго-восток и на институтский двор. При ней имелся балкон. Двери обеих комнат были как раз – одна против другой, по двум сторонам коридора.

Спальня – она же кабинет – у каждого из нас была отдельной, а поскольку моя комната была попросторней, она по совместительству стала служить нам и столовой.

Нашими квартирными сожителями стала бездетная чета Ларионовых – химиков с факультета естествознания, обоим лет по сорок с длинным хвостиком. Подобно подавляющему большинству работников нашего института, оба они недавно были школьными учителями, никаких учёных степеней и званий не имели, но, в отличие от этого большинства, не стремились их иметь. У обоих были свои положительные качества: он – безобидный, точно добродушный дрессированный пёс, преданный хозяйке, она – не столь добродушная, зато хозяйка в лучшем значении этого слова. Она так умело и хлопотливо проводила всё своё время на кухне, что безусловно достигла бы немалых научных успехов, если бы с такой же энергией колдовала в лаборатории над колбами и пробирками, как в кухне над кастрюльками. Оба они были коренными саратовцами, получив-

шими ордер на своё жилище «в порядке улучшения жилищных условий», как тогда писалось. Им достались точно такие же комнаты, как нам, но смежные. Тоже с балконом, но на другой стороне – фасадной.

Помимо четырёх комнат, наша квартира, естественно, имела и места общего пользования, но, к большому моему сожалению, не имела газа, которого тогда не имел и весь Саратов. (Хотя впоследствии именно там, почти у самого города обнаружили его несметные запасы, не только снабжающие сейчас другие города, включая Москву, но и экспортируемые за рубеж.) Поэтому в кухне стояла дровяная плита, а для ванн раз в неделю, по субботам, поступала горячая вода из котельной. В этот день всё население дома, точно по команде, и мылось и обстирывалось. Плитами всегда пользовались в исключительных случаях, а обычно – примусами, керосинками, круглыми комнатными электроплитками. Такую электроплитку поспешила приобрести и я, поскольку и дрова, и керосин мне были непривычны, а привыкать к ним мне не хотелось.

Хозяйские, то есть властные повадки моей соседки мне не нравились, но её хозяйственную сноровку я должным образом уважала. Зато она явно не уважала меня за то, что я в этом отношении себя с положительной стороны не проявляла. Сближения с нами соседи не искали, мы с ними – тоже. Нас больше заботило устройство нашего жилья, чем эти люди.

Полы в наших комнатах были, как положено, паркетные, но стены обоев не имели и были выбелены, подобно стенам в украинских хатках.

Необходимо было позаботиться о мебелировке, так как из институтского фонда нам выдали по железной койке с тощими тюфяками и по продолговатому столу – не специально письменному, но вполне пригодному для писания. Что же касается всего остального, то дирекция предоставила нам крупный кредит, который мы в течение года должны были понемногу возмещать, причём незаметным для нас образом. Эти суммы понемножку механически вычитались из наших вполне приличных зарплат.

Первым делом мы приобрели самое необходимое: несколь-

ко стульев, книжный шкаф, настольные лампы и обязательный для всех обитателей коммуналок гибрид двойного назначения, который именовался славянским шкафом. После этого, передохнув немного, всё остальное: кухонный столик, обеденный стол, широкий оранжевый абажур для висячей лампы, тюлевые занавески для окон и диван с высокой спинкой и полочкой. Такие полочки, по-видимому, предназначались для безделушек, но я, за неимением таковых, использовала эту диванную деталь в качестве дополнительной полочки для книжек небольшого размера.

На мягком диване приятно было посидеть самим, но основная цель моей покупки заключалась в необходимости иметь спальное место для мамы: она обещала часто меня навещать и, как показало время, обещание своё исправно сдерживала.

Мы купили даже предмет роскоши – большой радиоприёмник самой последней модели, уже не требовавший наушников, как маленький первенец нашей семьи. Но слушали музыку редко, так как были людьми занятыми, а в свободное время предпочитали куда-то идти, что-то осматривать.

Наша бесхитростная светло-жёлтая мебель была в том же стиле «раннего Мосдрева», как Аидина, только я не собиралась, подобно ей, драпировать её обилием ярких тканей. Аида наверняка не одобрила бы ни моего шёлкового абажура, ни белых оконных занавесок, да и я сама сознавала, что они – свидетельство мещанского вкуса, но и то и другое придало нашему жилью уют, что и требовалось.

В комнаты наших квартирных соседей мы никогда не заходили, так же, как и они – в наши, но сквозь открывавшиеся двери было видно, что их обстановка сильно отличается от нашей: две широкие, сдвинутые кровати с горой подушек на каждой, ковры, кресла... Всё мягкое, обитое плюшем... Но далеко не новое. А наша значительно более скромная обстановка радовала меня своей новизной и чистотой. Когда я впервые побывала в Москве и увидела, как много там всевозможного старья и хлама, я особенно оценила эту новизну. Поэтому я не захватила с собой ни одной картины из моей московской комнаты, хотя первоначально собиралась это сделать. Ограничилась двумя

карандашными рисунками Шишкина и Борисова-Мусатова. Этого оказалось достаточно для оживления выбеленных стен моей комнаты.

Проснувшись во мне в те дни домовитость, возможно, побудила бы и меня, подобно соседке, заняться кухней, если бы в Саратове тех лет существовали газовые плиты и магазины с полуфабрикатами. Но ни того, ни другого не было, и время мне было слишком дорого. К тому же одновременно пользоваться обеденным столом у нас не получалось из-за пестроты наших учебных расписаний. Мне приходилось вскакивать, когда Коля ещё спал, и утренний чай я обычно пила не дома, а в институтском буфете во время первой перемены между лекциями. Обедали врозь и где придётся – в институтской столовой или в кафе. Только ужинали всегда вместе и теми же самыми блюдами, каким я потчевала Колю на Усачёвке, с частым добавлением того, чего в Москве не водилось – рыжего рыночного варенца с тёмной корочкой. Моего хозяйственного рвения хватало лишь на покупку продуктов и на то, чтобы Коля, проснувшись, находил на столе всё необходимое для утреннего завтрака в виде вскипяченного чайника и остатков ужина.

Лекции, к которым мне, как новичку, приходилось старательно готовиться... Мебельные и продовольственные покупки... Всё это настолько заполняло мои дни, что скучать о Москве и об оставшихся там родных было некогда. Но я всё же писала домой и с нетерпением ждала весточек от мамы.

Печальным было первое письмо, которое я от неё получила, хотя неожиданным его назвать было нельзя.

Мама сообщала мне о кончине тёти Наташи. Случилось это 8 сентября, как раз в день её именин, которые в далёкие прежние годы всегда отмечались весело и многолюдно. Умерла тётя Наташа незадолго до дня своего рождения: в том же сентябре ей должно было исполниться пятьдесят восемь.

Я ждала этой вести, но всё ж не удержалась, всплакнула. Не ожидала я лишь того, как вёл себя Всеволод Алавердиевич в то время, когда тётя Наташа умирала. Ведь мне было известно, что после ареста Гули их отношения наладились, потеплели.

В то время, когда умирающая находилась без сознания, тя-

жело и хрипло дыша, а все домашние стояли рядом в молчаливом бездействии, поскольку ничем помочь ей было уже невозможно, Всеволод Алавердиевич обернулся к маме и спросил: «Лида, как ты думаешь, успею я сходить на угол Смоленской в ателье? У меня на сегодня назначена примерка».

К чему он опасался не успеть? К последнему вздоху своей жены?

К сожалению, кроме мамы, эту фразу услышала ещё и бабушка, которая до конца жизни её Всеволоду Алавердиевичу не простила, как не прощала ему и многого другого: ни супружеской неверности, ни временного отчуждения от тяжело больной тёти Наташи.

На примерку костюма Всеволод Алавердиевич поспел своевременно, но живой свою жену уже не застал.

Урна с прахом тёти Наташи была первой среди тех урн, которые зарыли в могилу дедушки Мити. В течение последующих лет эта могила превратилась в братскую, такую же густо заселённую, как наша квартира.

Мама написала мне, что пока могильщики делали своё дело, бабушка присела на ближайшую скамейку, держа урну своего первенца у груди, почему-то завернутую в платок точно таким же образом, как молодые матери заворачивают новорождённых, и тихонько её покачивала, как будто убаюкивая. Бабушка не плакала – видимо, все её слёзы были уже выплаканы раньше, но смотреть на неё и на эти убаюкивающие движения было невыносимо.

Как полагается и как велит долг, Всеволод Алавердиевич присутствовал и на отпевании покойной, и на кремации, и на кладбище. Оплатил все связанные с этим расходы, добиваясь того, чтоб всё было «на высшем уровне». Не поспешил и на цветы.

Однако бабушку это с ним не примирило.

Печально было и второе по счёту письмо, полученное мною из Москвы на адрес Пединститута. Печальным и на сей раз неожиданным.

Написала мне его Нина Козюра. Она вкратце сообщала мне об аресте Франца Петровича Шиллера и нескольких людей с на-

шей кафедры и других литфаковских кафедр, тоже мне хорошо известных. Преподавателей и аспирантов.

Нина сообщила мне это из добрых побуждений, опасаясь, как бы я по незнанию не обратилась к Францу Петровичу или ещё к кому-нибудь из арестованных с каким-нибудь вопросом и не попала бы на заметку за почтовую связь с «врагом народа».

Она поделилась со мной этой, огорчившей меня, новостью не прямо, а, пользуясь характерным для писем тех лет «эзоповым языком»: написала, что Ф. П. (одни инициалы без фамилии) и такие-то (тоже инициалы) «уехали в санаторий, где отдыхает Ефремов» – Ефремов, бывший преподаватель советской литературы, был арестован раньше, и мы обе это знали.

Мне было очень жаль Франца Петровича – хорошего, доброжелательного человека, при помощи которого я и другие цыплята нашего инкубатора стали научными работниками. Все мы были многим ему обязаны. И Аникст, и Т. Мотылёва, и Абрам Штейн, и Б. Сучков – последний известный мне директор Института мировой литературы.

Впоследствии в печати было сообщено, что «посмертно реабилитированный» Ф. П. Шиллер умер в сибирском лагере вскоре после того, как был туда послан. Ему тогда было пятьдесят шесть – ещё меньше, чем тёте Наташе...

Вместо Франца Петровича зав.кафедрой зарубежной литературы Пединститута им. Ленина был назначен другой профессор – Исаак Маркович Нусинов. Он тоже не миновал «санатория», но попозже...

Не миновала впоследствии эта судьба и папиного бывшего начальника – профессора «Франка-Олю», благополучно перешагнувшего тридцать седьмой год. За какие провинности? Что-то неуважительное произнёс где-то о Лысенко? Или кто-то вспомнил о его полунитальянском происхождении?

Кто знает!

32 ◉ ПРОБА СИЛ

Коля, как человек с солидным педагогическим опытом, спокойно и уверенно отправился на свои первые саратовские лекции, но я, владея стажем вузовской работы лишь в виде двухнедельного пребывания в роли залётной «курской соловьи», естественно, волновалась: «Как меня примут мои слушатели? Понравлюсь ли я им?»

По собственному студенческому опыту я знала, что первое впечатление – очень существенно. Если с самого начала лекция окажется скучной, или внешний облик педагога, его речь и манера держаться придутся не по вкусу, – впоследствии будет трудно заставить их сменить неблагоприятное впечатление на благосклонное.

Поэтому я не только заранее подготовилась к моим первым занятиям, но и обдумала, какое платье мне надеть, чтоб не выглядеть в нём слишком легкомысленной или, наоборот, слишком чопорной, в какой мере воспользоваться губной помадой. Только о причёске мне не надо было заботиться: такая стрижка, как была у меня, – а именно, пушистая блондинистая копна в завитках, дарованная мне природой, – и без помощи парикмахера были тогда «последним криком моды».

Всё прошло благополучно. Студенты всех моих курсов и потоков меня, как говорится, приняли. Не потому, что мои первые лекторские опыты были хороши – в этом я сильно сомневаюсь, – а благодаря моей молодости. Я была не намного старше тех, кто меня слушал, и заметно выделялась возрастом среди всех моих коллег – людей преимущественно маститых, поскольку скафтымовские птенцы находились ещё на подготовительной стадии.

К тому же, если для того, чтобы заинтересовать молодёжь литфака политэкономией или историей ВКП(б), необходимы незаурядные способности, то только круглый дурак или дура не сможет их заинтересовать историей литературы – неважно

какой, русской или зарубежной. Там лекционный материал интересен и красноречив сам по себе.

Своё свободное от аудиторных занятий время Коля отдавал завершению диссертации. Это было главной его заботой, тем грузом, который ему не терпелось свалить со своих плеч.

Меня этот груз уже не тяготил, но и я не бездействовала. Успешно сданный в аспирантские годы кандидатский минимум давал мне возможность чувствовать себя достаточно оснащённой познаниями – как мы выражались, «от Гомера до Фаррера» (и даже тех, кто творил позже Фаррера). Но «минимум» – он и есть минимум, а мне было важно расширить его границы, хотелось «максимума». И самой мне это было интересно как неутомимой читательнице книг, «вечной студентке», и нужно как педагогу: не дай бог, какой-нибудь любознательный слушатель меня спросит об имени и произведении, не входящих в учебную программу и даже в мой кандидатский минимум? Прилично ли будет промолчать, сославшись на незнание?

Поэтому я усердно, в полное своё удовольствие дочитывала недочитанное, благо институтская библиотека была рядом. А когда я – в последующие уже годы – истощила все её запасы по моей специальности, я начала ходить в университетскую, имевшую богатый фонд.

Читая, когда мне удавалось выкроить для этого время, и книги, и журнальные новинки, я не только дополняла новыми сведениями мои рабочие тетрадки, которыми я пользовалась на лекциях, но и завела наряду с этим домашнее «справочное бюро».

Это «бюро» состояло из толстых тетрадей всех видов.

Первые из них, основные, представляли собой общие ученические тетради, где я конспектировала все прочитанные мною художественные произведения: их фабулу, имена основных персонажей, сопровождая это по необходимости наиболее характерными и выразительными цитатами из текста. Конспектировала бессистемно – по мере того, как то или иное произведение попадало в мои руки.

В ещё более толстых и длинных, так называемых амбарных книгах я конспектировала теоретическое: предисловия к рома-

нам или сборникам, научные монографии и журнальную критику – разумеется, лишь в тех случаях, если этого не имелось в моей собственной домашней библиотеке.

«Амбарные книги», во избежании путаницы, я пометила литерами: «Ф» (Франция), «А» (Англия) и «Г» (Германия и Австрия). Это было не совсем точно. С течением времени, чтоб не загружать полку лишними «амбарными книгами», я начала включать в «Ф» Италию и Испанию, в «Г» – литературу всех скандинавских стран, в «А» – Америку, Австралию и всё прочее англоязычное.

Вряд ли квалифицированный библиограф назвал бы такую классификацию научной, но для меня она оказалась удобной.

Третьей по счёту разновидностью моих тетрадей были три большие телефонные книги с алфавитом, куда я вместо телефонов и адресов вписывала фамилии авторов. Они тоже были помечены литерами «Ф», «Г» и «А».

Поскольку все мои толстые тетради – и ученические, и амбарные – были пронумерованы и их страницы тоже, по алфавитному справочнику легко было найти всё, что касалось того или иного писателя: конспекты его произведения, критику на них и всё остальное, включая и подлинники в моём шкафу и конспекты.

Поэтому на нашем семейном жаргоне мы эти мнимо телефонные алфавитные справочники называли «ключами».

Завела я моё «справочное бюро» специально для Коли, чтобы он, не в ущерб работе над диссертацией, имел возможность дополнять свои лекции. Это было особенно важно, когда появились новые литературные имена, романы-новинки.

Поэтому я соблюдала там строгий порядок, старалась, чтоб и изложенное у меня было предельно ясным, и почерк разборчивым. Добивалась я также и того, чтоб всё там излагалось объективно: только голые факты! Всё субъективное – моё личное мнение о прочитанном, мои критические замечания – я сознательно туда не включала: всё это попадало лишь в мои рабочие тетрадки, – те самые, которые я носила с собой, отправляясь в студенческую аудиторию.

Мои рабочие тетрадки значительно отличались от того солидного, чистенького и пронумерованного «справочного бюро». Начиная с их внешнего вида. Это тоже были ученические тетради, но не общие, а тоненькие, где я сознательно оставляла большие интервалы между строчками, делала широкие поля и заполняла страницы лишь с одной стороны. Это было мне нужно для того, чтобы я могла вносить туда поправки или дополнения.

Мои вечные поправки придавали моим рабочим тетрадкам облик перечёркнутого вдоль и поперёк черновика, зато свидетельствовали о том, что моим лекциям, пусть далеко ещё не совершенным, было не свойственна убийственная стабильность, что я на месте не топчусь, а в какой-то мере расту, многое додумываю и переосмысливаю.

В моих рабочих тетрадках не было грамотно составленных фраз – только разброс отдельных беспорядочных слов, имена, фамилии, даты, да и то написанные наспех, коряво, с сокращениями. Ни один человек, кроме меня самой, не смог бы в них разобраться, да и мне приходилось пользоваться красным и синим карандашами, чтобы что-то выделить и соблюдать последовательность.

Когда мои рабочие тетрадки переполнялись, я их рвала и заменяла новыми.

Рабочие тетради были для меня предметами первой необходимости лишь в течение моего первого лекторского учебного года. Они служили мне подобием суфлёрской будки, необходимой актёру-новичку, но которая со временем становится для него ненужной. Я брала с собой на занятия лишь листочки с планами, чтоб не сбиться в последовательности тем.

Мои рабочие тетради не были долгожителями.

А тетради с аккуратно пронумерованными конспектами?

Затеяв их ради «исполнения супружеского долга» – то есть для того, чтобы помочь Коле, – я вскоре сообразила, что они очень полезны и мне самой, и продолжала их вести в продолжение всей моей трудовой жизни, когда Коли давно уже не было в живых.

Для научно-исследовательской деятельности такие тетра-

ди бесполезны: конспект не может заменить подлинник. Но для лекционной они – великое подспорье! Отпадает необходимость заново перечитывать громоздкие тома, – необходимое всегда под рукой. Заглянул туда, – и лекция готова. Становишься похожей на ресторанный повара, чей холодильник набит всевозможными полуфабрикатами. Получив заказ, шмякаешь на сковородку или противень что-то почти готовое, подложишь гарнир и специи, которые тоже рядом, и через пятнадцать минут блюдо на столе.

В дальнейшем моему скромному изобретению независимо от меня последовала Московская библиотека иностранной литературы, начав с середины пятидесятых годов издавать журнал «Вестник современной художественной литературы за рубежом». Этот полезный журнал состоит из конспектов, подобных моим. Как, без сомнения, благодарны этому журналу наши педагоги-«зарубежники» за это издание! Я пользовалась им с момента основания, не переставая в то же время и самостоятельно конспектировать прочитанное.

Вспоминая мой первый трудовой год в Саратове, я вижу, что я тогда не только обучала, но и сама интенсивно обучалась. Как будто моя аспирантура ещё продолжалась.

Мою лекционную работу я любила. Не любила лишь тех вещей, которые меня от неё отвлекали, хотя тоже входили в круг моих обязанностей.

Во-первых, это были почти еженедельные Учёные советы, которые отнимали у всех заведующих кафедрами порядочные куски времени.

Кроме заведующих кафедрами всех факультетов, там восседал директор с обоими своими заместителями (по учебной и по хозяйственной части) и общеинститутские начальники партийных, комсомольских и профсоюзных организаций.

Конечно, для меня, желторотой, было почётно восседать на этом Олимпе рядом с А. П. Скафтымовым и А. М. Лукьянченко (моё постоянное место было как раз между ними), но они не были разговорчивыми собеседниками, да и разговаривать на Учёных советах не полагалось. Общих интересов у собравшихся было мало: то, что относилось к области точных наук или

естествознания, совсем не касалось гуманитариев и наоборот. Не касались нас и хозяйственные вопросы.

Было скучно. Но служебное положение обязывало.

Обязывало оно меня и представлять заместителю директора протоколы наших кафедральных заседаний по схеме «слушали – постановили». Мы с Колей общались каждый вечер, но естественно, протоколов с перечнями деловых вопросов не вели и ничего не постановляли, хотя наши лекционные впечатления и трудности часто находили место в нашей непринуждённой болтовне за ужином и вечерним чаем.

Однако, я не растерялась и быстро изловчилась составлять кафедральные протоколы по всей форме. Для этого потребовалось только отметить по справочнику даты писательских смертей и рождений, якобы для состоявшихся у нас юбилейных научных бесед, и два – три методических вопроса – и всё было в ажуре. Щадя Колино время, я сочиняла всё это сама, но он обязан был мои филькины грамоты переписывать своим почерком: ведь председательствовать на заседаниях кафедры и секретарствовать должны были разные лица.

Само собой разумеется, что некоторые сочинённые мной протоколы фиксировали и состояние политической работы на нашей кафедре: проводимые на ней «политинформации», отклики на текущую политику и на революционные даты.

Таким образом, и школу бюрократической писанины я усвоила успешно.

В деканате все эти филькины грамоты подшивались куда следует, и ни один человек из начальства никогда не проявлял любопытства к тому, как именно наша кафедра «заседала», покрывался ли для этого стол красным сукном, ставился ли графин с водой...

Ещё более тяжкой повинностью, чем Учёные советы, были наши, тоже строго обязательные, общефакультетские политзанятия, или как их уважительно называли – «повышение нашего идеологического уровня».

Какое тут повышение! Куда повышать, до какой планки? Всё это было жёвано-пережёвано, и мы знали повестки всех партсъездов и фамилии всех врагов и предателей лучше, чем имена

своих ближайших родственников. По примеру служителей «опиума для народа» нам надлежало неустанно твердить и те же самые благодарственные молитвы, и те же самые анафемы.

Спасибо ещё, что ни меня, ни Колю в течение нашего первого преподавательского года не нагружали общественными поручениями: разумный хозяин ведь не сядет верхом на ещё не окрепшего жеребёнка, зная, что предназначенного ей хомула лошадке не миновать.

Уборкой квартиры и стиркой нашего белья занималась так называемая Оранжевая Маруся.

Когда это имя впервые коснулось наших ушей, мне представилось нечто хрупкое, почти неземное, в духе блоковской «Прекрасной дамы» или поэзии Игоря Северянина. Однако реальная Маруся оказалась особой крупной и плечистой, а «оранжерейной» её называли потому, что её прямой служебной обязанностью был уход за принадлежащей биофаку оранжереей и находившимися там подопытными посадками.

Услугами Маруси, как прачки и уборщицы, пользовались также наши квартирные соседи и некоторые другие обитатели нашего дома. Кроме неё, в маленьком флигелёчке институтского двора жили и другие «технические кадры» – уборщицы, гардеробщицы, судомойки, дворники. Все они были не прочь подработать в дополнение к своим скромным зарплатам, и трудились, подобно Марусе в других квартирах.

Как и все советские рабочие и служащие тех лет, мы с Колей имели лишь один свободный день – воскресенье. Даже укороченных суббот тогда ещё не было. Поэтому, как только мы устроились и перестали ходить по мебельным магазинам, мы начали использовать воскресные дни с пользой и с удовольствием.

Приятелями мы ещё не обзавелись, и в гости нас никто не звал, тем более что после злополучного тридцать седьмого года люди стали пугливы и избегали новых знакомств. Но мы этих знакомств и не искали – только старались запомнить имена-отчества и лица наших коллег, чтоб их узнавать при встрече и, упаси господи, не перепутать.

Однако и без приятельских встреч у нас имелось немало возможностей заполнять воскресные дни. Мы, как экскурсанты, обошли центральные улицы, потом начали знакомиться с саратовскими окрестностями. Поднялись на Соколиную гору и, переехав Волгу на катере, побывали в городе Энгельсе. Сейчас, после постройки моста, соединившего Энгельс с Саратовым, этот город стал одним из саратовских районов, подобно тому, как районами Москвы стали Мытищи и Зеленоград. Но в те годы Энгельс был самостоятельным городом – столицей ныне уже не существующей Автономной республики немцев Поволжья. На столицу он совсем не походил: небольшой с низенькими строениями. Однако и эти домики, и палисадники возле каждого из них, и сами улицы радовали глаз своей чистотой и ухоженностью.

Осмотрели мы и местные музеи – краеведческий, художественный им. Радищева и Дом-квартиру Чернышевского.

В Саратове было немало знаменитых уроженцев: в XVIII веке – Александр Радищев, в XX – Константин Федин и другие, – однако главной его гордостью считался Чернышевский. Его имя носила и одна из главных улиц, и Университет, и Театр оперы и балета, и городская библиотека, и многие другие учреждения и предприятия; один памятник Чернышевскому стоит около входа в Липки, другой – в университетском городке.

В Художественном музее мы нашли небольшое количество картин великих русских художников – побывавшая там после нас мама узнала две репинские, раньше висевшие в Московской Цветковской галерее (портреты лежащего на траве Толстого и рано умершей девочки Нади – дочери Репина). Были там и Суриков, и Левитан, и Серов, и Айвазовский – тоже в виде единичных полотен. Зато менее известные живописцы – в основном из числа передвижников – были представлены щедро.

В доме-музее Чернышевского мы познакомились с его директором – внучкой самого Николая Гавриловича, красивой дамой средних лет – Ниной Михайловной Чернышевской.

Как она нам объяснила, в этом музее бывает наплыв туристов во время летней навигации. В октябре, когда мы там появились, в музее царило затишье. Никаких экскурсоводов

мы там не заметили, а встретила нас и провела по всем комнатам этого двухэтажного деревянного особнячка сама Нина Михайловна.

Была она с нами очень любезна, особенно после того, как мы ей сказали, что мы – москвичи, литературоведы и преподаватели пединститутского литфака.

Нина Михайловна поинтересовалась даже тем, в каком районе Москвы мы жили, а когда мы ответили на этот вопрос, я наглядно убедилась в справедливость поговорки «мир тесен».

– Мы жили на Плющихе, в Первом Неопалимовском.

– Отлично знаю этот переулок! Я там не раз бывала в доме 16/13.

– Так это же мой родной дом! А кого вы там навещали?

– Александра Васильевича Ёлкина. Может быть, вы знаете такого?

Ещё бы не знать, если Александр Васильевич ещё в школьные годы тащил меня за уши по всем ступенькам математической премудрости!

Этим обстоятельством я, разумеется, хвастаться не стала.

Оказалось, что Нина Михайловна в качестве петербургской барышни нередко танцевала на балах с юным курсантом военного училища Шурой Ёлкиным, и он в то время интенсивно за ней ухаживал. Это было накануне Первой мировой войны, которая их разбросала в разные стороны. После революции они снова встретились, но без романтики – просто как старые приятели.

Во время своих довольно редких выездов в Москву Нина Михайловна не только навещала Ёлкиных, но обычно останавливалась у них.

Меня удивило, что Александр Васильевич никому из нас об этом знакомстве никогда не рассказывал, хотя любил прихвастнуть, что его гимназическим одноклассником и приятелем был Михаил Зощенко.

Давнишнее знакомство с Ёлкиными послужило мне отличной рекомендацией в глазах Нины Михайловны. После того, как мы осмотрели и экспонаты музея, и его мемориальные комнаты, она пригласила нас в свои апартаменты, тоже меблированные в традициях XIX века, и познакомила со своей

дочерью Верочкой, такой же внешне привлекательной, как и она сама. В дни сезонного экскурсионного затишья мать и дочь – внучка и правнучка, обе Чернышевские – поочередно принимали посетителей.

Вера показалась мне почти девочкой, но оказалось, что она замужем, причём вторично.

Гостеприимные хозяйки угостили нас чаем с вареньем домашнего приготовления, приглашали заходить. Но мы приглашением не воспользовались, хотя обе они мне понравились. Заранее знала, что дружеские взаимоотношения между нами всё равно не сложились бы по возрастным причинам: Нина Михайловна, по моим тогдашним масштабам, была слишком солидной, а Верочка – слишком юной. И к себе я их пригласить постеснялась: не та мебель, не та чайная посуда, да и домашним вареньем у меня и не пахло.

Встречалась я с Ниной Михайловной довольно часто, но только в общественных местах – главным образом, в Консерватории на концертах. Мы дружески улыбались друг другу и перебрасывались короткими фразами.

Всеволод Алавердиевич дорожил своим знакомством с Сергеем Львовичем Толстым не только потому, что оба они были композиторами, но и потому, что от Сергея Львовича можно было услышать любопытные мелочи из его семейных воспоминаний, которые тогда ещё нигде не были опубликованы.

Нина Михайловна родилась, когда Николая Гавриловича уже не было в живых, и никаких непосредственных воспоминаний о нём у неё быть не могло, но через родителей она, конечно, многое о нём знала. Если бы я воспользовалась её приглашением, она поделилась бы со мной кое-какими семейными мелочами по примеру С. Л. Толстого. Но я пренебрегла этой возможностью из-за моего недостаточного интереса к Чернышевскому.

В те годы в трактовке официального советского литературоведения Чернышевский считался одним из величайших звёзд нашей отечественной классики. Один только Горький шагнул на ещё более высокую ступень.

Фамилия «Чернышевский» попадалась мне не только на вывесках, но и при встречах с живыми саратовцами. То в поли-

клинике эту фамилию носил врач или медсестра, то я видела её в студенческой зачётной книжке, когда принимала экзамен.

Меня это удивило, поскольку к числу распространённых эта фамилия не принадлежит, а у Николая Гавриловича был только один сын и одна внучка. И родных братьев не имел.

Эту тайну раскрыл мне коллега по литфаку В. П. Воробьёв – близкий сосед Нины Михайловны и давний её знакомый.

Дело в том, что Нина Михайловна многократно выходила замуж и разводилась, что со временем стало характерно и для Верочки. Неизвестно, охотно ли или неохотно покинутые мужья расставались со своими родовитыми подругами, – известно только, что с прославленной фамилией, которую они всегда брали при заключении своих браков, никто из них при разводе расставаться не желал. Они награждали ею и новых своих жён, её носили и их дети от новых браков.

Воскресные вечера мы с Колей обычно посвящали музыке или зрелищам.

Зал Саратовской Консерватории был открыт для публики только по субботам и воскресеньям, когда приезжали на гастроли московские или ленинградские знаменитости. В Москве билеты на концерты многих из них доставались с трудом, а здесь никаких стараний не требовалось, и мы этим пользовались. В Саратове мне посчастливилось послушать Д. Ойстраха, Э. Гилельса, Я. Флиера и многих прославленных вокалистов.

Бывали в консерваторском зале и концерты местных исполнителей – консерваторских педагогов, – сольные или в виде небольших ансамблей.

В Саратовском оперном театре шли хорошие оперы в исполнении хороших певцов. Обращала на себя особое внимание исполнительница лирико-колоратурных партий Елизавета Шумская, которая покинула Саратов одновременно со мной, став солисткой Большого театра.

В Драматическом театре был тоже неплохой актёрский коллектив: два народных артиста СССР – Слонов и Карганов, несколько заслуженных и вполне достойная их молодёжь. Но репертуар находился не на высоте. Приличия ради там

шли и классики: в один сезон – одна пьеса Чехова, в другой одна – Островского. А иногда и что-то зарубежное – шекспировский «Лир», мольеровский «Тартюф». Всё остальное широкое репертуарное пространство заполнили советские драматурги – причём не самые выдающиеся, а такие как Софронов, Суров и подобные им мастера социалистического реализма, чьих фамилий сейчас уже никто и не помнит.

Во второй половине тридцатых годов для нашей страны одной из самых актуальных задач считалось борьба с засылавшимися к нам из-за рубежа шпионами и негодьями, которые сознательно вредили советскому производству. В конце пьес их разоблачали наши бдительные соотечественники.

Сейчас я вижу трагическую подоплеку подобных сюжетов, но по тогдашнему моему легкомыслию я воспринимала эти пьесы юмористически и даже серьёзного Колю приучила смотреть на них, как на весёлый фарс.

Упомянутые пьесы обычно имели детективную фабулу: отрицательные персонажи творили своё чёрное дело, положительные, во главе с НКВД, к концу последнего акта их карали. Но комизм состоял в том, что пока сценические шерлоки холмсы расставляли свои хитрые ловушки и возились с расшифровкой разнообразных косвенных улик, зрителям всё было уже заранее ясно на основании и внешних обликов персонажей, и имён-отчеств, которыми их наградили авторы.

Если молодой инженер носил рубаху с распахнутым воротом и кепочку ленинского фасона, а его подруга имела скромный, как у Любви Яровой, пучок на затылке или косу, которую в жизни никто уже не носил, – значит «холодно»: за политическую благонадёжность этих людей можно было не беспокоиться. «Горячо» становилось тогда, когда и герой не походил на рубаху-парня, и героиня одевалась как «фифочка», и тёща была не деревенской бабулей в платочке, а манерной дамой, которая, подобно тёте Санате, то и дело кстати или некстати вставляла в свои реплики французские «пардон» и «мерси».

Кроме того, сюжет пьесы – её развитие и финал – можно было разгадать ещё до поднятия занавеса, купив программку. Хорошие люди всегда носили самые крестьянские имена или

звались Павлами, Андреями или Алексеями, девушки – Катями или Машами. А нехорошие были Игорями, Аллочками или – ещё того хуже – Эдуардами и Виолеттами.

Угадывание сюжетов по взгляду на список действующих лиц стало нашей постоянной игрой в преддверье спектакля, а сама пьеса смешила, хотя и претендовала на драматизм и воспитательное воздействие на зрителей.

Время шло. Я чувствовала себя в качестве лектора всё увереннее. Рискнула даже выступить в этом качестве вне институтских стен: то в Доме учителя, то в городской библиотеке.

Однажды меня пригласили даже в Консерваторию. Был назначен концерт из симфонических отрывков Бетховена и Берлиоза, связанные с сюжетами трагедий Гете, и меня попросили предварить концерт вступительным словом об авторе «Фауста» и «Эгмонта».

Представив себе огромный зал саратовской Консерватории, лишь немногим уступающий своему московскому собрату, я сначала струхнула. Но быстро сообразила, что люди, которые там соберутся, захотят слушать музыку, а не какое-то там литературное вступление, и моя задача состоит в том, чтобы оно было как можно более коротким. Я это учла и, действительно, вполне уложилась в двадцать минут вместо предоставленных мне полчаса. Публика была несомненно благодарна мне за это немногословие и даже наградила меня хлопками, правда не вполне похожими на «аплодисменты, переходящие в овацию».

Это был единственный в том году случай, когда я рискнула облачиться в долгополый тёмно-синий пан-бархат, привезённый мною из Москвы.

Если один из известных рассказов Ираклия Андроникова, не преувеличение, то он в роли консерваторского лектора робел больше, чем я.

Значительно больше я робела, когда меня в том же качестве пригласили в редакцию городской газеты «Коммунист». Там я должна была делать обзор современной зарубежной литературы «в широких масштабах», как было сказано в объявлении.

Задача не из лёгких, тут двадцатью минутами не отделаешься! Мне предстояло выступить целый час. И перед кем? Не перед настроенными на праздничный лад любителями музыки, а перед строгими и придирчивыми партийными дяденьками. Попробуй только произнести в их присутствии какую-нибудь «нету» формулировку! Ведь «Коммунист» для Саратова – всё равно, что «Правда» для СССР.

При помощи журнала «Интернациональная литература», нащипав всё, что возможно из его обзоров и статей, я составила шпаргалку, от которой против своего обыкновения не отлепляла глаз, – но всё равно было очень страшно.

Моё деловое общение с редакцией «Коммуниста» продолжалось и после этой лекции. И в этом учебном году, и в следующем мне стали заказывать рецензии на премьеры спектаклей, которые ставили в городских театрах, если авторами были зарубежные авторы.

Хотя эти рецензии были коротенькими, но требовали от меня большого напряжения. Не будучи театроведом, я не имела никаких объективных критериев для оценки качеств актёрской игры, режиссуры, сценического оформления. А ограничиваться субъективным «понравилось – не понравилось», «хорошо – посредственно» было бы неприлично. Спектакль – не ученическая тетрадь, а я – не наставница. Каждую формулировку приходилось по нескольку раз перекраивать. А главное, пришлось в дополнение ко всем премудростям, которым меня обучила аспирантура, многому дополнительно доучиваться, просматривая в городской библиотеке журнал «Театр» и чужие театральные рецензии в столичных газетах.

Спасибо ещё, что то примитивное, что у меня тогда получалось, попадало не сразу на газетную полосу, а сначала на редакторский стол для дополнительной шлифовки.

Гордиться этими рецензиями я основания не имею. Но ими очень гордился мой папа, вспоминая, как в дни своей молодости он публиковал нечто подобное на страницах «Нижегородского листка» под красивым псевдонимом «Топазо».

Папины рецензии и сейчас целёхоньки, а мои – нет, о чём я жалею, несмотря на всю их беспомощность. Как-никак – пер-

вые мои публикации, первое появление моей фамилии на печатных страницах.

Номера «Коммуниста» с этой фамилией (несколько штук) бесследно пропали у меня после того, как в послевоенные уже годы был арестован мой московский зав.кафедрой профессор Нусинов, а вслед за ним – и его сравнительно молодая жена. Она собирала в то время материал для театроведческой диссертации о деятельности советских областных театров, и я, по просьбе Нусинова, их ей отдала. На время, конечно, но оказалось – навсегда.

Моя внеинститутская деятельность была хороша тем, что не только льстила моему тщеславию, но и существенным образом пополняла наш семейный бюджет. За неё хорошо платили. Нам и наших двух зарплат вполне хватало, но дополнительные деньги никогда не бывают лишними. Особенно, когда я ездила в Москву и покупала моим близким подарки и съедобные гостинцы «местного колорита».

Моя жизнь в первый год моего педагогического дебюта была так напряжена и в то же время так интересна, что я даже не заметила, что никакого приятельского кружка у меня нет для обмена мыслями и впечатлениями. Мне вполне хватало Коли и переписки с мамой.

Лишь на пороге 1939 года мне взгрустнулось. Ну хорошо, – куплю я вина, торт, всякие копчёности, постелю на стол белую скатерть, нацеплю на себя всё лучшее, что у меня есть... А дальше что? Сидеть вдвоём? Но мы сидим вдвоём каждый вечер. Эта наша повседневность, а в новогоднюю ночь хотелось бы праздника, многолюдия...

Чтоб взбодрить себя я даже нарисовала шарж, изобразивший нашу новогоднюю встречу тет-а-тет, и послала его родителям, чтоб они увидели, что я не хандрю, а отношусь к судьбе юмористически.

К счастью, мы в одиночестве не остались. Нас пригласила на новогоднюю встречу в свою семью наша коллега с кафедры русской литературы Анастасия Гавриловна Пенцова. Компания была небольшая: лишь она с мужем и мамой и две девочки – шестнадцатилетняя Наташа и четырнадцатилет-

няя Лирочка. Было очень тепло и душевно. Всё на столе было домашнее, собственными руками приготовленное. Не только мать и бабушка, но и обе девочки имели поверх нарядных платьев белые передники в знак того, что и они, как равноправные хозяйки, принимали участие в том, что было испечено и изжарено.

Нашим близким другом А. Г. Пенцова не стала – она и её муж были значительно старше нас с Колей, но я навсегда сохранила к ней благодарную память за то, что она в ту новогоднюю ночь поделилась с нами уютом своего очага.

33 © ПОТОК ЗАЩИТ И РАЙСКИЕ КУЩИ

1938–1939 учебный год близился к своему завершению. Я уже получила от Министерства уведомление о том, что в дополнение к учёной степени кандидата наук я официально утверждена в звании доцента. Коля к назначенному сроку завершил и отпечатал свою диссертацию, и ему требовалось безотлагательно везти её в Москву, в наш родной Бубновско-Ленинский, чтоб с ней успели познакомиться и местные учёные мужи, и официальные оппоненты. Диссертацию можно было выслать и по почте, но как можно доверить почте такую ценность! К тому же соискателю было важно предварительно кое с кем встретиться, кое с кем поговорить. «Враг народа» Ф. П. Шиллер не был Колиным научным руководителем, но Коля при нём был зачислен в аспирантуру, вследствие чего и те, кому надо, и те, кому не надо могли проявить к его диссертации повышенное внимание.

Колю беспокоило и то, что зав.кафедрой воспитавшего нас литфака был незнакомый нам человек – профессор И. М. Нусинов, с которым нам обоим встречаться никогда не приходилось, – только его книги и статьи были нам известны. Как он отнесётся к работе человека «со стороны», поскольку к институтской аспирантуре Коля отношения уже не имел. Не придётся ли к чему-нибудь, потребовав каких-нибудь дополнений и исправлений?

А я была спокойна. Колину диссертацию я внимательно читала от главы к главе, по мере того, как она создавалась, и была твёрдо убеждена в её научной качественности. Не таким Коля был человеком, чтоб высказывать что-нибудь непроверенное и спорное, халтурить. Досадовала я лишь на то, что мне не придётся присутствовать на Колиной защите. Именно из-за этой защиты я завязла в преподавательской работе буквально «по уши», поскольку помимо моих собственных студенческих потоков, на меня свалились и Колины. К счастью, они, в большинстве случаев, падали на разные смены, но случались и совпадения, доставлявшие немало хлопот, помимо меня, помощнику декана и секретарям.

Колина диссертация, как я и ожидала, была одобрена единогласно.

Кроме тех, кто обязан был при этом присутствовать – в том числе и наши товарищи из младших по отношению к нам аспирантов, – на Колину защиту пришли Вера и моя мама. Мама явилась туда не столько в качестве благосклонной тётки, сколько журналистки – то есть с целью в ближайшем письме во всех подробностях описать мне «как всё это было».

Одновременно с Колей той же весной 1939 года отправился защищать кандидатскую диссертацию и Всеволод Алавердиевич, представив Учёному совету Консерватории не обычную машинопись, а свой только что опубликованный Музгизом трёхтомный труд «Очерки по истории вокальной методологии».

Мои родители понятия не имели о том, что Всеволод Алавердиевич над ним работал, только после выхода в свет этих трёх солидных книг их автор похвастался моему папе. Читая их, папа обратил внимание на то, что В. А. Багадуров, анализируя своеобразии певческих голосов (их тембры, диапазоны и т.п.), уделяет большое внимание анатомии человеческого горла и возможностям усовершенствования дыхательного аппарата – связок, бронхов, гортани – посредством специальных дыхательных упражнений. Помимо портретов известных певцов и певиц, книга обильно иллюстрировалась схематическими изображениями человеческого горла и грудной клетки в том или ином ракурсе и состоянии. Видимо, как заметил по этому поводу папа, Все-

волод Алавердиевич не напрасно изучал, почти одновременно с ним, естествознание в специальном отделе университетского физико-математического факультета.

Защита диссертации В. А. Багадунова завершилась триумфально: после восторженных похвал со стороны и официальных, и неофициальных оппонентов Учёный совет принял решение присудить соискателю степень не кандидата, а доктора искусствоведческих наук.

До этого дня из двух зятьев бабушки Юли первенство держал папа: он стал кандидатом наук и доцентом в то время, когда Всеволод Алавердиевич всё ещё пребывал в «старших преподавателях». В 1939 году новоиспечённый доктор, а вскорости и профессор обогнал своего свояка, правда, ненадолго: через несколько лет и папа стал не только профессором, но и членком, снова выиграв «состязание».

Кстати сказать, В. А. Багадунов стал первым в СССР доктором искусствоведческих наук по специальности музыковедение. Лишь после его защиты это звание перестало быть редкостью и исключением.

Несмотря на то, что на исходе 1938–1939 учебного года мне пришлось работать за двоих, мимо меня не прошла и диссертационная страда на Саратовском литфаке, где предстоял первый в его истории выпуск аспирантов – воспитанников А. П. Скафтымова и А. М. Лукьяненко. Одновременно с этой молодёжью должны были защищать свои кандидатские и люди постарше, из преподавательского состава, в том числе: декан литфака Е. Т. Павловский, А. Г. Пенцова, лингвист В. П. Воробьёв и его супруга Т. М. Акимова, работавшая в составе обеих литфакских кафедр, поскольку она вместе с мужем преподавала старославянский язык и одновременно с этим один из разделов русской литературы – фольклор.

В то время Учёному совету Саратовского педвуза, как вузу совсем ещё молодому, ещё не было даровано право рассматривать и утверждать диссертации. Этим правом обладал Университет. У пединститутских специалистов по историко-политическим и точным наукам были собратья из числа университетских

учёных мужей, но парадокс заключался в том, что ни литературоведов, ни специалистов по русской лингвистике там не было, поскольку не было и филфака. Следовательно, оценивать пединститутские диссертации, рождённые на литфаке, и решать их судьбу голосованием должны были люди, хотя и почтенные, но совсем не специалисты в соответствующих областях. Какие критерии у них могли быть? Только доверие к словам официальных оппонентов и внешние субъективные впечатления от соискателей: насколько интеллигентно они выглядят и грамотно ли выражают свои мысли.

Согласно тогдашним правилам, соискателям на кандидатскую степень полагалось два официальных оппонента: один доктор и один кандидат соответствующих наук. При этом один из них обязательно должен был являться человеком «со стороны»: сотрудниками одной и той же кафедры им быть не полагалось.

Помню, как я опешила и растерялась, когда, совсем для меня неожиданно, мне было предложено стать официальным оппонентом всех скафтымовских воспитанников, а также моих коллег, которые были значительно старше меня.

Какой я, к черту, специалист по русской литературе? Ведь я знаю её только в тех рамках, которые предусмотрены для школьных учительских программ!

Однако брыкаться я не имела права. Необходимо было помочь коллегам и вывести из трудного положения факультет.

Первоначальную мою растерянность начали сменять и утешительные соображения, которые меня успокоили. Я вспомнила, что учёные мужи, перед которыми мне придётся разглагольствовать, – отнюдь не литературоведы-русисты и вряд ли в чём-нибудь недостаточно научном смогут поддеть меня или моих подзащитных. А за свою марксистскую идеологию я была вполне спокойна: чуть ли не десять лет без перерыва «повышаю свой уровень».

Потом подумалось о том, что, судя по моим наблюдениям, и от самих диссертантов, и оппонентов члены Учёного совета совсем не ждут многоречивости. Чем короче будет моё выступление, тем более благоприятное впечатление оно

произведёт – так же, как вступительное слово лектора перед концертом.

А полностью я успокоилась, когда прочла заглавия диссертаций, представленных к защите: «Господа Головлёвы...», «Лопухин и Вера Павловна.», «Рудин...». Все – добрые старые знакомцы. Перечитывать тексты не придётся – разве только во что-нибудь исследовательское заглянуть. Важнее подумать о том, какого типа платье подобает оппоненту.

До той поры встречаться с литфаковскими аспирантами мне почти не приходилось. Они редко появлялись в институтских коридорах, поскольку даже повышать «идеологический уровень» им приходилось не вместе с нами, а отдельно по специальной программе.

Однако в те дни, когда мой стол был загружен чужими диссертациями, мне не только с ними, но и с их авторами довелось познакомиться.

Являлись они ко мне домой с деловыми визитами и почтительными вопросами:

– Позвольте узнать ваше мнение о моей работе?

– Не посоветуете ли вы, какой дополнительный материал следовало бы по этой теме почитать?..

Почтительную мину выражало даже лицо Евграфа Покусаева – молодого человека на три года меня старше, насмешника и задиры, которого с тех пор мне редко приходилось видеть серьёзным. Темой его диссертации была «Специфическая форма сатиры Салтыкова-Щедрина», в соответствии с которой он и сам был всегда готов кого угодно поддеть или разыграть. Впоследствии Е. И. Покусаев стал профессором и доктором наук, но даже в зрелые годы и черты, и выражение его лица больше годились для театрального комика, чем для учёного мужа.

С первых же слов я старалась сбить этих моих посетителей с их почтительного тона, объявив каждому из них, что я сама вчерашняя аспирантка – и в области русской литературы специалистом не являюсь. Предлагала им чай со всем подходящим, что у меня было под рукой, и незаметным образом вместо предполагаемой консультации возникала приятельская болтовня отнюдь не на диссертационную тему.

Так, чуть ли не с первого взгляда родились мои дружеские взаимоотношения с Евграфом, а вскоре – и с его женой Шурой, с которой он меня вскоре познакомил, – милым душевным человеком.

Шура так же, как Лида Баранникова и Маргарита Дотцауэр, училась на одном курсе с Евграфом, – тоже на литфаке. Все они принадлежали к первому поколению выпускников только что созданного Саратовского пединститута, где их обучали русской лингвистике и литературе, помимо Скафтымова и Лукьяненко, те самые лица, которые летом 1939 года вместе с ними защищали свои диссертации: А. Г. Пенцова, Е. Т. Павловский, В. П. Воробьёв, Т. М. Акимова.

В отличие от своего супруга и от Лиды с Маргаритой, Шура не была уроженкой Саратова, а приехала получать высшее образование из маленького захолустного городка Саратовской области Красный Кут. Но, подобно им, стала отличницей и вполне могла бы тоже поступить в аспирантуру, но сама не пожелала этого. Её, так же, как и Веру Новосёлову, влекло в школу, к подросткам, хотелось работать именно там. Кстати, она и характером была похожа на Веру – такая же жизнерадостная, энергичная, любознательная. Пока Евграф трудился над кандидатской, Шура успела стать одной из лучших и известнейших в городе учительниц. Постоянно организовывала для своих школьников экскурсионные походы и поездки, выставки, диспуты, – именно благодаря ей школа, где она работала, приобрела славу лучшей в городе. Позже Шура, как и Вера, получила звание Заслуженного учителя, была награждена медалью. Её деятельности не помешало даже то, что она воспитывала и собственную дочку.

Защита всех представленных нашим литфаком диссертаций прошла благополучно, тем более что членам университетского Учёного совета, которые за них голосовали, были лица других специальностей. Одна только Пенцова, диссертация которой называлась «Записки охотника Тургенева», чуть сама себя не погубила, неправильно поняв задачу вступительного слова, которое ей было предоставлено.

Скафтымов и Лукьянченко, видимо, объяснили своим аспирантам, что именно в этом вступительном слове следует го-

ворить, а о ней в этом отношении позаботиться было некому. Поэтому вместо того, чтоб объяснить, что нового она открыла у Тургенева, кого она своей работой дополнила или опровергла, Анастасия Гавриловна хорошо поставленным голосом и типично учительским назидательным тоном принялась излагать общеизвестные факты из тургеневской биографии и фабулу «Записок». После этого какой-то настырный старичок из числа членов Учёного совета на неё серьёзно набросился:

– Какое это научное исследование! Именно такое сочинение с таким названием я писал, когда учился в шестом классе гимназии!

К счастью, Скафтымов спас положение, сказав о Пенцовой и о её научном труде доброе слово. Авторитет Скафтымова в саратовской научной среде был велик и, благодаря его вмешательству, эта диссертация тоже была утверждена, хотя далеко не единогласно. В одиночку, без Скафтымова, я бы не отстояла этот примитив.

Университетскому Учёному совету пришлось тем летом немало потрудиться, поскольку подготовленные к защите кандидатские диссертации, помимо литфака, представляли и другие пединститутские факультеты, – тоже в лице и выпускников новорождённой аспирантуры, и ещё не остепенённых преподавателей. В течение каких-то полутора месяцев пединститут обогатился не только политически благонадежными кадрами (об этом заботился специальный отдел), но и кадрами высококвалифицированными в научном отношении.

На этом основании он вскоре получил законное право принимать к защите кандидатские диссертации на собственном Учёном совете, не утруждая Университет, чему, без сомнения, университетские научные кадры очень обрадовались.

Во время моего знакомства с аспирантами, чьими оппонентами мне предстояло быть, я с наибольшим интересом ждала встречи с Маргаритой Дотцауэр.

Встречаться с ней мне раньше не приходилось, но мне в течение учебного года прожужжали о ней уши и мои коллеги из числа дам почтенного возраста, и, в особенности, секретарша при деканате. Эта секретарша, тоже немолодая, славилась на весь инсти-

тут как отъявленная сплетница – это её качество было отражено даже на её лисьей физиономии. Не хочу даже называть её имя или фамилию, – она этого не заслужила.

Старым институтским работникам сия особа, вероятно, успела надоесть, но на меня, как на новичка, она набросилась, хотя я всячески пыталась от этой чести уклониться, давая ей понять, что выслушивать её мне и некогда, и неинтересно.

На основании того, что мне пришлось от неё услышать, в моём представлении сложилась такая картина:

А. П. Скафтымов жили со своей супругой Ольгой Александровной душа в душу, как два голубка. Вырастили сына Павлушу – красавца и умницу. Но Павлуша заболел тяжёлой формой туберкулёза – так называемой скоротечной чахоткой, и, когда он лежал в больнице почти при смерти, арестовывают и ссылают Ольгу Александровну. Смерть Павлуши последовала сразу после ареста матери. Понятно, что Александр Павлович был убит горем. Воспользовавшись его беспомощным в то время душевным состоянием, нахальная аспирантка-первокурсница по фамилии Дотцауэр – пошлая мещанка и ничтожество – подчинила его себе и влезла в его дом в качестве жены, хотя и неофициальной. Заставила его написать ей диссертацию (сама бы она этого не сумела!) и живёт сейчас в полное своё удовольствие в качестве профессорши, пользуясь профессорской квартирой и тратя на свои прихоти профессорскую зарплату.

Кое-что в этой легенде оказалось правдой. Действительно, был и арест жены, и кончина сына, которому тогда едва исполнилось двадцать, и который действительно был всесторонне талантлив и хорош собою. Враньём оказалось лишь то, что супружество Скафтымовых представляло собой идиллию. Александр Павлович пользовался обожанием многих представительниц прекрасного пола, включая собственных студенток и аспиранток, и вёл себя по отношению к этим поклонницам далеко не по-монашески, хотя ни одну из них в свой дом не поселял, позволив это себе лишь после того, как его дом опустел.

Конечно, любопытно мне было взглянуть на «коварную искусительницу», «интриганку», «демона в юбке», о которой мне наговорили кучу гадостей. Но при первой же встрече, как толь-

ко Маргарита Дотцауэр пришла ко мне домой, чтоб «узнать моё мнение» и «воспользоваться моей консультацией», я поняла, что всё, что мне о ней наболтали, – вздор и клевета. Маргарита понравилась мне сразу, как и Шура Вознесенская-Покусаева.

Ничего демонического в «демоне» даже не намечалось. Передо мной предстало существо моложе меня, небольшого роста, светловолосое, голубоглазое и кругленькое, что подчеркивалось тем, что Маргарита находилась тогда на последнем месяце беременности. Её носик, кругленький, как и всё остальное, не давал возможность назвать это лицо красивым, но оно было, безусловно, приятным и миловидным. Мне понравилась её улыбка – простодушная и застенчивая. От неё веяло чем-то уютным и домашним, точно от тех немецких Луиз и Гретхен в белоснежных косынках, которых я встречала у Гёте, Шиллера и у художников, которые их иллюстрировали. Маргарита и была полунемкой по отцу, хотя выросла в русской семье: её родной отец, немец Поволжья, умер, когда ей было два года.

Кроме самой Маргариты, понравилась мне и её диссертация «Романтические поэмы Лермонтова». Маргарита была натурой восторженной, романтической – не удивительно, что Лермонтов был тогда и остался на всю жизнь её любимейшим поэтом. Писала она о нём горячо, любовно, но не просто как восхищённая читательница, а аналитически, со знанием дела. Многие её наблюдения, касающиеся лермонтовского стиля и лермонтовских связей с его современниками, были новы, во всяком случае, для меня. Влияние Скафтымова, конечно, сказывалось, но и самостоятельно воспринимать художественное слово и размышлять о нём Маргарита умела. Слухи о том, что диссертацию вместо неё написал сам научный руководитель, оказались таким же вздорным злым вымыслом, как и всё остальное.

С первых же дней моего общения с Маргаритой, которое быстро переросло в крепкую дружбу, мне стало ясно, как она была далека от сознательного дерзкого намерения влюбить в себя уважаемого профессора ради каких-то благ – материальных или карьеристских. Она сама была влюблена в него без памяти, подобно всем своим однокурсницам. И Лида Баранникова, и Шура Вознесенская впоследствии мне каялись, что и их

в студенческие годы не пощадила эта «повальная болезнь». «Как он умел говорить! Как интересно было его слушать! Как вдохновенно светились его глаза!»

Думаю, что меня эта всеохватывающая влюблённость миновала лишь потому, что мне тогда редко приходилось слушать Александра Павловича. И встречалась я с ним, в основном, на Учёных советах и на политзанятиях, где он уныло отсиживал положенные часы с тоскливой физиономией и с глазами, в которых никакого вдохновенного свечения не наблюдалось.

Кроме того, меня никогда не привлекали мужчины, которые нравились многим, – будь они хоть раскрасавцами. Не хотелось находиться в стаде. Хотя я родилась самокритичным человеком, придирчиво относившимся к собственным внешним и внутренним качествам, я предпочитала тех, кто был склонен восхищаться мной, хотя и незаслуженно, тем, кто сам был предметом всеобщего восхищения, точно идол.

Когда Александр Павлович остался в трагическом одиночестве, без сына и без жены, его коллеги – и мужчины, и дамы – поспешили окружить его вниманием. В числе этих дам были и сердобольные сослуживицы зрелых лет, и влюблённые студентки. Они заботливо наводили порядок в жилье своего учителя и старались его накормить – Александр Павлович был тогда настолько подавлен, что без их заботы забывал о необходимости позавтракать или пообедать.

Разумеется, Маргарита с её отзывчивым сердцем находилась в числе самых рьяных добровольных «нянечек». Никакие надежды в то время её не окрыляли – только безмерное сострадание к обожаемому человеку, кумиру. Но когда Александр Павлович дал ей понять, что нуждается не только в заботах, но и в женской ласке, – она мгновенно и радостно откликнулась, несмотря на то, что Александр Павлович был на целых тридцать лет её старше: Маргарите в начала их романа было двадцать четыре, ему – пятьдесят четыре. Тут же она поставила перед собой цель: подарить своему избраннику младенца, который отвлёл бы его от депрессии, заменив покойного Павлушу. До этого она ни о каком материнстве и не помышляла, но теперь – иное дело. Было необходимо спасать человека.

«Уловка интриганки», «крючок, на который ей удалось словить профессора, сделав выгодную партию», – шептались завистницы, – но в этом не было ни капли правды.

Совсем иные побуждения владели Маргаритой.

Казалось, и Александр Павлович был рад своему будущему отцовству. Как только её положение обнаружилось, он поселил её у себя. И она из приходящей тайной подруги превратилась по его желанию в его официально признанную гражданскую жену. Иначе поступить он не мог: Маргаритин отчим, никогда не выражавший по отношению к ней добрых чувств, начал бы её жестоко бранить за «утрату девичьей чести».

Переехав к Александру Павловичу, Маргарита избавилась от неизбежных поправок со стороны этого, хорошо ей известного, поборника добродетели, но зато стала мишенью хороших пересудов. Усердствовали с высот своих «высоких принципов» и почтенные матроны, и дамы помоложе, причём чесание их языков было наиболее ядовитым, поскольку многим из них хотелось бы оказаться на месте Маргариты. Страшная вещь – зависть!

Маргарита, разумеется, замечала это всеобщее недоброжелательство, но первое время оно было для неё не страшнее комариных укусов, – настолько она была упоена своим неожиданным счастьем.

Чувствовала себя одновременно и любимой студенткой, заменившей собою целый гарем, и пречистой Марией после Благовещения.

Маргарита была столь же виновна в «обольщении» профессора Скафтымова, как её тезка из трагедии Гёте, хотя досужие кумушки преобразали её в самого Мефистофеля.

Плевать ей было на кумушек!

Однако даже в эти самые радужные свои годы, когда она, любящая и любимая, с радостью вынашивала и будущее дитя, и кандидатскую диссертацию, счастье её не было безоблачным. Слишком велика была возрастная разница, слишком велик душевный контраст между много пережившим, трагически настроенным мужчиной и жизнерадостной по своей натуре молодой женщиной. Маргарите хотелось быть на людях, ходить

с мужем в театры, на концерты. Александр Павлович решительно это отвергал. Его единственными выходами из дома, помимо работы, были только посещения Павлушиной могилы. Он навещал её каждое воскресенье, ни разу не пригласив Маргариту ему сопутствовать, да и она такого желания не выражала.

Одну из комнат своей квартиры Александр Павлович превратил как бы в музей Павлуши: и постель бедного юноши, и его стол со всем тем, что там находилось, и всё то, что было развешено на стенах, сохранялось в том самом виде, когда «скорая» отвезла его в палату обречённых. Александр Павлович, никогда не возражавший против того, чтоб его обслуживали, в «Павлушину комнату» никого не впускал и поддерживал в ней порядок сам.

Маргариту обижало то, что и для неё вход в это святилище был запрещен. «Точно это храм, а я – нечистое животное», – говорила она. Обижало и то, что любимый человек, став её страстным любовником, оставался во всех других отношениях человеком холодным и замкнутым. Нуждался в ней, как в женщине, добросовестно исполнял роль научного руководителя, но в свой внутренний мир её не впускал. А для неё он стал центром всей жизни, её единственным смыслом. В этом отношении взаимностью она не пользовалась и страдала от этого. «Мне кажется, что я для Александра Павловича – не близкий человек, а что-то вроде стакана с алкоголем, которые иные люди выпивают с горя», – говорила она мне.

У Маргариты не было оснований ревновать его к какой-нибудь другой женщине, что не мешало ей постоянно страдать от ревности. Ревновала она Александра Павловича к покойному Павлуше и к двум наиболее близким ему людям. Этими людьми были Евграф Покусаев – его любимый ученик, в больших научных способностях которого он был убеждён и, в особенности, – Александр Петрович Медведев.

Александр Петрович, как и Евграф, был учеником Александра Павловича, даже ещё более давним: в дореволюционное время он обучал его в гимназии, потом – в университете. Постепенно их возрастная разница стиралась, и к тому времени, когда я приехала в Саратов, это были уже не учитель и уче-

ник, а два близких друга. Правда, до конца жизни Павловича Петрович смотрел на него не как на равного, а снизу вверх, благоговейно.

Александр Павлович был лет на двадцать пять старше Павлуши, а возраст Александра Петровича находился как раз посерединке между ними. Пока Павлуша был здоров, они трое в летнее время были неразлучны. Вместе разъезжали по Волге на лодках, охотились, ловили рыбу, ночевали у лесных костров, что-то на этих кострах варили или жарили. А в домашней обстановке, когда рыбацко-охотничий сезон заканчивался, нередко устраивали в скафтымовском доме интимные музыкально-поэтические вечера. Павлуша – студент Консерватории, без пяти минут пианист, подсаживался к роялю и наигрывал что-нибудь лирическое, двое старших читали вслух свои любимые стихи – то Тютчева, то Пушкина со всей его плеядой. Только вокалистов среди них не было, не было никого, кто смог бы, не оскорбляя ничьих ушей, соединить музыку с поэзией в романсе.

Единственной слушательницей, которая присутствовала на этих маленьких концертах, была Ольга Александровна.

Маргарита сознавала, что во многих отношениях Александр Петрович значил для её любимого больше, чем она, и за это недолюбливала его. Александр Петрович, со своей стороны, относился к ней более чем сдержанно. Говорил: «Она ему не пара». Но ей был благодарен за то, что она, по его словам, спасла от отчаяния их общего кумира и учителя. «После того, как Павлуши не стало, Александр Павлович был близок к самоубийству. Я очень за него боялся. Только близость с Маргаритой вывела его из этого страшного состояния», – говорил он мне позже. Однако, холодно относясь к Маргарите, Александр Петрович возмущался теми, кто поливал её грязью.

После того, как экзаменационно-диссертационная пора осталась позади, нам с Колей следовало подумать о летнем отдыхе. Колю манили всякого рода экскурсионные путёвки, а мне хотелось пожить вместе с родителями, с которыми мы теперь жили в разных городах. Того же желали и мама с папой. Александра Арсеньевна соблазняла их совместной путёвкой в Крым, но перед этим соблазном мои родители устояли,

не только потому, что для людей их возраста крымские пляжи в разгаре лета были совсем не полезны, но и из-за самой Александры Арсеньевны. Они оба неплохо к ней относились, ценя её добродушие и постоянную готовность помочь при всех бытовых трудностях, но находили её слишком «голосистой» и тяготились тем, что её посещения были более часты, чем бы им хотелось. Папа говорил: «Таких людей следует принимать только маленькими порциями».

Как раз перед нашими отпусками Евграф и Шура предложили мне и Коле поехать вместе с ними в село Романовку Балашовского района, где они уже отдыхали минувшим летом, и остались очень довольны:

– В любой избушке можно снять горницу за гроши. Полно фруктов и овощей, тоже дешёвых. Рядом речка, лес...

Я немедленно об этом телеграфировала маме, и она немедленно согласилась тоже ехать в эту благословенную Романовку вместе с папой и Леной. Кроме обещанной дешевизны и моего общества, её соблазнило то, что в Романовку (в отличие, например, от Акуловки) не следует везти ни домашней утвари, ни постельного белья – всё это предоставляется хозяевами.

И мы, – вернее, женская часть наших семей, – немедленно отправились в путь (одна – с востока, двое других – с запада) в неведомый нам Балашов, чтобы там, пересев на другой железнодорожный путь, добраться до Романовки. Коля и папа должны были присоединиться к нам позже: им обоим в июле предстояла работа с заочниками.

Огорчены нашим скоропалительным решением были только дедушка и бабушка Маша. Они надеялись, что мы снимем дачу в Пушкине, рядом с ними. Однако мама была человеком гордым и с тех пор, как наши дачные жильцы отказались от своего первоначального обещания освободить наши комнаты летом, снимать дачу в Пушкине категорически отказывалась: «С какой стати я буду платить за чужую дачу, если рядом будет стоять наша собственная, на которую я ухлопала столько сил и здоровья? Чтоб наши же жильцы над нами же смеялись, как над последними дураками?»

Мамины рассуждения были справедливы, но мы не думали

тогда, что ради самолюбия обижаем бедных старичков. Старшая из жиличек обслуживала их, то папа, то мама их часто навещали – казалось бы всё в порядке. Но совсем не об этом старички мечтали, когда меняли нижегородские знакомства и бытовые удобства на дачные неудобства. Они надеялись, что хотя бы летом будут жить с нами общей семьей, как было заведено, когда они жили в Нижнем.

А ведь в том 1939 году жить им оставалось только два года – два лета...

Вместе с нами и с Покусаевыми в Романовку приехал и близкий друг Евграфа – Александр Петрович Медведев с женой Лидией Павловной Вудтке.

Александр Петрович начал работать в пединституте одновременно со мной, до 1938 года он преподавал словесность в средней школе. В пединституте он стал преподавателем методики.

До Романовки я была с ним знакома, как говорится, только «шапочно», – встречались в институтских коридорах или в деканате.

Знакомилась я с Александром Петровичем, если можно так выразится, по частям. Первым делом заметила красивые голубые глаза, которые подолгу провожали меня, когда я проходила мимо. Дело не в голубизне. У моего двоюродного брата Гули глаза тоже были голубого цвета, но я никогда не считала их обаятельными. Наоборот, нахальными. Дело было в том, что взгляд у Александра Петровича был необыкновенно внимательный. Он не смотрел на человека, а как бы старался проникнуть ему прямо в душу. Таким взглядом должны обладать врачи-психоневрологи, судебные следователи, церковные духовники. Кроме того, Александр Петрович обладал редкой способностью «улыбаться одними глазами».

До знакомства с ним я встречала это выражение в книгах и думала, что так не бывает, что это всего-навсего литературный штамп. Но он безмолвно убедил меня в том, что очень даже бывает. Хотя улыбаться в обычном смысле – то ласково, то иронически – Александр Петрович тоже умел. Лишь хихикающим или хохочущим я его себе не представляю.

Вслед за глазами я заметила и губы – красиво очерченные и тоже склонные к лёгкой иронии. Потом разглядела статную худощавую фигуру, лёгкую походку. Вот только волос на голове разглядеть никак не могла. Возможно, они и были, но в таком ограниченном количестве, что их обладатель, не желая иметь залысины на лбу или плешь на макушке, предпочитал брить голову «под Котовского» (или «под Хрущёва», как сказала бы я позже).

Первоначально я даже не замечала того, что волосы у Александра Петровича отсутствуют. Замечала только, что любой головной убор – и шляпа, и высокая каракулевая шапка, и простая кепка, – были ему очень к лицу. Не догадываясь, почему.

Так, в течение учебного года, точно из мозаики, создавался в моём представлении портрет Александра Петровича. Но только портрет. И постепенно, как Чеширский кот в «Алисе в стране чудес»: сперва одна улыбка, а уж затем всё остальное. Лишь в Романовке я узнала о том, что у него приятный мягкий голос баритонального тембра, и что он умеет произносить что-то помимо уже знакомого мне утреннего приветствия.

Впоследствии Александр Петрович мне говорил, что и он первоначально воспринял меня не всю целиком, а начиная с макушки: я шла по коридору, а падавшие из окна косые солнечные лучи делали мои волосы блестящими и золотыми. «Такая роскошь, такое великолепие. Точно корона на царице».

Как хорошо, что осмотр моей персоны этот человек начал сверху вниз, а не наоборот: видом своих нижних конечностей я вряд ли сумела бы произвести на него благоприятное впечатление.

Настоящее моё знакомство с А. П. Медведевым состоялось лишь в Романовке. Только там, сквозь общую праздную болтовню передо мной шаг за шагом начала открываться его внутренняя человеческая суть.

Романовка всем нам понравилась – не обманули меня Покусаевы! Только добраться до неё было непросто, несмотря на относительную близость к Саратову: два железнодорожных перегона с пересадкой в районном городке Балашове, а в заключении – получасовая тряска на автобусе. Но именно из-за

этой удалённости Романовки от областного центра, – какая там оказалась дешёвизна! Не имея возможности вывозить свои скоропортящиеся продукты на саратовский рынок, местный колхоз охотно распродавал их дачникам на маленьком местном базарчике, причём литровыми банками – только молоко и молочные продукты, а фрукты и ягоды: яблоки, груши, вишни, сливы, крыжовник – вёдрами, так же как картофель и многие овощи: помидоры, баклажаны, морковь. При этом ведро всей этой снеди стоило лишь немногим дороже саратовских килограммов и было значительно свежее. Ещё более дёшево овощи «прямо с грядки» или «яйца прямо из-под курочки», как выражалась мама, иногда можно было купить и у собственных хозяев, сдававших нам горницы в своих избушках.

Известно, что процесс коллективизации в СССР происходил болезненно, – в частности, в знакомых мне Акуловке и Шатках. Романовка пострадала меньше, к тому же в 1939 году многое успело нормализоваться, стать привычным. Коров, овец и лошадей колхозникам иметь в личном пользовании было запрещено, но разрешалось иметь кур, откармливать поросёнка (не больше одного на семью!), а на маленьких, так называемых приусадебных участках росли фруктовые деревья и теснились грядки с корнеплодами и зеленью. За всем этим ухаживали бабушка и дети, включая малышей. А молоко и хлеб местной выпечки (исключительно пшеничной) трудящиеся члены семьи несли прямо с колхозной фермы, а мы – с базарчика. Продавщицами там были те же бабушки и подростки, которые сами и огородничали. Заинтересованные в том, чтобы поскорее всё это распродать, они не держались за прибыльные цены.

Во второй половине лета там появились тыквы, арбузы и дыни с колхозной бахчи.

Вокруг Романовки широким горизонтом расстилались пашни, эти самые бахчи и зелёная степь, как оазис среди этого однообразия. Она тянулась вдоль речки, на противоположной стороне которой находился смешанный лес – не такой большой, к каким я привыкла в Подмоскovie, но вполне пригодный для прогулок, да и грибы в нём водились, правда, не самых лучших сортов – главным образом, сыроежки и лисички.

Большим благом для романовских дачников было то, чего акулловские не знали: местные старушки за отдельную плату (очень скромную) брали их «на пансион» – то есть кормили полхлёбками, щами, борщами и кашами домашнего производства заодно с завтраками для себя и своих домашних. Шура Вознесенская и Лидия Павловна Вудтке охотно этим кормились и кормили своих мужей, а моя мама использовала эту вегетарианскую стряпню лишь в качестве полуфабрикатов (тогда этого слова ещё не существовало, как не существовало и самих магазинных полуфабрикатов – московские домохозяйки сами готовили фарши, крутя мясорубки). Хозяйские похлёбки мама сдабривала сметаной, жареными помидорами и всякой огородной зеленью, а хозяйскими кашами или отварной морковкой начиняла голубцы или кабачки.

Трёхлетняя Наташа Покусаева стала нашей общей любимицей, и с ней охотно возились и играли мы все. И мордочкой, и повадками эта славная девчушка была вся в папу – такая же озорная, проказливая. Такой же вздёрнутый носик, такая же ямочка на подбородке и даже такой же лихой хохолок на макушке, не поддававшийся никаким попыткам перевести его из вертикального состояния в горизонтальный.

Поскольку романовские избушки были небольшими – по два – три окна на каждом фасаде, – наша семья рассыпалась по разным. Мои родители с Леной ночевали в одной, мы с Колей – в другой, визави, хотя кормились и чаёвничали за общим столом. Свою домработницу мама с собой не привезла, дав ей отпуск, но благодаря хозяйским «полуфабрикатам» и кое-какой моей и Леночкиной подмоге, не особенно обременяла себя кухней. И, как полагается дачнице, она и в лесу гуляла, и речку использовала для купания и для лежания на её берегу, то загорая на солнышке, то прячась от этого солнышка под тенью яблонь и груш.

Вероятно, мамина совесть была не совсем спокойна – так же, как у папы и у меня, – из-за того, что то лето, впервые за долгие годы, мы провели не вместе с нашими старичками, оставив их, как и зимой, на попечении старушки Фирсовой. Но уж очень невыносимой была для мамы мысль о том, что ей, дачевладелец, пришлось бы у кого-то снимать помещение, вызывая

этим усмешку злорадного торжества со стороны наглой Фирсовой-младшей, выигравшей судебный процесс и получившей законное право круглогодично жить на чужой жилплощади вплоть до совершеннолетия своего ребёнка.

Жаркие дневные часы мы – саратовские отпускники – проводили кто как мог и хотел, возле своих дач, купаясь и загорая прямо тут же, каждый возле своего огорода. Иногда Евграф и Александр Петрович, вооружившись удочками и земляными червяками, рыбачили вдвоём. Правда, их рыбачьими трофеями были только пескарики и прочая мелкая рыбёшка на радость хозяйским кошкам – единственным потребителям этих трофеев.

Однажды папа очень угодил всем литературоведам, проведя с ними по всем правилам методики зоолого-ботаническую экскурсию вместо обычной лесной прогулки.

А когда вечерело, и жара спадала, мы, литературоведы, в обязательном порядке собирались вместе в покусаевском садике. Наташу тогда укладывали спать, но её родители не решались далеко от неё отходить, поэтому место наших сборищ всегда были возле её окошка. Под яблонями, вишневыми, сливовыми или грушевыми деревьями расстилались пледы или что-нибудь их заменяющее. На них щедро насыпались фрукты – чаще всего груши и яблоки, поскольку они не пачкали соком подстилки, и мы – шесть человек – располагались в удобных полулежачих позах, причём диванными валиками для дам обычно служили их мужья.

Никакие ненастья нам не мешали, поскольку в летнее время их там не случалось. Правда, время от времени стремительно налетали сильные ливни, но и столь же стремительно прекращались, не оставляя после себя луж: земля торопливо впитывала в себя рухнувшую на неё воду, а горячее солнце спешило её высушить.

Леночка никогда к нам не присоединялась, возможно потому, что ей, двадцатилетней, мы казались «дяденьками» и «тетеньками», а, возможно, считая, что ей, студентке техникума, не место среди преподавателей вуза с кандидатскими степенями.

Родители мои тоже держались в сторонке, не желая «стес-

нять молодёжь», как бывало в Москве, когда у меня собирались гости.

О чём же мы разговаривали в окружении даров природы, рассыпанных перед нами и обильно теснившихся на ветках, которые над нами свисали? Ни о чём серьёзном. Никто из нас, в отличие от чеховского Ятя, не стремился «свою учёность показать». Чаще всего просто болтали о чём попало, как когда-то в Акуловке «на брёвнышках».

Но в Акуловке мы были птенцами, сидевшими под родительскими крылышками, а сейчас набрались кое-какого жизненного опыта и впечатлений. Пережитое нами и было нашей общей темой, причём, излагалось не в форме автобиографических монологов, а в виде беспорядочных воспоминаний об отдельно выхваченных эпизодах и встречах, обычно комических. Эту тональность обычно задавал Евграф. Как он, так и Александр Петрович, были увлечёнными охотниками. Но не только их рассказы были «охотничьими»: и мы с Шурой, и даже степенный Коля не избегали юмористических утрировок, чтобы «было поинтереснее».

Каждому было что вспомнить. Все мы побывали в разных местах, – правда, лишь в пределах железного занавеса, то есть нашей страны, встречались с разными людьми, повидали всякое. Александр Петрович прямо с гимназической скамьи кинулся в гущу гражданской войны на берегах Дона, в то время совсем не «тихого», Коля побывал плотогоном-лесосплавщиком, Евграф – грузчиком на волжских пристанях и т.д. и т.п. Шура вспоминала школу и свою родную в Красном Куте, и там, где она учительствовала.

К тому же в арсенале каждого из нас, помимо собственных впечатлений, был и неисчерпаемый колодец семейных преданий, – в частности всё то, что мне было известно о Владимирской гимназии и о Нижегородском Реальном училище, Коле – о волоколамских проделках выдумщицы Веры. Получались маленькие новеллы в духе новелл «Декамерона», тоже рождавшиеся в саду, на вольном воздухе. Только фривольный дух Боккаччо был нам чужд. Один лишь Евграф позволял себе иногда какую-нибудь вольность, но дамы его мигом ставили на место.

Языки работали у всех почти одновременно, поскольку рассказчиков остальные то и дело перебивали то насмешливыми, то просто шутивными репликами или, цепляясь за чей-то чужой рассказ, пользовались случаем, чтобы походя вставить слово о чём-то аналогичном.

Часто эта болтовня увлекала нас настолько, что мы забывали о времени и не замечали того, как заря и лёгкие вечерние сумерки уступают место темноте, а сквозь яблоневые и вишнёвые ветки то проливается лунный свет, то расстилается звёздное небо. То самое – акуловское.

Родители не бранили меня за позднее возвращение, а все остальные были сами себе хозяева.

Когда вечер уступал место звёздной или лунной ночи (всего заметнее это было, разумеется, в августе), наш шутивный тон незаметно и понемногу сменялся лирическим, задушевым. Начинало приходиться на память что-то иное, ни с какими житейскими курьёзами не связанное. Кто-то начинал декламировать любимые лирические стихи, и никто, поддаваясь привычке перебивать, не перебивал самодеятельных чтецов-декламаторов.

Полумрак... Лёгкая прохлада, такая приятная после знойного дня... Аромат поспевающих фруктов... Лирический настрой... Беззаботность... Как это было похоже на рай в библейском представлении! И как уместны здесь яблоки, без которых рай не рай. А змей-искуситель? Разумеется, мой был тут как тут, но так глубоко спрятан, что я ещё не замечала его присутствия. Только подсознательно ощущала, что он, хотя и на безопасном расстоянии, но не так уж далеко. Ни в каких греховных влечениях я тогда не призналась бы даже самой себе. То же самое испытывал и тот, для кого я сама стала невольной искусительницей. Ведь рядом с нами находились его жена, к которой он был так же заботлив и внимателен, как Коля ко мне. Обмен взглядами был. Но при этом полная безгрешность и незапятнанная совесть.

Как Евграф с Шурой, так и Александр Петрович с Лидией Павловной в студенческие годы учились вместе. На одном курсе и факультете. Только обе пары – в разное время.

Пройдя сквозь кровь и грязь гражданской войны, включав-

шую в себя и сыпной тиф, и многие другие напасти, недавний красноармеец естественно потянулся к чистенькой благовоспитанной девушке – вчерашней гимназистке, тем более что эта девушка принадлежала к интеллигентной патриархальной семье. Домашний уклад в семье Вудтке был ему в новинку, и очень его привлёк.

Лидию Павловну – в то время ещё Лиду – Александр Петрович полюбил всерьёз, ухаживал за ней долго и настойчиво. Ему было уже двадцать восемь, а ей двадцать три, когда они, давно окончив университетский филфак, наконец-то поженились. В то время он перевоспитывал трудных подростков в специальной школе для несовершеннолетних правонарушителей, а она трудилась над книжными каталогами и справочниками. Тихая библиотечная обстановка привлекала Лиду больше, чем школьная, шумная.

Молодожёны обычно стремятся отделиться от своих тещ и свекровей, но Александр Петрович, наоборот, был рад тому, что попал в гущу большой семьи, где быстро сдружился с обоими братьями своей жены и нисколько не тяготился тещей. Вероятно потому, что родной семьи у него фактически не было. Матери своей он не помнил, отца редко видел, мачеха его обижала, – вот и сбежал юноша из родительского дома, куда глаза глядят. На войну, – так на войну...

По словам Покусаевых, которые давно знали супругов Медведевых, лишь одно омрачало жизнь Александра Петровича: Лидия Павловна решительно отказывалась иметь детей, а для него жажда отцовства стала, по словам Евграфа, «навязчивой идеей». Возможно потому, что сам он не знал родительского тепла, а возможно и потому, что долгие годы общаясь с Скафтымовым и Павлушей, он наблюдал их душевную близость и горячую взаимную привязанность.

В нашей компании из шести персон Лидия Павловна не была «в активе». Охотнее слушала других, чем сама бралась что-нибудь рассказывать, что, вероятно, объяснялось тем, что она, в отличие от всех остальных, работала тогда не среди молодёжи, а библиотекарем, – а библиотекари, как известно, больше имеют дело не с людьми, а с книгами.

Лидии Павловне было далеко до такого живого, яркого человека, как Шура Вознесенская, но ничего плохого я сказать о ней не могу. Не нравилась мне в ней только одна черта, но не отрицательная, а чуточку смешная: её инфантильность в стиле театральных инжениу, не столько природная, сколько напускная, своего рода кокетство. Позже я встречала Лидию Павловну в официальной обстановке, где она держала себя совсем по-другому.

Если детским ужимкам и интонациям вздумала бы подражать я с моим ростом и туфлями сорокового размера, получился бы кошмар. Но у Лидии Павловны подходящие данные имелись: маленький рост, тонкий, почти детский голосок, худощавая фигурка. Моя мама сказала как-то о чете Медведевых: «Из них двоих одной порядочной котлеты не слепишь». На что я, обидевшись за Александра Петровича, сердито отреагировала: «Какие у тебя, оказывается, каннибальские гастрономические вкусы!»

На заре юности Лидия Павловна наверно была очень мила. Но когда я с ней познакомилась, ей было под сорок, на углах губ и вокруг глаз уже намечались мелкие морщинки, а мы с Шурой были на целое десятилетие моложе, чем она. Ясно, что нам обоим детские ужимки нашей приятельницы казались смешными.

Лидия Павловна хвасталась тем, что и платья, и обувь она приобретает исключительно в «Детском мире». Действительно, в Романовке она носила типично ребячьи сандалики, который уменьшали её и без того маленький рост, и матроску – очень распространённый в те годы фасон; он был характерен для мелюзги, но взрослые дамы им никогда не пользовались.

Инфантильность Лидии Павловны была такого рода, что не делала её похожей на оперную Ольгу Ларину, которая поёт о себе:

«...Я беззаботна,
И шаловлива,
Меня ребёнком все зовут».

Весёлая шаловливость была ей совсем не свойственна. Она предпочитала казаться чем-то обиженной, слабенькой, постоянно нуждающейся в заботе. Когда мы уютно располагались

под нашими любимыми яблонями, она постоянно посылала Александра Петровича то за шалью («я озябла»), то за какими-нибудь каплями или таблетками. Евграф иногда добродушно её передразнивал. Лидия Павловна на это не обижалась, но Александр Петрович сердито хмурился.

Любая женщина вольна кокетничать в каком ей угодно стиле, но стиль Лидии Павловны был мне не по душе. Шура тоже. Но Шура пыталась её оправдать и объяснить его вескими причинами:

«Петровичу не нравится, что Лидия Павловна категорически отказывается иметь детей. Ни родных, ни приёмных. Вот она и старается стать для него как бы дочкой. Заполнить собой пространство. Умная женщина!»

Хотя все мы имели филологическое образование, и по годам, и по характерам мы были мало похожи друг на друга, однако постоянное общение в «райской обстановке» сближало нас. Если в начале июля мы все (за исключением старых друзей – Евграфа и Александра Петровича), называли друг друга на «вы» и по имени-отчеству, то к началу августа все три дамы уже стали для всех Мариной, Шурой и Лидой, а наши кавалеры, по отношению к которым мы хоть и сохранили почтительное «вы», обратились в «Грача», «Петровича» и «отца Николая».

В первых числах августа произошло событие, всех нас всполошившее.

А. П. Скафтымов, соскучившись по Петровичу и Евграфу, решил провести остаток отпуска вместе с ними – в Романовке. Собирался приехать один, поручив Маргариту попечению её матери. Однако Маргарита решительно этому воспротивилась: «Если ехать – то вместе!» Александр Павлович уступил, хотя и с неохотой и вопреки благоразумию: Маргаритина беременность была уже на последней стадии, и устремиться в это время из областного центра в деревню, где поблизости не только роддома, но даже обыкновенной больницы не было, – значило подвергать её опасности, тем более что и железнодорожная и автобусная тряска были для неё не совсем благоприятны.

Маргарита, однако, настояла на своём, и в Романовку пришла телеграмма о том, что они прибывают сюда оба.

Ах, какая поднялась суматоха! Евграф с Петровичем кинулись нанимать избу – «самую лучшую». Шура с Лидой, вооружившись тряпками, принялись эту избу чистить, хотя она и без того грязной не была. Натащили огромные букеты. Расстелили скатерти и салфетки. Шура принялась готовить торжественную «хлеб-соль», украшением которой должен был бы стать огромный чугунок с украинским борщом.

Обычно все наши романовские блюда были вегетарианскими, но на этот раз кто-то из соседей зарезал поросёнка, и Евграф приволок домой великолепный кусок свинины для наменного борща.

Этот борщ, обильно оснащённый красным перцем и помидорами, без сомнения вышел на славу: Шура, в добавление к прочим своим достоинствам, была хорошей кулинаркой. Однако получился конфуз.

Перед самым появлением «высоких гостей», которых мужчины уже отправились встречать, Шура вздумала выставить чугунок с борщом в сени, чтоб он немножко остыл. Но в эти сени ворвался хозяйский козлёнок и сбил чугунок с лавки, на которую был поставлен. Роскошное содержимое растеклось по полу. Что делать? Дело решила поправить хозяйка, у которой тоже был сварен борщ, правда, не такой красивый и не свиной, а говяжий.

И вот все сели за стол. Кто-то из мужчин откупорил бутылку, Шура разлила борщ по тарелкам.

Меня там не было, – мы с Колей не откликнулись на приглашение, рассудив, что там и без нас едоков будет более чем достаточно. Поэтому личных зрелищных воспоминаний у меня не сохранилось – только ясно, во всех подробностях помню рассказ Шуры:

«Вдруг я вижу, что профессор поперхнулся, и у него выпучились глаза. Смотрю на Грача, а он тоже сидит с выпученными глазами и ворочает ими направо-налево: то на профессора с ужасом, то на меня свирепо. Покосилась тогда на профессорскую тарелку и я, – и чувствую, что и мои глаза расширяются: оттуда на всех нас глядит огромный вздутый бычий глаз, чуть ли не во всю ширину тарелки. Представляете немую сцену? Точь-в-точь как в финале «Ревизора»...

Конечно, Шура поспешила опустить занавес над этой сценой, немедленно переменив тарелки.

Думаю, что рекорд на выпученность глаз побил тогда Евграф: он ведь помнил, что купил отличный ломоть свинины, и никак не мог понять, почему этот ломоть преобразился в кусок бычьей морды. Когда произошла трагедия из-за козлёнка и заменой одного борща другим, его дома не было: он выходил встречать гостей.

Я почти дословно запомнила Шуриный рассказ, потому что Шура потом много раз его со смехом бисировала. Только в тот день, когда его сюжет происходил в реальности, ей было не до смеха...

После приезда Скафтымова с Маргаритой наш вечерний секстет преобразовался в октет, но преобразовался не только количественно, но и качественно. Бытовые побасёнки незаметным образом сменились беседами эстетико-философского характера. Евграф остался остряком, но его шутки заметно облагородились. Дурашливость исчезла. Ну что ж, наслушавшись наигрышей гармошки, неплохо послушать и скрипичный концерт, – думала я.

Мне не понравилось только, что и чета Покусаевых, и Петрович слишком усердно – мне показалось, подобострастно, – ухаживают за «высоким гостем»: обкладывают его подушками, точно свеже сваренную кашу, следят за тем, чтоб ему было удобнее сидеть или полулежать. Думалось, что эти заботы уместнее было бы переключить на беременную Маргариту. Эту обязанность я взяла на себя.

Но гипертрофированное внимание к учителю, как я потом поняла, не было подобострастным. В интонации голосов Евграфа и Петровича слышалась не льстивость, а искреннее благоговение. Общаясь со Скафтымовым на заседаниях Учёного совета, я привыкла держаться с ним запросто, как со всеми прочими моими коллегами, а теперь побаивалась: не сочтут ли остальные мой тон «на равных» неподобающим, фамильярным? Ощущала себя в какой-то степени еретичкой среди фанатиков.

Характерно, что в студенческие годы, когда Маргарита даже не мечтала о близких отношениях с Александром Павловичем, она мысленно прозвала его «Надзвёздным».

Проводив моих родителей и Леночку в Москву, я вместе со всей моей компанией вернулась в Саратов, где на следующий же день после нашего приезда Маргариту пришлось отвезти в роддом.

Всё у неё сошло благополучно. Её дочка Людмила впоследствии стала довольно безалаберным существом, но в качестве младенца вела себя дисциплинированно: появилась на свет точно в тот самый день, который за несколько месяцев до этого был назначен в женской консультации. Не поторопилась. Не заставила маму прибегнуть к сомнительным услугам деревенской повитухи.

Пока учебные занятия ещё не начались, я поспешила в дирекцию, чтобы снять с себя совершенную мне не нужную «шапку Мономаха»: ведь и Коля теперь стал кандидатом наук – пора было нашей игрушечной кафедре принять естественный вид.

Однако меня в дирекции и слушать не захотели: «Ни в коем случае! Никогда! И думать об этом забудьте! Вас в городе все знают!!!» Кто знает? Какие все? Невольно вспомнилась Саната, любившая говорить: «Нас, Глазовых, знал весь Нижний».

А мне так хотелось освободиться от скучных и бесполезных сидений на заседаниях Учёного совета!

Коля не был ни огорчен, ни обижен тем, что его – главу семьи – официально «загнали под женский каблук». Обидно было мне. Я знала, что он, как лектор и специалист, ничуть меня не хуже. Студенты его уважали. Лишь в приятельской среде, где супружеские пары с разными фамилиями неофициально обозначались фамилиями мужа: Покусаевы, Медведевы и т.д., – наша пара звалась Яхонтовыми. Противоестественно!

В городе наш дружеский кружок расширился. В него вошли бывшие однокурсники Медведевых – Валерий Петрович Воробьев и его жена Татьяна Михайловна Акимова, а также однокурсница Евграфа, Шуры и Маргариты – Лидия Ивановна Баранникова с мужем Анатолием Сергеевичем Колосовым. Эту пару тоже называли на матриархальный лад – Баранниковыми, но здесь это было оправдано: Лида была «нашей», а доцент Политехнического института Анатолий Сергеевич – пришельцем со стороны.

Кроме нас, двух зарубежных, – сплошные уроженцы Саратовской области двух поколений: последние выпускники ликвидированного университетского филфака и первые выпускники педагогического литфака. Все без исключения – ученики Скафтымова и Лукьянченко.

Мы с Колей оказались единственными «несаратовцами» и по своим годам занимали промежуток между университетским средним возрастом и пединститутской молодёжью: Коля был чуть помоложе первых, я – чуть постарше вторых (я имею в виду дам), Евграф шёл чуть-чуть впереди меня.

Кончились романовские ежевечерние посиделки! Начали мы встречаться лишь в деловой обстановке, собираясь кучкой только в дни чьих-нибудь именин или дней рождения.

Первый из именинников стал в середине сентября Петрович. Семейный праздник совпал для него с охотничьим трофеем: ему посчастливилось подстрелить дикую утку, и он пригласил нас полакомиться ею, чтобы прихвастнуть.

Эта дичь была нам продемонстрирована в профиль и в анфас сначала в сыром виде, чтобы гости смогли по достоинству оценить её пышные габариты, которые у жареной и разрезанной птицы не столь приметны. Потом комнату наполнил аппетитный аромат, и нас пригласили к столу.

Утка, действительно, оказалась крупной, – скорее всего, это был селезень. Но всем известно, что утиный род, так же как и куриный и индюшачий, состоит из одних особ женского пола, как гусиный – из одних самцов: ни на одном званом обеде, ни в одном ресторанном меню вам никогда не предлагают петухов, селезней, индюков или гусынь. Загадка природы!

Осмотрев в квартире Медведевых охотничий трофей и бросив взгляд на приглашённых, я удивилась: как ни крупна была эта птица, разве её хватит на всех? Помимо нашей оравы, здесь находились два брата Лидии Павловны со своими жёнами. Не сможет ли Петрович уподобиться Христу, однажды накормившего целую толпу небольшим хлебцем и единственной сушёной рыбкой?

Однако организаторы стола во главе с тещёй Петровича и так называемой «тётёй Маней» – её сестрой – вышли из трудного положения с честью.

Сначала по нашим тарелкам разложили огромные кусищи пирога с мясной начинкой. Потом такие же – с капустной. К этому дополнительно прилагалась всякая всячина. И лишь после того, как все набили себе животы, торжественно внесли блюдо с утиным жарким. Петрович, как положено охотнику, оказался мастером по разделке дичи и ещё в кухне расчленил её на порции не крупнее спичечных коробков.

Сытые гости на большее не посмели бы претендовать. Предложенные порции вкушали неторопливо и уважительно, точно кусочки вымоченной в вине просфоры во время святого причастия. Но желанная цель была достигнута: каждый из гостей мог бы засвидетельствовать, что красавица-утка, действительно, реально существовала – я её пробовал и убедился, что Петрович не «барон Мюнхаузен», каким его любил характеризовать Евграф, постоянный его спутник по охотничьим вылазкам и насмешливого комментатора его охотничьих рассказов.

1939–1940 учебный год был для нас с Колей не таким напряжённым, как предыдущий. Коле уж не надо было трудиться над диссертацией, мои лекционные курсы шли уже не по целине, а по накатанной дороге, хотя я их постоянно дополняла и шлифовала. По кафе и столовкам мы уже не бегали, поскольку по маминому настоянию привезли с собой из Романовки домработницу, – мама сама её там присмотрела, и две наши доцентские зарплаты вполне это уже позволяли.

С тех пор, как послереволюционному голоданию пришел конец, в моей родной семье всегда были домработницы, – мама не любила иметь дело с повседневным домашним хозяйством. Но всегда они были приходящими. Сделают своё дело, – и с глаз долой. У меня же появилась постоянная.

Наша соседка – Н. И. Ларионова – сначала встретила новую жиличку «в штыки»: хотя примыкавшая к нашей общей кухне комнатуха была специально предназначена для «подсобного персонала», который имелся у многих жильцов нашего дома, Наталья Игнатьевна предпочитала использовать её как свой персональный чулан. Смирилась она лишь после того, как убедилась, что наша Настасья Петровна полезна и ей, делая заодно и для неё хозяйственные покупки и держа квартиру в чистоте.

Настасье Петровне было лет шестьдесят. Уже немолодая, но крепкая. Работая в колхозе, она, как и все колхозницы, не имела паспорта, а, следовательно, и возможности покинуть сельскую местность. Пенсии «по старости» колхозникам тогда не полагались: власти считали, что они прокормятся своими подсобными огородами и трудовыми сбережениями. Но почтенные годы давали им право покинуть свои сёла, точно так же, как сейчас, при Перестройке, россияне удостоились разрешения выезжать за рубеж.

Настасья Петровна – соседка маминых дачных хозяев – захотела этим правом воспользоваться. И городская жизнь её привлекала, и возможность что-то подзаработать, а главное – нелюбовь к невестке, которую привёл в дом её сын.

А моей маме она приглянулась тем, что была женщиной степенной, а не какой-нибудь девчонкой-вертушкой, готовой в любую минуту поменять, подобно героине кинофильма «Светлый путь», бесперспективное положение домработницы на фабрику или завод.

Настасья Петровна оказалась сообразительнее нашего институтского директора: сразу поняла, кто в нашей семье главный. Колю она всегда называла хозяином, а меня – просто Мариной, пренебрегая отчеством, и соответственно этому с нами общалась: с ним – уважительно, со мной – не очень.

Пребывание у нас этой женщины имело не только плюсы, но и минусы: кончились наши задушевные домашние разговоры за ужином и вечерним чаем, в чём мы сами оказались виноваты. Как убеждённые демократы, мы не пожелали, чтоб женщина почтенного возраста чувствовала себя принижённым человеком, «прислужгой», и всегда садясь за трапезу, приглашали за тот же стол и Настасью Петровну. Она была человеком разговорчивым, и мы часто, вместо того, чтоб обмениваться словами о том, что нас интересовало, должны были всё время её слушать.

Мама надеялась, что возраст Настасьи Петровны оградит её от желания общаться с соседскими стряпухами и нянями, среди которых преобладала зелёная молодёжь. Но ошиблась. Наша наёмная сила была в той же мере общительна, как и раз-

говорчива. Работой она перегружена не была, – сложное ли дело для недавней сельской труженицы обслужить двух неприхотливых едоков? Только накормить, – нашей стиркой и генеральной еженедельной уборкой по-прежнему занималась Оранжевая Маруся.

Если морозы или дожди не держали Настасью Петровну дома, она проводила время своего досуга на дворе среди своих коллег всякого возраста. Ох, и перемывались же наши косточки, когда они собирались вместе! Все мы – соседи по дому, их «господа» – оказывались тогда точно при свете рентгеновского аппарата. Всем услышанным Настасья Петровна по доброте душевной щедро делилась и с нами. В отличие от принцессы в одной из андерсеновских сказок, мы с Колей без необходимости сто раз целовать Свинопаса, знали о том, что варится и жарится в соседских кухнях, кто каким кушаньем и горячительным напиткам отдаёт предпочтение. Разумеется, мы против своей воли были также в курсе всех соседских покупок и домашних ссор.

К счастью, у Настасьи Петровны хватало деликатности удаляться в свой уголок, когда к нам кто-нибудь заходил. Она молча, точно хорошо вышколенный дворецкий из английских фильмов, ставила на стол всё необходимое, если это требовалось, а потом её было не слышно и не видно до тех пор, пока за гостем или гостями не захлопывалась входная дверь.

Такая деликатность была плюсом нашей домработницы, перевешивающим вышеупомянутые минусы.

Были и другие плюсы.

Настасья Петровна была честным человеком и осуждала те «маленькие хитрости», которые позволяли себе некоторые из её приятельниц. Одна из этих хитростей заключалась, например, в том, чтобы покупать вместо заказанного килограмма девятьсот грамм, вместо двухсот грамм – сто семьдесят и т.п.

Судя по тому, что Настасья Петровна отзывалась о подобной практике неодобрительно, мы делали вывод, что она ею не пользовалась. Хотя... Кто знает?

Нехитрыми были кушанья, которые она готовила, однако мы с Колей быстро оценили преимущества домашней кух-

ни. Никуда не надо бежать для того, чтобы перекусить, – не во всякую погоду хочется выходить из дома, да и время экономить.

А в день моих именин Настасья Петровна помогла мне достойно его отметить. В добавление к покупным закускам она поставила на стол домашний пирог и холодец собственного изготовления. А с салатом успешно справилась я сама.

Все наши именины справлялись на один лад. Собственные рыбачьи или охотничьи трофеи на стол попадали редко. Обязательно присутствовали пироги и винегреты, причём в нашей дружеской компании считалось хорошим тоном, чтоб у каждой дамы были свои причуды. Одна, например, не терпела лука, друга – огурцов, третья – уксуса и т.д. Хозяйки дома обязаны были это помнить и ставить перед некоторыми дамами мисочки с винегретом, специально для них приготовленным. Только наши кавалеры и мы с Шурой щадили хозяек дома и руководствовались мудрым принципом «Лопай, что дают».

Боюсь, мои дочери мне не поверят, но я, неожиданно для себя самой, оказалась кулинаром-новатором: я умела делать салат-оливье, несмотря даже на то, что никаких готовых майонезов ни в московских, ни с саратовских магазинах тогда не продавалось. Приходилось самим натирать в порошок желтки крутых яиц и в нужных пропорциях смешивать их с растительным маслом, уксусом, сахарным песком, солью.

По моему примеру и остальные дамы включили это блюдо в свой пиршественный арсенал, объявив винегретам решительную отставку.

Так мы жили. Жили хорошо. Увлеченно работали, в меру развлекались, причём не только в зрительных залах, как первое время, но и в дружеских компаниях. Поскольку именины и рождения случались не так часто, а в Романовке мы привыкли к постоянному общению, мы и по воскресным дням часто общались у кого-нибудь дома или совершая совместные походы в кино.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Отрывок из моего письма родителям. 1939 год)

«...Шура рассказала, как недавно один её ученик дал ей прочесть пьесу собственного сочинения, который доставил ей, Маргарите и Евграфу много весёлых минут. Содержание этой пьесы такое:

1-ое действие. Группа красноармейцев-пограничников сидит на уроке. Преподаватель спрашивает одного из них: «Где мы сейчас находимся?» Тот отвечает: «На Дальнем Востоке», – «Хорошо, товарищ, садитесь». Занавес.

Значение этого действия – дать понять зрителю, где именно развёртывается пьеса.

2-ое действие. Вечером за столом сидят папа, мама, дочка и пьют чай. Разговор идёт самый мирный: о чае, о варенье, за которым мать «две очереди простояла», о том, что дочке нужно сшить новое платье. Являются два красноармейца. Хозяйка гостеприимно сажает их за стол и угощают чаем. Но один из гостей спрашивает: «А где же ваш сын, десятилетний Вова?»

Мать отвечает, утирая слёзы, что Вова пропал в лесу два дня тому назад, и они решили, что он съеден волками.

Красноармейцы вскакивают со своих мест и выражают желание идти в лес и разыскивать Вову. Мать же, помня обязанности хозяйки, уговаривает их: «Посидите ещё! Сейчас ещё один чайник закипит! У меня варенье есть!»

3-е действие. Лес, шалаш, возле которого сидит «десятилетний Вова», и жалуется на то, что он два дня ничего не ел. Являются красноармейцы, и между ними происходит такой разговор:

– Вова! Ты жив? Иди скорее к маме и папе!

– Я не могу отсюда уйти. Я шпиона поймал.

– Где же он?

– Я его в шалаш посадил.

– А как же он тебя не застрелил?

– Он своё ружье потерял.

Услышав это успокоительное сообщение, красноармейцы вытаскивают шпиона из шалаша, и все уходят со сцены.

4-ое действие. Папа и мама продолжают пить чай, но на этот раз разговаривают уже о Воле. Является Вова с красноармейцами. Родители обнимают его, после чего моментально садятся за стол и пьют чай с вареньем. Мама просит папу включить радио, «а то давно уж мы его не слушали». А как только папа включил радио, – там сообщают, что пионеру Воле такому-то за героический подвиг даётся орден Ленина. Только тут невозмутимые родители вскочили, наконец, из-за стола и закричали: «Какое счастье!» ...

Мне в этой пьесе понравилось, главным образом то, что она при всей своей нелепости мало чем отличается от «настоящих» современных советских пьес».

34 © В МОСКВЕ БЕЗ МЕНЯ

А как жилось тогда в 1-м Неопалимовском переулке моим родителям и их непосредственному окружению?

Папа, как и раньше, обучал студентов школьной методике в Ленинском пединституте, бывшем Бубновском, будущем Государственном педагогическом университете. Это окончательное (надеюсь!) его наименование сменило мирную аббревиатуру МГПИ на грозную – ГПУ.

Мама как всегда вела хозяйство, управляя в качестве теоретика практиком в виде приходящей домработницы и заботливо опекая Леночку, папу и своего любимца – кота Петрика. В свободное от хлопот время общалась с приятельницами, в основном с теми, кто поближе. Это были дамы из 4-ой квартиры и Александра Арсеньевна Семёнова. Поочередно с папой навещала старичков Яхонтовых, возила им «алименты» и гостинцы.

После моего отъезда наша с мамой общая комната осталась в её единственном распоряжении, и мама принимала всех своих приятельниц, никого из домашних не стесняя. А её саму не беспокоили папины ночные бдения.

Хорошо я сделала, что уехала!

Леночка оканчивала техникум точной механики.

Коты или кошки с разнообразными характерами водились в нашей семье всегда. Петрик – в то время ещё котёнок-подросток – превосходил всех своих предшественников и предшественниц озорством и резвостью. Мама нередко затевала с ним игру, которая нравилась им обоим. Достаточно было ей хлопнуть в ладоши и воскликнуть: «Где Петя?» – как кот мгновенно вскакивал, даже если он в то время мирно дремал, и принимался скакать по верхушкам шкафов – с одного на другой. Мама притворялась, что она его ловит, а кот делал вид, как будто он защищается от опасной преследовательницы, норовя вцепиться когтистой лапой за почтенные седины.

Эти игры заставляли и маму бегать, умиляя папу, но возмущали бабушку: «Опомнись, Лида! С ума ты сошла? О своих годах вспомни!»

Мне кажется, что дело тут было не в маминых годах, а в том, что бабушка до конца жизни тосковала о тёте Наташе. Ей казалось, что и все её близкие обязаны носить в душе вечный траур. Даже спустя два года после того, как тётю Наташу похоронили, бабушку раздражали весёлые голоса, которые иногда раздавались в яхонтовских комнатах. Она не любила шумную экспансивную Александру Арсеньевну, которую даже арест мужа «не смог унять», и сердито гнала от себя шаловливого кота, хотя вообще к кошкам относилась неплохо.

Бабушка умела не только обижаться на окружавших её людей за их, как казалось ей, равнодушие к её горю, но и питать в душе страстную ненависть.

Предметом этой ненависти стал Всеволод Алавердиевич, когда-то наиболее любимый из её зятьев.

В беседах с мамой она прямо называла его убийцей, поскольку была уверена в том, что ничто иное, как его холодность к тёте Наташе, свело её в могилу. Жалея бабушку, мама не смела напомнить ей о том, что большая доля вины в душевных переживаниях бедной Наташи принадлежит самой бабушке: если бы не её длинный язык, Наташа, возможно, до конца жизни не догадывалась бы о том, что у её мужа завелась «дама сердца».

Когда кто-то кого-то ненавидит, то естественнее всего – порвать все связи с предметом этой ненависти. Но бабушка

не могла себе этого позволить. Мне кажется, что не будь при ней Санаты, она бы предпочла сесть «на хлеб и воду» при её нищенской пенсии, но не зависеть от Всеволода Алавердиевича. Но оставлять Санату, которую бабушка всю жизнь холила и нежила, без полноценного питания она не могла. Поэтому, – «смирись, гордый человек!», – как восклицал Достоевский. Но и быть просто иждивенкой бабушка не хотела. Считала себя обязанной «отрабатывать свой хлеб» и на этом основании чувствовать себя независимой. Бабушка продолжала оставаться экономкой и стряпухой при человеке, которого ненавидела, старательно стряпая для него именно то, что он любил, – за долгие годы она изучила его гастрономические вкусы до мелочей.

Другого выхода бабушка не видела. На полном папином иждивении находились старички Яхонтовы, чья пенсия тоже была нищенской, да и Леночка ещё не встала на ноги. Мама к каждому празднику дарила ей и Санате что-нибудь из носильных вещей, – большего она не могла. Был, правда, дядя Вася – родной бабушкин брат и, по советским меркам, почти Ротшильд. Но просить у него материальной помощи бабушка не хотела, а он не догадывался, тем более что с ним происходило нечто парадоксальное: чем больше он зарабатывал, тем чаще жаловался на собственные нужды и лишения, особенно после того, как продал скромную дачу в Лионозове и купил роскошную в Малаховке. С него постоянно кто-то «сдирал шкуру», как выражался сам дядя Вася: то налоговая инспекция, то садовник (он же – зимний сторож при даче), то репетиторы для Вити, который, отнюдь не страдая прирождённой умственной отсталостью, ухитрялся приобретать твёрдые двойки по всем школьным предметам.

Бабушка с дядей Бутей словесно не общалась. Он молча клал деньги на кухонные и прочие расходы. В определенное место он складывал бельё для прачки, обувь для сапожника, – бабушка и без устных распоряжений знала, как с этим следует распорядиться.

Она в те годы нередко прихварывала. Привязалась к ней какая-то непонятная хворь, которую она сама прозвала «трясучкой»: никаких болей она не испытывала, но время от времени

её одолевал беспричинный озноб, который нередко переходил в горячку. К утру высокая температура падала, но наступала слабость. «Так бы и лежала весь день, не двигаясь», – говорила бабушка. Потом всё опять приходило в норму до следующего приступа «трясучки», который мог её настичнуть и через неделю, и через несколько месяцев.

Дядя Вася Дункель – единственный врач, которому бабушка показывалась и которому доверяла, – подозревал, что у неё малярия, хотя и не был уверен в своём диагнозе и лечил её гомеопатическими пилюльками. Предписывал спокойный и лежачий образ жизни: «Меньше тормозишь, Юля, и меньше нервничай!»

Бабушка пилюльки глотала, но «не тормозиться» не могла. Гордость не позволяла ей «даром есть чужой хлеб».

Согласно законам, которые владели семьями Монтеки и Капулетти, близкая родня врага – тоже враг. К тому же враг, по отношению к которому у бабушки не было никаких обязательств. Это относилось к Марии Алавердиевне. С какой стати бабушка должна сносить её присутствие в своей комнате, превратившейся после переезда из квартиры №1 в общую столовую, готовить для неё еду, мыть за ней посуду? Тем более что ненавистная особа вражеских кровей моложе её.

Из-за владевшей ею ненависти, бабушка не замечала, что, несмотря на менее преклонный возраст, у Марии Алавердиевны после инсульта одна нога не ступает, а волочится, и одна рука (к счастью, левая) – висит плетью. Какая из неё могла бы получиться стряпуха и судомойка, тем более что Мария Алавердиевна большую часть жизни провела в заграничных отелях и никогда в жизни с кухнями не имела дела, даже когда была здорова.

Возможно, бабушку смягчило бы, если бы «ненавистная тварь, бездельница и паразитка» держалась с ней почтительно и не скупилась бы на выражения благодарности, – словом, «знала бы своё место»,

Но чего не было – того не было! Несмотря на то, что Всеволод Алавердиевич не проявлял по отношению к своей сестре ни малейших братских чувств, почти не замечал её, Мария Алавердиевна, судя по её повадкам, видела себя более значительным

членом семьи, чем бабушка. Как-никак ближайшая родственница хозяина и тоже Багадурова, а эти две – тёща и свояченица – посторонние люди.

Будучи женщинами интеллигентными и воспитанными, лютые враги не орали одна на другую, не унижались до перепапок, но самый воздух вокруг них был накалённым.

Однажды мама заметила странность в области бабушкиной кулинарии. Когда бабушка лепила котлеты, сырники или пирожки, она обязательно делала одно из своих изделий вдвое крупнее всех остальных. В чем дело? Зачем?

Бабушка объяснила:

«Как только я ставлю блюдо на стол, эта мерзавка первая кидается на него со своей вилкой. Точно оголодавшая, и всегда норовит схватить кусок покрупнее и получше. Настоящая щука! Так и трясётся от жадности. Как-нибудь загляни, сама убедишься».

Мама воспользовалась приглашением, заглянула. Действительно, всё было именно так, как говорила бабушка. При этом мама заметила не только «щучьи повадки» бабушкиного недруга, но и счастливое, почти блаженное выражение бабушкиного лица в тот момент, когда сознательно удвоенная котлета совершала перелёт из общего блюда на тарелку «мерзавки».

В чём дело?

Будь бабушка не благовоспитанной дамой, а пошлой мещанкой, она, возможно, не устояла перед искушением, делая для «негодяйки» специальную котлету или пирожок, пересолить или переперчить это изделие.

Но «дама из общества» не могла о таком даже подумать. Бабушке было достаточно доставлять самой себе внутреннее удовольствие от наглядного подтверждения того, как жадна и бесцеремонна ненавистная ей особа, и лишний раз убедиться в том, что «все Багадуковы таковы».

Из бабушкиного сознания в эти минуты ускользало даже то, что эту фамилию носит её родной внук, трагическая судьба которого её мучила и тревожила.

Самым забавным было то, что никакой необходимости торопливо заглатывать бабушкину наживку у Марии Алавердиевны не было.

Бабушка привыкла хозяйствовать «с размахом», без всяких порционных ограничений. Бери добавку, если тебе захочется. Кидаться на крупное незачем.

В эти годы молчаливой, но непримиримой вражды чувствовала себя очень растерянной, потерявшей все привычные ей жизненные ориентиры бедная Саната.

С первых дней появления Всеволода Алавердиевича в стенах нижегородского Реального училища, а особенно после его брака с Наташей Саната была воспитана в беспредельном уважении к нему. В области музыки и вокала Всеволод Алавердиевич всю жизнь был для неё высшим авторитетом. То, что нравилось ему, нравилось и ей, то, что он не признавал, – отвергала и она. Когда в радиопрограммке встречались фамилии, не принадлежавшие к любимцам В. А. Багадурова, Саната спешила их отметить крупными карандашными буквами «Г» и «Д», что должно было означать «гадость» и «дрянь», чтобы нечаянно не осквернить их музыкой свои уши. К их числу принадлежали и советские композиторы – все, без исключения, – и создатели романсов типа варламовских и гурилёвских («мещанские вкусы, пошлятина»).

Но ещё большим авторитетом для Санаты была её мать. И пока Ю. Н. Глазова и В. А. Багадуков ладили друг с другом, – вместе вспоминали Реальное и разграбленный хутор, вместе проклинали ненавистных им большевиков, вместе горевали о несчастной Гулиной судьбе, – всё было ясно и для Санаты. Но после появления в жизни Всеволода Алавердиевича Екатерины Васильевны и Наташиной смерти, когда между двумя Санатиными авторитетами встал, говоря языком политики, «железный занавес», – бедняжка растерялась. Стала похожа на героиню многих классических трагедий, вынужденной делать выбор между чувством и долгом, жизнью и честью. В её душе происходило нечто похожее на отчаяние оперной Аиды, узнавшей о том, что самые близкие ей люди – отец и возлюбленный – идут войной друг на друга.

Авторитет матери победил. Как это ни мучительно было Санате, и она, подражая бабушке, начала выказывать по отношению к Всеволоду Алавердиевичу холодную неприязнь. Но если

бабушкино лицо выражало при этом гордость оскорблённой аристократки, то Саната, пытаясь выразить мимикой нечто подобное, просто «корчила рожу», как выражался папа.

Вероятно, от внимания дяди Бути всё это не ускользало. Но ему это было глубоко безразлично. Не вступая ни с бабушкой, ни с Санатой ни в какие беседы, он вежливо благодарил бабушку за обед и за выстиранное прачкой бельё, а к возрождению родственных отношений и не стремился, поскольку все три дамы, которые его окружали, ничего для него не значили.

Однако пришло время и для этого холодного, сдержанного человека вспылать страстной ненавистью.

Пока была жива тётя Наташа, Нина мирилась с необходимостью жить в одной комнате с ней и с Марией Алавердиевной и с тем, что великолепная мебель, унаследованная ею от матери, бестолково громоздится в передней. Но как только тётя Наташи не стало, Нина воспользовавшись тем, что в нашей квартире никакие внутренние двери не запирались, устроила радикальную перестановку. Когда её свёкра не было дома, она, не теряя времени, перетащила койку Марии Алавердиевны в его кабинет, что нисколько его не украсило, а материнскую мебель отчистила от пыли и расставила по опустевшей комнате. После этого вызвала слесаря, заказала ключ, и наша квартира №10 впервые обрела комнату, которая запиралась.

Мои родители при этом соблюдали нейтралитет. Бабушка тоже, хотя, вероятно, втайне злорадствовала. А Всеволод Алавердиевич, когда вернулся, уподобился Зевсу-Громовержцу: «Кто посмел? Кто позволил? Не желаю! Не потреплю!»

До этой самовольной реформы дядя Бутя, как и все прочие обитатели нашей квартиры, относился к Нине хорошо. Маме даже казалось, что он бросает на невестку такие нежные взгляды, от которых свёкру было бы неплохо воздержаться. Однако справедливой оказалась поговорка: «От любви до ненависти – один шаг».

Мария Алавердиевна со всем своим тряпьем торчала перед глазами своего брата: и когда он ложился спать, и когда давал уроки ученикам-вокалистам. Пока в квартире №1, она ночевала на диване, она понимала, что ей в это время следует куда-то

удалиться, но поскольку сюда перенесена её кровать, Мария Алавердиевна сочла своим законным правом располагаться на ней, когда ей вздумается.

Зато Нинина комната с её эркером и косо расположенными окнами стала удивительно красивой. Даже при белых стенах, которые оставила в наследство всем нам женская лечебница. Мою бывшую «голубую скорлупку», нарядно обставленную, но крошечную, нельзя было даже сравнить с ней. И окна под парчовыми шторами были великолепны, и сверкавшая хрустальная люстра, и массивное красное кресло с позолотой и инкрустациями.

Одним из главных украшений Нининой комнаты была выполненная масляными красками картина, где пятилетняя Нина вместе с семилетним братом Юрой были запечатлены в полный рост и в натуральную величину. Это было произведение Леонида Пастернака, не менее известного в дореволюционной России художника, чем в послереволюционное время его сын Борис, поэт.

Картина Л. Пастернака была написана на заказ. В ней чувствовалась некоторая жеманность, парадность, – живописец, несомненно, стремился угодить заказчикам. Но в то же время – чувствовалась импрессионистическая школа, близость к Ренуару.

Дети в белоснежных костюмчиках, с белокурыми завитками были изображены взявшимися за руки в позах готовности к какому-то танцу. Казалось, что этот танец обязательно должен быть гавотом или менуэтом. Обстановка – залитая солнцем терраса с белыми колоннами, а за ними – густая садовая листва. Сочетание светло-розового, светло-зелёного, бледно-золотистого, голубого и многообразных оттенков белизны в сливающейся расплывчатости, без малейших тёмных пятен и чётких контуров*.

Все, входившие в эту комнату, обязательно первым делом обращали внимание на эту картину, как бы излучающую свет.

* В настоящее время эта картина находится в доме-музее Есенина (доме-усадебке Кашиных) в селе Константиново.

Не пожелал на неё бросить взгляда лишь один Всеволод Алавердиевич. Он злился, как зазевавшийся футбольный вратарь, пропустивший в свои ворота мяч противника.

Его можно было понять, тем более что Нина о своих намерениях его не предупредила.

Если бабушка Юля ненавидела безмолвно, выражая владевшие ею страсти одной лишь ледяной мимикой, то дядя Бутя громко бушевал и не стеснялся в выражениях (правда, в пределах цензурных).

Он очень обиделся на маму, пытавшуюся усмирить его возмущение словами:

– Нина – жена Гули. И очень больной человек.

– Никакая она ему не жена! Она давным-давно ему опротивела. Её здоровье меня не касается! Это – моя жилплощадь! А эта стерва пусть гниёт и подыхает!

Поскольку мои родители не разделяли его ненависти к «узурпаторше», он и к ним начал относиться отчуждённо.

В 1939 году скончался профессор Николай Павлович Кашин – Нинин отец. Нину его смерть не огорчила: ни она, ни её брат не видели ни малейшего внимания с его стороны, – он полностью переключил отпущенные ему богом супружеские и отцовские чувства на свою вторую жену и двух пасынков.

Однако Нина надеялась, что после смерти Николая Павловича ей достанется кое-что: у него водились деньги – профессорские гонорары – и имелась богатая библиотека с редкими и ценными книгами, которые тоже можно было превратить в капитал.

После Гулиного ареста Нине в материальном отношении жилось скудно. Не пожелав стать иждивенкой свёкра и утруждать бабушку лишним ртом, она существовала своим хозяйством на собственную инвалидную пенсию – жалкую, как и все прочие гражданские пенсии тех лет. Приходилось обходиться без необходимых для неё фруктов и жиров, если только она не получала их в виде угощения от моей мамы.

Надеясь унаследовать какую-то частичку того, что осталось после её отца, Нина не стала пользоваться услугами юриста, как ей советовал Яков Николаевич из 4-ой квартиры. Она полагала,

что об этом позаботится её мачеха, с которой она находилась в добрых отношениях, – во всяком случае, эта дама проявляла к ней больше внимания, чем родные мама и папа.

Действительно, мачеха не забыла Нину. Явилась к ней вскоре после похорон, но, вместо денег или ценных книг, принесла ей увеличенный фотопортрет Николая Павловича в массивной застеклённой раме: «Возьми на память». В тот же вечер, вынув стекло, которое могло бы пригодиться на что-нибудь хозяйственное, Нина порвала сувенир на кусочки и бросила в помойное ведро.

Мой рассказ о квартире № 10 в доме 16/13 по 1-му Неопалимовскому был бы неполным, если бы я не упомянула о Лильке. Дядя Бутя называл «паразиткой» Нину, бабушка – Марию Алавердиевну, но паразитом из паразитов была именно она – вечный претендент на театральную и кинематографическую режиссуру, поэзию и градостроительство.

Не обращая внимания на всё, что происходило, – арест, похороны, многочисленные болезни, лютые ссоры, – она никогда от нашей квартиры не отлеплялась. Все её проклинали, – в том числе и мама, хотя мама её пускала ночевать и подкармливала, как сердобольные люди подкармливают голодных и бесприютных кошек. Однако Лильке удалось обрести в нашей квартире не только покровительницу, но даже поклонницу: Саната начала с интересом слушать Лилькины разглагольствования и искренне уверовала в Лилькину научную эрудицию и её многосторонние таланты. Вслед за Лилькой и под её воздействием Саната заинтересовалась Японией и влюбилась в Индию. Фильм «Индийская гробница» Саната готова была смотреть ежедневно (хотя он снят в Голливуде и подлинно индийского в нём немного) и коллекционировала открытки и брошюры, касавшиеся индийских божков или индийской архитектуры.

Саната и Лилька как бы нашли друг друга. Лильке хотелось разглагольствовать, но её никто не желал слушать. Внимательную слушательницу она нашла в Санате, с которой никто из домашних ни в какие беседы никогда не вступал. Даже бабушка,

озабоченная лишь тем, чтоб Саната была сытно накормлена и «не ходила распустьхой».

Никто в квартире не разговаривал и с Марией Алавердиев-ной. С ней Саната вполне могла бы найти общую тему: они обе побывали за границей, повидали там кое-что. Но разве посме-ла бы Саната общаться с человеком, с которым принципиально не общалась её мать? Подражая бабушке, она тоже стремилась метать на бедную старуху грозные взоры, хотя та не делала ей ничего дурного.

Такова была жизнь в моей прежней квартире, где меня уже не было.

Как хорошо, что не было!

35 ☉ МОСТ «МОСКВА – САРАТОВ»

Несмотря на то, что восемьсот с лишним километров или, иначе говоря, ровно сутки железнодорожного пути, – расстоя-ние солидное, я на протяжении всех довоенных лет не ощуща-ла своей оторванности от родителей и от родных мест, так как невидимый, но крепко налаженный мост «Москва – Саратов» работал безотказно.

Помимо законного летнего отпуска директор Саратовского пединститута по собственной инициативе отпускал нас обоих на волю в дни зимних студенческих каникул, официально это не оформляя, хотя предложи он нам эти вольные деньки в виде «отпуска без сохранения содержания», мы бы и от этого не от-казались. Делал он нам эту поблажку не столько по доброте душевной, сколько с целью прочней привязать к месту работы недавних столичных жителей: опыт показывал ему, что при ма-лейшем неудовольствии подобные кадры нередко норовят со-рваться с места и вернуться домой.

Однако основными опорами моста «Москва – Саратов» были не столько наши зимние появления, сколько то, что мы с мамой вели частую и регулярную переписку. Не дожидаясь

ответов, слали конверт за конвертом не реже раза в неделю, а, случалось, – и чаще.

Я – человек занятой – обычно ограничивалась одним четы-рехстраничным листком почтовой бумаги, но мамины посла-ния папа справедливо называл «простынями». Их почти всегда приходилось отправлять заказной почтой, чтоб не гневить по-чтовых работников и весьма усердных в те годы цензоров их пухлостью и увесистостью.

Папа посмеивался над многословными мамиными «про-стынями», содержащими в себе не только мельчайшие подроб-ности нашего квартирного быта с их горячими и холодными войнами, но столь же мелкие факты из жизни наших родных и знакомых. Но при этом он сам с удовольствием прочитывал всё, что писала мне мама, хотя там излагалось лишь то, что было ему самому хорошо известно. Просто, как хорошо напи-санную художественную беллетристику.

А мне, тем более, мамины письма были интересны: читая их, я как бы слышала её голос, рассказывающий мне что-то со свойственными ей то сочувственными, то насмешливыми интонациями.

Папа – человек ещё более занятой, чем я, писал мне редко, и его письма на простыни никоим образом не походили, но поч-ти к каждому маминому посланию делал короткие юмористи-ческие дополнения или комментарии. Я их очень любила.

Папины приписки иногда иллюстрировались карикатур-ными набросками; моделями для этих набросков чаще всего являлись наши домашние с характерными для них позами, по-ходками и выражениями физиономий. Его насмешливый ка-рандаш не обходил даже маму: помню его рисунок, где мама с её отнюдь не девичьей фигурой и почтенными сединами мчится за разыгравшимся котом, взлетевшим на шкаф.

По папиному примеру иллюстрировать свои письма пыта-лась и я, располагая при этом более широкими техническими возможностями: у меня всегда водились цветные карандаши, по-средством которых я в моих рабочих тетрадках отделяла главное от менее существенного. Но, увы, – ни папиных, ни дедушкиных художественных способностей я не унаследовала.

Единственное письмо-простыня, которое я получила тогда от папы, было послано мне вскоре после его поездки во Владимир. Захотелось ему поделиться со мной впечатлениями.

Побывать в городе своего детства папе мечталось давно, но эта мечта долго оставалась для него неосуществимой, несмотря на относительную близость Владимира (какие-то шесть часов по железной дороге). В те годы, да, кажется, и сейчас, в гостиницах не хватало мест даже для командированных, не говоря уж о случайных людях. Остановиться у Гули, когда Гуля там жил, тоже оказалось невозможным: и комнатка у Гули была совсем крохотная, и страшновато было в сталинско-ежовские времена демонстрировать близкие отношения с человеком, только что впущенным из Бутырок и по политическим соображениям лишенным права жить в столице.

Лишь после того, как папа узнал, что во Владимире живут в достаточно просторной квартире родители Татьяны Яковлевны Дункель – супруги дяди Васи, – папа решил осуществить своё давнее желание.

Город, разумеется, сильно преобразился. От Мальцевского училища, при котором находилась и яхонтовская квартира, не осталось и следа. Новые улицы, новые многоэтажные дома, заводские корпуса. Но в полной сохранности остались так называемые Золотые Ворота, древние храмы. Увидел папа и здание гимназии, где когда-то учился и он сам, и дедушка Александр Григорьевич, только сильно раздавшееся и ввысь и вширь. Там помещалась средняя школа, так что своему целевому назначению эта обновленная постройка не изменила. По-прежнему текла Клязьма – более широкая, чем в Подмосковье.

Не более трёх суток провёл папа во Владимире, бродя по знакомым и не знакомым ему местам, дольше оставаться у гостеприимных, но, в сущности, чужих ему людей, он счёл неудобным.

Я была добросовестной, исправной корреспонденткой и всегда держала родителей в курсе всех внешних обстоятельств моего бытия. Но своими настроениями и мыслями делиться в письмах не любила, на что немного обижалась мама. Однако виновата в этом была она сама, поскольку из тщеславных соображений обрела привычку читать мои письма всем

приятельницам, которые её навещали, а меня совсем не соблазняла возможность «распахивать душу» ни перед Александрой Арсеньевной, ни перед Варварой Фёдоровной.

Однако дело было не столько в этих дамах. Важнее было другое. Всем было хорошо известно, что наша частная переписка находилась тогда под контролем тех органов, которые неусыпно заботились о нашей полной политической и идеологической благонадёжности. Не всякое частное письмо просматривалось, но любое могло быть просмотренным. Многие конверты, которые я тогда получала, были с одного боку разрезаны и грубовато заклеены.

Это было наглядным признаком того, что цензор над данным письмом поработал и ничего предосудительного в нём не обнаружил.

Если уж уши маминых приятельниц мне были ни к чему, то бдительные очи чиновников НКВД – тем более.

Родители всегда отвозили мои письма старичкам в Пушкино. Я знала об этом, и в каждом своём послании слала им приветы и поцелуи. Но никогда мне не приходило в голову написать им отдельно, на пушкинский адрес. Хотя бы несколько слов! Хотя бы к празднику! Как бы они были этому рады! Помнится, эта мысль приходила мне в голову, но по отношению к моим письмам мама была крайне ревнива: по её убеждению мне полагалось писать только ей; ни одна начертанная мною строка не должна была пройти мимо её глаз. А потом – пожалуйста! Пусть знакомятся и остальные.

Старички Яхонтовы мне тоже не писали. Но у дедушки были слабые глаза, а бабушка почти ослепла: не могла тогда ни читать, ни шить. А себя я простить не могу. Виновата я перед ними.

Коля меня удивлял, насколько он был щедр на письма мне, когда он аспирантом уезжал «на гастроли», настолько же оказался скуп на письма матери и Вере, хотя любил их обеих. В лучшем случае черкнёт открытку со странным обращением: «Здравствуйте М и В!» А чаще всего обходился и без открыток, довольствуясь корешками денежных переводов, которые он ежемесячно слал Елизавете Ивановне. Там сын сообщал ей, что «жив-здоров» и ей с «В» того же желает, а в конце: «Привет, Н».

Я недоумевала: как можно держать своих близких на таком «голодном пайке»?

– Как тебе не стыдно? Ведь матери интересно же знать, как ты устроился, как тебе живётся, как работается.

– Что тут интересного? Вот приеду – расскажу. Что для матери важно? Чтоб я был здоров. Вот я и сообщаю, что здоров.

Я не вытерпела и, пожалев старушку, сама однажды наката-ла ей письмо в мамином стиле, – то есть со всеми подробностями нашего бытия. Даже приложила к написанному план нашей квартиры и расстановку мебели.

Как Елизавета Ивановна была довольна, получив это письмо, как благодарна!

Но регулярной переписки между нами так и не возникло. Моя свекровь по старости лет отвыкла иметь дело с пером и бумагой, а Верины записочки с обращением «Н» и «М» были не лучше Колиных. Не эпистолярный, а телеграфный стиль! Оживлённой и интересной собеседницей Вера становилась лишь при личном общении. А мне довольствоваться безответными монологами надоело. С таким человеком, как Вера, хотелось диалога, – но диалог не получался. И я понемногу отвыкла посылать письма на новосёловский адрес.

Значительно позже, когда у нас возник разговор на эту тему, Вера сказала, что мысль о том, что частная почта просматривается политической цензурой, убивала в ней желание поговорить с кем бы то ни было по душам в письменной форме.

– Возьму, бывало, перо, – а писать не могу. Противно.

В дни наших зимних приездов нас у поезда никто не встречал, – да в этом и не было нужды, поскольку мы появлялись без багажа, налегке. А поезд нередко опаздывал – то на час, то на два. Зато дома нас ждал самый горячий приём в виде специально приготовленного обеда, чая с «вкусненьким» и широко распахнутых объятий. Иногда нас ждали также заранее купленные билеты на какие-нибудь интересные для нас театральные новинки.

Помимо родителей, очень рады были моему появлению Леночка и Нина: нашей квартире явно не хватало молодых лиц и голосов. Да и я рада была возможности «потрепаться» с каждой из них. Впрочем, приветливы по отношению к нам обоим

были все, пожаловаться не могу. И всё же, как только я переступала порог нашей московской квартиры, я ощущала себя в душевном состоянии далеко не комфортно.

Не квартира, а оцетинившийся штыками вооружённый лагерь, где необходимо было ежеминутно соблюдать правила дипломатии, чтоб ненароком кого-нибудь не обидеть излишним вниманием к кому-нибудь из предметов его ненависти.

Бабушка, например, понимала, что я обязана быть вежливой по отношению в Всеволоду Алавердиевичу. Она и сама была с ним холодно-вежлива. Но, упаси меня бог, в присутствии бабушки выказать по отношению к нему что-нибудь похожее на родственное дружелюбие или, – ещё того хуже! – зайти в его комнату. А почему бы не зайти? – с досадой на бабушку думала я. Особой родственной близости между мной и дядей Бутей никогда не существовало, но в той самой комнате, куда мне, по убеждению бабушки, входить не полагалось, он когда-то наигрывал вальсы и полочки для моих школьных и дошкольных вечеринок, а позже пытался учить меня пению. Ничего плохого он мне не сделал, а если в его жизни появилась некая Екатерина Васильевна, – какое мне дело до этого?

С другой стороны Всеволод Алавердиевич был бы очень на меня обижен, если бы я в его присутствии стала бы проявлять дружелюбие по отношению к Нине. Только дождавшись минуты, когда он уходил куда-нибудь, я могла спокойно посидеть в солнечной и роскошно обставленной Нининой комнате и пообщаться с нею.

Казалось, самый воздух в квартире №10 был насыщен ненавистью, точно ядовитыми испарениями. Ко мне это не относилось, но настроение тем не менее портилось.

Два раза во время наших зимних приездов мы с Колей на долгое время покидали эту квартиру с её гнетущей обстановкой.

Один из этих дней полностью посвящался поездке в Пушкино – к старичкам Яхонтовым. Торжественный обед нас там не ждал, – уж не те силы и возможности были у бабушки Маши, – наоборот, мы сами привозили с собой что-нибудь «вкусненькое» и «сладенькое». С нами вместе всегда приезжала и мама, – ей тоже приятно было вырваться из дома.

Другой день был посвящён поездке к Елизавете Ивановне и Вере – тоже с полными сумками гостинцев, и тоже почти на полный день.

К ним добираться поездом не приходилось, но и без этого дорога получалась долгой, поскольку жили они в районе нынешней станции метро Войковская, примерно в том же месте, где сейчас живу я, а никакой городской транспорт близко к ним не подходил.

Конечной станцией ближайшего к ним метро был тогда Сокол. Оттуда приходилось довольно долго плестись пешком. Дом, где жили Колины родные, представлял собой низенький деревянный барак, разделённый на однокомнатные квартирки с отдельными входами и отдельными кухоньками. Водопровод там был, но вместо газовой плиты – примус и керосинка, а что хуже всего, – «удобства во дворе», к тому же общие для всех жителей барака и не более чистые, чем такие же учреждения на вокзалах.

Сплошь да рядом свекрови и невестки враждуют между собой. Мои взаимоотношения с Елизаветой Ивановной были идеальными. Она меня и обнимала, и всевозможные ласковые слова говорила, и крестила на прощанье. Вот что значит жить со свекровью в разных городах, редко встречаться и являться к ней на глаза, держа в одной руке торт, в другой – какой-нибудь полезный хозяйственный сувенирчик.

Один раз, – но только один! – на нашей родственной встрече случайно присутствовала и Надежда Сергеевна. В последующие годы брат с сестрой встречаться уже не стремился, ограничиваясь телефонным разговором примерно такого содержания:

– Надежда! Это ты? Это я, Николай. Как ты? Работаешь там же? Ну и хорошо. И у меня всё нормально. Марина тебе кланяется. Ну, бывай!

В Москву я приезжала с пустыми руками, поскольку саратовские галантерейные и парфюмерные магазины ничего интересного для москвичей предложить не могли, и уже на месте, побродив по Арбату, одаривала весь родственный прекрасный пол скромными подарочками. Почему скромными? Потому что одаривать приходилось многих: маму, Леночку, обеих бабушек, Санату,

Нину, Елизавету Ивановну, Веру. Одним – духи, другим – что-нибудь из одежды или предметов домашнего обихода.

Ценные и солидные подарки получал от меня только папа, поскольку в этом была настоящая необходимость.

Как ни странно, ни у завотдела в Наркомпросе, ни у старшего редактора в Учпедгизе, ни у профессора МГПИ им. Ленина никогда не водилось портфелей. Как и в далекие студенческие годы, папа имел привычку оборачивать нужные ему книги в большой газетный лист и связывать бечёвкой.

Сослуживцы стыдили папу, даже однажды попытались преподнести ему портфель к какой-то юбилейной дате, но юбиляр своей укоренившейся привычке не изменил и стал использовать подарок только в качестве настольной папки.

Но моим объёмистым полупортфелем-получемоданом из крепкой светло-жёлтой кожи со многими отделениями я папе очень угодила, – возможно потому, что эта вещь, действительно была добротной и красивой, а, возможно, и потому, что это был мой подарок, приобретённый на мои трудовые деньги.

Папа долго не расставался с этим портфелем, хотя он потерял свой элегантный облик в военные годы, когда его владельцу приходилось носить в нём пайковые продукты – в том числе мокрую селёдку и растительное масло.

При следующем моём приезде – зимой 1940 года – я подарила папе солидного размера письменный стол. Этот стол учрежденческого стиля красотой не блистал, и мама ворчала: «Изуродовала ты нашу столовую!» Но папа обрадовался столу ещё больше, чем портфелю. Наконец-то у него появилось место, где он мог удобно расположиться, вместо того, чтоб вечно таскать свои бумаги и письменные принадлежности с подоконника на обеденный стол и обратно.

Правда, широкое пространство папа довольно быстро превратил в узенькое, разложив и справа и слева от своего рабочего места груды журналов, угрожающе нависавших над серединой стола, – ни дать ни взять «Пронеси, господи» в Дарьяльском ущелье!

Помимо переписки с родителями и моих зимних появлений в 1-ом Неопалимовском, одной из опор моста «Москва – Сара-

тов» стали ежегодные приезды мамы ко мне, когда она в течение недели бывала моей гостьей.

Сначала мама решила выбрать для этих поездок весну, – точнее конец апреля, чтоб успеть к майским праздникам вернуться домой, но я убедила её, что в саратовской весне мало хорошего. Поскольку город расположен хотя и не на горе, но на наклонной плоскости, те улицы, которые направлены к Волге, при первых же тёплых лучах превращаются в стремительные потоки, которые без высоких резиновых сапог не перешагнёшь, а вслед за этим – не успеешь опомниться – становятся сухими и пыльными. Никаких медленно тающих сосулук! Никаких ручейков, неспешно струящихся вдоль тротуаров! Почти мгновенное преобразование пейзажа.

По моему совету мама для своих приездов ко мне облюбовала осень – воспетую Пушкиным золотую середину октября. В Москве тогда почти всегда бывает дождливо и слякотно, а для Саратова дожди совсем не характерны и, когда наступает снегопад, снежинки обычно падают на сухие тротуары и мостовые.

Мама приезжала ко мне в гости не столько потому, что скучала обо мне, – ведь не так далёк был мой зимний отпуск, сколько из желания отдохнуть самой.

Поскольку в нашей семье, начиная с нэповских времён, всегда существовали приходящие домработницы, хозяйственные заботы маму не слишком утруждали. Сравнительно с бабушкой Юлей, она жила барыней.

Но маму угнетала та угрюмая и насыщенная взаимной ненавистью обстановка в квартире, которая угнетала и меня, когда я там появлялась. Угнетало постоянное присутствие Марии Алавердиевны с её громким старческим сопением и кашлем. Угнетала нахальная Лилька. Даже Александра Арсеньевна – дама приятная во всех отношениях, – но ведь и демьянова уха была, наверное, наваристой и вкусной...

Приезжая ко мне, мама отдыхала во всех смыслах слова – и телом и душой. Присматривать за хозяйством она оставляла Леночку – в то время уже взрослую девицу.

В Саратове маму ждал мягкий диван – самое широкое место в наших комнатах, ждали журналы и разнообразная бел-

летристика, специально для неё принесённая из институтской библиотеки, ждала тишина. Никаких гостей, которых надо обслуживать и выслушивать, никаких вокалистов за стеной, из которых не все обладали приятными голосами или раздражённых возгласов за той же самой стеной по поводу «стервы Нинки» и «чёрт бы её побрал Марульки».

Пользуясь постоянной солнечностью саратовской осенней погоды, мама, пока я читала лекции или готовилась к ним, прогуливалась по незнакомым ей улицам и заходила на «рубенсовский рынок», откуда она приносила фрукты к обеденному столу и яркие букетики для оживления наших комнат. Забрела однажды в Дом-музей Чернышевского – не из интереса к прославленному демократу, а с намерением познакомиться с Ниной Михайловной и поговорить с ней о Ёлкиных. Но Нину Михайловну на месте не нашла, а повторно в этот музей заходить не стала.

В то время, когда у нас не было Настасьи Петровны, я водила маму обедать вне дома, но не в дешёвенькое кафе, куда обычно ходили мы с Колей, а в один из лучших саратовских ресторанов под названием «Астория». В отличие от московских учреждений подобного типа, там всегда имелись свободные столики, особенно в дневное время. Правда, этот ресторан отличался от кафе и столовок лишь тем, что на столах были постланы не клеёнки, а скатерти, и кушанья подавались не на тарелках, а на продолговатых металлических блюдах и с более разнообразным гарниром.

Нас с мамой веселила кристальная честность местной администрации, которая, не маскируя свою продукцию красивыми названиями типа «эскалоп», «шницель» и т.п., прямодушно обозначала в меню:

«Холодец из свиных обрезков»

«Бульон из говяжьих костей»

«Поджарка из говядины второго сорта»

«Рассольник из гусяной требухи» (почему-то слово «потроха» автору меню не понравилось).

Наперекор свои малоаппетитным названиям, всё это было вполне съедобно.

«Астория» находилась недалеко от нас, но мама вскоре отдала предпочтение ресторану-поплавку, прицеплённому к волжской набережной. Еда там была такая же, хотя и с более обычными для ресторанов названиями, но дело было не в еде. Когда мама садилась за столик на палубе и смотрела оттуда на волжскую ширь, её лицо принимало счастливое выражение. Чувствовалось, что она в эти минуты вспоминала свою нижегородскую молодость и свои частые в то время пароходные поездки.

С тех пор, как в моём доме появилась Настасья Петровна, необходимость в ресторанных обедах отпала, но мама всё же тянула меня на привычный «поплавок», чтоб иметь возможность там побывать, хотя бы при заказе мороженого и чашечки кофе. Тем более что это место было для мамы не только воспоминанием о пароходах, но и единственной возможностью полюбоваться волжской ширью, – не могла же я тащить её на Соколиную гору, куда и сама поднималась с трудом.

Своеобразные взаимоотношения складывались между мной и мамой в дни наших встреч – то в Москве, то в Саратове.

В Москве мама оставалась прежней – заботливой, но властной, склонной меня поучать и контролировать каждый мой шаг, как будто бы я всё ещё оставалась маленькой. Когда мы жили вместе, это нередко меня раздражало, но когда начали жить врозь – даже нравилось.

Но как-то непроизвольно, помимо воли, мама менялась, приезжая ко мне. От повелительных ноток в её голосе не оставалось и следа. Как будто мы были девочками, играющими в «дочки-матери», и теперь роль «дочки» доставалась ей.

То и дело я слышала:

– Можно я переставлю эту этажерку сюда?

– Можно я возьму эту книгу?

– Ты не против, если я попрошу Настасью Петровну приготовить голубцы? и т.д.

В своём доме старшей всегда была мама. В моём – я. А вне дома, например, в театре или в кино, мы как бы превращались в подружек-ровесниц.

Мы обе были сладкоежками, но кондитерскими лакомствами не злоупотребляли: мама, сильно располневшая к пятидесяти го-

дам, «берегла фигуру». Но увлекалась фруктами. Маме очень нравились саратовские дыни «колхозницы», которые на московских рынках всё ещё не появлялись, а мне она привозила апельсины, почти таких же размеров, как эти дыни. Во время гражданской войны с Испанией Москва была наводнена этими апельсинами, а до саратовских магазинов они не доходили.

Полная беззаботность... Близость милой ей сердцу Волги... Да, этим мама дорожила. Но мне кажется, самым главным, что гнало её из привычной обстановки, было то, что она получала возможность улыбаться и даже смеяться, когда ей вздумается. Дома же ей приходилось жалеть бабушку, подыгрывать ей. А бабушка, похоронив Наташу, с горечью думая о Гуле и ничего не зная о Толе – своём единственном сыне, – всегда находилась в подавленном и озлобленном душевном состоянии, полагая, что в таком же состоянии должны пребывать и все её близкие.

Папа и Леночка были счастливее мамы, поскольку имели возможность вырываться из квартирного мрака и духоты и общаться с другими людьми, жить другими интересами.

36 © НА ПОРОГЕ СОБЫТИЙ

Если бы моя жизнь состояла лишь из домашних забот и профессиональных интересов, я сказала бы, что мой второй учебный год в Саратове был веселее первого.

Ещё бы! Появились друзья, наладился быт, да и подготовка к лекциям стала отнимать значительно меньше времени, поскольку идти по проторенной дорожке проще, чем вскапывать целину.

Но настроение в 1939–1940 учебном году и у меня, и у Коли не было весёлым, не было даже спокойным из-за внешней политической обстановки: гроза ещё не разразилась, но зарницы уже мелькали, дальний гром погромывал, облака сгустились и приобретали зловещую окраску.

Гражданская война в Испании завершилась разгромом ре-

спублики и возникновением в Европе ещё одного фашистского государства... То и дело наши восточные границы нарушались агрессивными вылазками Японии... Будь у Советского Союза золотой петушок, как у царя Дадона, ему, точно флюгеру, пришлось бы беспрестанно крутиться направо-налево.

Потом началась Вторая мировая война. Правда, первое время мы ещё не знали о том, что она – мировая. Видели только, что фашистская Германия заглатывает страну за страной, энергично продвигаясь на север и на восток, – то есть в нашу сторону...

Почти мгновенно ей подчинилась и Франция.

Во Франции я никогда не была и не надеялась попасть. В те годы мало кому разрешали выезжать за границу, и эти редкие выезды обычно заканчивались для счастливых печально: их начинали считать зарубежными шпионами.

Но по книгам Гюго, Бальзака, Мопассана и многих других французских писателей-современников я хорошо представляла себе Париж с Лувром, Монмартром, Эйфелевой башней, собором Нотр-Дам и прочими его достопримечательностями. И было больно, что по его прекрасным, в моём представлении, улицам маршируют сапожища фашистских захватчиков и развеваются знамёна с ненавистной свастикой.

А бабушка Юля и мама тревожились о дяде Толе, которого судьба занесла в Париж. Особенно бабушка. У мамы была своя семья, свои заботы и интересы, а бабушка была полностью поглощена недавней смертью тётки Наташи и печальной судьбой Гули. Её мучила и несправедливость ареста, и его нелепость:

– Ведь до срока окончания его ссылки оставалось три недели... Три недели! Неужели из-за этой малости ему дали десять лет... И не ссылки, а каторги! Какие-то три недели не дотерпел человек, приехал проститься с умирающей матерью...

Не понимала бедная бабушка, что Гуля не миновал бы ареста и приговора, если бы даже не появился в Москве с паспортом ссыльного под самый майский праздник. Под тем или иным предлогом человека, побывавшего за рубежом, всё равно схватили бы, как предполагаемого шпиона. Ведь весна тридцать восьмого года недалеко ушла от тридцать седьмого, который прославился

самыми массовыми арестами и самыми лютыми приговорами за весь период существования советской власти.

О Толе – своём единственном сыне – бабушка тоже не переставала тосковать. Ведь уже более двадцати лет она не имела возможности общаться с ним даже письменно. Но до того как Гитлер напал на Францию, она из коротких весточек, которые время от времени получала от «мадам Анатоль» тётя Нюта, узнавала, что Толя жив и живёт благополучно. И на том спасибо.

Вторая мировая война оборвала почтовую связь между СССР и Францией.

Это само по себе было грустно для бабушки. А потом стало страшно: «Не погибнет ли Толя при бомбардировках? Вдруг фугаска угодит в его дом?»

А когда немцы вторглись в Париж, бабушке стало ещё страшнее: «А вдруг его убьют за то, что он русский? А вдруг они с Аней голодают?»

Бабушкина тревога была обоснованной: ведь супружеская пара парижских Глазовых кормилась лишь теми доходами, которые получала Анна Александровна от мастерской «плиссе-гофре», которую содержала и где трудилась. А кто тогда в разорённом, только что захваченном неприятелями городе помышлял об отделках платьев и юбок?

Каким-то чудом, прямыми или косвенными путями, – не знаю, – одно письмо А. И. Худяковой от «мадам Анатоль» всё же дошло. Но бабушка об этом не узнала, поскольку Анна Александровна сообщала там о смерти Толи. Тётя Нюта и мама решили, что бабушке знать об этом не нужно.

Он не пострадал от вражеской пули или снаряда, не умер голодной смертью, – его погубило больное сердце, видимо унаследованное дядей Толей от дедушки Мити. Вид маршировавших мимо его окон нацистских солдат, распевających победную песню, вызвал у дяди Толи «разрыв сердца», – как написала Анна Александровна и что в переводе на медицинский язык называется инфарктом.

Мама передала это письмо Марии Николаевне Мансуровой, и они вдвоём решили скрыть кончину дяди Толи не только от бабушки, но даже от Санаты, меня, Олечки, моего папы, Всево-

лода Алавердиевича, чтоб никто из нас ненароком в присутствии бабушки об этом не проговорился.

Тогда шёл 1940 год. Дяде Толе было пятьдесят восемь, так же как и тёте Наташе, когда она умерла. После этого маму охватил страх: может быть в этом возрасте суждено умереть и ей? Тем более что её этот роковой возраст настиг в 1942 году, когда смерть была ко всем обитателям нашей страны ближе, чем когда-либо.

А когда умерла Анна Александровна? Этого никто не знает. Некому было об этом написать ни Мансуровым, ни Худяковым.

Наша пресса всегда декларировала миролюбие СССР, яростно громила агрессоров. И в серьёзных публицистических статьях, и в сатирических фельетонах. Чуть ли ни в каждом номере «Правды» публиковались шаржи Бориса Ефимова или Кукрыниксов. Там в самом гадком виде изображались то Геббельс в виде мартышки с огромной пастью, то Геринг, похожий на бесформенную глыбу непомерных размеров, то сам фюрер в его характерными усиками и косой чёлкой. Вслед за журналистами композиторы и поэты-песенники по радио и с телеэкранов внушали нам, что фашистских выродков следует всей душой ненавидеть, но бояться их незачем, поскольку наша держава могуча и непобедима. Где им до нас!

«...Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать...

или

«...Мы – мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути».

Даже диснеевский фильм о трёх поросятах, рассчитанный на малышей, воспринимался нами в том же антивоенном самонадеянном ключе: «...Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк...»

В большую моду вошла тогда у нас эта песенка! Мы утешали себя, но тревога не проходила. Ведь война охватила всю Европу, была под боком...

Поэтому, когда совершенно неожиданно для нас, обывателей, в Москву явился Риббентроп в роли ангела мира, и в Крем-

ле был подписан договор о дружеском нейтралитете и взаимном ненападении, – все были счастливы, и я тоже.

Но вскоре многое начало меня не на шутку смущать.

Не было ни у меня, ни у Коли, ни у моих родителей ничего более ненавистного, чем фашизм с его наглым расистским самовосхвалением, шовинистическими погромами, кровавыми войнами, пыточными застенками средневекового образца. (Разумеется, о том, что подобные застенки имеются и у нас, мы и понятия не имели, – знали только, что в нашей стране «сидят» или трудятся на благо Родины в специальных трудовых лагерях.)

Договор о ненападении – это, конечно, хорошо, – думали мы, – нас смущало то, что в официальное определение наших взаимоотношений с фашистской Германией вошло слово «дружба». А разве мы вправе дружить с этой дьявольской силой? С этими захватчиками и палачами?

Было строго запрещено и в общественных местах, и в печати упоминать слово «фашизм». Гитлеровскую клику следовало теперь называть только так, как она сама себя называла – «национал-социалистами». Приказано было никогда не употреблять по отношению к её действиям такие термины как «агрессоры», «захватчики». Как будто смылись со страниц всех советских газет привычные нам шаржи на этих так называемых национал-социалистов, но сатирики без работы не остались, обратив острия своих перьев и карандашей на зарубежных поборников демократии, которую в нашей прессе с высот коммунистической идеологии презрительно называли «буржуазной». Как будто именно она, а не фашистская Германия в союзе с фашистской Италией залила кровью почти весь европейский континент.

Наконец-то газетные страницы познакомили нас с подлинными, а не шаржированными физиономиями фашистских деятелей. На фотоснимках Геринг, Геббельс и прочие, подобные им, выглядели совсем не так, как на карикатурах Бориса Ефимова и Кукрыниксов, но фюрер и в жизни оказался ничуть не милее, чем в окарикатуренном изображении: те же истерические жестикуляции, та же ничтожная физиономия, которую

даже никакая улыбка не украшала, скорее, наоборот, – настолько она была фальшивой и подленькой.

Запомнился мне один из газетных снимков, запечатлевший В. М. Молотова во время его ответного визита в Берлин. Фюрер с этой самой улыбочкой пытается обнять за талию «высокого гостя», а тот со сконфуженным видом, стыдливо потупив глазки, но тоже улыбаясь, отклоняет свой стан чуть-чуть в сторону. Ни дать ни взять – горничная, которую пытается облапить барин. Ей и неудобно, и противно, но, – ничего не поделаешь! Положение бедняжку обязывает «не дёргаться».

И на других газетных снимках нам демонстрировались рукопожатия или подобные же поползновения новоявленных «друзей СССР» обнять или полубобнять наших высокопоставленных соотечественников. Хорошо, что тогда не было модно целоваться во время встреч «на высшем уровне»: такие поцелуи вошли в моду при Хрущёве, а вслед за ним полюбил целоваться и Брежнев.

Сталин оказался умнее своих соратников: ни в какую гитлеровскую резиденцию не ездил и никакими объятиями или рукопожатиями себя не осквернил, – во всяком случае, перед фотокамерами. Хранил достоинство.

Стало больно читать журнал «Интернациональная литература» (ныне «Иностранная литература»). Ещё недавно все прогрессивные писатели Запада и Востока, даже далёкие от коммунистической идеологии, с уважением говорили о Советском Союзе, как о надёжном оплоте всемирной антифашистской борьбы и миролюбия, а сейчас они все, как один, громко возмущаются нашим сближением с Германией, называя нашу внешнюю политику гнусной и предательской.

В ответ на это от них (включая Б. Шоу, Т. Драйзера, Э. Хемингуэя и пр.) отвернулось советское Министерство высшего образования, приказав нам вычеркнуть их имена из учебных программ и лекционных курсов.

Много и непонятного, и крайне неприятного происходило в 1940 году!

Непонятно было, почему по инициативе советского правительства прекратил своё существование Коминтерн, а его акти-

висты, искавшие в СССР убежища от фашистских преследований, стали во множестве погибать в наших сибирских лагерях или «при невыясненных обстоятельствах».

За какие провинности был, например, отправлен в лагерь и вскоре погиб там известный антифашистский деятель, польский писатель Бруно Ясенский и его не менее известный венгерский брат Матэ Залка?

В том году стало опасно высказывать о так называемых «национал-социалистах» то, чего они заслуживали, и, наоборот, возможно стало хвалить их, находить у них какие-то достоинства. Говорить, например, о «рыцарственности» их национальных традиций или о том, что в годы Первой мировой войны Германия, как и Россия, оказалась жертвой Антанты в лице таких хищников, как Англия, Франция и США. Газеты внушали нам, что развязанная Гитлером Вторая мировая война всего-навсего справедливый реванш.

Институтские дамы – в основном, лаборантки и секретарши – наперебой восхищались внешним обликом Риббентропа: «Какой красавец! Какая благородная осанка! Настоящий Лоэнгрин!»

Но если у простых обывателей имелась возможность молчком переживать это непонятное и неприятное время в надежде, что «люди одумаются» и не сегодня-завтра всё встанет на свои места, то у нас, лекторов, такой возможности не было. Не могла же я, приходя в студенческую аудиторию, называть чёрное белым!

Пришлось пойти на хитрость. Напоминать о тактике, которая когда-то побудила самого Ленина временно объединиться с ненавистными ему меньшевиками и эсерами, а в более поздние годы терпеть хищников-нэпманов. А сейчас, – говорила я, – нашей стране необходимо не дать себя втянуть в войну. Это – просто временная тактика.

Не бог весть какие мудрые мысли я тогда высказывала, но всё же совесть моя спокойна: ни одного крупного писателя-антифашиста я из учебной программы не выбросила, ни единого доброго слова о фашистской деятельности или идеологии произнести себе не позволила. Конечно я, как и все в то время,

употребляла термин «национал-социалисты», но мои слушатели при помощи Фейхтвангера, Брехта, Бределя и других авторов, которых они читали, а я помогала им понять, не заблуждались в оценке того, что скрывалось за этим безобидным на первый взгляд понятием.

А о том, что находилось вне моего понимания, я имела права не говорить, поскольку, к моему счастью, это не имело отношения к истории зарубежных литератур.

В частности, я не могла бы объяснить не только студентам, но даже самой себе, почему прославившийся своим миролюбием Советский Союз затеял войну с Финляндией или, точнее говоря, всей своей машиной рухнул на маленькую страну, которая нас не трогала. У меня не нашлось бы ни одного аргумента в оправдание этого шага, ни одной мало-мальски пристойной исторической параллели. Агрессия, она и есть агрессия.

И пресса, и наш местный маленький вождь в лице руководителя институтского политсеминара нам внушали следующее: Ленинград – почти столичный город, по своему политическому и хозяйственному значению не уступающий Москве, – расположен почти на государственной границе. Это небезопасно в то время, как война охватила всю Европу. (По чьей вине разразилась эта война, при этом не говорилось). Следовательно, необходимо значительно расширить Ленинградскую область, отодвинув границу на запад, подальше от города.

Мне думалось: если так оно и есть, то чем финны виноваты? Почему они обязаны нести ответственность за непредусмотрительность Петра? Лишатся курортов Финского залива?

Нам твердили: наша страна ничего ни у кого не отнимает. Она предложила Финляндии мирный и честный обмен: за ту территорию, которую мы у неё отхватили, мы в порядке компенсации отдаём ей равное количество квадратных километров в северных болотных местах. Пусть финны пеняют на себя: им бы следовало согласиться на предложенный мирный территориальный обмен, а они сдуру взялись за оружие.

Жаль мне было не столько финнов, яростно защищавших свою землю и свои законные права, сколько русских солдат, моих соотечественников. Зима 1940–41 годов выдалась лютой, а их

послали на фронт без валенок и без ушанок. Многие погибли не от неприятельского оружия, а попросту замерзли; у многих были ампутированы конечности не потому, что они были раздроблены снарядами, а потому, что были отморожены.

Тяготы этой несправедливой войны достались некоторым юношам, которых я знала, в их числе оказались и мои студенты, и сыновья моих знакомых. Воевал в Финляндии и Вадим Глазов – брат нашей Леночки. Он в то время работал механизатором близ Арзамаса, но оказался вынужденным сменить мирный трактор на боевой танк.

Ещё больший внутренний протест вызывало у многих, в том числе и у меня, вторжение советских войск в Польшу, хотя газеты оправдывали и его благовидным предлогом: намерением соединить живших на польской земле украинцев и белорусов с их советскими братьями. Звучало это благородно, но выглядело совсем иначе: следя по карте Европы за военными продвижениями, мы видели, как несчастную Польшу кромсают с двух сторон: с запада на неё набросилась гитлеровская Германия, с востока – СССР...

Совсем по-иному отнеслась и я, и те близкие мне люди, с которыми я решила поделиться своими сомнениями, к присоединению к Советскому Союзу трёх прибалтийских республик, поскольку это, как нам тогда казалось, произошло мирным путём, добровольно. На этот раз у меня не было оснований недоверчиво относиться к тому, что по этому поводу писалось в газетах. Я была искренне убеждена в том, что на этот раз СССР поступил честно, даже великодушно: в то время как фашистская Германия одну за другой заглатывала все малые европейские страны, и та же участь грозила и странам Прибалтики, Советский Союз спас их от этой трагической участи, – став частью СССР, Эстония, Латвия и Литва оказались под защитой «Договора о ненападении». И им хорошо, и нам тоже: теперь ещё шире стала «широка страна моя родная».

Мои соотечественники приветствовали присоединение Прибалтики к СССР, оценивая этот факт и на житейском, обывательском уровне. Любители пива радовались тому, что наряду с привычным «жигулёвским» на наших прилавках

появилось и тёмное рижское отличного качества. Модницы с удовольствием стали раскупать шерстяной и вискозный трикотаж из Риги или Таллина, возможно не более качественный, чем наш, но значительно более разнообразный и нарядный; лакомки набросились на искусно стилизованные под фрукты и овощи марципаны.

Однако радость эта оказалась недолгой. Вскоре не только все эти милые вещицы точно метлой вымело из наших галантерейных и кондитерских магазинов, но начались трудности и с тем, что производилось и в нашей собственной стране. То куда-то сгнули сахар и крупы, то мыло, то масло того или иного вида. Город начал обрастать длинными очередями, похожими на «хвосты» 1919–1921 годов. Видимо, дорого обошлись нашей стране войны то на финской, то на польской земле, не говоря уж о человеческих жизнях, при этом загубленных.

Карточную систему пока не ввели, но покупки строго ограничивали, выдавая «в одни руки» не больше одного килограмма крупы, двух кусочков мыла, полкило сахара и т.п. На рынках подобных ограничений, естественно, не было, но резко вздулись цены.

Как бы возмутились мы тогда, если бы знали, что эти нехватки проистекали не только от наших собственных национальных нужд, но и от необходимости подкармливать нашего новоявленного «друга и союзника» – Германию.

Газеты об этом молчали.

Тут-то мы с Колей поняли, каким сокровищем обладаем в лице Настасьи Петровны.

Добывать дефицитные продукты стало для неё не тяготой, а удовольствием, своего рода спортом, к которому она относилась так же азартно, как грибник к своим лесным трофеям или рыболов к удачному клёву. Никто её не неволил, поскольку у нас ещё водились кое-какие запасы, но она ни свет ни заря по собственной инициативе мчалась на поиски, весело помахивая пустыми кошелёчками. Если что-нибудь привозили в небольшой бакалейный магазинчик, находившийся в полуподвальном помещении нашего дома, Настасья Петровна, отбросив в сторону всю присущую ей степенность, ныряла туда по множеству раз,

занимая одну очередь за другой – сразу к нескольким продавцам. Чтоб продавцы её не заметили, она при этом преображала свой внешний облик с быстротой и ловкостью молодого Аркадия Райкина. То она натягивала на голову платки или шали разных цветов, то являлась в Колиной ушанке или в моей шапочке, что нам обоим совсем не нравилось, но приходилось терпеть ради «святого дела». Один раз, когда в этот магазин привезли какую-то особую редкость, – наша благодетельница испугалась, что этого продукта «на всех не хватит» и пустилась даже на прямую мистификацию, заявив во всеуслышанье, что в конце нашей улицы, прямо на дереве висит удавленник. Поскольку народ всегда жаждет не только хлеба, но и зрелищ, многие тут же кинулись смотреть, очередь несколько рассосалась, и Настасья Петровна, благодаря этому, оказалась у самого прилавка. Одураченные, вернувшись, не стеснялись в выражениях, но хитрая выдумщица, весело упрятывая в сумку свою добычу, невозмутимо отвечала: «Сама видела! А потом, наверное, милиция его сняла». Словом, степенная на вид старушка оказалась сродни и Фигаро, и Труффальдино, и лисице из народных сказок.

От неё не отставала и наша соседка по квартире Наталья Игнатьевна, которая, несмотря на свою научную профессию, жила преимущественно кухонными интересами. Всё своё свободное время и весь пыл своей души она отдала очередям и до такой степени набила всевозможной бакалеей все наши места общего пользования, что наша квартира заблагоухала не хуже любой продовольственной или москательной лавки. Настасья Петровна нашла из кухонных полотенец столько мешков для круп и макарон, что нам некуда стало их помещать. И кухню, и коридор загромодила своими припасами соседка, и нам пришлось держать наши запасы в комнатах, что мало их украшало. Наши апартаменты и без того были меблированы не слишком элегантно.

Наталью Игнатьевну мы заочно прозвали «Макаронишной», хотя и сами, благодаря Настасье Петровне, были не лучше её.

Тех наших приятелей, которые домработниц не держали, выручали в те дни их неработающие мамы, тёщи или свекрови.

Все запасались, как могли и чем могли, но никто не мог побить рекордов нашей квартиры в лице Настасьи Петровны и «Макаронишны».

1940 год... Вторая мировая война была в самом разгаре. Но нас она ещё не касалась. Мы с Колей нормально работали, нормально питались, а если у меня иногда и бывало тяжело на душе и смутно в мыслях, то, во-первых, из-за того непонятного и неприятного, что творилось в широком внешнем мире, а, во-вторых, из-за личных трагедий людей, которые были рядом, и с которыми я успела подружиться.

Подружки были у меня всегда. Начиная со школьных лет. Институтские и более ранние: Аида, Галя Мясникова и некоторые другие. Но что нас сближало? Теннисная площадка и акульевские вечера «на брёвнышках», танцы под патефон и кое-что другое в том же духе. Всем нам жилось благополучно, и не возникало поэтому никаких поводов для взаимного душевного сочувствия. Со многими девушками я так же легко сходилась, как и расходилась, и наши взаимоотношения следовало бы называть не дружескими, а приятельскими.

Только в Саратове 1939–40 годов и позже я осознала, что такое дружба. Как можно ощущать боль другого человека с такой же остротой, как свою собственную. Что значит – спешить на помощь, когда другому трудно, и ощущать дружескую поддержку и душевное тепло в собственные трагические минуты.

У Лиды Баранниковой умер ребёнок – одиннадцатилетний мальчик, родившийся слабеньким. Она очень его ждала и очень страдала, когда он постепенно угасал, а она была бессильна предотвратить неизбежное. Это была трагедия, хотя всей её глубины никто ещё не знал. Хороня своего Лёничку, Лида ещё могла надеяться на второе, более счастливое материнство, но жизнь её обманула. Следующий её мальчик родился мёртвым, чуть не унеся на тот свет и саму Лиду. Узнав о том, что она больше никогда родить не сможет, Лида усыновила двухлетнего сироту, воспитала его, но впоследствии тоже потеряла. Уже ставшего взрослым.

Драматически сложилась и судьба другой моей саратовской подруги – Маргариты Дотцауэр, хотя она, в отличие от Лиды, родила здорового, крепенького ребёнка – девочку Людмилу.

Как радовалась Маргарита! Она была уверена в том, что появление на свет этой крошки излечит Александра Павловича от тоски об умершем Павлуше и укрепит их союз.

Однако этого не произошло.

Безмерно счастливой чувствовала себя Маргарита в день своей выписки из роддома, куда приехала её встречать и Мария Николаевна – её мама, – и Александр Павлович. Но именно тогда и хлестнула её судьба.

Когда медсестра протянула пеленашку молодому, хотя далеко не молодому, отцу, по его лицу вместо счастливой улыбки пробежала болезненная судорога. Он отшатнулся и пробормотал: «Простите... Я не могу...»

Девочку подхватила бабушка. Маргарите стало горько, но она не обиделась на любимого человека, поняв, что творится в его сознании: при виде второго своего ребёнка, он вспомнил первого, которого потерял. Ей подумалось, что это был минутный порыв, а потом всё сгладится.

Но этого не случилось. И в последующие дни Александр Павлович не подходил к дочке, не смотрел на неё, – только болезненно и досадливо морщился, когда она подавала голосок.

Вскоре он выхлопотал себе квартиру в нашем ещё не полностью заселённом доме. Хотя он уже имел просторное отдельное жильё, но в старенькой деревянной постройке с дровяным отоплением и, как один из самых уважаемых в институте лиц, имел право на так называемое «улучшение жилищных условий». Ему дали отдельную четырёхкомнатную, как раз над той, где жили мы с Колей и чета Ларионовых.

Маргарита была рада, – не столько потому, что мы с ней, успевшие за минувшие месяцы крепко подружиться, стали близкими соседками, сколько отрыву Александра Павловича от его старого гнезда, полного воспоминаний, где она чувствовала себя чужим человеком. Однако напрасно она радовалась: на новую квартиру перевезли только её с малюткой и её вещами, а Александр Павлович остался на старом месте под тем предлогом, что присутствие грудного младенца несовместимо с его научной работой, требующей тишины.

Дело было, однако, совсем в другом. Выяснилось, что Ольгу

Александровну, его законную жену, власти помиловали и освободили от сибирской ссылки, оставив ей в наказание лишь так называемый «минус» – запрет жить в крупных городах, в число которых входил и Саратов. Она поселилась поблизости – на противоположном волжском берегу, в городе Энгельсе.

Александр Павлович начал её навещать, а, кроме того, они вдвоём часто навещали могилу Павлуши. Боясь милицейского надзора, Ольга Александровна не смела приблизиться к дому, где когда-то жила, поскольку даже находиться на саратовских улицах ей было запрещено, как в своё время Гуле в Москве, но кладбище находилось на далёкой окраине, за городской чертой.

Пришёл конец Маргаритиной супружеской жизни, причём она, бедная, не имела даже возможности по этому поводу негодовать: права Ольги Александровны были бесспорны, поведение Александра Павловича – психологически объяснимо и морально оправдано. Но она была в отчаянье, которое у неё – человека экспансивного – проявлялось особенно бурно. Неудивительно, что у неё полностью пропало молоко, и крошечную Милу вскармливала не мама, а бабушка, приносившая ей бутылочки из детской консультации.

Естественно, что владелицей отдельной четырёхкомнатной квартиры Маргарита не осталась. Рядом с ней поселился Евграф Покусаев со своим семейством, которое тоже нуждалось в «улучшении жилищных условий», поскольку жило в деревянной развалюхе.

С этим соседством Маргарите повезло. Шура – уже опытная мамаша – и практически ей помогала, и вместе со мной делала всё возможное, чтоб её утешить и подбодрить. На своё счастье, Маргарита не только легко впадала в бурное отчаяние, но и легко выходила из этого состояния. Её нетрудно было отвлечь от горьких мыслей, рассмешить каким-нибудь пустяком. Бывало, глаза её ещё красны от слёз, а она уже улыбается, даже иной раз и расхохочется. Такие характеры справедливо называют лёгкими.

Мы с Шурой всячески старались, чтоб Маргарита плакала как можно реже, а улыбалась как можно чаще.

Относились мы к ней в равной мере доброжелательно, но всё же по-разному.

Шура не только была безупречно добродетельной женой, но и воспитана была в правилах строгой морали. Как человек добрый, способный к сочувствию, она, разумеется, была далека от кумушек, которые злорадно трепали Маргаритино имя, но, подобно им, в душе считала Маргариту грешницей за её сожительство с чужим мужем, да ещё в такое время, когда законная супруга Александра Павловича была от него удалена не по своей воле. Шура была жалостлива по отношению к «грешнице», своей институтской однокурснице, но всё же подсознательно, с высоты своей добродетели, смотрела на неё сверху вниз, что Маргарита тоже подсознательно ощущала. Поэтому и она, со своей стороны, не одинаково относилась к Шуре и ко мне. Я грешницей её не считала, не «сниходила» к ней, а, наоборот, смотрела на неё снизу вверх как на человека, оказавшегося способным на сильную любовную страсть, ещё неведомую мне, и на прощенье нанесённой ей обиды.

Моё дружеское сострадание к Лиде Баранниковой оставалось пассивным. Я могла словесно выразить участие к её горю, но не более того. Чем я могла бы помочь её медленно угасавшему мальчику? Что сделать для него и для неё?

По отношению к Маргарите – иное дело! Здесь у меня было широкое поле деятельности, и я этим пользовалась, как только умела.

В те годы так называемые декретные отпуска были совсем коротенькими. Милочке – Маргаритиной дочке – было всего полтора месяца, когда её маме пришлось приступить к работе. Новая боль для Маргариты, поскольку работать ей пришлось на кафедре А. П. Скафтымова, постоянно с ним общаясь на деловой почве и у всех на глазах. А глаза эти в своём большинстве были злорадными, недоброжелательными. Однако угнетало её не только это. Ребёнка необходимо было на длительное время оставлять на чьих-то руках. На чьих? Мария Николаевна уделяла внучке много внимания, но постоянно находиться при ней не могла, поскольку внимания от неё требовал и её муж – человек избалованный и капризный, совершенно не склонный ради нелюбимой

падчерицы терпеть какие бы то ни было жизненные неудобства. Наёмную няньку пришлось прогнать, когда было замечено, что она кормит младенца обыкновенным рыночным молоком, а питательную смесь из детской консультации выпивает сама. Рядом Шура... Но много ли свободного времени у классного руководителя, к тому же воспитывавшую собственную дочку?

Я тоже не была человеком свободным, но в мозаике, составленной из Марии Николаевны, самой Маргариты и Шуры, и я оказалась не лишним камушком. Приходилось и мне подстирывать-подглаживать ребячье бельишко и становиться для маленькой искусственницы кормящей мамой, разогревая для неё молочные смеси и заботясь о чистоте её бутылок и сосок, обмывая их и прокипячивая.

И, – странное дело! До этого я относилась к чужим младенцам довольно отчуждённо. Мне нравились только такие, с которыми уже можно было пообщаться, поиграть. Но когда я держала на коленях пеленашку Милочку, и она у самого моего соска причмокивала, глотая своё молочко, меня охватило сильное волнующее чувство, которое я с полным правом могла бы назвать материнским инстинктом, – такую нежность внушал мне к себе этот на редкость хорошенький ребёночек. И естественным образом возникла мысль: «А не завести ли и мне моего собственного, такого же милого и трогательного?»

Вскоре стало известно, что с Ольги Александровны Скафтымовой сняты все репрессии, и она, покинув Энгельс, вернулась в свой дом. Доброжелатели семьи Скафтымовых радовались за них, а Маргарите, к счастью, это новых слёз не прибавило: она к тому времени уже давно перестала надеяться на возобновление близких отношений с Александром Павловичем. Поняла, что всё, связанное с ним, для неё кончено.

А. П. Скафтымов выполнял свой родительский долг добросовестно. Правдами или неправдами добился того, чтобы Мила получила его отчество и фамилию, выдавал деньги на содержание в значительно большей сумме, чем полагалось бы официально, по алиментному документу. Когда у Милы обнаружили музыкальные способности, он купил ей пианино и оплачивал её уроки.

Только после того, как Мила начала делать успехи в музы-

кальной школе, а затем и в консерватории, её отец начал проявлять к ней интерес. Ведь способным пианистом был и покойный Павлуша! Его не оставил равнодушным и внешний облик Милы – красивого подростка, потом – красивой девушки. Он пытался сблизиться с ней, но время для этого оказалось безвозвратно упущенным: Мила называла его папой, как её научили, но относилась к нему до самой его кончины как к «чужому дяде» – с холодным безразличием.

Холодно относилась Мила и к матери, в чём виновата была сама Маргарита.

К моему и Шуриному удивлению, равнодушие Александра Павловича к своему ребёнку повлияло и на Маргаритино материнское чувство. Как будто крошечное существо было виновато в том, что не выполнило ту роль, которую Маргарита ему уготовила ещё до его рождения, – стать скрепляющим звеном между теми, кто произвёл её на свет.

Едва Милочке исполнился годик, Маргарита полностью поручила её двум бабушкам – Марии Николаевне и её сестре – Лидии Николаевне, жившей там же, а сама стала навещать её раз в неделю, а иногда и ещё реже. Маргарита всегда приходила к дочке с гостинцами, но близким для неё человеком так и не стала, о чём на старости лет очень сокрушалась.

Одновременно с О. А. Скафтымовой в Саратове стали появляться и другие недавние ссыльные, удостоившиеся реабилитации. В частности, новые лица из числа этих помилованных появились и в нашем пединституте. Например, преподавательница французского языка Надежда Генриховна Леер, бывавшая в ссылке, подобно О. А. Скафтымовой за тот же самый грех – дружеские взаимоотношения с коллегой, обвинённой в шпионаже.

Трагична была судьба Ольги Александровны, которую арестовали в больнице, где она сутками сидела возле умирающего сына. Трагична была судьба и Н. Г. Леер, – о чём я узнала значительно позже, когда «о таком» стало возможно говорить.

Надежда Генриховна была женой ленинградского профессора-физика и матерью маленького сына Лёвы. Семья жила дружно и вполне благополучно, пока Надежда Генриховна не

«изменила патриотическому долгу», позволив себе сблизиться с «врагом народа».

На лагерные нары она не попала. За «недостаток бдительности» и «недоносительство» её наказали «милостиво», – всего лишь ссылкой в сельскую глушь Казахстана.

В отличие от прославленных Некрасовым жён-декабристок, муж Надежды Генриховны не последовал за ней туда, хотя никто не лишал его этого права, объяснив своей сосланной жене, что расстанется с ней для её же блага. Поскольку в глухой сельской местности он не смог бы найти себе никакого применения, а в качестве ленинградского профессора сможет облегчать её участь денежными переводами и посылками. И квартиру сохранит.

Надежда Генриховна нашла эти доводы разумными. Согласилась она и с тем, что их сына необходимо оставить с отцом в Ленинграде, где он сможет учиться в привилегированной школе, обучаясь иностранным языкам, музыке, конькобежному спорту и многому другому полезному.

Со многим она, бедняжка, соглашалась. Даже с тем, что её муж с её разрешения развёлся с ней и вступил в новый брак, поскольку ему необходима подруга, а мальчику – мать, «хоть и не родная, но добрая, которая будет соблюдать в доме порядок». Муж вступал в этот брак с разрешения и даже благословения жены, хотя нетрудно догадаться о том, что тогда происходило на душе Надежды Генриховны.

Никто никого не обманул. Бывший муж добросовестно слал ей и деньги, и посылки, и дружеские письма, его вторая жена оказалась неплохим человеком, не обижала пасынка, хотя он продолжал больше любить свою родную маму, с которой регулярно переписывался, чем её. Могло быть и хуже.

Но вот – Надежда Генриховна на свободе. Полностью реабилитирована. Ленинград для неё открыт. Но ехать ей некуда. Пришлось выбрать Саратов, благо на кафедре французского языка оказалась вакансия.

Бывшей ссылкой и тоже бывшей ленинградкой была и Софья Алексеевна Щеглова – профессор, специалист по древней русской литературе.

Скафтымов взял её на свою кафедру. Дирекция выделила ей комнату в нашем доме.

По своему внешнему облику и манере держаться Софья Алексеевна не соответствовала обычному представлению об учёной даме, тем более даме-профессоре. Низенькая толстушка с простодушным добрым лицом, она казалась вполне домашней, – точь-в-точь чья-то тётушка или бабушка, хотя в действительности была одинокой старой девицей. Её легко было представить хлопчущей на кухне или с каким-нибудь рукоделием в руках, – и она, действительно, была умелой кулинаркой и хорошо вязала – научилась этому искусству в ссылке.

Когда выяснилось, что темой докторской диссертации С. А. Щегловой явилась старо-русская повесть «Царица и львица», Евграф Покусаев именно так прозвал её саму – по принципу комического контраста – уж очень мало было в Софье Алексеевне царственного, а тем более – львиного.

Однажды тот же Евграф рискнул её спросить:

– За что же вас сослали?

Ответ был спокойным и невозмутимым:

– За терроризм.

– Как! В каком же конкретном террористическом акте вас обвиняли?

– В покушении на товарища Ворошилова.

По всей видимости, исполнители приговора были поумнее тех, кто завёл это дело. Я раньше никогда не слыхивала, чтоб террористы отделялись простой ссылкой.

Уж не началось ли некоторое смягчение в самом устрашающем из наших государственных ведомств?

Нет! Волна новых арестов незамедлительно показала всем, схватившимся было за эту надежду, что от этого ведомства никаких поблажек ждать не приходится. Просто настало время освободить лагерные и тюремные камеры от случайно туда залетевшей политической мелюзги для новой добычи.

Что это была за добыча? Как и раньше – подозреваемые в шпионаже, а наряду с ними и те, кто осмеливался не одобрять дружественного пакта СССР с Германией или просто отзывался о современной Германии и её правителях без должного

уважения, кто в прямой или косвенной форме распространял «враждебные» панические слухи о возможности Германии вторгнуться в СССР. Так называемых «паникёров», то есть распространителей этих «вздорных предположений», арестовывали без милосердия.

На этом, в частности, пострадал физико-математический факультет нашего института, где бдительные люди обнаружили целое «вражеское гнездо» паникёров.

Поскольку учебный процесс должен был продолжаться, несмотря на эти массовые аресты почти всех работников кафедры, к началу 1940–1941 учебного года вместо бесследно исчезнувших физико-математиков в институте, а, следовательно, и в нашем доме появились новые люди с кандидатскими учёными степенями: в частности, математик Мурзаев и два молодых физика – москвичи Владимир Иосифович Лихтман и его шурином Борис Товиевич Гейликман – давние приятели и выпускники одной и той же аспирантуры.

На Мурзаева и на Лихтмана все дамы нашего дома мигмом обратили внимание, что было естественно: первый из них – «лицо кавказской национальности», а точнее сказать – армянин, отличался высоким ростом, богатырским телосложением и мощным басом, второй был хорош собой. Его облик черноокого брюнета с тонкими чертами лица позволял дамам приписывать ему любую южную национальность. Кто он? Грузин? Индус? Грек? Итальянец? Оказалось, что всего-навсего, еврей – не такая уж экзотика.

Супруга Лихтмана Зельда, или в русском видоизменении – Зинаида, а по-домашнему – Зея, была тоненькой шатеночкой моего возраста тоже очень миловидной, но с менее броской внешностью, чем её муж. К тому же была не институтской сотрудницей, а просто мужней женой.

Зея первая меня высмотрела и поспешила со мной познакомиться, узнав, что я такая же москвичка, как она и её брат. А уж через меня познакомилась с моими приятельницами, из числа которых её интерес и симпатию привлекла одна Маргарита.

По образованию Зея была дипломированным юристом, уже имевшим небольшой адвокатский стаж, но, оказавшись

вместе с мужем в другом городе, приняла решение сменить юриспруденцию на литературоведение.

Была она человеком способным и легко, в течение одного только учебного года, овладела всей программой литфака, сдав все необходимые экзамены экстерном. (Правда, все общественные дисциплины ей механически засчитали на основании её первого вузовского диплома.)

Для достижения цели Зея осталось лишь окончить и аспирантуру.

Поскольку она с младенческих лет свободно владела немецким языком и вообще, как я в этом убедилась, была очень начитана в области зарубежной литературы, ей хотелось, по моему примеру, стать литературоведом-зарубежником. Но это оказалось невозможным, поскольку в довоенном Саратове не оказалось ни одного доктора филологических наук подходящей специальности, которому можно было бы поручить научное руководство её диссертацией.

Пришлось Зею стать одной из аспиранток Скафтымова, выбрав для изучения что-то связанное с чеховской драматургией.

В то время, когда Зея дружески сближалась со мной, а через меня и с Маргаритой, мужская часть новоприбывших, со своей стороны, сблизились с саратовскими аборигенами. В отличие от Евграфа и Петровича, Володя Лихтман и Борис Гейликман ни охотой, ни рыбалкой не занимались, по лесам и болотам бродить не любили, но шахматами и преферансом увлекались.

Зея так же, как Лидия Павловна и Шура, этих увлечений не разделяла, но не имела ничего против, чтобы четвёрка шахматистов или картёжников собиралась в её доме. Она гостеприимно поила их чаем, ничуть не обижаясь на то, что она сама остаётся при этом «в пренебрежении». Шура и Лидия Павловна ворчали, видя своих благоверных за шахматной доской или с картами в руках, а мудрая Зея рассуждала иначе: «Муж у меня на глазах – и, слава богу!»

Через Татьяну Михайловну Акимову мы все дружески сблизились и с Софьей Алексеевной – «Царицей и Львицей». Эта учёная дама была значительно старше всех нас, но держалась так непосредственно и просто, что мы об этом забывали.

Так незаметным образом расширился наш дружеский кружок.

Моя характеристика этого кружка оказалась бы неполной, если бы я обошла молчанием Любовь Петровну Жак – разведённую с мужем женщину лет тридцати пяти, которая вместе с двенадцатилетней дочкой приехала в Саратов из Москвы.

Люба Жак или Лия Зак (свою фамилию она офранцузила официально) была специалистом по русской литературе советского периода, доцентом и кандидатом наук. В московских вузах она места не нашла и долгое время работала газетным репортёром, пока это ей не наскучило. Да и платили репортёрам немного.

Возможно, длительная репортёрская практика определённым образом сформировала Любин характер, или же её характер от природы был таким, но бойкость и общительность в ней были таким ключом, что многие наши коллеги и соседи по дому не без основания применяли к ней эпитеты «бесцеремонная», «беззастенчивая» и т.п.

Дело своё Люба знала и лекции читала хорошо, в отличие от своей предшественницы, покинувшей Саратов «по семейным обстоятельствам». Студентам бойкая Люба нравилась, а что касается нас, её коллег, то никто сближения с ней не искал, – она сама пробежалась по нашим квартирам и в мгновение ока перешла на «ты» со всеми, кто оказался в её возрасте или помоложе, отбросив заодно наши отчества и по-домашнему сократив имена. Заодно и она сама стала для всего нашего дома Любой – даже Любкой. Кстати все заметили, что новая приятельница любит то и дело занимать у соседней небольшие денежные суммы или горсточку каких-нибудь продуктов, которые потом «забывала» вернуть. Но в то же время и сама была человеком отзывчивым и доброжелательным: если, например, кто-нибудь из соседней заболел, она первая мчалась за доктором или в аптеку и тащила любой дефицит из собственных запасов, если это кому-то требовалось. Это тоже не проходило незамеченным. Поэтому мы иногда поругивали её, иногда – наоборот.

Очень любила Люба прихвастнуть своими московскими знакомствами в литературных и театральных кругах. В отли-

чие от Хлестакова, она не была «с Пушкиным на дружеской ноге», поскольку Пушкин не был нашим современником, но Симонов был для неё «дядей Костей», артист Жаров – «Мишей», Ольга Андровская – «Лёлей», Уланова – «Галей» и т.п. Она знала в точности, кто с кем живёт, кто с кем разошёлся, – поэтому охотниц делиться с Любой чем-то интимным среди нас не находилось. Все мы относились к ней настороженно и иронически, но не чуждались её, ценя её добродушие и отзывчивость. В дружбу с ней не вступали, но приглашали её на наши коллективные встречи. Все знали, что при общей застольной болтовне Люба обязательно прихвастнёт или соврёт, но соврёт забавно, оживив компанию. Если позволительно сравнивать людей с кулинарными изделиями, то Люба была той горчицей или перцем, без которых можно обойтись, которые в большой дозе невыносимы, но в умеренной – придают блюду остроту и пикантность.

Люба, случалось, перегнувшись через институтские перила, кричала мне с этажа на этаж, не стесняясь присутствия многочисленных студенческих ушей:

– Маришка! Ты случайно Пентиху не видела? Может быть, Маргошка знает, куда её черти занесли?

«Пентихой» она величала доцента Пенцову, «Маргошкой» – доцента Дотцауэр.

Помню также, как во время какой-то юбилейной даты Валерия Брюсова она прочитала для широкой студенческой аудитории, включая и нас, институтских преподавателей, прекрасный доклад о том, как этот мэтр русского символизма перешёл в ряды сторонников Октября и организовал литературный институт своего имени. Создала у слушателей представление и благороднейшей личности, героически расставшейся с сомнительным прошлым во имя светлого будущего. Словом, произвела должное впечатление. А, сойдя с кафедры, не замедлила крикнуть нам через весь заполненный студентами зал:

– Знали бы вы, каким бабником был этот самый Валерий! Ни одну миловидную студентку не пропускал мимо себя, не заманив в свою кровать!

Не случайно, что мы все, не сговариваясь, привыкли за глаза

называть её «Любкой», что вряд ли свидетельствовало о нашем к ней уважении. Так же, как Лариса Лалетина звалась всеми обитателями нашей московской квартиры «Лилькой».

И меня, и Маргариту, и Зелю, и Шуру Люба раздражала, в частности, и тем, что нередко, забегая к нам, притаскивала с собой свою квартирную соседку Руту Персиц – супругу преподавателя истории партии. Это была невероятно нудная личность нашего возраста, решительно ничем не занятая, которая от безделья таскалась за Любкой точно приклеенная. Из-за полной своей непохожести одна на другую эта странная пара напоминала мне Ноздрёва с его зятем Мижуевым, – благо в Любе, несмотря на её принадлежность к прекрасному полу, действительно было много ноздрёвского.

Визиты самой Любы были никому не страшны, поскольку скоротечны: заскочит – убежит. Но медлительная Рута каждый раз норовила надолго застрять. Для этой цели она обычно вынимала из хозяйского шкафа какую-нибудь книгу и принималась неторопливо её листать, делая вид, что не замечает Любкиного исчезновения. Тут уж приходилось быть начеку и строго следить за тем, чтоб Люба не забывала прихватить ту, которую привела. Так обычно хозяева квартир напоминают гостям, чтоб они не забывали у них зонтик или перчатки.

Люба называла Руту «Рутинной», и это, как нельзя лучше, ей соответствовало.

Разумеется, ни на какие дружеские встречи Рутину не приглашали и вообще с ней не церемонились. Хватало с нас одной Любки.

При всех своих минусах Люба оказалась очень полезным для института человеком в тех случаях, когда в Саратов заезжали какие-нибудь литературные знаменитости.

Сначала это был Константин Федин – местный уроженец, которому захотелось навестить родные места, затем маститый старик Серафимович и не менее почтенный Новиков-Прибой.

«Железный поток» Серафимовича был в такой же мере советской классикой, входившей в школьную программу, как «Чапаев» Фурманова и «Разгром» Фадеева, а «Цусима» Новикова-Прибоя хотя в эту программу не входила, обстоятельно

изучалась вузовскими филфаками и литфаками. Вся интеллигенция того поколения знала этот роман, начиная с того поколения, которое помнило русско-японскую войну, отражённую в «Цусиме». Очень популярен был и Федин.

По Любкиному приглашению, которое наверняка было весьма настырным, все приезжавшие в Саратов знаменитости проводили так называемую «встречу» со студентами нашего литфака в виде небольшого сообщения о себе и своих ближайших творческих планах. После этого традиционно следовали «вопросы-ответы». Затем именитого гостя тащили к соседнему зданию в Любкину квартиру на так называемый банкет, то есть к заранее накрытым столам.

Хорошей хозяйкой Люба никогда не была, но организаторских способностей ей хватало с избытком.

Со всех литфаковских педагогов заблаговременно собиралась денежно-продуктовая дань, и все местные дамы под предводительством общепризнанных кулинарок – А. Г. Пенцовой и С. А. Щегловой – резали салаты и что-то пекли. Мужчины заботились о бутылках – благородном сухом вине для Федина или водочке для маститых старичков. Из соседних квартир притаскивались дополнительные стулья, табуретки, отглаженные простыни, которым предстояло играть роль скатертей, столовые приборы, посуда. Сама Люба в этом участия не принимала, – её делом было лишь следить за тем, как бы именитые гости не улизнули или чтоб в её переполненную квартиру не просочились те, которым там быть не полагалось, – то есть любопытствующие сотрудники других факультетов, за исключением актива: директора с его научным заместителем, секретаря партбюро и председателя месткома. Даже Рутине с мужем в этих случаях велено было не высовывать носов из своих комнат, находившихся за стенкой.

Любе в этих хлопотах усердно помогала её дочка-подросток, настолько похожая на мать и внешностью и повадками, что её в доме прозвали «Жакёнком».

Банкеты эти проходили по-разному, в зависимости от характера и привычек того или иного гостя.

При Федине все держались довольно чопорно. Его развле-

кал посаженный рядом с ним Скафтымов, с которым они пустились в воспоминания о дореволюционном Саратове и своих гимназических учителях, которые были у них общими.

При Серафимовиче, а особенно при Новикове-Прибое обстановка была значительно непринуждённое, тем более что оба эти ветерана гражданской войны оказались «не дураки выпить». Узнав о том, что почтенный автор «Цусимы» знает множество украинских баек и прибауток, Евграф Покусаев проявил себя тоже их знатоком и, подсев к нему, принял его ими угощать. А потом распевать украинские частушки, хотя вокальные данные отнюдь не входили с число его достоинств.

Когда Евграф пропел: «Была одна волосына, – и ту блоха откусывала», – лысый, как коленка, писатель шутливо притворился рассерженным: «Ах ты, пороссячий хвист!»

Этому прозвищу, которое сам себе схлопотал молодой, но уважаемый доцент, искренне обрадовался Петрович, почему-то не любивший насмешек над людьми, обделёнными шевелюрой.

Большим событием для всех саратовских филологов явился правительственный указ о восстановлении в Саратовском университете некогда упразднённого из-за отсутствия кадров филологического факультета.

А. П. Скафтымов немедленно перешёл туда, забрав с собой Петровича, Т. М. Акимову, Евграфа и кое-кого из бывших своих аспирантов позднейшего выпуска. Педагогическим зав. кафедрой русской литературы стала С. А. Щеглова – тоже доктор наук и профессор, а под её началом остались Е. Т. Павловский, А. Г. Пенцова, Маргарита и Люба Жак.

Маргарита была рада тому, что пришёл конец мучительным для неё встречам с бросившим её Александром Павловичем. Зеля, наоборот, огорчилась: при филфаке университета аспирантуру ещё не утвердили, и все скафтымовские аспиранты – в том числе и она – механически попали под крыло Софьи Алексеевны. «Царица и Львица», несомненно, была высокоэрудированным специалистом по древней русской литературе, но не скрывала того, что в области русской литературы позднейшего периода она специалистом себя не считает.

Пришлось аспирантам в спешном порядке менять темы своих диссертаций – «пятиться в древность», как выражался Евграф. В том числе и Зеле. Вместо Чехова ей достались древние сказания о Никите Кожемяке, которые ни в малейшей степени её не интересовали, как и вся отечественная старина-матушка вообще.

Однако ради вожделенной учёной степени ей пришлось с этим примириться. А Евграф, «пороссячий хвист», при встречах не упускал случая подразнить Зелю: «Как ваш Никита поживает? Всё кожи мнёт?»

Подобное деление научных кадров надвое произошло и у лингвистов. Лукьянченко и В. П. Воробьёв остались «нашими», Лида Баранникова и кое-кто из молодёжи – вчерашних аспирантов – перебросились в Университет. Супруги Воробьёвы – Валерий Петрович и Татьяна Михайловна – оказались в служебной сфере разлучёнными.

Чета Покусаевых шутливо гадали о судьбе нашей, так называемой Яхонтовской четы: «Вот заберут одного из вас в Университет, и станет каждый из вас сам себе кафедрой».

Этого, однако, не произошло: в Университет приехала новая «зарубежница» – М. Боброва, чего до поры до времени оказалось достаточным, поскольку старших курсов у университетского филфака ещё не существовало.

Раскол литфаковских кадров на две половинки не повлиял на наши уже сложившиеся к этому времени дружеские связи, поскольку все мы остались близкими соседями с тремя центрами притяжения: квартира №4 (наша), №6 (Покусаевы и Маргарита) и №8 (Лихтманы и Борис Гейликман), расположенными, как полки этажерок одна под другой в общем подъезде. В квартирах соседнего подъезда – тоже рядом – жили Л. Баранникова, С. Щеглова и Л. Жак. К тому же и на деловой почве мы продолжали общаться. Случалась ли какая-нибудь литературная годовщина или другое событие, на какое полагалось откликнуться, – оба факультета объединялись, – то здесь, то в Университетском городке. После доклада происходило совместное обсуждение.

Помимо официальных встреч оставалась возможность побол-

тать о серьёзном и несерьёзном и в домашней обстановке, делая несколько шагов с этажа на этаж или из подъезда в подъезд.

Разумеется, не всей компанией, как было в Романовке, где все мы были вольными отпускниками, и нас было немного, и не так часто, как хотелось бы. Ведь в городе, да ещё вместе с новоприбывшими, нас набралось целых четырнадцать персон – почти полтора десятка.

Это, разумеется, не означало того, что каждый из этих четырнадцати человек был в равной мере дружен с каждым. Во-все нет! Например, Зеля вместе со своим мужем и братом не интересовались Лидой Баранниковой и её супругом, так же, как они ими. С. А. Щеглова не имела общих интересов с четой Медведевых. Но какие-то невидимые нити если не прямым, то косвенным образом нас переплетали. Общим для нас было то, что все мы в те годы были беспартийными, а также склонными к юмору. Далеко не все родились острословами, но все любили и понимали шутку. Кто-то стал «душой общества», кто-то на это и не претендовал. Но никто не портил компании унылой физиономией.

Встречались мы не часто и не общей гурьбой, а порознь, – втроём, вчетвером. Так, например, преферанс время от времени группировал вокруг стола четвёрку мужчин – любителей этой игры.

«Сбор всех частей» происходил лишь при новогодних встречах или в тех случаях, когда кому-нибудь, несмотря на продовольственные трудности, приходила в голову мысль отметить день своего рождения. В первом случае устраивалась складчина, во втором, – виновнику торжества преподносилось что-нибудь съестное, что, в сущности, означало то же самое.

Обычно на противоположных концах расставленного во всю длину стола сажали самых признанных наших остряков – Евграфа и Валерия Петровича, которые с первой же рюмки затевали словесный турнир, к которому один за другим начинали примыкать и остальные, – ведь у всех педагогов-филологов языки подвешены неплохо.

Музыкальными талантами никто из нас не блистал, и танцевать никто не порывался, хотя патефон с модными танце-

вальными пластинками всегда заводили «для праздничного настроения». Однако и без музыкального сопровождения весёлости нам хватало.

Разумеется, во время подобных «пленумов» никто в длинные рассказы не пускался, – здесь это было бы неуместно. Только короткие реплики с большой примесью и насмешки, и лёгкого флирта мячиками прыгали вокруг стола, подхватываемые на лету хоровым многообразием наших голосов.

Лишь когда вместе сходились, как бывало в Романовке, лишь несколько человек, – и повествовательным жанрам по-прежнему отдавалось должное.

Люба Жак была большой любительницей «потрепать языком», но её разглагольствования мы обычно слушали критически, зная её склонность привирать. Прибегнуть к гиперболе ради «красного словца» вполне могли и остальные, но всё же не в таких масштабах, зная меру. Люба меры не знала.

У Евграфа и Петровича в запасе были охотничьи или рыбацкие воспоминания вперемежку с рассказами о предрассветных сумерках и лесных кострах. У других – что-нибудь житейское. Зеля могла многое – и трагическое, и комическое – почерпнуть из своей недавней юридической практики, Шура – из школьной.

Интересно было слушать Лиду Баранникову и Татьяну Михайловну Акимову – близких подруг, несмотря на солидную возрастную разницу. Обе они – и собирательница фольклора, и исследовательница местных диалектов – то вместе, то порознь исколесили всю Саратовскую область в поисках необходимого для них «научного материала». Иногда из «глубинок» они возвращались с хорошим уловом, но нередко их постигало и разочарование. Живая крестьянская речь с местными красочными оборотами заметно уродовалась газетными штампами, а вместо народных песен деревенские вокалистки нередко угощали приезжих учёных дам песнями Дунаевского или Соловьёва-Седого, к тому же безбожно фальшивя мелодию и искажая текст. Недобрым словом поминала тогда Татьяна Михайловна такие достижения техники, как колхозные радиоточки и кинопередвижки.

От случайного, бытового мы незаметным образом переключались на что-то более широкое – философское, психоло-

гическое, – какое угодно, лишь бы не политическое. Ведь время стояло такое, что даже ругнуть Гитлера со всей его сворой стало небезопасно...

Запомнился мне рассказ Т. М. Акимовой о том, как в голодные послеоктябрьские годы её гимназическая подруга – девятнадцатилетняя Маргарита Рудомино начала с энтузиазмом организовывать в Саратове публичную библиотеку иностранной литературы, безвозмездно пожертвовав городу богатые собрания французских, немецких и английских художественных произведений, унаследованных ею от покойных родителей. Чтобы пополнить это собрание, Маргарита в те же годы кочевала по деревням, подобно тому, как Татьяна Михайловна впоследствии делала это, собирая фольклор. Повсюду молодая библиотечная энтузиастка встречала недавно разгромленные барские поместья. Крестьяне успели растащить оттуда и обстановку, и хозяйственную утварь, но книгами – тем более иностранными – никто не интересовался. Их охотно отдавали за бесценок, то есть за те скромные, но полезные предметы, которая привозила с собой Рудомино, а иногда и бесплатно, как никому не нужный хлам.

Сплотив вокруг себя других книжных кладоискателей, Рудомино собрала такое количество книг иностранного происхождения, что в Саратове для них уже не хватало места, и она в нескольких товарных вагонах перевезла их в Москву. Там эта библиотека, с самого начала ставшая государственной, втиснулась в маленькую церквушку, стоявшую на углу Столешникова переулка и улицы Горького и уже обречённую было на слом. Потом эта библиотека довольно долго просуществовала в более просторном помещении, тоже когда-то церковном, – в Китай-городе, на улице Разина.

С тех пор Всесоюзную государственную библиотеку иностранной литературы (ВГБИЛ) неофициально прозвали «Разинкой», так же, как Всесоюзную государственную библиотеку им. Ленина – «Ленинкой», хотя «Разинка» давным-давно переехала в другое место, где для неё недалеко от устья Яузы выстроили специальное трёхэтажное здание, занимающее целый квартал.

Степан Разин явно не заслужил оказанной ему чести, поскольку его зарубежные связи не имели отношения к книгам и ограничивались, по-видимому, только близким знакомством со злополучной персиянкой, впоследствии утопленной в волжской «набежавшей волне».

Достигнув почтенного возраста, Маргарита Рудомино – бессменный директор «Разинки» – имела под своим началом солидный коллектив сотрудников, силами которых было организовано много вспомогательного: и справочно-библиографическая работа, и лекторий, и публикация специального бюллетеня «Современная художественная литература за рубежом», и многое другое.

Помимо литературы западноевропейского происхождения «Разинка» обогатилась и многими другими – и восточными, и африканскими.

Для их получения библиотечным работникам во главе с Маргаритой Рудомино приходилось иметь постоянную письменную связь с зарубежными библиотеками и издательствами. «Связь с буржуазным миром», неизбежно внушавшая нашим бдительным органам подозрение в шпионаже, разумеется, не миновала и её. Всю вторую половину тридцатых годов М. Рудомино провела в сибирском концлагере. Однако советская власть умела не только карать, но и миловать: из лагеря её в 1940 году выпустили без всяких «минусовых» ограничений и с почётом вернули в Москву на прежнюю директорскую должность.

К концу жизни эта достойная женщина была щедро награждена и орденами, и медалями, и почётными званиями. А после её кончины «Разинка» стала официально называться Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино. Правда, в разговорной речи это длинное название не привилось: её упорно продолжали называть «Разинкой». Называют и сейчас.

Судьба Рудомино во многом напоминает мне судьбу Натальи Сац.

Обе они с юных лет были энтузиастками: одна – собрания и хранения иностранных книг, другая – организации специального детского театра. Обе хлебнули горя, познакомились с лагерной

баландой, нарами и грязными бараками. И обе на старости лет осуществили то, о чём мечтали, и добились почёта, оставив свои достойные имена своим духовным детищам – Библиотеке иностранной литературы и Детскому музыкальному театру.

Разумеется, Т. М. Акимова смогла нам рассказать лишь о молодых годах М. Рудомино. Всё дальнейшее стало мне известно впоследствии, поскольку я всегда была усердной посетительницей ВГБИЛ, где все сотрудники гордились своим директором.

Какое счастье, что и Н. Сац, и М. Рудомино дожили до весьма преклонных лет и успели ещё при жизни, подобно Данте, подняться из глубин ада и чистилища на достойные их вершины!

О многом мы, саратовцы, тогда говорили, многое и многих вспоминали. И по мере сил помогали друг другу, не ограничиваясь «разговорным жанром».

Самым незабываемым из всех наших довоенных дружеских сборищ стала встреча злополучного 1941 года, когда многие из нас позаботились не только о яствах и напитках, но и о развлечениях.

Каждому были или куплены забавные сувенирчики из числа ребячьих ёлочных игрушек, или что-то сшито, склеено, вылеплено или разрисовано собственными нашими руками. К ехидным сувенирчикам были приложены и не менее ехидные эпиграммы, сочинённые творческим содружеством М. Яхонтовой и В. П. Воробьёва, за что мы оба были награждены лавровыми венками работы Шуры Вознесенской-Покусаевой. Каждому из поэтов напялили на голову обруч из толстой проволоки с прикрепленными к нему сухими лавровыми листьями из кухонных запасов, которые торчали во все стороны. Любе Жак достался длинный бумажный язык, охотникам – тряпочные утки дохлого вида. Евграфу, кроме того, напомнили «поросычий хвист», которым обозвал его Новиков-Прибой. Ему преподнесли игрушечного поросёнка с приклеенным к нему непомерно большим закрученным хвостом.

Разумеется, помимо ехидных шуточек, мы не скупались и на всякого рода добрые пожелания, большая часть которых была связана с нашими планами на ближайшее лето. Кто-то

стремился к Чёрному морю, кто-то к Балтийскому, ставшему доступным, благодаря присоединению к Советскому Союзу прибалтийских республик, кому-то хотелось в таёжные дебри – поохотиться на «крупного зверя».

Наш новогодний стол был на высоте, поскольку к этому времени в Саратове, да и в других крупных городах, продовольственная заминка рассосалась – пришёл конец длинным очередям и необходимостью лихорадочно запастись «на чёрный день». И шампанское у нас было, и всяческая вкусная снедь...

Вторая мировая война была в разгаре. Проклятые фашисты, которых нас тогда приучили уважительно называть национал-социалистами, свирепствовали повсюду. Но не у нас, а «где-то». С легкомыслием трёх сказочных поросят, о которых нам напоминала патефонная пластинка, мы верили в прочность нашего «дома» и в то, что «нам не страшен серый волк».

Сострадали ли мы далёким иностранцам, которых убивали и терзали гитлеровцы?

Первое время – да. Очень. Но люди не способны длительное время скорбеть – особенно о тех, кого они не знают, с кем незнакомы. Иначе мы все и сейчас ходили бы с непросыхающими слезами, поскольку ежесекундно и люди, и животные земного шара гибнут насильственной смертью и в жестоких мучениях. Тысячами. Сотнями тысяч.

Стыдно в этом признаваться, но было действительно так. Мы привыкли к тому, что мир охвачен войной, радуясь тому, что ни нас, ни наших близких она не касалась. Ведь даже великий Пушкин понимал, что «пир во время чумы» вполне возможен для тех, кто сам чумой не заражён, – и это естественно.

Как весело мы кокетничали в ту новогоднюю ночь со своими соседями и визави, как дурачились! Как хохотали!

Никогда в жизни – ни раньше, ни позже – у меня не случилось такой весёлой новогодней ночи.

А следовало бы, наоборот, согласно библейскому завету, рвать на себе одежды и посыпать головы пеплом.

Но пророческого дара ни у кого из нас не оказалось...

«Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк...»

Ч А С Т Ь VIII

37 © ЖДУ КСАНОЧКУ.

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

При встрече нового 1941 года, когда мы весело обменивались добрыми пожеланиями признаниями в том, кто из нас о чём мечтает, – самые заветные из этих мечтаний вслух, естественно, не произносились. Так и я – не произнесла, а только подумала: «Хочу дочку!»

Не вообще ребёночка, а обязательно дочку с озорным шаловливым нравом Наташи Покусаевой и такую же хорошенькую, как Мила Скафтымова. Я их обеих хорошо знала, почти ежедневно бывая в их общей квартире, и очень любила. Наташе я читала книжки и вместе с нею что-то вырезала, строила, складывала. Её водили тогда в детский садик, но по вечерам Наташа была дома, а Шуру – Наташину маму – отвлекала иногда от материнских забот проверка ученических тетрадок или кухня.

Милочка, которую я знала с самого её рождения, была для меня ещё более притягательным магнитом, чем Наташа. Я и кормила её из бутылочки, и пеленала, и помогала купать (в ванночках груднички бывают особенно трогательными!), и выносила гулять. Минутами она казалась мне собственной дочкой, и я за-

видовала Маргарите, хотя завидовать было решительно нечему: первые месяцы Милочкиной жизни совпали с самыми драматическими Маргаритиными переживаниями.

А никаких мальчишек рядом со мной не водилось.

Я ничего не имела против карапузиков, смотревших на меня из чужих колясочек или ковыляющих на ещё нетвёрдых ножках около своих мам или бабушек. И против юношей: среди моих студентов встречались очень славные и умные. Однако между этими двумя стадиями существует большой возрастной промежуток – так называемый отроческий или школьный возраст, который ни малейших добрых чувств во мне не вызывал. Скорее всего, потому, что во мне ещё жива была память о Гуле-подростке с его хулиганистыми друзьями и о моих одноклассниках из Седьмой трудовой школы.

Нет, мальчиков я не хотела.

Мне казалось, что все живописцы были одного мнения со мной, поскольку моделью для херувимов и амуров им всегда служили младенцы, а чертенята имели сходство с мальчишками младшего школьного возраста. Характерно, что даже многочисленные изображения Иисуса Христа представляют его либо малышом на материнских коленях, либо взрослым человеком.

Не только близкое знакомство с семьёй Покусаевых и с Маргаритой настроило меня на моё невысказанное новогоднее желание.

Приближалось моё тридцатилетие. Пора было подумать о маленьком существе, а то, чего доброго, упустишь возможность. Все мои приятельницы этой возможностью уже воспользовались: в этом самом 1941 году и Аида, и Галя Мясникова родили по мальчугану, были сыновья и у Лидочки Платоновой, и у четы Охлябининых, и у саратовских Воробьёвых. А дочерей имели и Маргарита, и Шура, и Зеля, – правда Зелина дочь Танечка жила не с ней, а осталась в Москве на попечении бабушки и дедушки. А если какая-то пара оставалась бездетной, то не по своей воле: физическое неблагополучие не позволило ни Лиде Баранниковой, ни Олечке Мансуровой дать жизнь тем, кто в них уже зарождался, но жить не смог.

Правда, женщины моего поколения обычно ограничива-

лись одним ребёнком, поскольку все они работали, а декретные отпуска тех лет были совсем коротенькими: через полтора месяца после родов мать обязывали трудиться полный рабочий день, отлучая младенца от груди.

Лишь немногие решались тогда на вторые роды, да и то лишь в тех случаях, когда они были домашними хозяйками, а их первенец уж далеко выходил из возраста, требующего постоянной материнской заботы, а, наоборот, сам мог помочь матери растить братишку или сестрёнку (Аида, Лидочка).

Моё новогоднее пожелание сбылось: к майским праздникам появились несомненные признаки того, что у меня «кто-то будет».

Когда это подтвердила женская консультация, я поспешила поделиться новостью с родителями, а они – с бабушкой и обеими моими бабушками. Все родные были очень рады, поскольку давно этого желали, а Леночка при получении моего письма радостно воскликнула: «Наконец-то у нас будет внук!»

Обрадовалась и бабушка Юля. Но она, в отличие от меня и моих родителей, мечтавших о «второй Мариночке», уверила себя в том, что у меня обязательно будет мальчик и заранее приготовила ему имя «Анатолий».

Видимо, тоска о пропавшем без вести единственном сыне непрестанно мучила её.

До конца июня мне предстояло работать – дочитывать мои лекционные курсы, принимать зачёты, экзаменовывать. А в начале июля, оставив Коле заочников, – ехать в Москву. Так же, как и в минувшем году, мы вместе с моими родителями собирались провести наши летние отпуска в Подмосковье. Была заранее снята дача в Мамонтовке – то есть недалеко от Пушкина, чтобы мы имели возможность если не проводить лето вместе со старичками Яхонтовыми, то, по крайней мере, постоянно навещать их.

Поработать в мае-июне мне пришлось напряжённо, но чувствовала я себя отлично, – как тогда, так и в последующие месяцы, хотя внутренне подготовилась к тому, что беременность – вещь тяжёлая. Ни головокружений, ни тошнот и в помине не было, так же, как и некоторых капризов – вкусовых

и парфюмерных: Шура, например, ожидая дочку, не выносила запаха лука, Маргарита – духов и сильно пахнувшего туалетного мыла – могла умываться только стиральным. Никакие запахи меня не раздражали, ни от каких блюд я не отворачивалась, – только, как водится, тянуло к солёненькому и любила грызть мел, беззастенчиво таская его из институтских аудиторий. Полюбила прогулки, и мне казалось, что я двигаюсь необычайно легко, «точно на крыльях», хотя, фактически, тяжелела.

А в университетском Учёном совете усиленно шла защита диссертаций различных специальностей. Шла, как всегда, без сучка и задоринки, поскольку вся саратовская учёная братия состояла из давних знакомых, даже приятелей. Оппонентов со стороны – то есть из других городов – приглашали редко. Обстановка на этих защитах была почти домашняя.

А одна из защит прошла даже триумфально, как некое общее пединститутское торжество, хотя и тогда «искомой степенью» была лишь кандидатская.

«Защищалась» секретарь партбюро института товарищ Янсюкевич – дама средних лет весьма строгая, – настолько строгая, что перед нею, как нам казалось, трепетал даже Константин Иванович Муханов – наш директор. По имени-отчеству товарища Янсюкевич никто не называл, – я даже не знала, какое у неё имя-отчество. Была она «старой большевичкой» с солидным дооктябрьским стажем и, естественно, преподавала историю ВКП(б), – из этой области почерпнула она и свою диссертационную тему.

Авторитету товарища Янсюкевич способствовало и то обстоятельство, что она была супругой директора и главврача центральной саратовской поликлиники, созданной специально для городской номенклатуры.

Жили Янсюкевичи в нашем доме, занимая, разумеется, отдельную четырёхкомнатную квартиру, держались обособленно от всех, – даже Люба Жак, умевшая проникать во все щели, ни разу не переступила их порога. Ни разу не побывала товарищ Янсюкевич и на банкетах, которые Люба устраивала в честь заезжавших в наш город писателей, хотя её, разумеется, при-

глашали. Свои отказы она мотивировала тем, что её убеждения и общественное положение не позволяют ей появляться за столом, на котором стоят бутылки со спиртным.

Я радовалась тому, что вход в квартиру Янсюкевичей находился не в нашем, а в соседнем подъезде, и мне приходилось встречаться с нашим партийным вождём лишь на институтских лестницах или в коридорах, да и то я старалась прошмыгнуть незамеченной. Если же она замечала кого-то и заговаривала, то в запасе у неё было лишь два вопроса: как данное лицо работает над повышением своего идеологического уровня и какую общественную нагрузку выполняет.

С первым из этих вопросов у меня было всё в порядке – политзанятия я посещала добросовестно, а второй меня несколько страшил. Общественная нагрузка у меня была: я состояла членом редколлегии факультетской стенгазеты, но боялась, что товарищу Янсюкевич это покажется недостаточным, и она заставит меня, как очень многих институтских работников, проводить политбеседы вне институтских стен, как говорилось, «с населением». Общась со студентами, я имела возможность касаться политических вопросов вскользь. А как я могла бы морально оправдывать нашу дружбу с фашистской (национал-социалистической) Германией простодушным пенсионерам и домашним хозяйкам, если сама находилась в полной растерянности, когда об этом задумывалась?

При защите диссертации товарища Янсюкевич актовъ зал университета был плотно набит. Помимо местного Учёного совета там по долгу службы находился в полном составе и Учёный совет Пединститута, членом которого была и я, а также многие, для которых это не было обязательным, – одни из подхалимажа, другие – из любопытства.

Пединститутский партактив заранее обложил всех нас солидной данью на покупку цветов и ценного подарка новоявленному кандидату философских наук. И, действительно, пышных букетов было множество, благо и сезон для этого оказался как нельзя более подходящим. Хорош был и наш коллективный подарок – большая палехская коробка с набором разнообразных дорогих духов. Любая дама обрадовалась бы этому подно-

шению, но в данных обстоятельствах некоторых брало сомнение: одобрит ли его товарищ Янсюкевич – особа строгого нрава и подчёркнуто-аскетического внешнего облика? Не окажутся ли благоухающие флакончики так же враждебны ей, как бутылки с «горячительными» напитками?

Нет, всё сошло благополучно. Защитившаяся, принимая наш подарок, даже слегка улыбнулась, – случай исключительный, поскольку многие – и я в том числе – никогда не видели товарища Янсюкевич даже с подобием улыбки.

В заключение торжества была прочитана посвящённая ей ода. Рифмы там были – хуже некуда, ритмика хромала, но на восторженные эпитеты одописец не поспешил. Не поспешили на аплодисменты и слушатели, поскольку этим одописцем был ближайший коллега диссертантки – тоже преподаватель истории ВКП(б), от которого, понятное дело, никто и требовать не мог чего-нибудь вдохновлённого музами.

Примеры заразительны, – поэтому и я, вернувшись домой, немедленно настроила свою лиру.

Самой диссертации я не коснулась, поскольку её не читала, – лишь напомнила новоиспечённому кандидату философских наук о нашем подарке и взмолилась от лица всех сотрудников, замученных её наставлениями, назиданиями, общественными нагрузками и бдительной слежкой за нашим идеологическим ростом.

Мой вариант заканчивался так:

«...Не нависай над нами злой угрозой!

«Фиалкой пармской», нежной «Крымской розой»

Души себя!

Но нас-то не души!

Мы очень просим, – просим от души!»

Для товарища Янсюкевич был характерен небольшой диалог между ней и Евграфом, когда им однажды довелось встретиться в институтской библиотеке.

– Что это вы, товарищ Покусаев, одну только беллетристику набираете? Нехорошо! Классиков марксизма надо читать!

– Не беллетристику, а художественную литературу. Мне это для работы нужно. Я же историю литературы преподаю.

– Понятно, понятно. Но ведь основа всему классики марксизма! Не с того вы конца, товарищ Покусаев, свою работу начинаете!

Отправляться в Москву мне полагалось в начале июля, поэтому я очень удивилась, когда 20 июня, ни о чём меня не предупредив, пожаловала моя мама.

– Зачем? Ведь через неделю увидимся!

– Чтобы помочь тебе собраться. Помочь нести чемодан. Тебе же нельзя поднимать ничего тяжёлого, нельзя нагибаться. Помогу тебе в вагоне поудобней устроиться, не оказаться, чего доброго, на верхней полке.

С первой же минуты мама принялась учить меня уму-разуму, как будто моя беременность уже подходила к финишу: «Не ходи на высоких каблуках! Не носи платьев с поясами! Не ешь того-то! Ешь то-то...»

Как будто всех соответствующих назиданий я уже не наслышалась в женской консультации!

На следующий день после маминого появления – это была суббота – мы с Колей и четой Покусаевых собирались идти на «Сильву», воспользовавшись тем, что в Саратов приехал на гастроль из какого-то другого волжского города театр оперетты. Билеты, причём очень хорошие – в одном из первых рядов партера, были куплены заранее.

Коля, равнодушный к опереттам, охотно уступил свой билет маме.

Очень весёлым был этот вечер! И сама «Сильва» всем нам нравилась, и настроение было отличное. Немудрено! Лето в разгаре, всё кругом цвело и зеленело, через несколько дней нам предстояло стать вольными отпускниками.

Мы возвращались домой, чуть не приплясывая и напевая всем нам хорошо знакомые мотивы из «Сильвы», – одна только мама, помня о солидности своего возраста и комплекции и от хореографии, и от вокала воздерживалась. Соблюдали меру и мы, – как никак, два доцента и заслуженная учительница, а знакомые могли нам попасться на каждом шагу. В том числе и ученики.

Только оказавшись на полутёмной и безлюдной площадке моего этажа, мы дали себе волю: Евграф пустился в лихой канкан, а мы с Шурой вокруг него завальсировали.

Какое счастье, что товарищ Янсюкевич не принадлежала к числу жильцов нашего подъезда и не могла застать нас в неурочный час за таким неподобающим занятием!

Выспались мы с мамой великолепно, проснулись поздно, а за завтраком принялись в три голоса обсуждать, как нам провести наступивший воскресный день, который порадовал нас солнечной погодой.

Не поехать ли на трамвайчике за город или, ещё лучше, – не прокатиться ли на катере по Волге? Мама, естественно, настаивала на втором варианте: для неё, бывшей нижегородки, Волга всегда была приманкой.

Именно в этот момент мы услышали по радио тревожные позывные звуки, а вслед за ними – произнёсённое взволнованным голосом сообщение Молотова о нападении Германии на СССР. Даже на Киев уже падали разрушительные бомбы. Много человеческих жертв осталось и на пограничных заставах и в не далёких от границы населённых местах.

Это сообщение потрясло и оглушило нас, как и всех, кто его слышал. Мы замерли в неподвижности, уже не помышляя ни о каких прогулках.

А на следующий день было объявлено, что в связи с военным положением частные железнодорожные поездки полностью отменяются. А все, находившиеся в отпусках или в командировках, были обязаны при предъявлении соответствующих документов немедленно вернуться на места своих постоянных жилищ (мужчин призывного возраста это касалось в первую очередь).

Пропали наши железнодорожные билеты! Я должна была остаться «при институте», да мне и не хотелось никуда ехать. У мамы никаких документов, кроме паспорта, не было, – захлопнулся капкан, но она и не уехала бы от меня, если бы даже смогла, убеждённая в том, что из всех её близких именно я больше всех нуждаюсь в её присутствии и опеке. Смущало её только то, что у неё здесь не было никакой одеж-

ды и обуви. Сможет ли папа в сложившихся обстоятельствах переслать ей всё необходимое?

Весь город помрачнел. Впрочем, опухшими от слёз я видела преимущественно немолодые лица. Молодежь, наоборот, как-то приосанилась, подбодрилась. В институтском вестибюле столпились мальчики-студенты с заявлениями о желании идти на фронт добровольцами. Встречались среди них и девушки, и преподаватели – из числа наиболее молодых. Остальные принялись ждать повесток из военкомата, и эти повестки начали незамедлительно приходить одна за другой. В числе первых был призван Володя Лихтман, взятый в артиллерию. Мобилизовали Евграфа, но язва желудка уберегла его от фронта: все четыре военных года он провёл в охранительном Московском гарнизоне. До Коли дошла очередь в начале августа, едва только он успел принять экзамены у заочников.

Страшно мне было его провожать, но к моей радости, его вместе с другими призывниками старшего возраста отправили не на фронт, а на офицерскую переподготовку. Поскольку все они отбывали военную службу давно, многие подзабыли, как следует обращаться с пехотным вооружением, тем более новейшего образца.

Разместили Колю и его однополчан в крестьянских избах одного из сёл Саратовской области. Село это называлось Большая Грязнуха и, судя по Колиным письмам, вполне оправдывало своё название, особенно глубокой осенью, когда началась пора дождей. В этих письмах Коля старался меня подбодрить и даже рассмешить, рассказывая то о том, как они по-балетному балансируют среди непролазной грязи во время учебных маршировок, то о том, как его отряд коллективно купил у местного жителя целого барана, и они, вообразив себя кавказцами, немело жарили шашлыки. Но мне, несмотря на Колины старания, разумеется, было не до смеха, поскольку я сознавала, что Колю и его товарищей не просто тренируют, а готовят для фронта. Только когда их туда отправят? Я надеялась, что ещё не скоро. Видно было, что война не так быстро кончится, как мы все надеялись, да и вряд ли увенчается нашей победой.

Немецкое наступление развернулось полным ходом. Со-

ветские войска стремительно отступали. Можно было бы даже сказать «бежали», но в наших газетах и радиопередачах употреблялось более деликатное выражение: «отступили на заранее подготовленные позиции». Эта формула, видимо, должна была создавать у обывателей впечатление, будто наше отступление – часть какого-то продуманного стратегического плана.

Между тем, надвигалась зима, и главной моей заботой стало – одеть маму, приехавшую ко мне налегке без всякого багажа. К счастью, у меня лежали в полной сохранности и мои, и Колины отпускные деньги, и деньги эти ещё не успели окончательно обесцениться, хотя дело к этому шло – это становилось заметным. На рынке мне удалось купить пуховой платок и валенки кустарного производства. Мамину вязаную шерстяную кофту и ещё кое-что тёплое папа успел переслать через одного моего сослуживца, возвращавшегося из Москвы в Саратов. Но как быть с шубой? В магазинах их не было, на рынке они не продавались. Но всё же посчастливилось ухватить одну, – да ещё в магазине, не по рыночной, а по государственной цене. В то время люди яростно расхватывали всё, что имелось в магазинах одежды и обуви, но на это моё счастливое приобретение не польстился никто, да и мудрено было бы на него польститься.

Через неделю после этой моей покупки полки всех саратовских промтоварных магазинов были полностью очищены, и на их дверях навесили замки.

На редкость уродлива была эта шуба, – похоже было, что она стащена с огородного пугала. Огромная, бесформенная, страшно тяжёлая. Внутри – на жёстком волчьем меху, снаружи – крытая тёмно-серым грубошёрстным сукном, из которого всё время лезло что-то колючее: не то конский волос, не то – занозистые мелкие щепки. Широкая, длинная, она явно была сшита не для дам, а для ночных сторожей.

Мама, у которой вообще вошло в привычку ругать все мои самостоятельные покупки, поскольку она раз и навсегда себе внушила, что у меня нет вкуса, и я совершенно не способна выбрать что-нибудь путное, пришла, конечно, в ужас от этого моего приобретения. Встретила эту шубу точно такими же сло-

вами негодования, какими встретила бы Саната подаренную ей пластинку какого-нибудь советского композитора: «Дрянь! Гадость!» После чего последовало категорическое: «Не буду это носить!»

Однако, если «голод – не тётка», то саратовские морозы – тем более. Не только мама эту шубу охотно надевала, особенно когда приходилось иметь дело с очередями, но и я предпочитала её своей собственной, когда приходилось читать лекции в институтском здании, которое зимой не отапливалось. Тем более что собственная шуба в ноябре-декабре стала мне «узкая в талии», а волчья была сшита на мощную фигуру и оказалась очень тёплой.

С Настасьей Петровной мы расстались сразу же после Колиной мобилизации: при стремительно растущих ценах нам невозможно было бы кормить лишнего человека, да ещё выкраивать для него зарплату. Я осталась единственным, как говорится, кормильцем семьи из двух реально существующих людей и одного будущего человечка, для которого тоже надо было заранее что-то приобрести. Настасья Петровна без огорчения приняла свою отставку: насколько она любила, когда её «барыней» была я, настолько же хмурилась и выражала своё неудовольствие, когда появлялась мама, и она уже не мне, а ей должна была отчитываться в своих хозяйственных расходах.

Маме пришлось самой взяться за готовку, что поначалу было не трудно, поскольку мы легко обходились одной электроплиткой (или керосинкой, когда электричество отключали). Но очень трудно стало добывать продукты, начиная от простого хлеба: как только война была объявлена, люди кинулись в продовольственные магазины – делать запасы – с ещё большим ожесточением, чем в промтоварные. Особенно наша квартирная соседка – Наталья Игнатьевна – заядлая «Макаронишна». Те, кто был побогаче, скупал решительно всё, более стеснённые в своих возможностях – тащили в свои норы хлебные буханки для будущих сухарей и пакеты с солью и спичками, – насколько хватало сил. Очереди у продовольственных магазинов вскоре сделались настолько необозримыми, что появился обычай помечать человеческие ладони порядковыми номерами при помощи огрызков

лиловых чернильных карандашей. Именно – огрызков, поскольку и карандаши заодно с тетрадками и прочими канцтоварами тоже стали дефицитом. При приближении следившего за очередью активиста с карандашом в руках каждый норовил спешно плюнуть себе на ладонь, не дожидаясь, пока эту любезность окажет ему сам начертатель номерков.

Лилловые цифры плохо смывались и стали чаще украшать руки институтских дам, чем розовый лак на их ногтях, тем более что этот лак исчез в парикмахерских. Исчезли и сами дамские парикмахерские: остались только смешанные полумужские-полуженские гибриды, где никого не завивали щипцами и никому не делали перманент и маникюр (не до того было), а просто подстригали клиентов обоюбого пола «под фокстрот», «под полечку», «под бокс» или по-солдатски – «нулёвкой».

Прикованные к очередям покупатели смотрели друг на друга по-волчьи – затравленно и злобно, ненавидя своих ближних за то, что их так много. Никто не вглядывался в лица стоявших спереди или сзади – живые существа превратились как бы в вешалки для того, что было на них напялено.

– Вы за синим беретом?

– Нет, я за чёрным пальто, а пальто – за серым платком.

Мне было жалко маму, которой всё это досталось сполна. Я с утра до ночи пропадала в институте, таща на себе и свой, и бывший Колин, то есть двойной лекционный воз. Поистине «сама себе кафедра», – как шутил когда-то Евграф. Из сострадания к маме я была рада, когда в Саратове, как и во всех других городах СССР, ввели карточную систему с прикреплением определённых людей к определённым магазинам. Даже само слово «магазин» исчезло тогда из человеческой речи: его заменило слово «распределитель».

Продуктовые карточки были трёх категорий: «рабочие», «служащие», и так называемые «иждивенческие», которые выдавались домашним хозяйкам, пенсионерам и детям до шестнадцати лет. Рабочим ежедневно полагалось по 800 грамм хлеба, служащим – по 400, низшей категории – по 200. В соответственных, т.е. вдвое или вчетверо уменьшившихся количествах выдавались и все прочие продукты. Это было не совсем

справедливо, поскольку у иных шестнадцатилетних юношей аппетит скорее приближался к рабочему, чем к старушечьему. Это побуждало подростков лет с тринадцати – четырнадцати уходить из школ на военные заводы, остро нуждавшихся в пополнении. Там им полагались рабочие карточки.

Что нам отпускали в наших «распределителях»?

На талоны «крупа» – изредка перловку, а чаще всего – макароны или рожки – и то, и другое неаппетитного серого цвета.

На талоны «мясо» – ломти солёной трески или крупную ещё более круто просоленную сельдь. Мясо можно было купить только на рынке и по астрономическим ценам.

По талонам «масло» нам наливали какую-то разливную коричневую муть, пахнувшую отнюдь не подсолнухом. Но для жарки оно годилось. Говорили, что это масло из сои.

На талоны «сахар» давали мякоть тоже коричневого цвета, в которой муки было значительно больше, чем сахара. Это изделие называли «помадкой». Но, – честь и хвала Настасье Петровне! – благодаря её ещё довоенным стараниям, мы были неплохо обеспечены сахарным песком, благо этот продукт, если его держать в сухом месте, не подвержен никакой порче. Сами мы его тратили в минимальных количествах, но моя будущая дочка была заранее обеспечена сладкими кашками и киселями до самого конца войны.

Сравнительно с непрерывно пухнувшими рыночными ценами, пайковые продукты стоили сущие пустяки. Поэтому слова «продать», «купить» мы употребляли лишь в рыночном обиходе. В «распределителях» продукты нам «давали» или «отпускали», а мы их «забирали», хотя, разумеется, помимо оторванных от карточек талонов продавцам протягивали и деньги, но небольшие.

Невкусно нас тогда кормили! Скучали мы с мамой и о мясных котлетах, и о молочных продуктах, и о сладком, и о белых батонах, – ничего этого не было. Но мы не голодали, а главное, кончилась пора стихийно возникающих шумных очередей и трёхзначных фиолетовых номерков на ладонях. Мы мало обращали внимания на то, что мы жуём, так как совсем другим были заняты наши мысли. Ещё один город взят немца-

ми... Ещё где-то советские войска отступили... Сколько же наших соотечественников ежедневно и еженощно гибнет!... Хоть бы подольше – как можно дольше – продержали Колю в этой Большой Грязнухе!

Ещё тревожнее жилось Зеле Лихтман: Володя с самых первых дней войны находился на передовой как артиллерист.

Как раз в это время началось массовое выселение с родных мест целых народов, заподозренных в симпатиях к фашистам и в готовности им служить. Пока это касалось крымских татар и отдельных кавказских племён, это меня особенно не трогало. Я никого из них не знала, и все они были для меня понятием абстрактным. Но немцы Поволжья жили совсем рядом, а на них это обрушилось в первую очередь. Я не видела, что тогда творилось в их сёлах и в городе Энгельсе – бывшей столице немецкой мгновенно упразднённой автономной республики. Несомненно, стон стоял, поскольку всем им, включая дряхлых, больных и малолетних, было приказано в самые сжатые сроки бросить свои дома, обстановку, хозяйства и отправляться налегке в пустынные районы Казахстана или ещё поглубже. Это напоминало недоброй памяти процесс раскулачивания. Но я слышала, какой стон стоял в Саратове, где тоже жило много поволжских немцев – в том числе и людей интеллигентных профессий, которым отныне предстояло, обживая новые места, становиться скотоводами или хлопкоробами. Несчастные выносили прямо на улицу свою мебель и разную домашнюю утварь, предлагая всё это за бесценок, но у них почти никто ничего не покупал, так как деньги саратовцам были нужны прежде всего на продукты. Однако продукты и тёплую одежду ссыльные не продавали, а увозили с собой, поскольку их гнали в неизвестность, где их ожидали голод и холода.

Лишилось почти всего преподавательского состава немецкое отделение нашего факультета иностранных языков: вся кафедра немецких лингвистов во главе со своим завом – профессором Дульзоном, человеком преклонных лет, – была отправлена в дальние края. Отделение попросту ликвидировали, бросив на произвол судьбы недоучившихся студентов.

Как много растерянных, перепуганных и заплаканных лиц

видела я вокруг себя в то время! Даже в день сообщения о войне люди не выглядели такими отчаявшимися, тем более что нам было обещано, что наша страна отлично защищена, и мы отразим вражеское нападение в считанные дни, – «ни одной пяди своей земли не отдадим врагу».

Выселяемым немцам был дан для сборов и ликвидации имущества кратчайший срок – двадцать четыре часа. Потом, правда, им милостиво даровали целых сорок восемь.

С болью в сердце бросали интеллигенты свои библиотеки, – а в Саратове тогда уже не было Рудомино, которая могла бы их подобрать и использовать.

Строгое правительственное распоряжение коснулось даже полукровок. Лидию Павловну Вудтке и её сестру Веру Павловну Лаврову спасло лишь то, что они были замужем за русскими. Это же выручило их братьев – Геню и Ваню, имевших русских жён. Законных супругов не разлучали. Однако без нервогрёпки не обошлось. Людей с немецкими фамилиями и с примесью немецкой крови вызывали «куда следует» и придирчиво допрашивали. Уточняли, действителен ли их брачный союз с русскими супругами, нет ли тут хитрого обмана, фиктивности. Требовали привода свидетелей, дополнительных справок.

Бдительными были наши ответственные товарищи!

В отчаянном положении оказалась бедная Маргарита, всю жизнь считавшая себя русской и не без основания: своего родного отца – немца Повольжья – она даже не помнила: он умер, когда ей было два года. А воспитала её русская семья – мать Мария Николаевна и отчим Михаил Павлович Черногоубов. Но у неё сохранилась отцовская фамилия – Дотцауэр, да и отчество у неё было «крамольным»: звалась она Маргаритой Фёдоровной, но по паспорту числилась Фридриховной. Поэтому и она получила распоряжение о немедленном выезде, хотя Милочке в то время был лишь годик с небольшим.

Невозможно описать душевное состояние несчастной молодой женщины, и без того едва оправившейся после своей личной драмы – разрыва с Александром Павловичем. Куда она поедет? С кем? Ведь она даже немецкого языка не знала и не была приучена ни к какому сельскохозяйственному тру-

ду, который ей предстоял в Казахстане. А как быть с Милой? Расстаться с ней на неопределённый и, возможно, долгий срок, оставив её бабушке? Невозможно! Тащить её с собой в неизвестность? Ещё страшнее!

Преисполненная рвением ей помочь, я поспешила к Скафтымову, хотя раньше никогда у него не бывала: я была убеждена, что только он один сможет предотвратить беду, поскольку он в городе – человек известный и влиятельный.

Александр Павлович откликнулся сразу.

Разные планы возникали в наших двух головах и тут же отвергались, как недостаточно убедительные. Наконец Александра Павловича озарило вдохновение, и он тут же написал под копирку ряд заявлений на имя высших городских и партийных инстанций. Там было сказано, что такой-то профессор, доктор филологии, заслуженный деятель науки и орденосец, просит оставить в Саратове такую-то, поскольку она – его сожительница, с которой он еженедельно встречается. Последнее утверждение было ложью, но именно такой, о которой говорят: «святая ложь», «ложь во спасение». Однако высокие инстанции, как это им положено, были бдительны и, не доверяя профессорской подписи, потребовали свидетельских подтверждений. Бедный Александр Павлович, человек от природы гордый и замкнутый, вполне «надзвёздный», как прозвала его Маргарита во время их близости, оказался вынужденным мыкаться, точно нашкодивший юнец, по всем восьми квартирам нашего подъезда, выклянчивая свидетельские показания. Как же он, бедный при этом краснел, заикался, потуплял очи! Было стыдно и нам всем. Ведь своими автографами мы – научные работники и воспитатели юношества – выступали перед высоким начальством в неблагоприятной роли досужих кумушек, которые только тем и занимаются, что подглядывают в замочные скважины соседних квартир: кто к кому ходит и надолго ли там задерживается.

К счастью эти наши старания, мало украсившие наш моральный облик, оказались далеко не напрасными! Высокие партийные инстанции оказались глухими к судьбе молодой матери, которую без всякой её вины разлучали с крошечным ребёнком, не посчитавшись с тем, что эта женщина никаких

связей с немцами Поволжья, а уж тем более Берлина, не поддерживает. Однако они проявили завидную чуткость и полное душевное понимание, когда дело коснулось мужчины, у которого собирались отнять тайную подружку. Это оказалось по-человечески понятно! Прославленная мужская солидарность сработала безотказно!

Однако рано мы торжествовали. Нашлась всё-таки какая-то тёмная личность в нашем доме (уж не Янсюкевич ли?), которая донесла «куда следует», что профессор Скафтымов мирно живёт со своей законной супругой, а «сожительство» с гражданкой Дотцауэр и не думает. Следовательно, эту гражданку следует безотлагательно выселить вслед за всеми прочими «фридриховичами» и «карловичами», а безответственных граждан, подмахнувших ложную бумажку, «притянуть к суду за лжесвидетельство».

Никто нас к суду не притягивал, но над многострадальной Маргаритиной головой снова сгустились чёрные тучи. На этот раз в роли её спасительницы героическим образом выступила Мария Николаевна – её мама. Пришла и её очередь на старости лет нахлебаться грязи и выставить себя на публичный позор, прибегнув ко «лжи во спасение» и убедив нескольких своих давних приятельниц пойти на лжесвидетельство. Сама ли Мария Николаевна догадалась, как ей следует поступить или какой-нибудь юрист её надоумил, но она подала в народный суд заявление о признании родным отцом Маргариты её отчима – Михаила Павловича Черногоубова. В доказательство этого и она сама, и приглашённые ею свидетельницы – её давние приятельницы – показали на суде, что Фридрих Дотцауэр был обманутым мужем, а она изменяла ему с М. П. Черногоубовым, за которого впоследствии, когда овдовела, вышла замуж.

Таким образом, папе Фридриху через четверть века после его кончины в официальном документе наставили рога, Маргарита Фридриховна Дотцауэр незадолго до своего тридцатилетия превратилась в Маргариту Михайловну Черногоубову, а безобидный Михаил Павлович на старости лет – в коварного соблазителя.

Черногоубовой Маргарита побывала недолго: вскоре после

окончания Великой Отечественной войны она вышла замуж за отставного майора Василия Уманского и взяла его фамилию, окончательно обрусев.

Но в то время, о котором я рассказываю, никакой майорши Уманской ещё не существовало. Существовала лишь особа сомнительного происхождения, ценность которой состояла в том, что с ней сожительствовал уважаемый человек. Это было важно! По совместительству она была и доцентом вуза, – но это уж неважно.

Великая вещь – способность мужчин понять мужчину!

Удивительными делами занимались саратовские партийные и государственные власти, включая народный суд, в то самое время, как, казалось бы, стране было вовсе не до этого: вражеские войска стремились окружить Ленинград, рвались к Москве. С завидным упорством добивались люди возможности оторвать молодого научного работника от дела, где он приносил пользу, превратить его в неумелую сельхозрабочую. Речь шла не только о возможной гибели человека – молодой матери, но и об ущербе для государства: ведь человека обучали и в вузе, и в аспирантуре, платили стипендию...

Чуть-чуть вторично не угодила в ссылку Надежда Генриховна Леер из-за своего явно нерусского отчества и фамилии, но ей удалось с помощью документов доказать, что она – не дочь Генриха Леера, а его правнучка, им усыновлённая, и следовательно, немецкой крови у неё не более одной восьмушки.

Кстати этот Генрих Леер, от имени которого моей коллеге пришлось яростно отмежевываться, был давно скончавшимся профессором, удостоившимся за свои технические изобретения многих и дореволюционных, и послереволюционных высоких наград и почтительно упоминаемым в Большой Советской Энциклопедии. Будь Н. Г. Леер родной дочерью этого человека, – не миновать бы ей ссылки в Казахстан.

Подлинными родителями Надежды Генриховны был несовершеннолетний внук профессора и жившая в их доме горничная.

Трагедия немцев Поволжья неожиданно обернулась выгодой для саратовских жителей. Во-первых, освободилось немало

городских квартир, во-вторых, на какое-то, правда, короткое время улучшился наш стол. Поскольку немецкие колхозники были вынуждены побросать на произвол судьбы всю свою живность, по нашим продовольственным карточкам, вместо опостылевшей солёной трески вдруг начали выдавать мясо – говядину, баранину, свинину. Мы не верили своим глазам, – такой неожиданно это было! Власти спешно резали в то время даже дойных коров и телят-недоростков, поскольку целые стада оказались брошенными на произвол судьбы. Многие животные пали от бескормицы, пока саратовские градоначальники не додумались отправить за Волгу мясников и транспорт для погрузки.

Был благодетельствован и наш пединститут, получив от города щедрый подарок – несколько десятков свиней разного возраста, – сильно отощавших, но всё же ещё живых. Что делать с этим подарком? Свинарника у нас, естественно, не было, ухаживать за свиным поголовьем никто не умел. Кто-то предложил рассовать этих свиней по квартирам, кто-то – пустить их общим стадом под открытое небо, соорудив загон на институтском дворе, и, чтоб не получилось путаницы, написать чернильными карандашами на каждой свинье фамилию и инициалы её владельца. Крупные экземпляры полагались директору, профессорам и партийным активистам, более тощие и мелкие – сотрудникам менее высокого ранга.

Оба эти проекта позабавили Шуру Вознесенскую, и она немедленно вооружилась цветными карандашами. На левой стороне рисунка она изобразила квартирных хавроний, важно разлегшихся на хозяйских диванах и купающихся в ванной, а на правой – пасущееся свиное стадо разнообразного калибра. Согласно надписям на их боках стадо сплошь состояло из «профессора Щегловой», «доцента Яхонтовой», «парторга Янсюкевич» и т.д.

Против обоих этих проектов громко возроптали и студенты, и технические работники, которые тоже не прочь были полакомится свининкой. Поэтому было принято справедливое демократическое решение: никому персонально свиней не раздавать, а отправить их на городскую бойню. А оттуда их мясо должно было поступить в институтскую столовую на радость

всем – и студентам, и сотрудникам. Пусть каждому достанется хоть по котелку наваристого супа и по котлетке...

Обречённых животных увезли... Но больше мы их не видели ни живьём, ни на тарелках. Был мираж – и рассеялся, как и полагается миражам. Поговаривали, что на наше законно полученное мясо «наложили лапу» высокие исполкомовские и горкомовские вельможи, против распоряжения которых наша дирекция не посмела даже пикнуть. Как гласит поговорка: «Бог дал, бог и взял».

Таким образом, наша коротенькая эпопея, полная наивных надежд на свиные отбивные, завершилась «простым свинством», как шутили институтские остряки.

Впрочем, обижены были не все. Люба Жак, обитавшая на общей лестничной клетке с институтским начальством, не поленилась обежать все лестничные площадки своего подъезда, возмущенно сообщая о том, как из многих дверей мощно, «точно из шашлычной», несёт жареным. Предлагала всем «понюхать и убедиться». Никто, разумеется, обнюхивать чужие двери не пошёл, тем более что Любе ничего не стоило соврать. Однако на этот раз она, по-видимому, говорила правду: вскоре после её пробежки кроткая и никому никогда не завидовавшая С. А. Щеглова пожаловалась на головную боль: «У нас на лестнице с утра до ночи такой густой чад стоит от пережаренного свиного жира, что поднимаешься к себе точно в тумане, не продохнуть».

Никаких холодильников в частных квартирах тогда ещё не водилось, и для сохранения мяса на долгий срок его необходимо было в спешном порядке зажаривать большими кусками.

Председательница месткома – Валентина Павловна Приходько, болея душой за коллектив, – возможно потому, что ей самой ничего не досталось или досталось меньше, чем ей хотелось бы, самостоятельно отправилась в опустевшую Автономную республику немцев Поволжья в поисках «мясной свежатинки», захватив с собой ещё кое-кого из месткомовского актива.

В. П. Приходько была дамой средних лет, немножко напоминающей мамину приятельницу – москвичку Александру Арсеньевну Семёнову. Такая же энергичная и добродушная, а вдобавок далеко не лишённая женского кокетства: многие

институтские преподаватели средних лет и средней интеллигентности уделяли заметное внимание этой «месткомовской Мессалине», как прозвал Валентину Павловну Евграф.

К нашему общему огорчению, возглавлявшаяся ею экспедиция вернулась с пустыми руками: в упразднённой автономной республике институтские посланцы нашли только отощавших кошек и собак, брошенных высланными хозяевами. Всё съедобное, видимо, было вывезено раньше.

По этому поводу я посвятила Валентине Павловне Приходько оду, которая понравилась не только моим друзьям, но даже ей самой:

«Ты говорила – не забудь, –
 Через желудок к сердцу путь,
 И чтоб пленить мужские души,
 Спешись достать мясные туши.
 Хоть мяса нет ещё покуда,
 Произошло большое чудо:
 Хотя желудки не полны, –
 Сердца тобой пленены».

По мере того, как враг всё глубже и глубже вгрызался в нашу страну, Саратов заметно переполнился хлынувшими туда людьми, напоминая в этом отношении Москву первых послереволюционных лет, когда туда ринулись и беженцы из прифронтовых мест, и просто голодные и разорённые деревенские жители. Как тогда в Москве, так и теперь в Саратове, началось уплотнение и даже переуплотнение коренных жителей, – только уже не беженцами (поезда военных лет оставались запретными для частных граждан), устремлявшимися на восток по собственной воле, а эвакуированными, выезжавшими целыми предприятиями или организациями. В числе многих других попала к нам и значительная часть труппы Художественного театра, и ГИТИСа (Государственного института театрального искусства). Начали поступать также и эшелоны с ранеными, вследствие чего и многие школы объединились в общие здания, работая в три смены, и многие госучреждения потеснились, – требовались госпитали. Не миновало это и нас. Стал военным госпиталем один из корпусов пединститутского студенческого общежития, а в ком-

наты, предназначенные для четырёх человек, стали втискивать по восемь-десять обитателей. Поскольку в отданном под госпиталь корпусе общежития жили также семьи институтских служащих и некоторых преподавателей, пришлось потесниться и нам. Одну комнату отобрали у наших соседей Ларионовых, другую – у нас: так называемый Колин кабинет. Никто, разумеется, не роптал: необходимость ведь!

Да к тому же люди понимали, что всё это уплотнение временно. Не век же городу быть переполненным эвакуированным людом и военными госпиталями! А пока... Какие пустяки все наши неудобства по сравнению с тем, что терпят несчастные фронтовики!

Вслед за многими другими учреждениями эвакуировали в Саратов и Московскую Консерваторию, а вместе с ней – и дядю Бутю. Екатерина Васильевна уехала вместе с учреждением, где она работала бухгалтером, ещё раньше в какой-то другой город. Поэтому дядя Бутя, которому, как и всем другим консерваторским работникам, было предоставлено право взять с собой ещё одного человека – члена семьи – захватил собой нашу Леночку.

Мы с мамой совсем не были об этом предупреждены: письма тогда ползли по стране черепашьими темпами, а телеграф для частных граждан вообще был закрыт. Поэтому, когда я однажды поздним осенним вечером услышала дверной стук, и на моё «кто там?» откликнулся Леночкин голос, – ушам своим не поверила! Вот была радость для меня, для мамы, для самой Леночки, для всех нас! Улыбки смешивались со слезами, и не было конца расспросам обо всех вместе и каждом в отдельности.

Леночка, разумеется, осталась с нами, а дядя Бутя получил небольшую комнатку согласно временному ордеру, уплотнив кого-то из местных жителей. Нарочно подобрал такую, которая находилась рядом с нашим домом.

У меня была койка, у мамы – диван, а куда девать Леночку? Ещё раз нам всем пришлось убедиться, какая полезная вещь – уродливая волчья шуба, купленная мной для мамы. Она оказалась широкой, мягкой и служила Леночке тюфяком, когда она укладывалась спать на полу. А днём та же памятная всем

нам шуба служила то мне, то маме по своему прямому назначению, точно сапоги в сенях у Плюшкина, которыми дворовые, входя в барские хоромы, пользовались поочерёдно. Мама в ней ходила добывать продукты, а я – читать лекции в институтском здании, где было так же морозно, как и на улице.

В соседней с нами бывшей ларионовской комнате поселили доцента кафедры педагогики Клавдию Асееву – тоже «солдатку» – с матерью и парой малышей-погодков. Ребятишки – годовалый Гена и двухлетня Валера – были шумными горластыми.

Поэтому, когда мы укладывались спать, я, глядя на лежавшую у моего подножья Леночку, вспоминала романс Вертинского, который часто напевал Гуля под собственный аккомпанемент:

«...В опалово-лимонном Сингапуре,
Когда от ветра клонится банан,
Вы грезите всю ночь на волчьей шкуре
Под вопли обезьян...»

Вот и сподобились дожить до экзотики, – только банановых плантаций не хватало.

Вскоре после нас дождалась своих московских родных и Зеля Лихтман. Приехали её родители вместе с Зелиной пятилетней дочкой Танечкой. Впоследствии Танечка стала красивой девушкой, а тогда, костлявенькая и остроносенькая, она казалась сложенной из спичек. Только большие чёрные глазищи выделялись на маленьком личике.

Леночка с её специальностью дипломированного техника быстро устроилась на работу, – саратовским военным заводам такие люди были очень нужны: ведь после мобилизации всех годных к военной службе мужчин, там остались лишь женщины, подростки и инвалиды. Выдали Леночке рабочую продуктовую карточку, которую в качестве доцента имела и я. Наш почти двухкилограммовый ежедневный хлебный паёк (800 + 800 + мамины 200 г) был вполне достаточен не только для нашего пропитания, но и в качестве ценной рыночной валюты: мама иногда меняла хлеб на овощи или на молоко, согласно установившемуся там тарифу: за кило хлеба – пол-литра моло-

ка. Питались мы, следовательно, не хуже остальных. Но нас не оставляла тревожная мысль о покинутом на произвол судьбы папе и о бедных наших пушкинских старичках. Немцы были ещё далеко от Саратова, но почти вплотную подошли к Москве, на которую каждую ночь налетали вражеские бомбардировщики. Папа нам представлялся Иваном Сусаниным, окружённым кольцом врагов, пока мы, его близкие, пребываем в безопасности. Сегодня он цел и невредим, а завтра?..

Вырваться из Москвы папа никак не мог, не имел права, поскольку Пединститут им. Ленина, где он продолжал работать, оставался на месте. Занятий там не было, но полным ходом шли земляные работы: и студенты, и преподаватели молодого и среднего возраста (почти сплошь женщины – мужчины были на фронте) рыли вокруг Москвы противотанковые рвы, примерно в тех самых местах, где сейчас проходит автомобильная кольцевая дорога. Отец, которому в 1941 году исполнилось шестьдесят два, был от этого освобождён, но всё равно ему приходилось что-то делать в стенах самого института. Он был к нему прицеплён. И, слава богу! Страшно подумать, что было бы с его совсем уже дряхлыми родителями, если бы ему, как дяде Буте, пришлось бы вместе с институтом эвакуироваться. Оставаясь на месте, папа был недалеко от них и имел возможность с ними делиться и своей профессорской зарплатой, и профессорским же пайком, частичку которого он уделял также и бабушке Юле с Санатой.

Все наши московские родные жили почти впроголодь: их пенсионные пайки (200 грамм ежедневного хлеба на каждого и почти ничего сверх этого) мало отличались от ленинградской нормы. Но отца мучило не только то, что он бессилён достаточно накормить своих родителей, сколько страх: что будет с ними, если Пушкино окажется отрезанным от Москвы, если оборвётся их железнодорожная связь, если туда ворвутся немцы?

Взять их к себе он не мог: наш московский дом замерзал, а в Пушкине было печное отопление. Фирсовы – наши пушкинские жильцы – своевременно запаслись дровами и обогревали всю квартиру. А старушка Фирсова, как и раньше, старалась облегчить им жизнь: приносила воду, получала их продукты

в местном распределителе, стирала их бельё вместе со своим, наводила порядок в их комнатах. Хорошая была женщина, в отличие от своей невестки! Может быть, даже к лучшему вышло то, что моим родителям в довоенное время не удалось выселить эту семью из нашей дачи. Неисповедимы пути господни!

Трудно жилось бедному папе – милому моему Тюконьке – зимой 1941–1942 годов, которая, как на грех, и в Москве, и в Саратове выдалась на редкость лютой. И холодно, и голодно, и страшно, а главное – одиноко. Ни мамы рядом, ни меня, ни Леночки. Даже кота Петрика, мамино любимца, ему пришлось отнести в ветеринарную лечебницу для усыпления: наш избалованный котик не желал стать вегетарианцем и решительно отказывался есть то, что стало обычным меню папы – серые варёные макароны с капелькой растительного масла. Кот кричал дурным голосом, требуя рыбы или мяса. Ему грозила голодная смерть, да и минусовую температуру в квартире он вряд ли смог бы перенести.

Никто бедного кота не пожалел, поскольку и над близкими нам людьми нависла тогда вполне реальная смертельная угроза.

Нина с приближением зимы и до самого её окончания легла в туберкулёзную больницу, где неоднократно бывала и раньше, и где её хорошо знал весь персонал, начиная от главврача и кончая нянечками. Благодаря своему лёгкому, приятному характеру, она там была со всеми в наилучших отношениях, и для неё нашлась там бессрочная койка, тем более что Нина и на самом деле была серьёзно больна. Было ей там и скучно и голодно, но московские больницы хоть плохонько, но отапливали.

Бабушка и Саната зимовали в лежачем положении, тесно прижавшись друг к другу, точно оставшиеся без матери котята или щенки, навьючив на себя всё, что только было возможно. Папа приносил из распределителя полагавшиеся им и Марии Алавердиевне продукты вместе со своими и варил общую макаронную или крупяную жидкую похлёбку, – газовая плита, слава богу, хоть кое-как, но работала, и вода в кранах ещё не застывала.

Будь жив Василий Николаевич Дункель, он, без сомнения, приютил бы у себя сестру с племянницей, но он ещё в 1940

году умер от инфаркта, а Татьяна Яковлевна «башмаков ещё не износив», подобно Гертруде из «Гамлета», поспешила вторично выйти замуж за сравнительно молодого человека, как бы желая себя вознаградить за длительное супружество со старым и больным человеком. О её втором муже я решительно ничего не знаю, – она никого из моих родных с ним не знакомила, – знаю только, что Виктор своего отчима терпеть не мог и называл его не иначе, как «проходимцем».

Понятно, что, переживая свои медовые месяцы, Татьяна Яковлевна совсем не была расположена к тому, чтобы даже временно брать к себе свою одряхлевшую бывшую золовку, да ещё с Санатой в придачу.

Огромное количество тёплого барахла, скопившееся в бабушкиных сундуках, до поры до времени спасало трёх дам от переохлаждения, но только до поры до времени.

А папа оказался на редкость морозоустойчивым, хотя никогда не жил в местах севернее Владимира и Нижнего Новгорода. Не лежал, а сидел или двигался, – правда, в зимнем пальто, валенках и в меховой ушанке, а, укладываясь спать, клал под одеяло два разогретых на плите кирпича: один – под бок, другой – к ногам. В дневное время читал и даже писал, отогревая собственным дыханием замерзавшие чернила. Большой для него радостью были воскресные поездки к старичкам, возле которых он отогревался и душевно, и физически, – прильнув к топившейся печке. Горько ему было видеть, что они оба медленно угасают – от возраста, давно перешагнувшего за восемьдесят, от скверного питания – без сахара, без капли молока, без жиров, от мучительной тревоги за себя, за всех нас, за всю страну. Ведь немцы находились под самой Москвой! Дедушку волновала и судьба его племянников – детей Марии Григорьевны: Коля был на фронте, Маня с дочерью – в голодающем Ленинграде, Лида и Катя – в оккупированном Киеве... Вестей ни от кого из них не было. Живы ли они?

Даже мысль о том, что я в ближайшее время собираюсь прибавить к их статусу деда и бабушки приставку «пра», скорее ужасала их, чем радовала. Что будет со мной и с новорождённым? Что нас ждёт?

Осенью 1941 года папа в числе других наиболее почтенных по возрасту жильцов дома 16/13 включился по доброй воле в противопожарную охрану этого дома. В ноябре враги бомбили Москву особенно яростно. И тяжёлыми разрушительными фугасками, – которые, в частности, снесли почти до фундамента Театр им. Вахтангова на Арбате, – и мелкими зажигательными бомбами, которые спалили несколько домов на Ростовской набережной и в прилегающих к ней переулках.

Седоголовые защитники дома 16/13 были вооружены лопатами и имели в своём распоряжении ящик с песком. Им было объяснено, что если на крышу упадёт бомба с зажигательной смесью, её следует немедленно засыпать песком. Но когда однажды это действительно случилось, один из «противопожарников» в страхе и растерянности забыл о песке, а просто сбросил бомбу лопатой во двор. К счастью, она упала не на соседний деревянный флигелёк, а на росший рядом с ним старый тополь, который тут же был охвачен пламенем.

Яков Николаевич Осипов и Исаак Родионович Крепс из 4-ой квартиры, которые тогда тоже дежурили на крыше, любили вспоминать, как страшно им было вначале, и как они учились спокойствию и мужеству у моего отца. Выла сирена, над головой появлялись зловещие чёрные силуэты вражеских самолётов, тут и там вспыхивали пожары, а отец, держа в руке свою «боевую лопату», невозмутимым тоном развлекал их занимательными эпизодами из своей артистической или педагогической жизни, совершенно так же, как в своё время он развлекал подобными же рассказами своих соседей по камере в Бутырках. Точно все они сидели в мирной обстановке, за чайным столом. В папином присутствии, слыша его спокойный голос, слушатели начинали чувствовать себя как бы в безопасности. «При вашем папе было стыдно трусить, – сказал мне как-то раз И. Р. Крепс. – А как интересно было его слушать!»

По воспоминаниям папы он совсем не боялся тогда за себя самого. Просто не думал об опасности. Но очень боялся за исторические московские здания, – особенно за Кремль и Храм Василия Блаженного, – он всё время, замирая от ужаса, поглядывал в ту сторону.

В отличие от злосчастных москвичей мы, саратовцы, в своих квартирах не мёрзли. Местные умельцы понаделали из жести печурки-буржуйки образца 1919 года, и этот товар находил на рынке широкий сбыт. Нам даже посчастливилось купить печурку не из жести, а из толстого чугуна. Её можно было топить не только дровами, но и кусочками каменного угля или горючего сланца, который добывался в окрестностях Саратова. Благодаря этому топливу, наша печурка была способно долго сохранять тепло, хотя дымила и коптила не меньше жестяных. На ней мы стряпали и нашу нехитрую пищу, – это было проще, чем пользоваться кухонной дровяной плитой, да и дров она поглощала меньше.

Незаменимая Оранжерейная Маруся за буханку хлеба помогла нам так же, как и нашим соседям, водрузить этот «семейный очаг». Над нашими головами протянулись прямые и коленчатые трубы, соединявшие печурку с одним из оконных квадратиков, где стекло пришлось вынуть, временно заменив его фанерой с выпиленной лобзиком дыркой. Там, где трубы смыкались, пришлось подвесить на кусаках толстой проволоки консервные банки, чтоб на наши головы не капал сочившийся оттуда вонючий дёготь. Эти, красовавшиеся подобно китайским фонарикам, банки навевали на грёзы о прошлом и мечты о будущем, поскольку впопыхах мы не успели смыть с них этикетки, где было написано «зелёный горошек», «компот слива», «осетрина в томате» и т.п.

Характерная эстетика военного времени! И в то же время – стиль «ретро», поскольку и печурка, и трубы, и подвешенные банки напоминали нам с мамой первые послереволюционные годы, – годы моего раннего детства.

Дровами нас снабжал институт, – по талонам, разумеется. Мы с Леночкой быстро наловчились их пилить, колоть и расщеплять, хотя раньше никогда этим не занимались. Мама с некоторой опаской поглядывала в мою сторону, полагая, что пила или топор в моих руках и мой заметно округлившийся живот – вещи столь же «несовместные», как гений и злодейство. Она рвалась меня заменить, но я её не пускала, – возня с дровами, щепками, растопкой печурки мне почему-то доставляла удовольствие.

К тому же течение всей своей беременности я чувствовала себя на удивление хорошо, меня переполняла энергия. Чем больше я тяжела объективно, тем более лёгкой субъективно себя ощущала. Точно внутри меня находилось не будущее дитя, а какая-то животворная сила. Может быть, потому, что это дитя было таким долгожданным и желанным. Хотелось всё время двигаться и что-нибудь напевать, хотя я тут же накладывала на это запрет: «Нельзя! Стыдно! Не ко времени!»

Сначала я боялась, что не смогу одна вытянуть свою и Колину педнагрузку. А что случится с моими студентами, когда я уйду в декрет? Но к великому моему счастью, учебные занятия в Саратовском пединституте, так же, как и в Московском Ленинском, временно замерли. И здесь студентов и преподавателей посылали на земляные работы – рыть противотанковые рвы за городом и помогать строителям переоборудовать городские здания в госпитали, а окрестным колхозам – собирать и сохранять урожай. Меня, естественно, всё это не касалось. Приходилось только – по требованию Янсюкевич и под её неусыпным контролем – непрерывно «повышать мой идеологический уровень»: самой читать и до одурения перечитывать сталинский «Краткий курс ВКП(б)» и кормить этой невкусной пищей окрестных жительниц – в качестве «агитатора, горлана и главаря» среди населения.

Почти свободен от своих консерваторских занятий был тогда и дядя Бутя. Настоящие и будущие пианисты и скрипачи тоже были приспособлены для занятий другого рода, и их руки, оторванные от клавиш и струн, оказались вынужденными иметь дело с менее утончёнными инструментами. То же самое относилось и к вокалистам. Все они рыли землю, копали ямы.

Поэтому дядя Бутя с утра до ночи (на ночь он всё-таки уходил в своё законное временное жильё) пребывал у нас в моей единственной комнате. Человек деятельный, которого в Москве мы всегда видели у письменного стола или за роялем, он томился и тосковал. Я пыталась подсовывать ему книги – мои и библиотечные, но тревожные мысли и бытовая неустроенность отвлекали его от чтения. Он сильно напоминал тогда то ли старый Андреевский памятник Гоголю, который сейчас находится

в одном из дворов Суворовского бульвара, то ли центральную фигуру картины Сурикова «Меньшиков в изгнании». Напоминал он и свою сестру Марию Алавердиевну, оказавшуюся после переезда из Арзамаса в Москву в сходном положении. Садился дядя Бутя на диван или на стул и застывал на целые часы в тоскливой неподвижности, заметно сутулясь и устремив взгляд в одну точку с отрешённым и бессмысленным видом.

Он нам не мешал, и мы с Леночкой жалели его, но всё же он действовал на наше настроение угнетающим образом. Его профессорская или, иначе говоря, рабочая продуктовая карточка использовалась в нашем общем рационе, нашим нахлебником дядя Бутя не был, но маму раздражало то, что она должна была приносить из распределителя лишний груз и готовить еду не на три, а на четыре персоны. А бытовой помощи от дяди Бути ждать не приходилось: он отроду не имел дела с продуктовыми магазинами, не умел даже чая себе заварить или посуду после себя сполоснуть, так как привык к тому, что о нём всю жизнь кто-то заботился – тётя Наташа или бабушка... Мама была тогда неспокойна за меня, за папу, за бабушку Юлю, нервничала, и её выводило из себя иждивенческое поведение дяди Бути, а особенно то, что он, как бы забывая о внешних обстоятельствах, делал ей замечания по поводу её стряпни: «Сюда надо было бы сливочного масла немного прибавить», «А суп у тебя совсем водянистый», «К макаронам следовало бы сыра натереть», «А почему ты белый хлеб никогда не покупаешь?», «Хорошо бы яичек на завтрак...»

Мама отвечала дяде Буте тоже не вполне дружелюбно, и я боялась, как бы между ними не вспыхнула ссора. Только этого ещё не доставало!

Наступил 1942 год, с которым мы даже не поздравили друг друга как полагается – с бокалами или хотя бы с рюмками в руках. Вина у нас не было, – у мамы хранилась лишь бутылка «русской горькой», как тогда называлась водка. Но ни у кого из нас пристрастия к водке не было, а к тому же мама никому и не позволила бы откупорить эту бутылку. Она была у неё заветной, тем более что была куплена с коммерческой целью в самый

день объявления войны, – в другое время она вряд ли сумела бы достать такую ценность.

Заветную бутылку мама хранила с умыслом: мы жили в центре города, а все лечебные учреждения – в том числе и родильные дома – были разбросаны по далёким окраинам. Значит, надо было заранее позаботиться о «золотой валюте», чтоб в нужный час я была доставлена в один из них без промедления.

Как маме это удалось своевременно сообразить, да ещё и в день всеобщей растерянности? Видимо, хоть и не похожа была мама на бабушку Юлю, – ни внешне, ни внутренне, – какие-то её гены в ней всё же проявлялись. А, возможно, и близкие взаимоотношения с Александрой Арсеньевной повлияли на мамин характер.

38 © ДОЧКИ-МАТЕРИ

Мамина заветная поллитровка с заманчивым для мужчин содержанием отлично выполнила своё предназначение, для которого была предназначена.

Как только глухой январской ночью у меня начались... ещё не схватки, но довольно ощутимые предварительные сигналы, и я с Леночкиной помощью принялась собираться в дорогу, мама, не дожидаясь нас, выбежала на середину улицы в ожидании автомобильных фар.

Поскольку время было ночное, довольно длительное время никаких фар не показывалось, но зато первый же грузовик мгновенно замер на месте при виде стоявшей посреди мостовой гражданки, которая, точно милицейским жезлом, сигналила ему поллитровкой, подняв её как можно выше.

Меня бережно усадили рядом с водителем, он получил приманку, на которую клюнул, но к мамину даже не огорчению, а отчаянию, для неё ни в шофёрской кабине, ни в кузове места не нашлось, и её весь остаток ночи терзала мысль: а не связалась ли она с каким-нибудь негодяем, который высадит

меня на ближайшем пустыре? Поэтому, как только в восьмом часу утра открылись двери Пединститута, она ринулась туда и принялась наводить справки обо мне по канцелярскому телефону (ни домашних телефонов, ни телефонов-автоматов в то время Саратов не знал). К счастью, в городе оказалось не так уж много роддомов, и мама отыскала меня в одном из первых, куда позвонила.

Водитель честно отработал полученный им аванс: не только довёз меня куда следовало, но даже проводил до самого входа и сдал дежурной нянечке с рук на руки.

Кстати сказать, долгое время слово «водка», точно какая-нибудь нецензурщина, у нас, хотя и произносилась, но никогда не писалась на этикетках. Официальным её названием было «русская горькая», хотя никакой горечи я в ней никогда не замечала.

Роды мои продолжались сорок четыре часа, – никому такого не пожелаю!

«Вялые мышцы», – говорила акушерка. Вот что значит быть книжницей, а не спортсменкой!

Попала я в роддом в то время, когда там проходила практику стайка молоденьких девушек – студенток то ли мединститута, то ли медучилища. Как я возненавидела их всех за чёрствость и бездушие, когда я корчилась, вопила дурным голосом и вообще умирала, а они, не обращая на меня ни малейшего внимания, о чём-то между собой болтали, пересмеивались, пудрили носы и подправляли кудряшки, то и дело пробивавшиеся из-под их медицинских косынок.

Только в последние, решающие минуты они наконец-то столпились вокруг меня вместе с акушеркой. Я очень испугалась, когда эти ненавистные мне и равнодушные к моим страданиям садистки выхватили из рук акушерки мою только что родившуюся дочь и, весело щебеча, куда-то её потащили, не позволив мне даже на неё взглянуть. Но акушерка меня успокоила: девочки уже опытные, сами без пяти минут акушерки, – сумеют и помыть ребёночка и номерок к его руке привязать, – словом, сделать всё, что в таких случаях полагается.

– Это, наоборот, примета хорошая, что вашу дочку такие ве-

сёлые девочки приняли, – значит, она сама будет весёлая и всю жизнь проведёт среди многих подружек.

Верная оказалась примета! Так оно и произошло.

Впоследствии, когда я уже благодушествовала в после-родовой палате, эти девочки часто забегали навестить меня и свою «крестницу». И оказались вовсе не противными, а очень даже славными, ничуть не хуже моих собственных пединститутских учениц.

Мои роды оказались для мамы ещё более трудными, чем для меня, поскольку роддом, куда я попала, оказался очень далеко от нашего дома, зима была лютая, трамваи не ходили, улиц никто не очищал, – тротуары были или обледеневшими, или заваленными сугробами. Это ей напоминало послереволюционную Москву, но тогда она была моложе и не имела необходимости преодолевать дальние расстояния. А теперь ей это приходилось делать ежедневно, а иногда даже дважды в день. По телефону, как это и сейчас водится, ей давали только справки, похожие на студенческую зачётку или школьный дневник: «хорошо» или «удовлетворительно», – а маме хотело получать обстоятельные записочки и о моём самочувствии, и о том, как выглядит моя дочка, чем меня кормят, каких мне бог послал соседок. При этом каждое мамино посещение сопровождалось гостинцами: бутылочками молока, ломтиками печёной свёклы или тыквы, варёными морковками. Эти гостинцы тяжёлыми не были, но волчью шубу, которую мама была вынуждена надевать, после того, как она отслужит Леночке в качестве матраца, вполне можно было приравнять к туго набитому рюкзаку.

Сменить маму было некому: Леночка возвращалась с завода совсем измученная и очень поздно, все мои подружки были заняты: работа, добывание съестного, их собственные ребятишки.

О моей доставке домой похлопотал сам пединститутский директор, – поллитровки уже не понадобилось. На улице было минус сорок пять, и бабушка так плотно укутала внучку во всё тёплое, что только нашлось в доме, что мне приходилось то и дело, тайком от мамы, просверливать пальцем дырку в гуще пуховых платков, чтоб несчастное дитя не задохнулось.

Везла нас не машина, а запряжённая в извозчицию пролёт-

ку лошадка. Где ухитрился её раздобыть наш директор – мне неведомо.

А дома нас встретили и Леночка, и все мои подружки. Кто-то из них принёс несколько кусочков сахара, не зная о том, что у нас накоплен большой холщёвый мешок этой драгоценности, плотно зашитый от соблазна. Кто-то притащил бутылку молока, кто-то – кусок мыла. Но самым драгоценным подарком были детские одежонки, ранее принадлежавшие Миле Скафтымовой и Наташе Покусаевой, – пелёнки, распашонки, ползунки, чепчики, – даже обувка разных размеров для будущих дочкиных шагов по земле.

Всё необходимое для новорождённой было у нас уже припасено, но в недостаточном количестве, одной марли для подгузников набралось в избытке: санитарки из соседнего госпиталя охотно меняли широкие бинты и вату на любые продукты из наших пайков.

Вполне обеспечена была моя дочь и игрушками, – тогда уже господствовали пластмассовые, но ещё водились и резиновые зверушки, которые податливо сжимались и разжимались в младенческих ручонках и отлично плавали в ванночках.

Ванночку нам подарили тоже – и очень кстати, так как приготовленное нами сооружение никуда не годилось. Какой-то приведённый Оранжевой Марусей умелец смастерил подобие маленькой раскладушки, к которой был прицеплен мешок из столовой клеёнки. Этот мешок держался при помощи мелких, так называемых обойных гвоздей. Их оказалось недостаточно. Попытку помочь делу предприняла Леночка, посещавшая тогда частного зубного врача. Сидя в его приёмной, она выцарапала несколько таких же гвоздиков из стула, на котором сидела. Но и это не спасло положения. Зря Леночка брала грех на душу!

У меня сохранилась карикатура, где этот эпизод воспроизведён Леночкиной школьной подругой Ирой Цейтлин, которую тоже судьба временно занесла в Саратов вместе с институтом, где она тогда училась. На этой картинке зубной врач вытаскивает огромными щипцами зуб из разинутой Леночкиной пасти, а Леночка в то же время тащит гвоздь из стула, на котором сидит. Оба усердствуют изо всех сил, причём одновременно.

Когда нам с мамой впервые пришлось распеленать наше сокровище, чтоб сменить пелёнки, мы обе растерялись. Я беспомощно смотрела на маму, ожидая от неё решительных действий, она – на меня, с тем же самым выражением.

– Что ж ты, Дилинька? Забыла свои навыки?

– Какие навыки? Никогда я тебя не пеленала! Рядом были и няня, и мама, и Марья Матвеевна! А из Нижнего в Ченстохов я привезла тебя уже полугодичной. В костюмчике, а не в пелёнках... Ни с какими пелёнками я никогда дела не имела.

Более опытной оказалась я, но Мария Николаевна Черногубова решила доверять мне Милочку лишь тогда, когда она была уже двухмесячной – крепенькой и пухлой, а на этот раз передо мной лежало нечто крошечное и настолько хрупкое, что страшно к нему было даже прикоснуться.

Положение спасла находившаяся тут же Леночка.

Бросив и на меня, и на маму по презрительному взгляду, она энергично зацапала голенькое существо и принялась его крутить-вертеть по разостланной пелёнке, точно скалку по распластанному для пирогов тесту, – и с боку на бок, и даже носиком вниз. Потом точно так же крутила уже крепко запеленатую племянницу по заранее подготовленному одеяльцу.

Мы с мамой смотрели на Леночкины манипуляции с ужасом, но моя дочка, почувствовав себя в настолько уверенных руках, что даже не пикнула.

Искусству пеленания вскоре обучились и мы с мамой, причём усовершенствовали Леночкин метод, сообразив, что следует не крутить младенчика по пелёнке, а оборачивать в пелёнку. Наше открытие отчасти напоминало открытие Коперника, догадавшегося, что не солнце крутится вокруг земли, а наоборот.

Кустарную младенческую кроватку, сплетённую, подобно дачной мебели, из прутьев, мы приобрели на рынке заблаговременно, уплатив за неё, как тогда полагалось какую-то частицу наших пищевых запасов.

А колясочку для прогулок мне подарила Леночка, поскольку Маргарите её собственная была ещё нужна, так же, как и Клавдии Андреевне – моей квартирной соседке, а покусаевскую давно ликвидировали.

Коляску эту соорудили на том же заводе, где Леночка работала и где сооружали, главным образом, танки. Поскольку коляска была, по-видимому, изготовлена из тех же материалов, как и эти грозные орудия, вернее, из их отходов, – прочностью она обладала необычайной, – судя по внешнему впечатлению, её стенки и колёса были пуленепробиваемыми. Зато необычайными были также и тяжесть и громоздкость этой, с позволения сказать, «вещицы», предназначенной для грудных младенцев.

Бедная Леночка с большим трудом доволокла этот грузный металлический предмет зловещего чёрного цвета до нашего дома и с чьей-то помощью втащила его на наш этаж. Именно доволокла, а не довезла, потому что на середине длинного пути от завода к дому Леночка обнаружила, что тяжеленные колёса вертеться отказываются. Брак можно было бы вернуть, но дом был близко, а завод далеко. Волочить такое сооружение обратно ей не захотелось.

Танкообразная коляска нам всё же пригодилась. Она была такой широкой, что в ней и для близнецов места бы хватило, и мы пользовались ею, как кроваткой довольно долго. Лишь с места не сдвигали. Как монумент.

Мои приятельницы наперебой предлагали мне имена для новорождённой. Исключительно так называемые «простые русские», поскольку война всех нас настроила на патриотический лад и заметно поубавила ещё недавнее пристрастие к иностранному. Особенно распространённым сделалось имя Наташа, поскольку многие перечитывали в то время «Войну и мир».

Этой книжной подсказкой я не воспользовалась, а воспользовалась той, которую мне подсказала жизнь. У нашего декана Е. Т. Павловского имелась дочка-подросток – прехорошенькое создание по имени Ксения, а по-домашнему не Ксюша и не Ксюта, а Ксана – похоже на имя той гоголевской красавицы, которая была достойна носить черевички, «какие сама царица носит».

В честь этой славной девочки я и назвала свою дочку.

Время было трудное, – что и говорить. В основном, для мамы, поскольку Леночка с раннего утра до позднего вечера (за исключением воскресений) пропадала на заводе, мне тоже

после полуторамесячного «декретного» пришлось читать лекции на многочисленных дневных и вечерних потоках, откуда мне удавалось лишь время от времени забегать домой, пользуясь так называемыми «окнами», которых у меня было мало, поскольку моя педнагрузка и моё расписание были уплотнены до предела. На подруг рассчитывать было невозможно: все они были заняты не меньше, чем я, хотя всячески старались помочь мне, как только могли.

Бессменной и неотлучной при Ксаночке оставалась мама.

Моей обязанностью было – добывать продукты в распределителе и стирать младенческое бельишко. Я до сих пор не научилась пользоваться стиральной машиной, но с корытом и стиральной доской управлялась умело, и эта работа, не требовавшая суетливых разнообразных движений, мне даже нравилась своим спокойным монотонным характером.

Мы все очень любили купать Ксаночку, и если все трое были дома, всегда делали это вместе – не потому, что вдвоём не справились бы, а для собственного удовольствия.

Ксаночка очень любила, когда её купали. Так резво плескалась, так весело била и ручонками, и ножонками по воде, что брызги разлетались во все стороны, окропляя, естественно, и нас, нянюшек.

Это зрелище доставляло большое удовольствие и детям наших новых соседей Асеевых – полуторагодовалому Гене и трёхлетней Валерочке.

Выносить Ксаночку на прогулку мы долго не решались из-за сильных морозов, хотя и следовало бы: наша печурка, хотя неплохо согревала комнату, но дымила, а иногда и чадила, если на ней что-то готовилось. Только в конце февраля я решилась выносить дочку «подышать воздухом», – для мамы было тяжело вносить её, закутанную в одеяльце, на наш этаж. А по воскресеньям эту обязанность охотно брала на себя Леночка, причём, в отличие от меня, не садилась со своей ношей на ближайшую дворовую скамейку, а носила её по улице. Леночке нравилось, что проходившие мимо неё чужие тётеньки принимали её за молодую маму, а некоторые при этом восклицали: «Как она на вас похожа!»

В первые полтора месяца своего существования Ксаночка не доставляла нам никаких огорчений – одну только радость. Я, как положено, кормила её сама, а потом, уходя на работу, оставляла маме то, что мне удавалось нацедить дополнительно.

Но потом у крошки начал «портиться характер»: она стала громко требовать более частой кормёжки, чем ей полагалось, презрительно отворачиваясь от соски-пустышки и от подслащённой водички, посредством которой мама пыталась обмануть её аппетит. Не давала нам спать, – по ночам мне приходилось не только каждые полчаса прикладывать её к груди, но и носить по комнате, чуть раскачивая, чтоб она заснула. Спасибо, меня выручала Леночка, которая нередко вскакивала раньше меня и, схватив наше орудие соколовице, принималась разгуливать вместе с ним вокруг своей распластанной волчьей шубы.

Соседка – Клавдия Асеева, которой Ксаночкины ночные вопли тоже мешали спать, раньше всех поняла их причину, особенно после того, как взглянула однажды на тот «удой», который я оставляла маме для дневного рациона: «Этого мало! Необходимо её прикармливать! Сходите в детскую консультацию, – там ребёнка положат на весы, и если прибавка в весе окажется недостаточной, выпишут талоны на молочную смесь».

Ташиться в детскую консультацию мне решительно не хотелось, – и не только потому, что она находилась довольно далеко, а коляски, способной двигаться, у меня не было. Главной причиной было сообщение той же Клавдии Андреевны о том, что детская консультация никак не отапливается, весь медперсонал там напяливает свои белые халаты поверх шуб, а младенчиков при взвешивании голенькими кладут на металлические весы (надо полагать, ледяные), чуть прикрытые лёгкой простынкой.

Во избежание этого, я решила обойтись без детской консультации, следовательно, и без так называемой детской кухни, поскольку и по специальным книжкам и по опыту Маргаритиной Милочки хорошо знала, что представляет собой питание для грудничков: смесь коровьего молока с рисовым отваром в определённых пропорциях.

Рис у нас был, молоко всегда можно было купить или выменять на рынке, – только как выкроить время для еже-

дневных утренних пробежек на рынок, который хотя и находился недалеко, но всё же не рядом с нашим домом. Молоко должно быть свежим, приобретённым с утра, а мои занятия, так же, как и Леночкина работа, начиналась с восьми утра? Что делать? Мама же не могла ни отлучиться от внучки, ни ежедневно же подкидывать её Асеевым, которым и собственных забот хватало с избытком.

К счастью выяснилось, что по соседству с нами в сарайчике обитает дойная корова. Её владелица ухитрилась увести её, почти полудохлую от истощения, из пустого села, раньше принадлежавшего выселенным немцам, и выходить, тщательно укрывая эту животину от начальственных взоров. Большого количества молока эта коровёнка не давала, но всё же её владелица имела возможность не только пользоваться им сама, но и отпускать что-то «надёжным людям».

Мы с мамой не замедлили уверить владелицу коровы в нашей «надёжности» («никому не проболтаемся!»), и мы сделали её постоянными покупателями. Это было большой удачей! Её утреннее молоко было не только свежим, но даже парным и доставлялось нам прямо на дом – в небольшом бидончике.

Дело было в том, что корововладелица (её, как и нашу соседку, тоже звали Клавдией Андреевной) оказалась той самой квартиросъёмщицей, к которой вселили дядю Бутю. От него мы и узнали о спрятанной у неё корове.

Мало того, – видя наши трудности, дядя Бутя добровольно взял на себя ежедневную обязанность доставлять нам по утрам в недрах своего профессорского портфеля бутылочки с молоком, а по вечерам уносить обратно эту тару в промытом и прокипячённом виде.

Вот бы удивились тётя Наташа и бабушка Юля, если бы увидели своего бывшего баловня в роли молочницы! Правда, эту роль дядя Бутя взял на себя не вполне бескорыстно: за эту услугу ему разрешалось «подбелить» утренний чай молоком (мы, остальные, от этого воздерживались) и в умеренном количестве пользоваться сахарным песком из заветного мешочка, для меня, мамы и Леночки неприкосновенного.

Мы решились распороть этот мешочек только после того,

как появилась Ксаночка, и ей потребовалась подслащённая водичка и молочные смеси.

Чай у нас долгое время был настоящим, – то есть довоенным, – благодаря запасливой Настасье Петровне. Только со временем он, естественно, терял присущий ему аромат и стал походить на отвар из опавших осенних листьев.

Любо-дорого было смотреть, с каким аппетитом моя двухмесячная дочка высосала первую в своей жизни порцию молочной смеси, сохранив этот аппетит и на дальнейшее. Сразу же, на радость нам, кончились и её частые ночные пробуждения с громкими воплями. Как оказалось, вовсе не требовалось расхаживать с ней по комнате, – надо было просто накормить голодавшую.

Поскольку зимой 1941–1942 годов, так же, как и во время следовавших за ней военных зим, не отапливались даже детские консультации, само собой разумеется, что и в здании пединститута держалась такая же температура, как и на улице, что нашло отражение даже в одном из моих лирических творений того времени:

«Холод льётся от пола до стен.

От портфеля, от книг и тетрадок,

Холод властно берёт тебя в плен,

Давит грудь, как сердечный припадок...»

Спасали меня только валенки, изготовленные скорее на дядю, чем на тётю, которые легко напяливались на грубошёрстные носки, а также пуховой платок, вместо шляпы, варежки на меху не то дворницкого, не то извозничьего фасона и, разумеется, волчья шуба. В эту шубу, уже нагретую за ночь Леночкиным телом, я с удовольствием облекалась, несколько не заботясь о впечатлении, которое произведу на встречаемых, а что касается студентов и сослуживиц, – то все они были одеты ничуть не элегантнее, чем я.

После лекций, в промежутках между которыми я успевала получить всё, что нам полагалось в продуктивном распределителе, я с огромным удовольствием возвращалась домой, где все родные лица (включая дядю Бутю, который возвращался к себе домой лишь для ночлега) были уже в сборе, и где всегда было тепло.

Великое благо – это тепло! Первым делом мне хотелось сцапать в свои объятия Ксаночку, но приходилось сдерживаться до тех пор, пока не отопреюсь. Далеко не вкусным и не питательным было то варево, которое мне спешила налить мама, но оно было горячим, – а больше мне тогда ничего и не требовалось.

К счастью, Янсюкевич тогда не требовала от меня ни общественной деятельности, ни повышения идеологического уровня, поскольку я числилась «кормящей матерью». Хотя фактически я давно перестала быть таковой, но естественно, не считала нужным уведомить об этом институтские общественные организации.

Директор, к счастью, свёл количество Учёных советов к минимуму и проводил их скоропалительно в темпе «блиц», поскольку и ему, как всем нам, не терпелось как можно скорее перебежать из институтского ледяного оцепенения к домашней «буржуйке».

Настоящими мучениками были наши студенты, вернее студентки, поскольку юношей среди них почти не осталось. Их общежитие тоже не отапливалось (отапливалось лишь то здание, которое стало госпиталем для раненых), и бедные девушки пытались обогреть свои комнаты лишь посредством круглых электроплиток, на которых заодно и стряпали себе обед (студенческая столовая, понятное дело, давным-давно бездействовала). Когда же во всём городе в целях экономии электричество выключали, – ума не приложу, как эти страдалницы спасались от мороза и чем кормились.

У нас всегда было тепло, – мы с Леночкой и все наши квартирные соседи внимательно следили за тем, чтоб наши дровяные запасы при помощи рынка и салазок пополнялись бесперебойно и чтоб эти запасы были по мере необходимости и распилены, и расколоты, и расщеплены. Стали даже специалистами в этой области, – не хуже, чем мама и тётя Наташа в 1918–1920-х годах, то есть понимали смысл выражения «развести пилу» и преимущество сосновых поленьев сравнительно с берёзовыми, а берёзовых – с осиновыми или тополиными. Со знавали также преимущество антрацита над сланцем.

Возвращаясь домой с холодных улиц или промёрзших зда-

ний, мы так радовались теплу, что почти не обращали внимания на то, что у нас часто и надолго отключают электричество. Печурка в какой-то мере рассеивала темноту, а когда требовалось освещение поярче, пользовались так называемыми коптилками – жгутиками из ваты. Один его конец опускался в блюдечко-розетку или в рюмочку с растительным маслом, к другому подносилась спичка.

Но если с отключением электроэнергии мы более или менее смирились, то не на шутку огорчались, когда у нас отключали воду – то на сутки, то на более долгое неопределённое время. И нам, и Асеевым ведь надо было, помимо всего прочего, и ребятишек купать, и постоянно заниматься постирушками.

Приходилось двум мамашам (обеих бабушек мы от этой повинности избавили) то и дело таскать ведра с водой из здания пединститута, – причём не ближайшего корпуса, гуманитарного, где тоже дело с водоснабжением обстояло плохо, а из более дальнего – физико-математического. Расстояние до него было почти такое же, как от нашего бывшего дома на Неопалимовском до Ружейного переулка.

Клавдия Андреевна хватала по два ведра сразу, я – по одному, но и это удовольствия мне не доставляло, особенно зимой, когда ледяной коркой были покрыты не только тротуары, но и лестницы в доме: ведь водоносы при подъёме часто расплёскивали воду, и она сразу же замерзала.

Совершая этот маршрут, я совершенно не уподобляла себя тем песенным «красным девицам», которым ходить с коромыслом к колодцам – одно удовольствие, поскольку при этом они привлекали взоры «добрых молодцев» и завоёвывали их сердца. Преодолевая обледеневшие ступеньки, я больше напоминала сама себе альпинистку, карабкающуюся по ледяным уступам с риском для своих костей.

Наша квартира в те годы была уплотнена до предела, но все жили в согласии, как и подобало коллегам, да ещё работающим в области науки и воспитания. Однако из-за перебоев с водой у меня и у К. А. Асеевой чуть не вспыхнуло то, что называется квартирной склокой, по отношению к нашей общей соседке – Н. И. Ларионовой.

Ларионова была бездетной женщиной постарше нас обеих, очень деятельной в хозяйственном отношении и крепкого телосложения. Даже в мирное время она вечно что-то добывала и заготавливала. Но ходить «по воду» не любила, предпочитая во время водных перебоев с милой улыбкой и высшей степени любезным тоном обращаться к нам или нашим мамам:

– Можно, я в чайничек себе немножечко налью?

– Можно, я полкастрюечки водички у вас позаимствую?

– Можно, я плесну немножко в мой тазик, – мне надо посуду сполоснуть? И т.д.

Как дама воспитанная, Наталья Игнатьевна никогда не трогала чужих вёдер без спросу и для усиления своей любезности всегда пользовалась уменьшительными и ласкательными суффиксами.

К тому же, как только вода в кранах возрождалась, она всегда спешила долить доверху наши вёдра и уведомить нас:

– Вчера я у вас чуть-чуть водички для супчика взяла. Видите, я вам её вернула!

Честно возвращать долги – бесспорно, достойное качество, но когда кран замирал надолго, а нам из-за её постоянных «займов» приходилось ходить «по воду» чаще, чем нам хотелось, это начинало порядком нас раздражать.

Однажды Клавдия Андреевна сорвалась и заявила тоном, настолько повышенным, что его никак нельзя было назвать любезным:

– Оставьте мою воду в покое! Купите собственные вёдра!

В ответ последовало неизменно любезное:

– Да есть у меня вёдра! Несколько штук! Но ведь они заняты капустой и огурцами! Вы уж извините меня, но как же нам с Алексеем Сергеевичем без чая обойтись? Нам ведь только по одной чашечке! Вернём мы вам вашу воду!

Ссора, слава богу, так и не состоялась. Обидно уступать явному, хотя и подсахаренному нахальству, но меньше всего мне хотелось бы, чтобы моё саратовское жилище стало похоже на московское с его перекрёстными конфликтами, отравлявшими жизнь моим бедным родителям.

К тому же Наталья Игнатьевна при всей своей несимпатич-

ности имела бесспорно положительное качество: безропотно терпела ребячьи пелёнки и одежонки разных размеров, густо развешанные на кухне и вдоль коридора, так же, как и ребячьи голоса из трёх глоток, в достаточной мере пронзительные.

Так мы и жили в четырёх комнатах, при четырёх печурках – две бабушки, две матери, трое малышей-погодков, Леночка, супруги Ларионовы и одинокая пожилая дама – Антонина Тимофеевна Подосинникова с кафедры педагогики, которую вселили в опустевшую Колину комнату. Дядю Бутю я не считаю, поскольку он у нас не ночевал, а только сидел с утра до ночи, разделял нашу трапезу и грелся у нашей печурки.

Антонина Тимофеевна была тихим, почти бессловесным существом, вполне примирившимся с тем, что Ларионовы фактически чуть ли не до потолка заполнили предоставленную ей комнату своим домашним хламом и продуктовыми запасами.

Вёдер Антонина Тимофеевна не имела, но никогда не пользовалась чужими, а обходилась большим чайником, в который набирала то, что ей требовалось. Заодно захватывала с собой мыло и зубную щётку, чтоб там же, в туалете учебного корпуса, несмотря на холод, привести себя в порядок.

Характерно то, что Наталья Игнатьевна не могла оставить в покое даже скромный чайник нашей общей соседки:

– Я плесну себе немножечко? Вы позволите?

Та, само собой, разумеется, позволяла. Как позволяла и превратить своё жилище в чулан.

Мы с Клавдией Алексеевной были «солдатками». Она очень тревожилась за своего Ваню, находившегося с первых дней войны на фронте, и с завистью твердила мне о том, что я – счастливица, поскольку мой супруг, хотя и мобилизован, но всё ещё пребывает в Саратовской области. Ещё более завидной нам обеим представлялась судьба Натальи Игнатьевны: её Алексей Сергеевич был на вид молодец хоть куда – плечистый, румяный, но военнообязанным не был, поскольку его возраст достиг пятидесяти.

Известен один из традиционных сюжетов старинных картин – «Святое семейство»: Мария, Иосиф, чуть подальше – лица

пастухов или волхвов, иногда даже коровьи или овечьи морды. Все обращены к центру, все склоняются к лежащему в этом центре младенцу, от которого исходит сияние, озаряющее тех, кто над ним склонился. Мария и Иосиф видны отчётливо, остальные – в полумраке, почти сливаясь с фоном.

Таким «святым семейством» были и мы в 1942 году. Включая дядю Бутю.

Центром притяжения и источником света была Ксаночка.

С того времени, как её начали досыта кормить, кончились наши бессонные ночи и бестолковые разгуливанья по комнате.

Я могла бы и раньше догадаться, что Ксаночку следует подкармливать. Ведь питалась же Милочка Скафтымова молочной смесью с самого рождения! Но для меня всё, что касалось здоровья младенца, высшим авторитетом была мама, а в маму, – не знаю, из каких источников, – был крепко внедрён предрассудок: младенец до трёх месяцев не должен знать никакого другого молока, кроме женского. Коровье для него – яд. В подтверждение своих слов мама ссылалась на то, что Милочка постоянно хворала желудком, а сынишка Лиды Баранниковой – тоже искусственник – не прожил и года. К тому же какое-то молоко у меня цедилось, а количество его никто не контролировал.

Конечно, врач из детской консультации мог бы мне дать более разумный совет, но в ту зиму, – то ли из-за недостатка персонала, то ли из-за лютых морозов, – никакой врач и никакая медсестра меня не навещала.

Молочная смесь моментально улучшила характер моей дочки, который мы несправедливо считали капризным, и положительно повлияла на её внешний облик. У девочки, точно у яблочка, стали наливаться кругленькие, румяные щечки, она своевременно начала улыбаться, узнавая нас, садиться, вставать на ножки, ходить... Когда потеплело, и я рискнула отнести её в детскую консультацию, её вполне одобрили и выдали талоны в так называемую детскую кухню, где помимо молочной смеси отпускали кисель и манную кашу – правда, сваренную на одной воде, но дома мы её превращали в молочную и дополнительно подсахаривали.

Волосики у Ксаны росли светлыми-пресветлыми, щёчки были розовыми, и она казалась мне таким херувимчиком, что навещавшие меня подруги не скупилась на похвалы. Даже дядя Бутя смотрел на неё с умилением. На руки не брал, но «делал ей козу» и напевал ей какие-то весёлые мотивы. А сама Ксаночка больше всего радовалась ребятишкам: соседским Гене и Валере, Миле Скафтымовой, Наташе Покусаевой, Тане Лимхтман, когда они навещали нас вместе со своими мамами или окружали на дворе, когда мы выходили погулять.

Какая могла бы возникнуть идиллия, если бы не война... Если бы не тяжёлые потери, непрерывно следовавшие одна за другой...

Но не хочу вводить в изображение «святого семейства» чёрные краски. Об этом сплошном трауре и невосполнимых потерях я расскажу отдельно, хотя это те же самые годы: вторая половина 41-го и 42-ой.

А эту главу мне хочется завершить строчками из одного моего стихотворения тех лет:

«Горю нет названия,
Страхам нет числа...
Пташка моя ранняя!
Ты меня спасла».

39 © НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ

Хотя Саратов – город не маленький, в военные годы наше «святое семейство» чувствовало там себя жителями островка, отделённого от Большой земли широким пространством.

Мне было лучше, чем остальным: я жила на привычном месте, была окружена друзьями. Остальным было значительно хуже. Леночку война оторвала от тех, с кем она дружила, кто проявлял к ней внимание и нравился ей: все её сверстники, за исключением хворых и увечных, стали фронтовиками. Общительная по своей натуре мама осталась без мужа, без матери, без всех своих приятельниц – затворницей при внучке. Дядя

Бутя тосковал по своему роялю и кабинету, чувствуя себя в новой обстановке так же неуютно, как Мария Алавердиевна после переезда из Арзамаса в Москву.

Для связи с внешним миром у нас оставалась лишь почта, да и та работала – хуже некуда: письма то неделями где-то задерживались: и железная дорога работала плохо, и для просмотра писем военной цензурой требовалось время. Поэтому мы слали письма лишь очень немногим. Я – Коле на номерной адрес полевой почты, ещё тыловой, близкой к Саратову. Мама переписывалась с папой и через эти письма имела сведения о наших московских родных и знакомых. Я из-за моей материнской, институтской и магазинной занятости лишь делала к маминим письмам короткие, юмористические приписки, да и то не всегда. Подобные приписки в довоенные годы делал он сам, когда мама писала мне в Саратов.

Переписываться со старыми приятельницами мне было некогда, да и не было уверенности в том, что они на месте: многие москвичи эвакуировались – кто куда. В частности, Григорьевы и Мясниковы вместе с Дорхимзаводом, где работали главы этих семей. Лишь Яков Николаевич остался на месте: в те годы юристконсульты совсем не были нужны заводам военного значения. Если бы Николай Прокопьевич остался на месте, разве позволил бы он папе и другим своим друзьям мёрзнуть, не наладил бы им «буржуйки», как он сделал это в 1918 году? Сам папа оказался к этому не способен, в отличие от мамы, которая с этой задачей справилась, – правда при помощи Оранжевой Маруси и моих приятелей.

Через дядю Бутю мы изредка получали известия и от Гули – из Колымы. В Москве он не решался переписываться с сыном, от которого официально отрёкся, и узнавал о нём от Нины, пока не переругался с ней. В Неопалимовском, где Гулю дважды арестовывали, дядя Бутя чувствовал себя под неусыпным наблюдением. Но в Саратове рискнул, тем более что письма с Колымы шли на имя домохозяйки, к которой его вселили, с припиской на конверте «для В. А.»

Поэтому о Гулиной жизни тех лет знали и мы, и бабушка Юля, хотя до неё они доходили долгим и сложным путём: о «Г»

мама писала папе, и он сообщал это бабушке. По дороге все острые углы обкатывались, точно морские гальки: и сам пишущий многое скрывал, и мама, в свою очередь, боялась тревожить бабушку. Бабушка до самой смерти не узнала о том, как её внука с воспалением лёгких и высокой температурой гоняли на землекопные работы и на лесоповал. Это, впрочем, и сами мы узнали лишь впоследствии от самого Гули, когда не только война, но и его Колыма остались позади. Тогда же мы увидели, что у Гули не осталось ни одного собственного зуба, – его улыбка состояла из сплошной нержавеющей стали. Почему? Цинга? Нет, это было следствием допросов «с пристрастием». Но это долго оставалось тайной.

Гулины письма были интересны для нас лишь уведомлением о том, что он жив (ещё жив). Даже о состоянии его здоровья они ничего не сообщали, поскольку здоровым он не был, а жаловаться на недомогания не хотел и не имел права.

О том, как Гуля тогда питался, и какая температура держалась в его бараке, мы догадывались сами: если уж так незавидны продовольственные пайки и жизненные условия у нас, свободных граждан, то нетрудно было представить, что происходит в лагерях для «врагов народа».

Плохо было Гуле! И всё же он уцелел, дожил до своей реабилитации, вернулся в Москву, имел семью, вырастил дочь.

Другие письма, которые к нам тогда приходили, были страшнее: сплошные смерти... беспредельный траур...

Ксаночки ещё не было на свете, когда я получила от Коли письмо, – вернее не письмо, а наспех набросанную открытку: «Не пиши больше по этому адресу. Завтра нас отправляют налево».

Для моего спокойствия Коля не решился написать «на фронт» или хотя бы «на запад», но каждому известно, что означает левая сторона на географических картах. Всё стало мне ясно. Но я по-глупому продолжала надеяться. До этой минуты я надеялась, что Колю на фронт не пошлют, оставят в резерве: ведь и возраст у него уже не солдатский – тридцать восемь, и сильная близорукость. Из-за этой близорукости его даже хотели в военкомате забраковать, – он сам настоял, сам напросился.

А сейчас я старалась надеяться на то, что из-за его близорукости и очков с толстыми стёклами пошлют не на передовую, оставят при штабе... Хотя какой мог быть штаб в декабре 41-го года – сплошное отступление, паническое бегство.

Вторая весточка, тоже на открытке, гласила: «Участвовал в одной операции. Фронт не такая страшная вещь, как об этом пишут всякие Ремарки и Барбюсы».

Опять он пытался меня успокоить. И опять я цеплялась за кусочек надежды – совсем уже крошечный, ускользающий: «Не всех же убивают... Кто-то ведь остаётся целым или с лёгким ранением...»

То же самое твердила мне и мама.

Однако на фронте, хотя он «не такая страшная вещь», Коля пробыл лишь одну неделю. Потом погиб. Страшной смертью, – под гусеницами вражеского танка и от взрыва ручной гранаты, которой он взорвал и танк, и самого себя.

«Похоронку» я получила вскоре после возвращения из роддома. Она не оставляла никакой надежды: было точно обозначено место, где произошла танковая атака на пехотный взвод, которым командовал Коля, и место его захоронения в братской могиле, – одновременно с лейтенантом Новосёловым погиб почти весь взвод, находившийся под его началом.

Это произошло 19 декабря 1941 года...

Долгое время я ничего не знала об обстоятельствах Колиной гибели. Лишь после войны на основании сохранившихся документов и свидетельств было доказано, что Коля и его товарищи погибли героически: не сдались, не отступили, а приняли неравный бой и ценой собственных жизней отбили танковую атаку.

Это происходило в двенадцати километрах от Тулы. Тула так и осталась не захваченной немцами, за что и получил статус Города-героя, а о подвиге Н. С. Новосёлова и его взвода были опубликованы статьи во многих газетах – тульской, саратовской, волоколамской. Ему посвящена специальная глава в книге А. Елькина «Приобщение к подвигу» (Тула, 1975) и очерк А. Смирновой-Козловой, опубликованный в журнале «Огонёк» (№4, 1988). На братской могиле водружён памятник:

бронзовая девушка в сержантской форме со склонённой головой. В её руках – венок, подобный тому, который держит изваяние Матери-Родины на Пискаревском кладбище в Петербурге. На постаменте начертаны инициалы и фамилии погибших, начиная от командира взвода. Начертано имя Н. С. Новосёлова и на памятной стеле, поставленной около Саратовского Пединститута, вместе с именами и фамилиями других погибших на фронте институтских преподавателей. Начертано его имя и на памятной доске того Пединститута, где мы вместе проходили аспирантуру, и где Коля защитил свою диссертацию. В Волоколамском педтехникуме, где он учился, и в средней школе деревни Зайцево, возле которой похоронен, имеются специально ему посвящённые музейные уголки. Их помогала создать Вера. По её настоянию и я отдала Волоколамскому музейчику номера журналов с Колиными литературно-критическими статьями аспирантских лет. Отдала, признаться, с большой неохотой, – я бы предпочла сохранить их у себя.

Однако и у меня кое-что осталось. Все Колины письма, которые он мне писал в разное время, его опубликованные ещё в двадцатых годах юношеские стихи – нескладные по форме, но полные радостной влюблённости в жизнь:

«Солнце притворяется будто тепло,

Наст поскрипывает весело и зло,

Искорки синие вспыхивают в снегу,

Кусты в пушистом инее молчат. Ни гу-гу».

Такой короткой была Колина фронтовая жизнь, что он не успел получить ни одной боевой медали. Зато ему посмертно присуждён Орден Отечественной войны первой степени, который я бережно храню. Так же, как и его фотоснимки разных лет.

Получив «похоронку», я, разумеется, поспешила написать о Колиной гибели его родным, – на адрес Надежды Сергеевны, чтоб эта весть не попала в руки Елизаветы Ивановны. Она была в то время совсем дряхлой и в 1942 году умерла, так и не узнав о гибели сына, так же, как бабушка Юля до конца жизни не знала о смерти дяди Толи. Вера рассказывала, как, просыпаясь по ночам, она постоянно видела свою маму на коленях перед иконой. Хотя и трудно было старушке подолгу стоять на ревмати-

ческих коленях, она стойко переносила боль и неудобства, умоляя Всевышнего о сохранении жизни «раба божия Николая». А этого «раба божия» уже давно не было в живых...

Из двадцати шести человек взвода, который находился под командой лейтенанта Новосёлова, санитары подобрали лишь троих живых, двое из которых были тяжело ранены. Один из этих солдат с перебитой спиной вскоре умер, второй остался жить, но ему пришлось ампутировать руку. От него журналисты и узнали о том, как взвод пехотинцев защищал Тулу от танкового наступления. А я ещё раньше услышала об этом от третьего участника этого боя, которого после госпиталя вернули в Саратов – его родной город. У него и у Натальи Ивановны – его жены – тоже была дочка, чуть постарше Ксаночки. С Натальей Ивановной я познакомилась случайно – в детской молочной кухне, где мы обе брали то, что нам полагалось. Услышав, что фамилия моего ребёнка «Новосёлова», знакомая ей по рассказам мужа, Наталья Ивановна пригласила меня к себе, и я, разумеется, поспешила.

Страшное зрелище представлял собой инвалид, которого я увидела: прикованный к креслу, трясущийся, с судорожной grimасой всё время пробегавшей по его лицу. О роковом сражении он рассказывал заплетающимся языком. Факты были те же, о который я позже прочитала в газетах, но их трактовка была иной. Газеты писали о доблести солдат и их командира, а участник боя кипел злобой по отношению к высшему командованию, которое бросило навстречу танкам горстку пехотинцев, даже не потрудившись своевременно их обеспечить достаточным вооружением и артиллерийской поддержкой. «Мерзавцы! Скоты! Сволочи!»

После этой единственной встречи (мой собеседник вскоре скончался) я долго и мучительно размышляла о том, почему Коля не просто швырнул гранату в танк, а бросился навстречу танку вслед за ней? Может быть потому, что взрыв обязательно задел бы и его, и он предпочёл неизбежную смерть увечью? Или это был жест отчаяния, и он шагнул навстречу танку во власти тех же чувств, с какими его сестра Соня задолго перед этим шагнула навстречу мчавшемуся паровозу?

Когда-то я колебалась: надо ли мне связывать мою судьбу с Николаем Новосёловым? Не делаю ли я ошибки? Он нравился мне, но я не была в него влюблена, и не столько выбрала его, сколько уступила ему.

Однако за четыре года совместной жизни я полюбила Колю, – правда, не как жена, а скорее как сестра, но всё же полюбила. Мы никогда, ни разу не ссорились, даже не спорили, и у меня сохранились самые светлые воспоминания о наших общих поездках и прогулках, о том, как мы в общежитии на Усачёвке дружно корпели над нашими диссертациями, советуясь друг с другом и, точно мячиком, постоянно перекидывались французско-русским словарём, – к нашему стыду и огорчению, мы – два исследователя французской художественной словесности – знали язык парижан далеко не в совершенстве. А как приятно мне было в Саратове готовить к его возвращению от вечерников нарядный и вкусный стол! А когда после Учёных советов я поздно возвращалась сама, я с удовольствием смотрела с улицы на освещённое окно моей комнаты, зная, что меня ждут приветливая улыбка, горячий чайник и всё, что к этому чайнику полагается.

Вскипятить чайник и самой нетрудно, но всё же – как было бы грустно подходить к неосвещённым окнам!

Колину гибель я оплакивала долго и в буквальном смысле этого слова. Помню, как однажды трёхмесячная Ксаночка, заметив на моей щеке слезинку, ласково смахнула её ладошкой. Разумеется, внимание малышки привлекло что-то блестящее и движущееся, но мне тогда показалось, что она сознательно мне посочувствовала.

Друзья утешали меня как могли. Жалели Колю, поминали его самыми добрыми словами. Помню слова Евграфа:

«Бывают мужчины лихого характера, которые с малых лет росли драчунами. Для таких война – дело естественное. А Отец-Николай и фронт – несовместимы. Больно думать о том, что погубили такого человека – доброго, спокойного, никому не делавшему зла».

Я была вполне с этим согласна за исключением того, что война может быть для кого-то «делом естественным».

Между тем, немцы продолжали наступать, а «похоронки» приходили. Приходили они и в наш дом, – иногда то из одной, то из другой двери нашего подъезда раздавались то вскрики, то громкий плач. Раздавались они и из чужих окон, когда я в тёплое время года проходила мимо распахнутых створок соседних домов.

Часто почта приносила не «похоронки», а извещения или письма из госпиталей. Они тоже вносили в дом горе. Например, Зеле Лихтман, когда она узнала о том, что Володя ранен осколком в лицо, в результате лишился одного глаза, зубов, щека у него разорвана, нос сломан...

В госпитале Володю несколько раз прооперировали и удачно: вставили ему искусственный глаз и искусственные зубы, привели в порядок лицо. Но это было уже не его лицо. Мы притворялись, что он «тот же самый», но врали, конечно. Собственная дочка его не узнала и долго привыкала к мысли, что «незнакомый дядя» – это и есть её папа.

Врачи сделали всё, что было в их силах, и Володя Лихтман со временем стал даже недурён собой, но институтские дамы уже перестали восхищаться его то ли греческой, то ли грузинской красотой, как восхищались когда-то, споря при этом, кто больше смахивает на Аполлона – В. И. Лихтман или Риббентроп. Впрочем, и Риббентропом тогда уже никто не восхищался.

Улыбка у Володи стала такой же, как у Гули, – сплошь стальной.

На память о его прежнем облике Зеля всегда держала на столе его крупный фотоснимок довоенных лет. А обаяния своего он все же не потерял ни в глазах жены, ни в глазах многих других женщин. Только сразиться в любимый преферанс Володе было уже не с кем: все его бывшие партнёры находились далеко.

Война продолжалась, набирала силы. Люди погибали тысячами, десятками тысяч. Мой разум ужасался. Но чувства молчали: ведь известия о наших потерях выражались лишь в цифрах, а можно ли душевно сострадать такому отвлечённому понятию, как сухие цифры?

Но постепенно в моём восприятии они начали облекаться живой плотью. Конкретизироваться. В памяти начали возникать лица многих погибших, которых я знала, хотя и не очень близко, и лица их родных.

Тогда во мне заговорили и чувства. В числе погибших был один из младших братишек Туси и Гали Мясниковых Юра – белобрысенький мальчуган, когда-то подбиривший для нас, теннисистов, далеко закатившиеся мячики. Погибли младший брат Абрама Штейна и его жена Маруся Розанова – фронтовая связистка, которую я помнила как одну из студенток младшего курса нашего литфака. Погиб один из братьев Евграфа Покусаева. А также многие мои соседи по дому 16/13 в Неопалимовском, бывшие товарищи по студенческой скамье и аспирантуре, коллеги по Саратовскому пединституту, мои недавние студенты – почти мальчишки. Возможно, и кое-кто из моих одноклассников по Школе эстетического воспитания или по Седьмой трудовой, – мне это не известно, поскольку мои связи с ними давно оборвались, но возраст был «тот самый»... Если бы мама не родила меня существом «прекрасного пола», возможно и мне предстояла бы та же судьба.

Не осталось в моей памяти ни одной семьи, которую не коснулись бы фронтовые потери. Не муж, – так отец, не родной брат, – так двоюродный, не сын, – так зять или племянник...

Что ни день, то всё новые страшные цифры – трёхзначные и четырёхзначные, и всё новые знакомые лица в их числе, вспоминаясь то ясно, то смутно. За каждым мёртвым лицом – лица осиротевших. Люди одни за другими умирали не только на фронте и в военных госпиталях. Смерть в стремительном темпе скашивала и тех, кто находился в тылу, – в первую очередь, стариков, нуждавшихся в полноценном питании, тепле и душевном покое, но лишённых и первого, и второго, и третьего.

Особенно беспощадной в этом отношении оказалась первая военная зима, – зима 1941–1942 годов, – для моих близких и родных. Трагическая гибель Коли стала лишь первым звеном в длинной цепи моих невосполнимых утрат. Пришёл конец целому поколению.

10 января 1942 года скончалась бабушка Юля. Ей было семьдесят восемь. Согласно медицинскому диагнозу – кровоизлияние в мозг (инсульт) по причине старческого склероза, но к этому можно было прибавить и другое, возможно самое главное: от систематического недоедания и переохлаждения организма.

Когда бабушке Юле стало плохо, папа немедленно дал об этом знать находившейся в туберкулёзном диспансере Нине, которая поспешила на помощь. Она устроила больную в один из ближайших к нам госпиталей (на Садово-Кудринской, около Планетария) и сама поселилась там же в качестве нянечки-санитарки, видимо вспомнив о том, как бабушка выхаживала её, когда она задыхалась и кашляла кровью. Одновременно Нина сочла необходимым отправить в больницу и Марию Алавердиевну, находившуюся не в лучшем состоянии, чем бабушка – тоже голодную и полузамёрзшую. Эту погибавшую старуху скорая отвезла в какое-то другое лечебное учреждение, – ни Нина, ни папа не обратили внимания – куда именно, – им обоим было не до этого. Видимо, Мария Алавердиевна умерла почти одновременно с бабушкой. Неизвестно, где она лежала, и где зарыли её тело. Никому она не была нужна, и никто не пролил о ней ни слезинки, в том числе её родные братья.

По словам Нины, бабушка перед смертью впала почти в буйное состояние, металась, бредила, не узнавала её. В бреду ей казалось, что она находится под развалинами дома, разрушенного бомбой, причём она не вспомнила ни Санату – предмет её постоянных забот, ни Гулю, о печальной судьбе которого она думала постоянно, а всё время твердила моё имя: «Вынесите (или отойдите) Марину! Ищите ребёночка! Ребёночка надо спасти! Снимите с Марины балку! Она задыхается!» и т.д.

Всю жизнь я полагала, что бабушка Юля относилась ко мне прохладно. Но если её предсмертные слова и мысли были обо мне, значит, она и меня любила? А я, глупая, не ощущала этого!

В крематорий бабушку проводили Нина, Саната и тётя Нюта Худякова. Папы не было: он находился в Пушкине около дедушки, к которому вплотную подошла печальная очередь. А захоронили бабушкину урну уже весной, когда земля оттаяла. На Новодеви-

чем, рядом с прахом дедушки Мити и тёти Наташи. Присутствовали те же Нина, Саната и Нюта, но на этот раз и папа.

Дедушка скончался в том же январе 1942, 31-го числа. От того же инсульта. Ему было восемьдесят шесть лет. Зябнуть ему, в отличие от бабушки Юли, слава богу, не пришлось, но скудная пища без жиров, без овощей – без сомнения ослабили его, и ускорила его кончину. Только на три недели пережил он свою сватью.

Поскольку поблизости находились только женщины, да и то пожилые, папа с большим трудом отыскал какого-то инвалида, который неумело сколотил для покойника какой-то уродливый ящик, даже отдалённо не похожий на гроб. Долго никто не соглашался ни рыть могилу, ни везти покойника на кладбище, и подобие гроба почти неделю простояло на дачной террасе, надрывая своим видом сердце бабушки Маши. К её естественным душевным переживаниям прибавились и житейские сложности. Промёрзшую землю надо было не вскапывать, а взламывать, но крепких мужчин рядом не оказалось.

Бабушке Маше без её Сашеньки, с которым она душа в душу прожила шестьдесят три года, жить не хотелось, но она мечтала дотянуть своё существование до ближайшей весны, чтобы «напоследок подышать весенним воздухом», как она говорила, то есть понюхать влажную землю, набухшие древесные почки, а если посчастливится, – взглянуть прощальным взглядом на зелёные листья и травку. «А потом лечь рядом с Сашенькой».

А папа мечтал о том, как весной, лишь только солнышко прогреет и осушит московскую квартиру, он перевезёт бабушку к себе, чтоб душевно её согреть и никогда больше от себя не отпускать.

Эти скромные желания осуществились лишь частично: бабушка дожила до весеннего воздуха и весенних запахов, но ни листы, ни зелёной травы не увидела, а папе не довелось взять свою маму под своё крыло.

Скончалась бабушка Маша тихо и безболезненно от того же инсульта 9 апреля 1942 года. Внезапно впала в глубокое бессознательное состояние, которое незаметным образом перешло

в небытие. До этого момента находилась в ясном сознании. Ей было восемьдесят два.

Долгое время за бабушкой Машей присматривала жиличка – Фирсова-старшая: обстирывала их, приносила для них воду, брала в распределителе те скудные продукты, которые им полагались, а главное, держала их в тепле, поскольку печь в их комнате была общей. Но к наступлению зимы 1941 года семьи Фирсовых рядом с нашими старичками уже не было. Молодого жильца – сына доброй мамы и мужа её скандальной невестки – в первые же дни войны отправили на фронт, где его вскорости и убили. Его жена долго не вдовствовала, хотя и внешние, и душевные её качества оставляли желать лучшего. Видимо, должность буфетчицы превращала её в завидную невесту. А как только она со своим сынишкой перебралась к новому мужу, и её свекровь незамедлительно выехала, – видимо, к кому-то из своих родственников.

Однако дедушка и бабушка без тепла и пищи не остались. Заботу о них взяли на себя многие соседки и раньше дружившие с бабушкой, в первую очередь, ближайшая из них – бывшая учительница Пономарёва – совладелец их общей дачи, жившая через стенку.

Когда скончалась бабушка Маша, дедушкина могила была ещё свежей. Пап без труда её отыскал и смог похоронить бабушку там же, согласно её желанию. Но поскольку время было такое, что ни о крестах, ни о могильных плитах нельзя было даже и думать, их общая могила вскоре затерялась среди многочисленных новых захоронений, заросла бурьяном. Найти её стало невозможно, за что мама после своего возвращения в Москву сильно отругала папу:

– Неужели ты не мог догадаться отметить это место какой-нибудь корягой или хотя бы порванной автомобильной шиной? Или отмерить шаги до какого-нибудь ближайшего дерева или сарая? Какой ты сын после этого?

Могила затерялась... Но сейчас это уже не имеет значения, так как в связи с расширением Пушкина, превратившегося из посёлка в город, это кладбище упразднено, застроено домами, подобно московскому Дорогомиловскому, где

сейчас возвышается гостиница «Украина» с примыкающими к ней постройками.

К счастью, мне не довелось видеть ни растерзанного Колиного тела, ни моих дорогих старичков в гробу. В моём представлении все они остались живыми. Живыми, но уже не существующими. Это было невыносимо, с этим трудно было примириться. Ведь я даже одряхлевшими ни дедушку, ни обеих бабушек не видела: в 1940-м, в дни моего последнего приезда в Москву, все они были ещё бодрыми, хотя бабушка Маша едва двигалась на своих распухших ногах, но, подобно другой моей бабушке, оставалась деятельной и хлопотливой.

В моём воображении вставали эпизоды разных лет. Вспоминалось, как баловала меня бабушка Маша, ухитряясь добывать для меня даже в самые лютые послереволюционные годы что-нибудь сладенькое, как она наигрывала полочки и вальсики своими маленькими пухлыми ручками, как я ходила с дедушкой собирать грибы, как он смастерил для меня гарнитур кукольной мебели. А как они оба радовались моим приездам! Мучила меня не только мысль о том, что никогда их больше не увижу и не услышу, но и угрызения совести. Как я была по отношению к ним невнимательна! Как редко их навещала, когда жила в Москве! Какая-нибудь встреча с приятельницей или с приятелем, какой-нибудь театральный билет то и дело меня от этого удерживал. А из Саратова я не посылала им даже открыток, утешаясь тем, что мои родители, навещая их, читают им мои письма. А при встречах я выбалтывала им мои собственные новости, почти не интересуясь тем, как им самим живётся, что они делают, о чём размышляют...

Сейчас, когда я сама стала беспомощной старухой и на самой себе ощутила, как дорого внимание близких и огорчительно их невнимание, я в полной мере осознала собственную вину. До самой смерти она будет отягощать мою совесть.

А бабушка Юля? Видимо, и она любила меня, если волновалась за меня в свои предсмертные минуты. Она не была ласкова со мной, но разве её не порадовало бы, если бы я сама когда-нибудь по собственному побуждению приласкалась к ней, проявила по отношению к ней тёплое участие?

И перед ней я виновата.

Ход времени сам по себе неутешителен. Но печальнее всего в нём то, что многого нельзя переделать, исправить... Попросить прощения у тех, к кому была невнимательна.

Мама, как мне показалось, восприняла известие о кончине бабушки Юли сравнительно спокойно. Во всяком случае, внешне. Но Саната, как писал об этом папа, долго её оплакивала. Причём, не тихо, как положено взрослому человеку, а громко, навзрыд, как осиротевший ребёнок.

Безудержный Санатин плач мог бы сделать невыносимой папину жизнь, – ведь ему и без этого было тяжело, когда один за другим уходили из жизни его родители, а он остался вдвоём с Санатой в холодной опустевшей квартире. Но вот повеяло весенним теплом, и Нина решилась вернуться из больницы домой.

Папа всегда относился к Нине хорошо, жалел её, но их ничто не связывало. Лишь на этот раз одиночество каждого из них друг к другу потянуло. Пока Нина рукодельничала, папа охотно читал ей что-нибудь вслух или делился всевозможными воспоминаниями, достойно оценив её и как благодарную, внимательную слушательницу, и как человека, никогда не впадавшего в уныние, способного «держаться молодцом» даже в тех случаях, когда её здоровье или внешние обстоятельства совсем к этому не располагали. Их натуры в этом отношении оказались родственными, и они вдвоём изо всех сил старались вывести и Санату из её депрессии.

Мама, естественно, радовалась тому, что папа не одинок, но Всеволод Алавердиевич, который, постоянно находясь у нас, слушал чтение вслух папиных писем, сделал из них своеобразный вывод, сообщив Гуле о том, что «твоя Нина сожительствоует с дядей Шурой».

По поводу этого сообщения и Гуля, и моя мама только посмеялись. Вряд ли и сам новоявленный Яго верил тому, о чём писал, но уж очень сильной была его неприязнь к Нине и обида по поводу того, что эту неприязнь семья Яхонтовых никогда не разделяла.

Мне неоднократно приходилось слышать, что страдание рождает сострадание, что тот, кто сам не испытал горя, не смо-

жет искренне, с полной самоотдачей посочувствовать горю другого. В Саратове военных лет я осознала, что это действительно так. Зеля в мои самые тяжёлые минуты поддерживала меня, а я – Зелю, около нас всегда были и Покусаевы, потерявшие брата, и Маргарита, никого на фронте не потерявшая, но достаточно страдавшая и без этого. Как искренне все мы волновались, когда заболел кто-нибудь из наших ребятишек. Не смела я только ни с кем делиться моей печалью о том, что нет уже на свете моих дорогих старичков. Никто из них меня бы не понял. В то время, когда молодые жизни во множестве уничтожаются, и молодые тела калечились, каждому показалось бы нелепым грустить по поводу мирной кончины проживших долгую жизнь стариков по естественным причинам, на собственных кроватях. В этой моей печали я была одинока.

Вскоре после того, как не стало моего дедушки и обеих бабушек, пришла очередь Екатерины Николаевны Глазовой – родной бабушки Леночки. Похоронили её какие-то бывшие монашенки, так как Вадим в это время находился на фронтовых горячих точках. Затем начали умирать и те, кто был помоложе: дядя Серёжа Казанский – отец Наташи, Татьяна Яковлевна Дункель – вдова дяди Васи и мать семнадцатилетнего Вити.

Не желая оставаться вдвоём с отчимом, которого он презирал, Витя пошёл добровольцем на фронт, хотя ещё не достиг призывного возраста. Вернулся домой живым, но искалеченным, подорвавшись на mine.

Мария Михайловна Хопрова с Таней, хоть впроголодь, но благополучно пережила Ленинградскую блокаду, благодаря тому, что муж Марии Михайловны Александр Степанович Хопров – генерал, воевавший под Ленинградом, делился с ними своим довольствием.

В день начала войны Тане Хопровой было семнадцать лет. Она только что получила аттестат зрелости, и 22 июня 1941 года ей предстоял выпускной бал и весёлая прогулка с вчерашними одноклассниками вдоль Невы при волшебном свете белой ночи.

Не получились ни бал, ни прогулки. Все мальчики Таниного выпуска были посланы на фронт. Из двадцати с лишним юно-

шей уцелело только двое, да и те вернулись домой инвалидами. Среди погибших юношей был и тот, который многое значил для Тани...

Коля Шкенёв уцелел, хотя и был на фронте. Уцелели и его сёстры-киевлянки – Лида и Катя. Но дедушка скончался, так ничего и не узнав о судьбах своих киевских племянников.

ПРИЛОЖЕНИЕ (письма А. А. Яхонтова в Саратов)

№61

М., 29/1 1942

Дорогая Лида! Ещё не успел я от тебя получить отклик на сообщённую тебе печальную весть о смерти Юлии Николаевны и только что пережил небезосновательную тревогу за нашу дорогую Мариночку, как судьба подготовила ещё одно очередное испытание. Сегодня утром пришла телеграмма: «Отец плох, приезжайте. Пономарёва».

Конечно тотчас же поехал в Пушкино. Папу застал уже в бессознательном состоянии. Он лежал в кровати под одеялом и под шубами; иногда казался просто спокойно спящим, иногда принимался судорожно шевелить руками под одеялом, поднимая их к подбородку; временами открывал глаза и как будто всматривался, но когда я в эти мгновения подходил и наклонялся к нему, окликал, брал за руку, он не реагировал на моё присутствие и переводил взор на другие предметы. Очевидно, конец его был уже близок, и когда ты получишь это письмо, бедного нашего прадедушки уже не будет в живых...

Началось это третьего дня. Сначала папа пришёл в большое возбуждение, начал переставлять (и ронять при этом) разные вещи, вытащил из шкафа посуду, но затем утомился этой вознёй, и маме пришлось его уложить, хотя он пытался подниматься и обращался к каким-то «товарищам», убеждая их расходиться (ещё на прошлой неделе в мой последний приезд папа самокритически рассказывал мне, что ему в последнее время часто мерещится такая чепуха, будто комната полна посторонних людей, возмущающих его своим бесцеремонным вторжением). Вчера он со стонами метался на кровати и при этом свалился на пол; мама, конечно, ничем не могла ему помочь,

и ей пришлось долго дожидаться, пока пришла служащая баба и по её просьбе сбегала за Гулем. Папу переодели, уложили опять в постель, а чтобы он не свалился вновь, Гуль протянул от спинки кровати к её подножью в несколько рядов бельевую верёвку, так что получилось нечто вроде детской кроватки. Была вызвана из амбулатории врач и могла дать (прописать) только бром с валерьянкой для успокоения больного. Сегодня он лежит спокойно уже без брома – очевидно ослаб.

Конечно, всё это очень тяжело маме, хотя она и держит себя бодро. Я пошёл в амбулаторию (она рядом), чтобы поговорить с заведующей и попросить её либо дать для папы направление в больницу, ибо дома соответствующий уход организовать слишком трудно, либо порекомендовать из своего персонала какую-нибудь сиделку, с которой я бы мог условиться. Однако зав. амбулаторией сказала, что в больницу отправить невозможно, так как ближайшая больница в Ивантеевке переполнена, а больница в Пушкине (где когда-то Мариночку лечили от малярии) занята сейчас под военный госпиталь; нет у неё в учреждении и каких-либо сиделок и, вообще, она человек здесь новый и подходящих людей не знает. Заходил я и к Ан. Мих. с просьбой припомнить и помочь подыскать кого-нибудь на эти тяжёлые дни – ей-то, как местной старожилке, это казалось бы было возможно сделать, но и она отозвалась тем, что народ в Пушкине текучий и никого подходящего у неё на примете нет. Обращался и к М. Н. Смирновой (она по-добрососедски кое-чем помогала маме), но и та ничего в этом направлении придумать не могла. Остаётся только приходящая баба, набегающая сравнительно редко (её дочь – наша квартирантка, – как я уже писал, работает в Москве и перестала даже приезжать на ночёвку).

Так как сегодня я выехал экстренно, пропустив лекцию и не сказавшись в институте, мне пришлось вечером вернуться домой. Завтра же я прочту утром лекцию и устрою свои дела, чтобы помочь маме в эти тяжёлые времена и выполнить свой – увы уже последний – долг перед своим дорогим старичком.

Возил с собой ваши письма (всё, что относится к рождению внучки), – мама слушала их с большим участием и интересом

и просила меня от её имени поздравить с новорождённой дорожку для всех нас Мариночку.

Крепко всех вас целую
Дед

№62 Пушкино, 3/II, 1942

Ну всё, дорогие мои, теперь вслед за Дилинькой, ровно через три недели осиротел и я: в субботу 31/I папа скончался... Вернувшись накануне в П., я нашёл его ещё более ослабевшим, так что протянутые вдоль кровати верёвочные заграждения оказались уже излишними: он лежал почти неподвижно и только временами слегка стонал тоненьким фальцетом. Заходил врач, выписал камфору, то тут же сказал, что в виду полной безнадежности положения умирающего не стоит беспокоить его этой излишней процедурой. С утра 31-го всякие стоны затихли, и папа казался спокойно спящим человеком. В конце 7-го часа вечера его равномерное перед тем дыхание стало прерывистым и слабым; мы с мамой насторожились, склонились над ним, и через несколько минут приняли его едва заметный последний вздох. Так, почти незаметно, не открывая глаз, наш бедный старичок и отошёл в вечность... Минут через 10-15 я сходил за присматривающей за старичками бабой, и она при моём ассистентстве обмыла покойника, а затем мы с ней вдвоём одели его ещё не успевшее остынуть тело в заранее приготовленное бельё и в чесучёвый костюм и положили на кровати. По совету М. К. Холмогорова для религиозного утешения мамы решили устроить церковное отпевание на дому. Следующий день был воскресный, когда в Нов. Деревню приезжает из Москвы священник служить обедню и исправлять накопившиеся очередные требы; Мих. Кузм. и взял на себя пойти к обедне и пригласить батюшку, а затем сообщил, что батюшка будет часов в 5.

В назначенное время он пришёл, и обряд отпевания был совершён (в качестве певчих пели вполголоса М. К. и Смирнова М. Н., ещё не забывшая навыки своей монастырской юности). Во всех других отношениях воскресный, т.е. общевыходной день мне сильно помешал, т.к. я не мог оформить дело в Загсе и, уже заручившись свидетельством о смерти, предпринять даль-

нейшие шаги по части организации похорон. Пришлось – при содействии всё той же расторопной бабы – заказать гроб её соседу – жел. дор. сторожу, а тёсу для него дала заимообразно Смирнова (т.к. до нашего сейчас добраться невозможно, да и он, помниться, и слишком короток для такого назначения). В результате склотили гроб и убогого, и очень неуклюжего вида, который пришлось ещё поправлять на квартире заказчика, так что мы (вместе с бабой) смогли переложить папу в гроб только вчера вечером.

С утра понедельника начались дальнейшие неудачи. К 9-ти утра побежал в Загс, без которого дальше действовать невозможно, и нашёл его запертым. Постепенно набралась ожидающая публика (больше тоже со смертями), и только лишь в 12-ом часу явилась сотрудница, которая на недовольный ропот публики обиженно заявила: «Так ведь я на выходной в Москву ездила, и поезд только что пришёл».

Оформив свидетельство о смерти, отправился в Пушкинский сельсовет, в ведении которого находится кладбище, там получил очередной № (933) места и пошёл в сторожку, где помещалась кладбищенская контора (самое кладбище ещё на 1 км дальше, у дер. Ивантеевки). В сторожке мне сказали, что наличные 2 землекопа уже завалены заказами, роют и сейчас и, вероятно, не смогут приготовить могилу ранее среды или даже четверга. Я вспомнил, что баба намекала на каких-то своих транспортников, которые могли бы взяться за эту работу, и для ускорения решил обратиться к ним.

Вернувшись домой, послал за ними; пришли два действительно здоровых парня (сцепщик и стрелочник), которые заявили, что они только что сменились с работы и имеют два свободных дня, могилу вырыть берутся (за 300 руб., как и кладбищенские сторожа), с раннего утра пойдут копать, но из-за мёрзлого грунта за день кончить, вероятно, не смогут, но ручаются, что к 12-ти часам среды работу выполнят. На этом и порешили (я предупредил, что в случае задержки я уменьшу плату), и тут же они взялись выполнить пока другой небольшой подряд – свалить большую сухостойную ель у заднего крыльца и распилить её на дрова. Успокоенный насчёт кладбища,

я утром пошёл в горсовет и горсобес, заказал на завтра подводу для перевозки гроба, устроил перевод мамы из иждивенцев в пенсионеры и выдачу ей 40-рублёвого пособия на погребение мужа. Прихожу домой и узнаю, что обоих моих гробокопателей вызвали в военкомат и что, следовательно, дело с ними провалилось. Тогда мама тотчас же послала бабу за Гулем; она его не застала, но видела двух его товарищей, как-то пиливших вместе с ним у нас дрова, и те сказали, что они могут взяться за это дело и вечером все втроём придут, чтобы окончательно уговориться, и завтра примутся за работу; таким образом погребение уже откладывается минимум на день. Однако сейчас, когда я пишу эти строки, уже 8-ой час вечера, а Гуль и его товарищи не идут, и я уже теряюсь, что в таком случае мне делать. Их приход необходим сейчас хотя бы для того, чтобы перенести уже заколоченный мною гроб из спальни, где он сейчас стоит, в соседнюю нежилую комнату или м.б. даже на веранду, раз дело с погребением затягивается.

Мама, слава богу, держится бодро, кончину папы восприняла как вещь неизбежную, утешаясь тем, что он умер тихо и безболезненно; но она очень удручена убожеством гроба и всего погребального чина и всеми возникшими осложнениями, о которых я только что рассказал. Затягивается на целую неделю и моё пребывание в П-не: думаю, не съездить ли мне в Москву – показаться в ин-те и узнать, нет ли писем от вас, мои дорогие саратовцы.

P.S.

Заканчиваю 4/II, вернувшись в город. С Гулем ничего не вышло, пришлось идти на кладбище к сторожам. Похоронят папу 6/II; гроб пока стоит на веранде.

P.S.S.

Получил твоё письмо от 19/I. Почему Ксана?

№63

М., 10/II 1942

Дорогие мои саратовцы!

Сегодня ровно месяц, как умерла Ю. Н.; только вчера мне пришлось похоронить своего старичка (хотя он скончался ещё 31/I), а вернувшись утром домой в Москву, я прочёл в открытке,

полученной Санатой от Вс. Ал., что погиб в бою наш Николай Сергеевич! Вот каким грозным потоком смертей обрушилась неумолимая судьба на нашу семью, ещё так недавно живущую только светлыми ожиданиями появления внука или внучки и подсчитывавшую – увы, слишком преждевременно – сколько у этого нового члена семейства будет здравствующих предков!

Если вы получили моё предыдущее письмо, вас, вероятно, удивляет, почему же у меня так затянулось дело с похоронами папы, которые должны были состояться 6/II. Это число оказалось для меня днём совершенно исключительных незадач, скопившихся вместе точно в плохом беллетристическом рассказе. Ночевал я в Москве, т.к. накануне мне пришлось провести экзамены у своих педагогиков, с тем, чтобы утром снова выехать в Пушкин. В 6-ом часу просыпаюсь от шума ливня, барабнящего в большой светомаскировочный абажур, который я соорудил над настольной лампой. По горькому опыту недавнего прошлого сразу сообразил, в чём дело, лезу в штаны и бегу за тазами, чтобы подставить их под дождь, и сталкиваюсь с Санатой, на которую ливень обрушился ещё сильнее, т.к. источник его оказался над левым окном её комнаты. Подставив где нужно тазы, бегу наверх в №12, бужу Велиховского, который живёт в квартире один, заставляю его открыть пустующую комнату над Санатиной, где мы видим могучий фонтан, бьющий из лопнувшей батареи (почему она лопнула, не понимаю, т.к. последние перед этим дни топили сравнительно прилично, и комнаты не были заморожены). Посоветовав ему подставить под струю какие-нибудь посудины, бегу в котельную и добываю водопроводчика, чтобы выключить в №12 отопительную воду и тем остановить дальнейший потоп. Скоро это было сделано, дождь приостановился, и я, несколько успокоившись на этот счёт, мог поехать в П. Жду там в назначенное время заказанную подводу из горкомхоза, которая должна отвезти гроб на кладбище; она явилась часом позже – вместо 3-х в 4-ре, т.к. оказывается с утра была занята возкой дров. У нас в это время Гуль с товарищами колот дрова, они при моём участии и вынесли гроб с веранды через сад и поставили на сани; мама могла проводить его только до дверей веранды. Тронулись в путь, и тут оказалось, что

лошадёнка настолько измучена предыдущей работой с утра, что еле волочит ноги, и возница должен был без передышки хлестать её то по ногам, то по морде, чтобы она хоть как-нибудь шла. Однако дело шло всё хуже и хуже и наконец – на полпути между почтой и фабрикой – лошадёнка стала окончательно; возница объявил, что он её выпряжет и отведёт на конюшню, а взамен приведёт новую. И вот картина, достойная кисти Перова, изображавшего подобные сюжеты: улица, распряжённые сани, на санях грубейшей работы тёсовый гроб, недоумевающие взгляды прохожих, а в стороне я прохаживаюсь взад и вперёд, дабы не застынуть от неподвижности.

Наконец, не меньше, чем через полчаса явился возчик с новой лошадейю и запряг её в сани; на этот раз лошадь оказалась бойкая, и тут мне пришлось сесть рядом с возчиком, потому что поехали не шагом, а рысью. Доезжаем до старого кладбища (у церкви), где живёт сторож, чтобы, как было условлено, захватить его и ехать дальше на могилу. Захожу в сторожку и застаю в ней одних ребятишек, которые сообщили мне, что папаня маманю в больницу повёз, а вчера его вызывали в военкомат, так что могилу он не вырыл. Мальчуган предложил оставить гроб в сенях при сторожке, где оказался приспособленный для таких случаев стол. Так и пришлось сделать – сняли мы с возчиком папин гроб с саней и поставили на этот стол, а сами отправились по домам. Мама, конечно, была в отчаянии, когда узнала, что папа ещё не похоронен и что я его где-то оставил; постарался успокоить её тем, что гроб стоит на старом кладбище, в помещении, а не брошен, что наша с ней совесть должна быть чиста – мы сделали всё, что было нужно и можно, а если и вышло не так, как нужно, то причины тому общие и уважительные. На следующий день опять пошёл на старое кладбище и застал сторожа, который обещал вырыть могилу к понедельнику и довезти туда покойника на санках.

Так и условились – я поехал в Москву (в воскресенье у меня заочники), а в понедельник, т.е. вчера снова отправился в П. и прямо со станции пошёл на кладбище. Могила на этот раз была готова, сторож меня ждал, поставили мы с ним гроб на санки, и он повёз его на новое кладбище – ещё дальше, за село

Пушкино к лесу. Так совершили мы с папой нашу последнюю совместную загородную прогулку... Мир его праху!

Мама чувствует себя очень одинокой и просит меня чаще её навещать и оставаться у неё с ночёвкой. По возможности так и буду делать, пока занятий у меня сравнительно немного. Накануне её очень утешила соседка Смирнова: она вспомнила, что по папе было 9 дней, пришла к маме и, вспомнив свою монастырскую молодость, предложила вместе помолиться – принесла какую-то церковную книгу и читала по ней подобающие случаю молитвы.

Дома в Москве у нас сейчас полное безобразие: после первого ливня, имевшего более локальный характер, вода в №12 очевидно растеклась под полом, и сейчас Санатина комната промокла совершенно (валится мокрая штукатурка), в нашей «Мариночкиной» комнате мокры не только угол у окна, но промокло и над кроватью (мне пришлось переселиться на свой диван); мало того, в столовой у меня намочила стена под стариковскими портретами, а в коридорчике накапало на комод, и мне пришлось спасти энтомологию. Вдобавок не топят – $t = +1^\circ$ (а утром – 0°), мокрые стены покрылись инеем. Одно время было у меня стремление поддерживать порядок и эстетику, но видимо из свиного хлева, да ещё и неотопливаемого так и не вылезть. От вас изучены письма из роддома с припиской от 23/1 и сегодня Маринино письмо уже из дома вместе с Лидиным от 26/1. Помню, что сегодня день рождения Мариночки.

Крепко целую всех.

Дед

P.S. А всё-таки почему Ксана (Ксанофон)?

№74

10/IV.1942

Дорогие мои саратовцы,

Вчера я не успел ещё отправить только что запечатанное письмо (№73 – о педпрактике), как принесли телеграмму «Мама больна. Пономарёва». Известие поразило меня неожиданно – ведь только несколько дней назад – 4/IV – я был у мамы и застал её тогда вполне здоровой. Шевельнулась надежда, что мама, как это с ней бывало неоднократно, начиная с звениго-

родского периода и до последней осени, пока ещё бродил на ногах папа, «кувыркнулась» (по её собственному выражению), напугала этим соседей, а затем отлежавшись денёк-другой, снова оправилась. Поэтому я не стал распечатывать предшествующее письмо и вкладывать в него какую-нибудь приписку о полученной телеграмме, пока сам не побываю у мамы.

Еду в Пушкино, подхожу к дому и вижу, что снаружи висит замок. Сердце замерло; иду к Ан. Мих., стучусь, спрашиваю, что с мамой. Она начала мне по порядку рассказывать, что в воскресенье 5/IV мама была вполне здорова и только сокрушалась, что ей не добыли на базаре кусочка мяса, которым она хотела побаловать себя для праздника. Утром в понедельник и Ан. Мих., и соседка от Бродских услышали мамин голос, зовущий ей помочь. Хотя квартира и была заперта изнутри задвижками на обеих дверях, им удалось открыть их, не ломая самих дверей, и они нашли маму беспомощно лежащей на полу.

Оказывается она, вставши ночью по своим нуждам, лишилась чувств, упала, а когда очнулась, была не в силах встать и почувствовала, что она сильно ушиблась. Затем её оправили, уложили, напоили чаем. Я было успокоился, слыша этот рассказ и узнавал знакомую картину обычных маминых «кувырканий». Однако Ан. Мих. тут же разочаровала меня, сказав, что далее мама начала слабеть, что со вчерашнего дня она впала в бессознательное состояние (тут Пономарёва и послала телеграмму) и что по заключению врачей положение мамы безнадежно... Пошли в квартиру. Мама оказалась лежащей на том же самом левом боку, как её уложили накануне. Поддерживают её впрыскивания камфоры (докторша только что побывала перед моим приходом). Дышит тяжело – в груди какая-то мокрота, а прокашляться мама не может. На мой зов и поцелуи мама никак не реагировала. Пульс учащенный, голова горячая – вероятно помимо всего другого у неё развилось воспаление лёгких. Приходится ждать печального конца, и я должен был приготовить на всякий случай последний туалет для мамы. Договорился на ночь остаться в квартире старушку из смирновского дома (за буханку хлеба); сам я позапирал комод и гардероб (не нашёл только ключей от запертых сундуков) и вечером вернулся

домой; сейчас должен буду провести конференцию по педпрактике (чёрт бы её побрал!), а затем, уладив дальнейшие дела, переселяюсь в Пушкино буду там переносить те испытания, которые готовит мне неумолимая судьба. Тяжело всё это, особенно чувствуя за собой невольную вину за то, что не пришлось как следует, по-настоящему окружить сыновним уходом маму в последние месяцы и дни её жизни.

№75

12/IV, 1942. М.

Ну вот, дорогие мои, потребовалось только три месяца, чтобы отнять у нас всех наших сверхстаричков, – вечером в четверг 9/IV скончалась и моя бедная мама, наша дорогая бабушка – Марьматвевнушка.

В предыдущем письме я писал, что в этот день я получил от Пономарёвой телеграмму «мама больна» и нашёл маму уже без сознания и в безнадежном состоянии. Т.к. на следующий день мне предстояла заключительная конференция по педпрактике и т.к. облегчить чем-нибудь положение мамы я не мог, я часов в 6 уехал в Москву, приготовив для мамы её последний туалет, убрав и заперев всё лишнее и при содействии Ан. Мих. обеспечив ночёвку около мамы одной из соседок. Та в своё время явилась, но уже в 10-ом часу заметила, что мама кончается, позвала Ан. Мих, а затем, когда жизнь отлетела от мамы, тотчас сбегала за тёткой Катериной, которая два месяца назад обмывала и одевала тело скончавшегося папы.

Обе женщины тут же обрядили маму и уложили её на раскладной кровати в большой комнате, а затем Ан. Мих. заперла квартиру, оставив ключ у себя. Когда на следующий день я вернулся в П. и увидев на дверях замок, пошёл за ключом к Ан. Мих., та сообщила мне, что со вчерашнего вечера всё кончено...

Вошёл я в осиротевшую квартиру, где всего лишь несколько дней назад мама так радовалась моему приезду, и без помех, без ненужных свидетелей поплакал над телом моей дорогой старушки. Я не особенно сокрушался, что меня не было около неё в самый момент кончины (мама так и не приходила в сознание, и моё присутствие не могло бы ей ничего дать) и что мне не пришлось участвовать в процессе её одевания – эту последнюю

услугу ей оказали и без меня, а присутствовать при этом было бы тяжело; должен сознаться, что я даже был рад (если только здесь уместно такое слово), что всё это совершилось без меня. Но самую смерть мамы я переживаю несравненно более глубоко и более тяжело, чем недавнюю кончину папы. Папа за последние годы своей жизни слишком явно и неуклонно шёл к своему концу, сделавшись в тягость самому себе, поскольку он сознавал своё разрушение; он уже не участвовал в окружающей жизни, и даже в такие чрезвычайные моменты, какими были для старичков мои посещения, реагировал на них только при встрече и прощании, а остальное время сидел в безучастной дремоте; при таком положении его безболезненная кончина была вполне естественным завершением его долголетней жизни, к которому и я, и мама были уже достаточно подготовлены.

Совсем иное дело с мамой. Ведь всего лишь за день до её последнего заболевания я был у неё и нашёл её, как мне казалось, в добром здравии; она радовалась моему приходу, беспокоилась о моём здоровье, слыша, как я отчаянно кашляю и зная, что мне приходится за последние дни усиленно работать (ведь этим и объяснялся двухнедельный перерыв после моего предыдущего приезда); она с нетерпением ожидала и привозимых мною писем, с интересом слушала новости и очерки, которые я ей читал в газетах. Казалось бы, что ничего не предвещало близости рокового конца, а сама она хоть и любила говорить (ещё при жизни папы), что они слишком зажились на свете, но вместе с тем мечтала дожить до летнего тепла и хотя бы напоследок погреться на солнышке, а может быть и дожидаться и конца войны, а вместе с тем и возможности воссоединения всего нашего семейства; об этом она говорила и при нашем последнем свидании. И мне очень горько и больно, что я не мог или не успел в эти последние для мамы дни уделить ей больше внимания, больше ласки, считывая, что с наступлением весны и лета у меня будет больше возможности чаще её навещать или даже пожить с ней, хотя бы по 2–3 дня в неделю, чтобы рассеять угнетающее её одиночество; я упрекал себя в том, что не удосужился схлопотать для неё хотя бы радиорепродуктор, который несомненно скрасил бы её последние дни, что о возвращении в квартиру Фирсовой ей при-

ходило мечтать, как о каком-то райском блаженстве. Словом, я чувствую, что мне пришлось остаться перед ней в неоплатном долгу и что я слишком мало сделал, чтоб согреть вниманием и лаской её последние дни, а этого она заслуживала всей своей жизнью и всей силой своей материнской любви...

Дальше начинается современный быт. Иду в субботу утром в похоронное бюро. Там работает один старичок и говорит, что за перегрузкой заказами он сделает гроб только во вторник, причём горкомхозу теперь лесоматериалов не дают, и я должен сам доставить ему к понедельнику 12 тесин; иначе как из материала заказчика гроб сколотить невозможно, и некоторые покойники дожидались неделями, пока родственникам удавалось добыть где-нибудь досок. Вспоминаю, что у нас должен быть тёс под верандой (из коего надо отдать 14 досок М. Н. Смирновой) и обещаю прислать материал в понедельник утром. Оттуда иду знакомыми стезями в пук. Сельсовет и на кладбище (дороги совершенно развезло), договариваюсь с могильщиком, что он наверняка приготовит могилу к утру среды 15/IV, и что эта могила будет рядом с папиной.

Возвращаясь назад, зашёл в горкомхоз и заказал подводу на утро 15-го, а затем, придя домой, перетащил кровать с маминим телом на веранду, т.к. лежать ей до гроба и похорон предстоит ещё долго (правда, теперь и на веранде около +4°). Затем лезу под балкон и – представьте мой ужас – не вижу там ни единой тесины: всё растащили до чиста, а остатками, по-видимому, топили последние дни печку; лежат там только штуки три доски – половицы. У меня прямо волосы стали дыбом от безысходности положения – прямо хоть ломай дома внутреннюю перегородку. Решил всё-таки обратиться к Смирновой (хотя я ей уже безнадежно должен 14 тесин!), та сказала, что у неё остаётся всего лишь штуки 4 тесин, да и те ей необходимы для всяких поправок, но потом всё-таки надумала пойти в сарай и вдруг там оказалось более полутора десятка тесин! Добрая душа выручила меня и дала нужное количество, а как и чем я с ней буду расплачиваться, этот вопрос остаётся пока открытым. Во всяком случае я ей бесконечно благодарен.

Вот как трудно сейчас похорониться!

№76

16/IV 1942, М.

Дорогое, милое, но далёкое моё семейство!

Вчера похоронил мою бедную маму. Накануне часам к пяти приехал в П-но (днём пришлось переносить свои занятия в Гор. пед.ин-те и получить зарплату – пока ещё за март): к этому времени баба Катерина привезла на салазках гроб из похоронного бюро (на этот раз гроб приличный), и мы с ней вдвоём переложили маму в гроб, одели в саван, пристроили в руках образок, прикрыли гроб крышкой и оставили в таком виде на веранде до утра. Ан. Мих. и М. Н. Смирнова говорили о необходимости пригласить батюшку («ведь М. М. верующая была»), но я чувствовал себя настолько усталым и переутомлённым (я писал, что только что перенёс на ногах грипп во время педпрактики и мечтал после этого хоть сколько-нибудь отдохнуть!), что не мог принять этого совета, тем более что и обряд пришлось бы совершать только для них; отговорился тем, что я в Москве попрошу Ал. Дм. заказать в церкви заочное отпевание, что, по разъяснению той же М. Н. может быть столь же действенным для покойницы, как и настоящее (нужно, мол, только будет получить от батюшки песочку, чтобы потом бросить на могилку и тем самым «передать земле» покойницу и открыть ей путь в будущую жизнь, – как чужда эта магия даже нормальному религиозному чувству, представляющему себе загробную жизнь бессмертной человеческой души зависящей от нравственных качеств и добрых дел самого человека, а не от щепотки «освящённого» песку, от бумажного венчика на лбу и разрешительной грамоты в руках!).

Казанских не извещал – открытка, как показал прецедент с извещением о смерти папы, пришла бы только через неделю, а специально заехать к ним на квартиру при нынешних трамвайных порядках значило бы потратить более трёх часов, причём на похороны они всё равно не смогли бы поехать без нудного выправления необходимых для жел. дороги справок. Поэтому переживать всё – и горе, и хлопоты – одному (не раз ловил себя на глупой мысли, что о том-то или о том-то надо будет рассказать дома маме или спросить у неё совета); вообще же, как я уже писал в предыдущем письме, смерть мамы

я ощущаю гораздо более глубоко, чем далеко не неожиданную папину кончину (...)

На утро вовремя подъехала подвода; мы с помощью Катерины, возчика и Ан. Мих. перенесли гроб на дроги (дорога уже колёсная), и я вместе с гробом отправился на кладбище. Там пришлось пока поставить гроб на землю и часа полтора дожидаться, пока сторож с сынишкой закончит рытьё могилы; хорошо ещё, что день был хорошим, весенним, и пение жаворонков создавало в душе умиротворенное настроение, пока мне пришлось сидеть около гроба на перекладине чужой ограды. Хотя покойников полагается хоронить на кладбище без какого-либо выбора места, в порядке выдаваемых в Пушкинском сельсовете номеров-жестянок, водружаемых затем на палках над могилами (у папы №933, а у мамы – №1076), могильщик по моей просьбе вырыл яму возле гроба папы, устроив маму так сказать, хотя и в тесноте, но не в обиде...

Вернулся с кладбища в опустевший дом; расплатился кое-каким маминым старьём с обеими бабами, оказавшими мне последние услуги – обмывавшим и одевавшими её тело. Поубирал и позапирал по сундукам, шкафам и комодам более ценные вещи; кое-что забрал с собой в Москву; что же касается разборки остального, то не знаю, когда найдётся у меня для этого время и энергия. Ключ от наружного замка оставил у Пономарёвой. Приходится задумываться над дальнейшей судьбой квартиры. Если оставить её в безжилцовом виде, можно наверняка ручаться, что в ближайшее время она будет разграблена (воровство в Пушкине идёт отчаянное). Кроме того, обе соседки (П-ва и См-ва) пугают меня судьбой квартиры Бродского, которая после его выезда была немедленно заселена горсоветом; поэтому я, коренным образом расходясь в этом вопросе с Дилинькой (уже причинившей мне в этом деле немало огорчений) решил своей хозяйской властью ориентироваться на Е. А. Фирсову (которая собирается вернуться в свою прежнюю комнату и никогда не выражала никаких покушений на остальную площадь); если до этого я имел в виду интересы мамы в связи с её одиночеством, то теперь приходится думать уже об охране квартиры и имущества от грабителей и о преимуществе Ел. Ал-ны, как особы по-

рядочной и хозяйственной перед теми случайными жильцами, которыми может заселить наши комнаты горсовет и которые, конечно, не оставят на месте ничего, что лежит сколько-нибудь плохо. Поэтому я и просил Ан. Мих. передать Ел. Ал-не, что всё остается для неё по-прежнему, и что я ожидаю её переселения в Пушкино.

Целую всех вас крепко и остаюсь теперь уже сам себе старичок.

40 © ОБЕДЫ В ИЗБРАННОМ ОБЩЕСТВЕ И ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

Когда после зимних холодов и мартовской слякоти наступает пора тепла и первой зелени, невольно радуешься этому, хотя боль от невосполнимых утрат ещё свежа, и тревога за завтрашний день непрерывно нарастает.

Это в полной мере испытали мы с мамой в конце апреля 1942 года.

Особенно радовались мы за наших москвичей: наконец-то отогреются, бедные, отойдут от мучительных, оцепенелых от холода состояний! Наконец-то и мы сможем отдохнуть от вечной возни с дровами и, распахнув окно, впустить насыщенный весенними запахами воздух в нашу комнату, пропахшую дымом и копотью! Выносить на прогулку Ксаночку, не упаковывая её во что-то тяжеловесное!

Саратов продолжал наполняться эвакуированными. Раньше это были москвичи или те, кто южнее и западнее. Теперь к ним прибавились и вырвавшиеся из блокадных оков ленинградцы, – в большинстве своём матери с малыми детьми.

Мы все тогда выглядели не самым лучшим образом. Даже мама, которая в довоенные годы страдала от своей излишней полноты и выпытывала у своих приятельниц рецепты – как бы ей сбросить килограммчик-другой, успела без всяких рецептов превратиться в стройную даму. Как-то она даже слышала, как

кто-то в очереди, указывая на неё, предупредил стоявшую за ней: «Я стою вот за этой тощей старухой».

Но ленинградцы резко отличались от местных жителей и от всех прочих эвакуированных. Пергаментно-жёлтые, почти покойницкие лица с заострившимися носами и впалыми щеками, какой-то особенный, трагически обречённый взгляд их глаз, которые из-за худобы лица казались неестественно огромными, – точно на иконах, выполненных в византийской манере.

Не люди, а сплошные мумии, едва передвигавшие ноги!

Особенно жутко было смотреть на детишек. Когда я приходила в молочную кухню за кашками для Ксаночки, мне случалось видеть среди мамаш с грудничками женщин, державших на руках далеко не грудничков, а тощенькие существа неопределённого пола с неестественно большими, как и у них самих вполне осмысленными глазами. Это были вывезенные из Ленинграда двухлетки и трёхлетки, ещё не способные ходить.

Местных ребятишек такого возраста открепляли от молочных кухонь, – им полагалось питаться обычной пайковой пищей. Но для бывших блокадников делалось справедливое исключение, хотя обычные младенческие порции, на мой взгляд, были для них маловаты. К тому же в детских кашках того времени было больше воды, чем молока, и маловато сахара.

Мы, местные старожилы, безошибочно узнавали ленинградских мадонн и, не сговариваясь, всегда пропускали их вперёд. Некоторые уступали им свои талоны. Случалось делать это и мне, хотя мама меня отчитывала за транжирство. Но ведь не её, а моей обязанностью было ходить на молочную кухню, она своими глазами не видела этих заморышей. А если бы видела, поступала бы так же. Не сомневаюсь.

Какой умницей была мама, снабдившая меня при моём отъезде в Саратов богатейшим приданым! Как выручили меня все эти обшитые кружевом дневные и ночные рубашки, блузочки, воротнички и многое другое! Пошли в расход и мой песец, и платье из панбархата. Вещи, оставшиеся после бедного Коли, тожегодились. За его совсем новые ботинки маме дали на рынке полтора десятка яиц, за выходной, вполне приличный костюм – литровую банку топлёного масла. Роскошь!

И творог для Ксаночки покупался. Однажды мы решили побаловать её свежей клубникой – купили (вернее выменяли на что-то) сто грамм самой спелой и крупной, но... мы вынуждены были съесть её сами, так как Ксаночка, почувствовав во рту непривычный вкус, скорчила рожу и принялась отчаянно плевать. Даже клубника, сваренная в виде компота, была ею решительно забракована.

В одной из своих песен Александр Вертинский воспел «белый ужин с белой Коломбиной», не пояснив, однако, из каких блюд этот ужин состоял. Вот и Ксаночка в течение первого года своей жизни признавала только белое – молочные каши, кефир, творог. Для одной только тёртой морковки делала исключение. Но всё же она становилась пухленькой, что и запечатлено на её самом первом снимке, выполненном уличным фотографом.

Вместе с прочими своими жителями, прибывавшими в Саратов «оптом и в розницу» (то есть по одиночке и целыми учреждениями), Ленинград прислал к нам бесполезных для обороны города, но важных для сохранения научных кадров сотрудников Ленинградского университета в лице преподавательского состава и аспирантов.

Летом эти люди просто отдохали, подкармливались, восстанавливая силы, а осенью возобновили свои занятия, слившись с Саратовским университетом и разместившись в его корпусах, уплотнив местных коллег.

Это слияние прошло безболезненно, поскольку из ленинградских университетских кадров уцелели лишь немногие, да и ряды саратовцев поредели, так как все мужчины, за исключением лиц почтенного возраста и хворых, были мобилизованы. Коллегами наших А. П. Скафтымова, Е. И. Покусаева и А. П. Медведева стали видные ленинградские литературоведы – профессора Г. А. Гуковский и М. А. Алексеев, причём зав.кафедрой по праву хозяина остался А. П. Скафтымов, хотя по количеству опубликованных им работ он заметно уступал гостям с берегов Невы.

Однажды ко мне прямо на дом забрела тощенькая бледненькая девушка – аспирантка-зарубежница, научный руководитель которой умер голодной смертью. Её диссертация

по близкой мне теме была почти закончена, но понадобилось уточнить кое-какие детали.

Мама с Ксаночкой в то время гуляла, мы были одни и, покончив с деловой беседой, незаметным образом разговорились. Не по моей инициативе, а потому, что моей посетительнице очень хотелось высказать то, что она недавно пережила, что в ней наболело.

Эта девушка (не помню её фамилии, – мне говорили, что она скончалась от какой-то пустячной простуды вскоре после своей кандидатской защиты) стала первым человеком, от которого я многое узнала о жизни ленинградцев во время блокады. Лишь впоследствии я беседовала с некоторыми другими блокадниками и прочла немало книг на эту тему.

Моя гостья не просто рассказывала о пережитом, – она, в основном, удивлялась тому, как круто нечеловеческие условия меняют психику, поведение, привычки. Например, до блокады она по-доброму относилась к людям, с сочувствием отзывалась на семейные утраты и смерти своих знакомых. А теперь:

– Представьте себе, спускаюсь по лестнице общежития и вижу – поперёк этой лестницы лежит тело моей ближайшей подруги. Я очень любила её. Но теперь она стала как бы деревянной. Даже не нагнулась к ней. Только подосадовала на то, что мне придётся через это тело перешагивать, а мне трудно поднимать ноги...

– Нисколько не пожалели её?

– Жалеть? Что вы? Наоборот, я ей позавидовала, как всем, вообще, мертвецам. Они уже перешагнули черту и ничего не чувствуют, а мне это ещё предстоит. А вот другое: я раньше любила животных, не могла бы даже ударить ни одно живое существо, а тут сама, подобрав где-то ослабевшую, но всё ещё живую кошку, спокойно разбила ей голову булыжником, а потом мы вместе с моей однокурсницей её ободрали, выпотрошили и сварили из неё бульон...

– Наверное, трудно было заставить себя его проглотить?

– Наоборот! Сейчас я бы есть такое, конечно, не стала бы. А тогда... Когда тушка варилась, её запах казался мне таким привлекательным, таким аппетитным... Мы едва дождались,

когда она, наконец, сварится, а потом с наслаждением обсасывали каждую косточку. А какой суп у нас получился! Мы в бульон накрошили хлеба... В горячем виде хлеб разбухает, из маленьких кусочков получаются большие.

Когда папа писал о том, как он для себя и для бабушки с Санатой мочил кусочки пайкового хлеба в горячей воде, чтоб они разбухли, стали крупнее, мне подумалось, что это – его изобретение. Как оказалось, так поступали и ленинградские блокадники, их ежедневные хлебные пайки (125 грамм) были ещё поменьше московских «иждивенческих» (200 грамм), которые полагались бабушке, Санате и Марии Алавердиевне.

Вскоре, после слияния Ленинградского университета с Саратовским, Татьяне Михайловне Акимовой пришла в голову благородная мысль: устроить званый обед (она даже выразилась – «банкет») для ленинградских коллег с их общей русско-зарубежной литературоведческой кафедры, подобно тем застольям, которые в довоенные годы устраивала Люба Жак в честь заезжих писателей. Местные в качестве «хозяев», как и тогда, должны были состряпать это в складчину, а ленинградцы, подобно тем писателям, стать просто гостями, без всяких взносов.

Саратовские литературоведы с готовностью поддержали эту мысль. Официальным предлогом для такого совместного обеда в домашней обстановке было желание поближе познакомиться с новоприбывшими, но все понимали, хотя это вслух не говорилось, что доброй женщине просто захотелось подкормить изголодавшихся «чем бог послал».

«Банкет» решено было организовать в воробьёвско-акимовской квартире, более просторной, чем те, которые имелись в нашем доме. Туда мы должны были являться с собственными тарелками, чашками и столовыми приборами. Приготовление основного блюда взяла на себя сама Татьяна Михайловна, взяв себе в помощницы Зелю и почему-то Любу Жак, хотя Люба репутацию хорошей кулинарки никогда не имела. Что же касается сладких пирожков к чаю, то их приготовление было поручено Софье Алексеевне Щегловой, которая в области мучных изделий уже успела себя зарекомендовать с самой лучшей стороны.

Предложить нашим гостям гуся в яблоках, индейку или осетра мы, естественно, не могли, но поданное на стол жаркое – полуплов-полугуляш в виде кусочков свинины (разумеется, рыночной) с гарниром из разнообразных круп и овощей по тем временам было роскошным. Во имя благородной цели мы выкладывали для этого всё, что могли, не скупясь. Но с пирожками получилась заминка.

Сахар мы ставить на стол не собирались: его не было ни в нашем распределителе, ни на рынках – существовали только запасы довоенного происхождения, которые матери решались тратить исключительно для своих малышей. Но пирожкам полагалось быть сладкими, поэтому было предложено начинить их пюре из распаренной тыквы с прибавкой сахарного песка – по трети стакана с носа.

При этом предложении все молодые матери – и я, и Маргарита, и Зеля – заметно помрачнели и приуныли, поскольку наши заветные мешочки с драгоценным содержимым за минувший срок стали довольно тощими, а детишкам без сахара не обойтись... Заметив наше смущение, Софья Алексеевна с отвагой одной из сестриц в прологе к «Царю Салтану» заявила, что никакого сахара ей не нужно, – она и без него испечёт «очень даже сладкие» пирожки.

– Каким же образом?

– Не волнуйтесь. Я знаю. Раз обещала, – сделаю.

Слово своё Софья Алексеевна сдержала. Действительно её пирожки с тыквой своей сладостью напоминали пирожные. Разумеется, все дамы – и местные, и ленинградские – принялись расспрашивать её, как ей это удалось. Пусть скажет рецепт!

Но Софья Алексеевна в ответ только улыбалась загадочной улыбкой Джоконды и отвечала:

– Никакого рецепта нет. Всё на глазок. Надо только сильно-сильно распарить тыкву и проследить, чтоб она, не дай бог, не потемнела.

Присутствовавшие, ясное дело, не поскупились на похвалы такому высокому кондитерскому мастерству, которые сама мастерица выслушивала с победоносным видом.

Лишь много месяцев спустя мы проникли в её тайну. Оказывается, что Софья Алексеевна ухлопала на эти пирожки весь свой сахарный запас – до последней песчинки. Из великодушной щедрости? Не только! Думается, здесь немалую роль сыграли и тщеславие, ради которого она пошла на жертву.

Наши гости пришли в приличных платьях и костюмах, вполне соответствовавших их общественному положению, но всё это не облегалo их фигуры, а висело на них точно на вешалках, как будто все они облеклись во что-то чужое. Деловые дамские платья, точно концертные одеяния, почти касались пола, что, впрочем, я замечала и по тем платьям, которые носила и я сама, и мама, только в меньшей мере.

В отличие от навестившей меня аспирантки, которая готова была без устали рассказывать о своих блокадных переживаниях, наши гости, – а уж мы тем более, – этой темы совсем не касались. И о фронтовых, да и вообще о политических делах никто речи не заводил. Застольная беседа шла о самых мирных вещах: о литературных новинках, о живописцах, о композиторах... Обычная беседа интеллигентов. Но некоторые заметили странную манеру профессора Гуковского держать себя за столом. Он рассказывал что-то, шутил, каламбурил, а его правая рука в это время всё время шарилa по скатерти, – не только возле его тарелки, но и вокруг соседских – всюду, куда только могла дотянуться. Этой рукой почтенный профессор подбирал все валявшиеся в пределах его досягаемости съедобные крошки и, продолжая разговаривать, засовывал их себе в рот, хотя еды на столе было достаточно. Увидев, что это заметили другие, Гуковский извинился:

– Не обращайтесь внимания! Не могу равнодушно видеть разбросанные крошки. Блокадная привычка.

Разумеется, наших гостей мы пригласили, как положено, с их супругами. Но все ленинградские дамы, подобно нам, оказались или солдатками или вдовами, а мужчины – вдовцами. Хозяева дома – В. П. Воробьёв и Т. М. Акимова – были единственной супружеской четой среди многих присутствовавших.

По моему впечатлению, и устроители, и приглашённые остались довольны нашим «пиром во время чумы», хотя ему

и не хватало главного пиршественного элемента – вина или чего-нибудь хотя бы отдалённо напоминавшего вино, – ничего такого негде было достать. Счастливее нас, гуманитариев, были коллеги с физмата: как мне сообщили мои соседи Ларионовы, в первые же военные месяцы наши доблестные преподаватели точных и естественных наук разбили все лабораторные банки, где хранились заспиртованные зоологические редкости и, соединив спирт с водой, коллективно использовали эту смесь в дни праздников.

Не знаю, завидовали ли этим добытчикам спиртного гуманитарии, но я – ни в малейшей степени, поскольку догадывалась, что среди заспиртованных экземпляров находилось совсем не то мясо, из которого делают котлеты или шашлыки.

Несмотря на то, что война была в разгаре, и, казалось бы, не было оснований делать какие бы то ни было поблажки тыловым жителям, Саратов вскоре после приезда Ленинградского университета такой поблажки удостоился. Думаю, что это не было простым совпадением. Правительство, видимо, сообразило, что поскольку в Саратов эвакуировались Ленинградский университет со всеми его факультетами, а ещё раньше – Московская Консерватория и МХАТ с их вершинами мирового значения, – приезжих необходимо подкармливать, чтоб они не протянули ноги.

Поэтому в самом центре города, напротив Консерватории, была открыта «Столовая для учёных», куда помимо ценных кадров из числа эвакуированных, прикрепляли приличия ради и некоторых аборигенов из числа оперно-балетных и драматических артистов (только народных и заслуженных) и вузовских преподавателей (только увенчанных научными степенями). К лику артистов были причислены и некоторые цирковые актёры – акробаты, клоуны, лилипуты из иллюзионной программы. Кормилась там и Н. М. Чернышевская – директор музея.

В отличие от распределителей, где помимо талонов с нас брали и деньги (правда, совсем небольшие по сравнению с астрономическими рыночными ценами), в «столовой для учёных» нас кормили бесплатно. Только в очередях приходи-

лось стоять долго, так как эта столовая была единственной для всей элиты, исключая партийную знать – хозяев города. Они питались в другом месте.

Наше меню разнообразием не отличалось. На первое – так называемая лапша или так называемый рассольник, где тепловатая вода была подправлена капелькой какого-то тёмного растительного масла (во всяком случае, не подсолнечного) и где плавало несколько серых макаронин или ломтиков солёного помидора («солёной помидоры» по саратовской манере именовать этот продукт). На второе – такие же макароны и крошечный кусочек вываренной солёной трески, судя по запаху – «второй свежести». К обеду полагался и солидный кусок хлеба. Был даже десерт: стакан какой-то мутной, чуть подслащённой жидкости, которая называлась чаем, хотя никакого чайного запаха не имела. Тем не менее, мы этот стакан с удовольствием осушали: после солёного хотелось пить, да и слабый сладковатый привкус привлекал.

Нам бы следовало испытывать благодарность к городским властям, приравнявших нас – скромных периферийных доцентов – к всемирно известным народным артистам и музыкантам, но мы, неблагодарные, вместо этого высмеивали наше неизменное меню, прозвав, например, суп за его скудную содержательность «волгой-волгой» (в честь популярной кинокартины предвоенных лет), а чай – «бледной немочью».

Это скромное, но бесплатно подспорье было для меня далеко не лишним. Суп, действительно, был водянист, а рыбные кусочки – костлявыми и крошечными, но макаронный гарнир накладывали щедро.

Очень довольна была мама, избавившаяся, благодаря этой столовой, от обязанности кормить обедами меня и дядю Бутю (Леночка уже давно обедала у себя – в заводской столовке).

Дядя Бутя, так же, как и мы с Леночкой, имел продовольственную карточку высшей категории – рабочую и отдавал её маме. Но кормить его маме не нравилось по ряду причин:

- 1) Дополнительная мойка столовой посуды;
- 2) Постоянное недовольство дяди Бути её стряпнёй. Перед тем, как сунуть в рот кусок, он каждый раз присматривался

и принюхивался к нему: не кормят ли его чем-то недоброкачественным? Всю жизнь он жаловался на плохой желудок, из-за чего багадуровский стол всегда был полудиетическим: никаких щей или борщей! Никаких солёностей или копчёностей!

3) К пайковым продуктам маме приходилось прибавлять что-то рыночное, например: картошку, квашеную капусту, морковь. На это мало-помалу тратились мои носильные вещи: у дяди Бути, разумеется, никаких лишних вещей не было. И мама сердилась: «С какой стати Марина должна?..»

Мне приходилось ей напоминать о том, что уроки пения дядя Бутя мне давал бесплатно. И корову для нас присмотрел. И молоко Ксаночке приносит.

Иногда я встречала дядю Бутю в «столовой для научных работников» и удивлялась, где его заботы о его нежном желудке? Где его принюхивания? С аппетитом ест и «солёную помидору» из супа, и рыбу, к которой и принюхиваться не требовалось, с самого порога столовой легко было догадаться, что она скверно пахнет.

Голод не тётка!

Никогда в жизни я не вращалась в таком изысканном обществе, как в этой столовке! В очередях у входа в здание и к так называемой «раздаточной» – никаких официанток там, естественно, не было, нам самим с подносами в руках полагалось получить наше довольствие и нести его на столик. При этом мне не раз приходилось стоять вплотную за Эмилем Гилельсом или за Давидом Ойстрахом, видеть за своей спиной Андровскую, Яншина, Ершова.

Наши очереди были поэтому высококультурными. Никаких пререканий типа исторической ахматовской фразы «вас тут не стояло». Все входившие всегда здоровались, правда, безмолвно – лёгким кивком, обмениваясь рукопожатием лишь с добрыми знакомыми. Все держались замкнутыми профессиональными группками, нисколько не стремясь расширить круг своего общения. Одна только Люба Жак делала попытки завести знакомство то с одной, то с другой знаменитостью, но её вежливо отшивали: коротко отвечали на заданный вопрос, после чего поворачивались к ней спиной, ясно давая понять, что ни о каком завязывании знакомства не может быть и речи.

Дело было не только в том, что известным людям надоедали навязчивые неизвестные, но и в том, что постоянные слезки, доносы и наказания «за недоносительство» всех нас приучили избегать новых знакомств и бесед неизвестно с кем по примеру чеховского «человека в футляре» – «как бы чего не вышло».

Что бы я делала, если бы первый год войны оставался учебным годом? Пропала бы! Ведь с того дня, как Коля был мобилизован, я оставалась единственным педагогом-зарубежником на весь Пединститут со всеми его факультетами и отделениями. Даже если бы я обладала сверхчеловеческой выносливостью и взвалила бы на себя двойную ношу, меня невозможно было бы втиснуть в факультетское расписание, – часы часто совпадали, хоть пополам меня режь! А тут ещё декретный отпуск – полные три месяца отсутствия (полтора – до и полтора – после).

Но в 1941–1942 учебном году учебные занятия в Пединституте не проводились. И студентов, и преподавателей использовали на так называемом «трудовом фронте» – кого в самом городе, кого – за его пределами. В частности, надо было осваивать земли, опустевшие после высылки немцев Поволжья. У колхозников Саратовской области, оставшихся без трудоспособных мужчин, были свои обязанности, поэтому на сельхозработы гнали горожан – в первую очередь студентов, которые самой природой предназначены для того, чтоб усваивать новое и не бояться физических нагрузок.

Меня, как беременную и кормящую, всё это не касалось. Я даже в то время имела законное право не «повышать мой идеологический уровень» – не посещать политзанятий, – единственных занятий, которые в институте ещё шли полным ходом.

Однако в следующем году и обычные занятия возобновили. Правда, нерегулярно: студентов то и дело вызывали то туда, то сюда в качестве рабочей силы.

Мне необходимо было найти кого-нибудь, с кем я могла бы поделить мои учебные часы. Но кого?

Меня вполне мог бы выручить филфак эвакуированного в Саратов ленинградского университета: там имелись целых два доцента-зарубежника. Им хватало и собственных педнагрузок, но они могли бы получить полставки или почасовые, рабо-

тая и у меня. Но оба доцента категорически от этого отказались и были правы: с какой стати они стали бы взваливать на себя дополнительный труд, не имея от этого ни малейшей выгоды?

Беда была в том, что деньги, которые выпускал Гознак, и которые все мы получали в прежних довоенных размерах, совсем обесценились. Мы получали нашу зарплату в прежних трёхзначных цифрах, а на рынке за каждый пустяк приходилось выкладывать четырёхзначные или пятизначные. Доцент-почасовик, как и раньше, мог получить лишь два рубля с полтиной за учебный час, а на рынке за полкило хлеба требовали сотни, а иногда и побольше. Ценностью обладали лишь пайковые карточки. В распределителях ассортимент был скуден, но цены оставались довоенными, соразмерными зарплате. Но за совместительство дополнительных карточек не давали.

Поэтому помочь моей беде мог лишь тот, кто не работал, а, следовательно, не имел продуктовой карточки, – ради этой карточки.

Такие люди, наконец, нашлись. Сразу двое, из числа эвакуированных. Разительно не похожие одна на другую представительницы прекрасного пола. Обе – не совсем то, что мне было нужно. Однако, «на безрыбьи...»

Иного выбора у меня не было.

Одна из них – Ася Каганер, девушка лет двадцати с небольшим, – была аспиранткой кафедры зарубежной литературы Харьковского пединститута. К сожалению, лишь второго курса. Это значило, что она не только ещё не приступала к своей диссертации, но даже кандидатские экзамены сдала не полностью. Она была добродушным, покладистым существом, но сомнительной интеллигентности.

Другая – московская дама лет тридцати пяти, Евгения Давыдовна Калашникова – была профессиональной литературной переводчицей с английского языка. Тогда она ещё только начинала свою переводческую деятельность, но впоследствии, как мастер художественного перевода, завоевала заслуженную известность. Её фамилия стоит на многих советских изданиях Хемингуэя, Фолкнера, Фицджеральда.

Евгения Давыдовна, в отличие от Аси, была высококуль-

турным человеком. Она отлично, значительно лучше, чем я, знала английскую литературу и литературу США, – особенно современную. Однако, к моему огорчению, никакой литературоведческой подготовки она не имела, если не считать того куцега курса, который она прослушала давным-давно в качестве студентки института иностранных языков. Поэтому французов, немцев, итальянцев и «всяких прочих шведов» Евгения Давыдовна знала не лучше, чем любой интеллигентный человек: классиков знала, а о многих второстепенных авторах и понятия не имела, особенно если эти авторы принадлежали далёкому прошлому. Должным образом анализировать литературные произведения не умела, поскольку курса теории литературы никогда не изучала, сюжеты многих книг, входящих в учебную программу литфака, помнила смутно.

То штатное место, которое опустело после того, как мобилизовали Колю, я по-братски разделила на две полставки, не столько из гуманного желания помочь им обеим, сколько для пользы дела: каждой из моих подопечных требовалось как можно больше свободного времени для подготовки к занятиям и как можно меньше для самих занятий.

Обе остались довольны, поскольку полставки давали каждой из них право на продуктовую карточку, а размер зарплаты никакого значения не имел.

Евгению Давыдовну, как организованно эвакуированную, вселили к каким-то местным жителям, а о комнате Асе пришлось позаботиться мне, так как из Харькова она удрала самовольно, втиснувшись зайцем в какой-то проходивший мимо эшелон. Это её спасло: известно, что, захватывая наши города, немцы не щадили застигнутых там евреев, даже самых безобидных.

В нашем до отказа переполненном доме комнаты для Аси не нашлось, поэтому поселили её в одноэтажном флигелёчке, где жила Оранжевая Маруся и прочие представители институтского техобслуживания.

С этими членами моей кафедры у меня быстро наладились добрые отношения: Ася смотрела на меня как на благодетельницу, Евгения Давыдовна оказалась давней приятельницей Зели, а, как известно, – «друзья наших друзей – наши друзья».

Но между собой они держались отчуждённо: Евгения Давыдовна смотрела на Асю сверху вниз, как на существо не достойное никакого внимания и уважения, а Ася перед ней робела. Поэтому совместных заседаний кафедры я не устраивала, благо уже в довоенные годы наловчилась представлять для литфаковского архива составленные по всей форме протоколы мифических заседаний (повестка дня, слушали, постановили, председатель – Яхонтова, секретарь – Каганер).

Встречалась я с ними поодиночке у себя дома, пользуясь тем, что и мама несколько не мешала, и Ксаночка с полутора годков была приучена к тому, что, если ко мне приходят чужие тётки или дяди, следует, не обращая на себя их внимания, вести себя тихо.

Как доцент, да ещё без достаточного стажа, я не имела права «воспитывать новые научные кадры». Но мне поневоле пришлось этим заняться. И не только устно. К услугам Евгении Давыдовны и Аси были и институтская библиотека, и моя собственная, домашняя, но главным их подспорьем стали те толстые тетради с конспектами прочитанного, которые я когда-то завела для Коли, когда ему приходилось читать лекции при необходимости завершать диссертацию. Эти «программы-либретто» точно теннисные мячи, порхали от Аси к Жене и обратно, несколько при этом поистрепавшись, но, к счастью, не затерявшись.

Для Аси я стала высоким авторитетом и эрудитом, а у Жени я сама многому научилась: о новейшей литературе Великобритании и США я многое почерпнула от неё.

Нашу наспех сколоченную кафедру выручало то, что пединститутские девочки (мальчиков тогда почти не осталось), были не особенно отягощены познаниями и никакими каверзными вопросами своих педагогов смутить не старались, да и не могли. Как только в Саратовском Университете снова заработал филфак, все более или менее интеллигентные абитуриентки, в основном горожанки, ринулись туда, оставив на долю пединститутского литфака лишь сельскую молодежь – выпускниц тех школ, где сами-то учителя, по большей части, были нашими же ещё не дипломированными заочниками.

Хорошие это были девушки – простодушные, любознательные, проникнутые горячим желанием стать хорошими учителями. Но в культурном отношении – совсем «дремучие». Ни малейшего понятия ни об античных божествах и героях, ни о персонажах из Библии (о чём исправно позаботились наши пропагандисты-антирелигиозники!). Даже такие слова, как «Венера», «Вакх», Эрос» и «Муза» оказались для них в новинку, хотя в лирике Пушкина они мелькают постоянно, а ведь Пушкина они должны были изучать в школе. Произнесёшь, бывало, на лекции о байроновском Каине, – «У Адама и Евы были такие-то сыновья...», – и слышишь потом во время экзамена:

– У мадам Евы было два сына – Каин и Авель.

– У какой «мадам»? А как звали их отца, супруга Евы?

– Не знаю. А «мадам» я с ваших слов записала.

Коварная вещь – слух! Так Квазимодо из «Собора Парижской богоматери» для одной из моих студенток преобразился в «Квазиморду», а название прославленного романа Сервантеса звучало, как «Тонкий ход». Всё это приучило меня не только медленно диктовать, вместо того, чтоб нормально говорить, но и постоянно держаться возле доски с мелком в руке: имена писателей и их персонажей, названия книг, а иногда и чужеземных городов приходилось, во избежание греха, записывать чёткими буквами.

И всё же я уважала и любила этих «дремучих» в культурном отношении девчонок больше тех студентов, с которыми имела дело раньше или позже. Уже за одно то, что они прибывали из тех мест, где топились русские печи и где водились и овощи, и молоко. Ради того, чтоб стать учителями, они героически переносили холод неотапливаемых институтских корпусов и общежитий и то водянистое варево, которое под видом супа давалось им в студенческой столовке. Это был подвиг! А как они были усердны и любознательны! Вот уж кто никогда не отвлеклся на лекциях на болтовню, что, конечно, налагало серьёзную ответственность и на лектора.

Пользуясь в качестве зав.кафедрой полной бесконтрольностью, я тогда сочла за благо на свой лад переключить учебную программу по своей дисциплине. Выкинула из неё все второ-

степенные и третьестепенные имена, которые этим девочкам никогда негодились бы в их будущей школьной деятельности, а вместо этого налегла на ведущих классиков мирового значения. Таскала на лекции захваченные из читального зала художественные альбомы с репродукциями и купленные ещё до войны в художественном музее им. Радищева открытки и фотоснимки, – они помогали мне наглядно растолковывать моим слушательницам, что такое барокко, классицизм, романтизм и всё дальнейшее. У Маргариты нашёлся патефон, в то время совсем ей не нужный, а при Консерватории существовала дискотека, о чём я узнала от дяди Бути. В настоящее время дискотеками называют танцевальные залы, но тогда они обозначали совсем иное, а люди удивились бы, услышав от кого-нибудь о танцах на дискотеке. Дискотека в консерваторском здании была подобием библиотеки и находилась там же, но абонентам выдавались не книги, а грампластинки.

Поэтому мои лекции не только обогатились наглядными иллюстрациями, но и зазвучали: лекция о Бомарше сопровождалась арией Фигаро, лекция о Мериме – хабанерой или сегедильей из «Кармен». Особое раздолье предоставлял мне Гёте с его Мефистофелем, Мингоной («Знаешь ты чудный край...»), Вертером («О не буди меня, дыхание весны...»). Мне служили не только вокальные записи: скрипичный или фортепианный Моцарт помогал моим студентам воспринимать рококо, Шопен – романтику.

Без всего этого вполне можно было бы обойтись, если бы продолжал работать оперный театр и художественный музей, но оба эти здания, подобно всем магазинам, за исключением распределителей, были на замке. А, возможно, использовались для военных нужд.

Стены аудиторий были достаточно толстыми, и я своими вставными концертами коллегам не мешала. Только из коридора можно было нас услышать, и бдительная Янсюкевич однажды приотворила дверь, прислушалась: что такое здесь происходит? Но, поскольку на пластинке не звучали ни церковные напевы, ни «Боже, царя храни», – тихо удалилась, ни слова мне не сказав.

Когда я помогала Жене Калашниковой овладевать непривычной для неё специальностью и, подобно папе Карло, с усилием выстуривала себе помощницу из такого малоподатливого материала, как Ася Каганер, мне и в голову не приходило, что в двух шагах от меня, в том же Саратове, находился тогда один из крупнейших литературоведов-зарубежников – в такой же мере гордость русской науки, как в прошлом академик Александр Веселовский, а в настоящем – академик Дмитрий Лихачёв.

Это был Иван Капитонович Луппол – тоже академик, учёный с мировой известностью, чьи многочисленные книги и о зарубежных, и о русских писателях нередко переводились на языки других европейских стран.

Последним местом деятельности И. Луппола был Институт мировой литературы Академии Наук, который он возглавлял в тридцатых годах, вплоть до недоброй памяти 1937 года. После него должность директора ИМЛИ выполнял И. И. Анисимов.

Обязанностью директора этого почтенного учреждения и его собственные научные интересы обязывали И. Луппола вести переписку с некоторыми зарубежными коллегами и даже два раза с разрешения высоких инстанций самому выезжать за рубеж. Разумеется, это не прошло для него безнаказанно. Заподозренный в шпионаже, академик исчез, а все его труды, хранившиеся в библиотеках, были уничтожены, хотя сами их заглавия, казалось бы, никакого отношения к идеологическим боям XX столетия не имели: «Дени Дидро», «Гёте как мыслитель», «Философский путь В. Г. Белинского» и др. Так было тогда принято: как только человек изобличался как враг народа, уничтожалось и всё, им опубликованное, на основании того, что каждый враг способен распространять свой антисоветский яд даже косвенно, иносказательно, между строк. Да и вообще вражеское имя следует забыть. Вычеркнуть из памяти.

Только из статьи А. Березина «Иван Луппол», опубликованной в 1990 году в 9-ом номере журнала «Вопросы литературы», я узнала о том, что этот «враг» не был расстрелян, как сначала предполагалось, а в то самое время, когда Саратову был остро необходим литературовед-зарубежник, медленно и мучительно умирал в одной из саратовских тюремных камер. В той же

камере умирал и другой выдающийся русский академик с мировой известностью – Н. И. Вавилов, пытавшийся защитить науку от безграмотного авантюриста Трофима Лысенко.

Со слов одного из уцелевших узников той же тюрьмы, Березин пишет о том, как глубоко унижены, даже по сравнению с арестованными уголовниками, были эти учёные. Вместо традиционной тюремной одежды на их голые тела были напялены холщёвые мешки с прорезями для рук и головы, ноги обуты во что-то тряпочное...

Дело было не в одном лишь издевательском унижении.

В военные годы вся саратовская отопительная система бездействовала. Исключением были лишь родильные дома и военные госпитали. Мёрзли студенты, школьники, работники учреждений, спасаясь лишь валенками и навьюченной на них тёплой одеждой, – ведь печурки существовали лишь в жилых домах, благодаря самодеятельности самих жильцов.

Не отапливались даже поликлиники и детские консультации.

Разумеется, не отапливались и тюрьмы. Каково там было людям в холщёвых мешках, почти босыми? Это была казнь – ещё более жестокая, чем расстрел.

Луппол и Вавилов умерли зимой 1943 года. Одновременно. Ни одному из них не исполнилось и пятидесяти...

41 © ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО И ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР

В двадцатых числах ноября 1941 года началась первая половина моего декретного отпуска – дородовая. Я получила законное право не вести лекционных курсов и не присутствовать на заседаниях Учёного совета. Даже не «повышать свой идеологический уровень» на политзанятиях. За выполнение учебной программы на всех факультетах и потоках я не волновалась: вместо меня оставались Евгения Давыдовна и Ася, в распоряжение которых я предоставила все мои тетради

с конспектами. К тому же впереди маячила полугодовая студенческая сессия и студенческие каникулы.

Всё складывалось, казалось мне, удачно. Однако полностью воспользоваться декретным отпуском мне всё же не удалось. Тов. Янсюкевич, как супруга Саратовского главврача, несомненно и сама понимала толк в режиме для беременных. Она, естественно, никакими работами, связанными с переноской тяжестей, меня не нагружала, но успешно гоняла меня пешком по всему Саратову, видимо зная, как полезны беременным пешие прогулки. Я была включена в число тех общественниц-активисток, которых районный парткомитет гонял разносить повестки так называемому населению. Никакой городской транспорт, естественно, не работал, и концы мне приходилось делать немалые, особенно по улицам, которые тянулись вдоль Волги. Спасибо ещё, что я могла преодолевать эти расстояния в моей обычной шубе, а не в волчьей: лютые холода, которые тогда грянули в январе, в декабре ещё не наступили. Зато грязищи на неубранных ноябрьских улицах и сугробов было предостаточно – приходилось не столько шагать, сколько вытаскивать ноги из грязи или преодолевать препятствия, боясь поскользнуться и грохнуться, боясь, конечно, не за себя, а за неведомое мне крошечное существо, которое то и мне дело о себе напоминало.

Нелёгким был этот разнос повесток, но всё же натерпелась я тогда не столько физически, сколько душевно.

Что это были за повестки?

Во многих из них неработающим домохозяйкам строго приказывалось отправляться в окрестности города – копать противотанковые рвы. Избавлялись от этого только матери, имевшие детей моложе восьми лет, да и то, если при двухлетнем или трёхлетнем малыше имелась бабушка или старший брат-сестра, достигший двенадцатилетнего возраста, – уклоняться от земляных работ не разрешалось. Только справки о тяжёлом хроническом заболевании могли бы спасти домохозяйку, не достигшую сорокапятилетнего возраста.

Понятно, что никто не радовался этим повесткам. Их получательницы принимались отчаянно ругаться, не придерживаясь рамок цензурного лексикона, причём доставалось и мне

на основании той же причины, которая озлобила пушкинского Салтана, получившего недобрую весть:

«В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить...»

Но ещё хуже было вручать повестки, приказывавшие мальчикам, которым только минуло восемнадцать, немедленно отправляться в военкомат, или так называемые «похоронки»... Тогда уже не ругань раздавалась, а отчаянный плач и вой... Сначала выли и кричали матери и вдовы погибших, а потом к ним присоединялись и другие голоса – детские, соседские... Хотя и трудновато мне было в моём положении спешить, но я именно спешила – подальше от этих криков отчаяния.

Только вторая половина моего отпуска – послеродовая – освободила меня, как кормящую мать, от этой мучительной общественной повинности.

И всё же грех было мне жаловаться. Декретный отпуск избавил меня и от рытья защитных рвов, и от вспомогательного труда в колхозах, где после мобилизации всех трудоспособных мужчин остались только женщины, инвалиды и старики. Трудно пришлось крестьянкам-колхозницам, которые пели тогда в одной из частушек:

«Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик».

Но ещё труднее горожанкам, вынужденным впервые в жизни иметь дело с крестьянской работой – и мужской, и женской.

Моя Ксаночка спасла меня от этого, так же, как в 1918–1919 годах я спасла от этого мою маму.

После рождения дочки, когда началась вторая половина моего «декретного», тов. Янсюкевич меня не трогала – чтילה советские законы. Но как только «декретный» кончился, и я уже включилась в расписание, она призвала меня к себе и напомнила о том, что и общественные обязанности меня ждут:

«Далеко от дома вам отлучаться нельзя, раз вы кормите. Поэтому я вас включила в стиральную бригаду при госпитале. Госпиталь рядом, в бывшем нашем студенческом общежитии.

Завтра, как только отчитаете первую пару лекций и покормите ребёнка, – туда и отправляйтесь».

Постоянно имея дело со стиральной доской, о которую я тёрла дочкины вещички, я уже считала себя опытной прачкой, но с первого же дня убедилась в том, что и её мелочишка, и мои собственные полупрозрачные рубашки – это одно, а кальсоны из грубой ткани, пропитанные кровью, гноем, а иногда и чем-то ещё похуже – совсем другое. И вонючая, с дегтярным запахом клейкая паста чёрного цвета не похожа на беленькое детское мыло, накопленное мною и мамой ещё с довоенных времён.

В первый же рабочий день я приобрела кровавые ссадины на всех суставах моих пальцев. В дальнейшем я догадалась являться в толстых дерматиновых перчатках, и это спасло меня от дальнейших увечий. Но ничто не могло спасти ни меня, ни других прачек от густого пара и нестерпимой духоты, которая царил в предоставленном нам подвальном помещении, лишённом вентиляции. Работавшая рядом со мной Маргарита однажды хлопнулась в обморок. Клавдии Андреевне Асеевой тоже время от времени становилось нехорошо, и я выводила её, шатающуюся как пьяная, на свежий воздух. Я держалась, но из последних сил. Голова всё время была какой-то замутнённой, руки болели, а, кроме всего прочего, меня огорчало то, что от меня постоянно воняло мерзким чёрным мылом.

Возвращаясь домой, я тщательно отмывала лицо и руки, меняя всё, что было на мне надето, но видимо отталкивающий запах застревал в моих волосах и становился неистребимым. Дочка морщила носик и сторонилась меня, так же, как Валера и Гена – Клавдию Андреевну, что, разумеется, нас огорчало.

Некоторые рабыни предпринимали попытки освободиться от подневольного труда посредством медицинских свидетельств о том, что состояние их здоровья не позволяло иным носить тяжести, иным – дышать зловонным горячим паром или гнуть спину при полевых работах. Однако Янсюкевич всегда возвращала эти справки обратно, даже не заглянув в них, с неизменной фразой, произносимой строгим тоном: «Сейчас, когда наши мальчишки на фронте героически проливают кровь, стыдно беречь свою шкуру».

Владельцы медицинских свидетельств оставалось только одно: уносить свои шкуры из партбюро с пристыженным видом и продолжать трудиться там, где им велено.

Принципиальным была человеком товарищ Янсюкевич! Даже не человеком, а непробиваемой стеной.

Удивляло одно: её собственный сын призывного возраста и вполне молодецкого вида своей кровью отнюдь не проливал, хотя и не бездельничал: трудился, как наша Леночка, на одном из военных заводов. Видимо, он страдал каким-то скрытым недугом, тайну которого хранил муж нашей рабовладелицы – главврач центральной городской поликлиники. Тоже Янсюкевич и тоже весьма влиятельный в городе товарищ.

В госпитале, где мы отстирывали солдатские рубахи и кальсоны, было много людей в белых халатах – врачи, медсёстры и нянечки-санитарки, в основном, молодые девушки. Девушки охотно брались за эту далеко неприятную работу, поскольку она обеспечивала их рабочими продовольственными карточками, дополнительным питанием, а главное – мужским обществом, возможно даже – потенциальными женихами: ведь далеко не все раненые оставались калеками.

Поднимаясь после трудового дня из кромешного ада нашей прачечной в госпитальный коридор, мы часто встречали весело щебечущие парочки. Разумеется, и у этих юных созданий были трудовые дни, да ещё похуже нашего, но всё равно, их щебетания и воркования нас раздражали. Думалось: а не чужую ли работу нас здесь заставляют выполнять?

Однажды К. А. Асеева расхрабрилась и, встретив в коридоре директора госпиталя, обратилась к нему:

– Вам, действительно, не хватает санитарок?

Дальнейшая их беседа в её изложении звучала приблизительно так:

– Вполне хватает.

– Зачем же вы нас, пединститутских работников, к себе потребовали?

– Никто не требовал. Это ваша Янсюкевич вас мне навязала. А работаете вы неважно: многое приходится после вас заново перестирывать. Лучше бы вас здесь не было.

Разумеется, Клавдия Андреевна немедленно метнулась в партбюро:

– Оказывается, мы в госпитале вовсе не нужны! Завтра я туда не пойду!

– Нет, пойдёте! Я взяла обязательство. Иначе поставлю о вас вопрос, как о дезертире с трудового фронта.

– Но директор же сказал...

– Ничего не знаю и знать не желаю. Но вопрос о вас будет решаться на ближайшем партсобрании.

Что было делать бедной потенциальной дезертирке? Не тащить же ей за руку директора госпиталя в наше партбюро или, наоборот, – Янсюкевич в его кабинет для очной ставки? А партсобрании она боялась, поскольку была членом партии и выговор получить не хотела.

А мне – в то время человеку беспартийному – никакой «выговор с занесением» не грозил, и я свою прачечную деятельность самовольно бросила. Будь, что будет!

А ничего и не было! Видимо, никто не потрудился донести Янсюкевич о моём «дезертирстве», и она осталось незамеченным.

Любопытно то, что товарищ Янсюкевич – женщина не молодая, но и далеко не старая – сама себя никакой физической работой не нагружала. Её «помощь фронту» состояла в том, что она с утра до вечера торчала в партбюро, отдавая распоряжения, принимая отчёты и постоянно кого-то за что-то распекая. Официально такая разновидность деятельности называлась: «беседовала с людьми».

Никто из нашего коллектива не решался вступать с Янсюкевич ни в какие пререкания. Лишь однажды против неё вспыхнул открытый бунт, но подняли его не мы, а наши мамы – дамы беспартийные и ни в какой зависимости от институтского партбюро не состоящие.

Дело обстояло поздней и потому мокрой осенью 1943 года.

В один прекрасный день нежданно-негаданно во все квартиры нашего дома натащили солидные груды вымазанных густой грязью солдатских штанов и гимнастёрки, чтоб мы их выстирали.

Как? Где? Неужели класть эту грязь в те самые корыта, где мы стираем одежду для наших малышей?

А мамы, между тем, обратили внимание на то, что почти в каждой складке того, что нам принесли, сидят крупные – так называемые окопные – вши. И мгновенно выкинули всё вон – даже не на лестничные площадки, а прямо на середину двора.

Янсюкевич попыталась было провести разъяснительную беседу среди несознательного населения, напомнив по своей привычке о том, как стыдно в такое тяжёлое время беречь свою шкуру. Но напала она отнюдь не на смиренных овечек:

– Не шкуры мы свои здесь защищаем, а детей! Стыдно не нам, а тем, кто распространяет заразу! Мы найдём на вас управу! Мы вам покажем антисанитарию разводить! А ещё коммунистка! А ещё жена главврача!

И моя мама, и Асеевская были в авангарде восставших, но пронзительнее всех кричала Белла Моисеевна Гейликман – родительница Зели, причём я с удивлением обратила внимание на то, что эта интеллигентная дама – профессорская супруга и давняя москвичка, обычно изъяснявшаяся без малейшего еврейского акцента, проявила его в полной мере, как только перешла от спокойной речи на крик.

Объединившимся бабушкам, охранявшим своих внучат, удалось взять казалось бы неприступную крепость: не прошло и получаса, как грязное тряпье со всей начинявшей его фауной исчезло с нашего двора. Было и сплыло.

Зная повадки тов. Янсюкевич, я не сомневалась в том, что никто ей не приказывал рассовывать грязное и вшивое солдатское обмундирование по частным квартирам, – для подобных массовых стирок в городе имелось специально оборудованное место. Она, без сомнения, сама его выклянчила, для того, чтобы вверенная ей паства не болталась без дела, а выполняла свой гражданский долг «с полной отдачей».

Не сомневаюсь я и в том, что она торопливо выполнила требования бабушек не потому, что спасовала перед ними, а по распоряжению собственного мужа: городской главврач совсем не был заинтересован в том, чтобы в его епархии завёлся сыпной тиф или какая-нибудь иная эпидемия.

От окопных вшей мы действительно убереглись, но от напыва прочей нечисти, ползающей или летающей не избавились. Мухи и моль летали всегда, но с началом войны завелось и многое другое в связи с переуплотнением наших квартир дополнительными жильцами, выселенными из корпуса, отобранного под госпиталь. А когда наш дом перестал отапливаться, пришлось завести знакомство даже с мокрицами и сороконожками, облюбовавшими наши холодные ванны, – существами безобидными, но неприятными на вид.

Однако насекомыми наша домашняя фауна не ограничилась. Вскоре к нам вторглись и представители и других зоологических категорий, что было значительно хуже.

После того, как в нашем полуподвале прекратил своё существование продовольственный магазин – счастливое убежище для крысиных семей, – и прекратилось центральное отопление, крысы, не пожелав мириться с голодом и холодом, бросились наверх по всем нашим квартирам, подобно штурмующим горные кручи альпинистам. И там повели себя нагло: одна особь даже впилась зубами в щиколотку одного из жильцов, когда он в ночную пору, побуждаемый естественной надобностью, мирно брёл по собственному неосвещённому коридору.

Наглядная иллюстрация к балладе Жуковского «Суд божий над епископом»!

Но там были мыши. Мне приходилось и раньше их видеть. А с крысами я познакомилась впервые и не могу сказать, что это знакомство оказалось приятным. И морды у них злодейские, и розовые хвосты напоминали дождевых червей, к которым я всегда относилась брезгливо. А размером некоторые из этих тварей не уступали кошке-подростку. А какие пронзительные и омерзительные были у них голоса, когда они по ночам дрались из-за добычи или организовывали свою личную жизнь!

Лида Баранникова говорила стонущим тоном: «Если уж у этих тварей вид такой невыносимый, – хоть бы природа снабдила их менее гнусными голосами! Сил нет терпеть!» Я не могла с этим согласиться, считая, что, если бы крысы даже умели петь по-соловьиному, – они от этого нисколько не стали бы приятнее.

Особенно заманчивой показалась им наша квартира, где Наталья Игнатьевна забила всю квартиру своими бакалейными запасами, не хуже магазинного лабаза. У нас и у Асеевых особых запасов не водилось, но крысы не брезговали и нашими скромными холщёвыми мешочками с макаронами или крупой. Не знаю, много ли они при этом пожирали, но мешочки прогрызали, и их драгоценное по тем временам содержимое высыпалось оттуда, смешиваясь, деликатно говоря, с продуктами их собственной жизнедеятельности. Перенести наши запасы из кухни в комнату? Но тогда и крыс туда приманишь. А у нас детишки!

Особенно меня страшила мысль, что мама при виде крыс умрёт от разрыва сердца, поскольку она всю жизнь боялась даже их маленьких родичей, и при виде мышки, взвизгнув, влезала с ногами на первый попавшийся стул. К счастью, оказалось, что мыши были страшны маме тем, что они «маленькие, юркие и бесшумные»: «Сидишь спокойно, читаешь, и вдруг что-то неслышно прошмыгнёт у самой твоей ноги... Мистика какая-то! Ужас!»

Крысы маленькими не были, и в бесшумности их тоже нельзя было упрекнуть. Когда они пробежали, стук их коготков слышался отчётливо. Поэтому мама, хоть и не любила с ними встречаться, особого ужаса перед ними не испытывала. Когда ей вечером надо было выйти на кухню или в другое какое-нибудь «место общего пользования», она предварительно швыряла туда одну из Ксаночкиных погремушек (оказывается, и младенческие погремушки – полезная в хозяйстве вещь). Крысы понимали намёк и разбегались, а мама храбро следовала вслед за брошенным ею «боевым снарядам». Я в таких случаях погремушек не трогала, а просто старалась повнушительнее топтать ногами, подражая походке пушкинского «Каменного гостя».

К счастью, в дневное время крысы на глаза к нам не лезли и ребятишек не пугали. А ночью, чтоб крысы к нам, упаси господи, не проникли, мы внимательно следили за тем, чтобы дверь, соединявшая нашу комнату с коридором, всегда была крепко захлопнута.

Но однажды поздним вечером, когда Леночка с работы ещё не вернулась, Ксаночка спала, а мама к кому-то из соседок нена-

долго отлучилась, – мне представилось крайне удивившее меня зрелище. Хотя щель между дверью и полом была узенькой, а крысы – существа крупные, – внезапно из-под двери высунулась сначала узкая усатая морда, а затем и вся крысица, распластавшаяся подобно камбале или цыплёнку-табака. Какое счастье, что в тот вечер нас побаловали электричеством, что случалось нечасто, – при мерцании коптилки я могла бы её и не заметить! По своему обыкновению, я принялась «по-командорски» топтать ногами и, действительно, напугала гостью, но в панике, торопясь, крыса не пожелала удалиться тем же способом, каким проникла, а принялась прыгать возле двери и бестолково об неё колотиться точно случайно залетевший мотылёк об оконное стекло. А вдруг в эту минуту появились бы мама или Леночка? Крыса прыгнула бы прямо на вошедшую. Могла ли я такое допустить? Пришлось мне самой, лязгая от страха зубами, повернуть ключ и распахнуть дверь перед гадиной, точно дверцу кареты перед какой-нибудь герцогиней. Конечно, благоразумней было бы просто пристукнуть её хотя бы ножкой стула. Но это было выше моих сил! Мне казалось, что пока я крутила двойным поворотом дверной ключ, беснующаяся вокруг меня крыса цапнет меня за палец или запястье.

Впоследствии мне случалось и видеть над моей головой самолёты со свастикой, и слышать вой и свист сбрасываемых фугасок, но только выпроваживая из комнаты серую гадину, я в полной мере осознала, что такое ужас.

Справедливо говорят, что «журавль в небе» менее ощутим, чем синица в собственной ладони. Правда, говорят это в несколько ином смысле...

Минуты через две, как моя вечерняя гостья убралась восвояси, вошла мама, а вслед за ней Леночка. Обе они очень испугались, – но не крысы, – её в комнате уже не было, – а моей неестественной бледной физиономии и глаз, напоминавших им глаза человека из психушки. «Что с тобой? Ты больна?» А у меня не было сил ответить.

Через некоторое время соседний военный госпиталь решил использовать пустовавшее помещение бывшего магазина для своего провиантского склада. Крысы мигом это разнюхали и по

своему неведомому людям телеграфу передали эту приятную для них весть своим родичам по всем пяти этажам нашего дома. После этого они исчезли так же стремительно, как появились. Видимо, военное довольствие оказалось богаче и заманчивее наших обывательских, заметно растаявших запасов.

Мы, естественно радовались, поскольку добрых чувств к этим паразиткам никто не питал. За исключением Наташи Покусаевой. Она совсем их не боялась, и заметив издали какую-нибудь, ласковым голоском пыталась её приманить, точно котёнка: «Крысь-крысь-крысь...»

Как изменился наш дом, когда-то пленивший меня своей новизной и чистотой так же, как когда-то бабушку Юлю пленила новизна и чистота дома 16/13 по 1-му Неопалимовскому переулку. Ослепительно белые стены, потолки и подоконники стали почти коричневыми от копоти, плитка в кухне растрескалась от того, что мы кололи там поленья. Все места общего пользования, точно торговый склад были забиты этими самыми поленьями, мешками из холстины и вёдрами с всевозможным продовольствием. Особенно в этом отношении поусердствовала Наталья Игнатьевна – самая запасливая из нас. Она захлмила некоторыми своими продуктами даже комнату кроткой Антонины Васильевны (бывшую Колину), начав, естественно, с маленькой просьбы, произнесенной любезным тоном: «Можно я у вас в уголке приткну этот мешочек?»

А как с наступлением зимы изменилась наша лестница! По ней стало опасно ходить – настолько её ступеньки обросли ледяной коркой – результатом того, что у нас то и дело выключали воду, и мы, таская вёдра из физфака, невольно расплёскивали её.

Разумеется, такая обстановка не лучшим образом влияла на наше настроение и характеры.

Но бывало и так, что характеры воздействовали на обстановку.

Помню как однажды, по поручению Янсюкович, мне пришлось с каким-то объявлением обойти все квартиры нашей пятиэтажки. Я, конечно, выбрала позднее время, чтоб всех застать дома.

Много общего заметила я в чужих квартирах. Везде печурки-буржуйки, везде копоть и теснота. Но бросилась в глаза и разница.

Вхожу, например, в комнату «человека кавказской национальности» – математика Мурзаева, и при слабом освещении маленькой буржуйки мне кажется, что я попала в пещеру неандертальцев: возле печурки, точно у костра сидят взлохмаченные существа в звериных шкурах – двое взрослых и парочка детёнышей. Вскоре выяснилось, что зрение меня обмануло: это были не шкуры, а потрепанные меховые шубы, и это был не дикарь, а доцент в кругу семьи. Перед ними, тут же на полу, стоял котелок, из которого они черпали ложками что-то жидкое, а иногда руками извлекали какие-то твёрдые кусочки. Семья обедала.

– Ой, что такое? Почему вы на полу?

– Здесь теплее.

– А тарелок у вас разве нет?

– А зачем их пачкать? Ведь их пришлось бы мыть. Лишняя вода, лишняя возня!

Выполнив своё поручение, перехожу в квартиру напротив. Там жила профессор Щеглова – одинокая женщина, никаких посетителей к себе не ожидавшая, и тоже обедала. Тоже при печурке, но и при копилке.

Перед ней – столик, покрытый белой салфеткой, а на салфетке – две тарелки – глубокая и мелкая, для первого и для второго, причём первое, скорее всего, состояло из жидкой каши, сваренной в виде похлёбки, а второе – из той же каши, только погуще. Разнообразием наше меню не отличалось.

Аккуратно прибранная комната... Аккуратная причёска... А эти две тарелки! Такой сервировкой ни наша семья, ни все наши знакомые не пользовались даже в довоенные времена!

Воистину – «Царица и львица»!

В такой обстановке росла моя дочка, мало-помалу превращаясь, как говорил папа, из личинки – в существо, из существа – в личность. Имея в достаточном количестве молоко, сахар и тёртую морковку, но не имевшая понятия ни о конфетах,

ни о фруктах. Дыша либо комнатной духотой, либо пыльным воздухом улицы и двора, почти лишённого растительности. Но всё это не мешало ей быть пухленькой, румяной и весёлой.

Ни обувкой, ни одежкой, ни игрушками, ни книжками «для самых маленьких» Ксаночка не была обижена, хотя всё это не относилось к числу обновок: от Наташи Покусаевой всё это как по лесенке скатывалось к Миле Скафтымовой, а от Милы – к ней. В нашем доме хватало ребятни, но из всего этого множества Ксаночка всё время вплоть до своего переезда в Москву оставалась самой младшей. Поэтому всё население нашего дома – и взрослые, и детишки – обращали на неё внимание и были с ней особенно ласковы. Валера и Гена Асеевы частенько колотили друг друга, но к «маленькой» относились бережно, всегда готовы были ей уступить то, к чему она тянулась. Четырёхлетняя Валерочка учила её делать первые шажки и правильно произносить слова. Мила мало интересовалась Ксаночкой, но Наташа Покусаева всегда была тут как тут. Как достойная дочь известной в городе учительницы, она охотно учила Ксаночку и ходить, цепляясь за стулья, и говорить.

Первыми Ксаниными словами, естественно были «мама», «баба» и «Ляля», – так она называла Леночку. Потом шли имена приятелей. Не помню, как она их называла, – помню лишь, что Гену она превратила в тёзку известного художника Ге. Вместо того чтоб называть предметы, к которым тянулась, она энергично произносила «на» в смысле «дай», поскольку и мы говорили ей «на», когда ей что-нибудь протягивали. А если ей давали не то, к чему она тянулась, она медленно произносила «пака!» – нечто среднее между младенческим «бьяка» и взрослым «пакость».

Обычно Ксаночка получала то, что хотела, но быстро заметила, что существуют две небольшие вещи, которые ей никогда не дают, – напротив, как можно дальше от неё отодвигают. Это были мамины очки и мои наручные часики – предметы первой необходимости. Без очков мама не могла ни читать, ни шить, а мне без часов невозможно было бы толково строить лекции, правильно распределяя их последовательность и тематику. В те годы, когда в городе не стало ни магазинов, ни

мастерских, потеря этих двух вещей оказалась бы невозстановимой. Настоящей трагедией!

Запретный плод, как говорится, сладок, и Ксаночка, заметив, как мы пугливо охраняем свои очки и часы, начала настойчиво за ними охотиться, сначала обижаясь на нашу несговорчивость, а потом превратив свою атаку и нашу оборону в своеобразную игру: протянет ручку к запретному и смотрит на нас с лукавой хитрецей: «Сейчас схвачу! Попробуйте помешать!»

Чем больше каждая из нас всполошится, тем веселее становилась игра.

Не случайно, слова «очки» и «часы» вошли для неё в число самых первых.

А из глаголов первым для неё стало слово «пилить». Когда мы с мамой пилили полено, двигая пилой туда-сюда, Ксаночка с довольным видом следила за этими движениями, точно котёнок за бумажкой на верёвочке. Слова «пила», «полено», «щепки» тоже были её самыми ранними.

Так незаметным образом её лексика расширялась – не по дням, а по часам.

Весной 1943 года Ксана уже так свободно двигалась, что с ней можно было гулять не только на нашем дворе, но и вдоль улицы, – это было для неё значительно интересней – больше внешних впечатлений. Однажды какой-то пожилой мужчина интеллигентного вида сказал своему спутнику, указав на Ксаночку, точно она была музейным экспонатом: «Вот типичный ребёнок среднерусской полосы».

Мне стало обидно, поскольку в моём представлении моя дочь была никакой не «типичной», а своеобразной, особенной.

Когда в соседнем госпитале стали распахивать окна, и выздоравливавшие от ранений пареньки начали выглядывать на улицу, я убедилась в том, что тот прохожий сказал правду. Одному она напоминала дочку, другому племянниц, третий уверял, что Ксаночка – вылитая его младшая сестрёнка. Они часто просили меня посадить дочку к ним на подоконник, шутили с ней, а она, нисколько не дичась, охотно отвечала улыбкой на улыбки и не пугалась загипсованных рук, забинтованных глаз

и лбов, с интересом теребила блестящие медали, висевшие на некоторых из них поверх госпитальных халатов.

Но вообще-то эти возвращавшиеся к жизни фронтовики интересовались не столько детишками, кого-то им напоминавшими, сколько проходившими по улице девушками, окликая их: «Эй, курносая!», что в переводе на другие языки, звучало бы как «мисс», «мадемуазель» или «синьорита».

«Курносые», чьи носы далеко не всегда соответствовали этому названию, редко отказывались от подобных приглашений: раненые на фронте фронтовики было в почёте.

Но не все любители поболтать были действительно выздоровевшими. Некоторым ампутированную руку заменял пустой подколотый рукав. У некоторых вместо одного глаза была белая марлевая заплатка. На улицу многие выходили на костылях – хромящие или одноногие. Наиболее тяжёлое впечатление производили так называемые «самовары» – туловище без обеих ног, ампутированными у самых бёдер, которые передвигались на площадочках с колесиками при помощи ручных приспособлений, прозванных «утюгами». Невыносимое зрелище!

Особенно врезался в мою память совсем молоденький мальчишечка из числа этих «самоваров».

Пользуясь тем, что наша улица шла под уклон, этот несчастный катался на своей площадке, подобно тому, как ребятишки зимой раскатывались на салазках, при этом он ещё ухитрялся весело улыбаться встречным.

Впрочем, и судьба легко раненых была не завидна, поскольку им, уже познавшим, что такое фронт, предстояло после госпиталя не сегодня-завтра вновь туда возвращаться за новыми увечьями и страданиями.

С возрастом Ксана полюбила иллюстрированные книжки «для самых маленьких», которые спускались к ней по той же лесенке, как и то, во что она была одета: от Наташи – к Миле, от Милы – к ней. Особенно ей полюбили «Детки в клетке» С. Маршака с изображением слонов, жирафов, обезьянок и прочей экзотической живности.

Однажды мама с грустью произнесла:

«Бедный ребёнок! Как было бы ей интересно увидеть этих животных живьём!»

Я решила помочь беде и, подражая Маршаку, исписала целый лист стишками о тех существах, которые Ксана видела в натуре:

«Я – весёлый таракан,
Лезу в чашку и в стакан...»
«Я – домашняя мокрица,
Очень скромная девица...»
«С добрым утром, милый крошка!
Я зовусь сороконожка...»
И так далее.

Ксаночка высоко оценила плоды моей музыки и некоторые строфы быстро запомнила наизусть, предпочитая их даже четверостишиям Маршака, которым она такой чести не оказывала. Вот что значит наглядность! Папа был бы доволен, – он всегда, наперекор Крупской, был сторонником экскурсий в живую природу. Но мама негодовала:

«Зачем ты научила девочку такой чепухе? Вот сболтнёт она твои стишки как-нибудь при ком-нибудь из соседей. Что они о нас подумают?»

Ничего они не подумают! Такая же фауна водилась и у них. Во всех без исключения квартирах.

Когда в моей единственной шестнадцатиметровой комнате, помимо меня, поселились точно в сказочном теремке мама, затем Лена, наконец, Ксаночка со своей кроватью и прочими принадлежностями и, в заключение, потребовала для себя места наша спасительница – чугунная печурка, мне, естественно, пришлось по-новому переставлять всю мебель. В частности, поставить книжный шкаф боком, вплотную к дивану, на котором спала мама. Его задняя дверь упиралась в мамино подножье, а передняя с застеклёнными дверцами смотрела на дверь, выходящую в коридор.

Для мамы это было удобно, поскольку заменяло ей ширму: не стало риска, что при открытой двери квартирные сожители

увидят маму в неглиже, – вместо полуодетой дамы из комнаты на них интеллигентно взирали полки с книгами.

Это стало удобно и в другом отношении: на фанерную заднюю стенку непривлекательного вида я прикрепила большую карту европейской части СССР, которая полностью её прикрыла. Стало удобно, присев на диван, следить за тем, что происходит на всех наших фронтах.

Никаких газет я тогда не выписывала, и средоточием моего и мамино внимания была только радиоточка в коридоре, общая для всех жильцов, и эта карта.

Противоречивые чувства вызывала она у нас! В каком страхе, даже отчаянии были мы, когда немцы вплотную приблизились к Москве, грозя окружить её таким же кольцом, каким был окружён умиравший голодной смертью Ленинград. Даже мысль о том, что Пушкино окажется отрезанным от Москвы, была страшна: бабушка с бабушкой Машей без папиной продуктовой поддержки, безусловно, погибли бы.

В декабре 1941 года, когда я ещё не знала о гибели Коли, даже о том, что его послали на фронт, мы радовались тому, что в некоторых местах Подмосковья немцев удалось оттеснить назад – это был первый намёк на возможность победы, первый слабый проблеск надежды.

Вскоре после освобождения села Петрищево вся страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской, которая близко коснулась и Веры Новосёловой: Зоя была одной из учениц школы, где Вера работала, одной из наиболее любимых. Она была одной из тех, кто был приглашён в это село для опознания тела девушки.

Как мы все трое скучали о папе, волновались за него, его жалели. Как ни скудно было наше питание, – мы не голодали. Нас выручали вещи – Колины и мои, – которые мы понемножку обменивали на продукты. Папу окружало ещё больше ценных вещей, чем нас, но продавать их он не умел, не знал даже, как это делается. Будь в Москве Александра Арсеньевна, она бы ему в этом отношении помогла, но она с Ирой находилась, подобно многим, в эвакуации. Те, с кем папа общался, были в этом отношении такими же неопытными и беспомощными, как он сам.

В папином распоряжении было только то, что он получал по карточкам, да и то, пока все наши старички были живы, он вынужден был их подкармливать. Никакой бесплатной «столовой для учёных» типа саратовской в Москве не существовало.

Было больно знать, что папа голодает и мёрзнет. Ещё больше – о том, что Москву отчаянно бомбят. Он писал нам в своём обычном стиле – бодром, даже шутивым. Но это не избавляло нас от страха за него.

А потом наступили дни, когда, наоборот, папе стало страшно за нас. Роли переменялись.

Ч А С Т Ь

IX

42 © ЗАРЕВО НАД ВОЛГОЙ

Папа имел серьёзные основания волноваться за нас, хотя мы находились далеко от фронта, в спокойном городе, куда стекались те, кто, спасаясь от захватчиков, искал спокойного убежища.

После того, как немцев отогнали и от Москвы, и от Тулы, они повернули на юг и на юго-восток. Когда ими был взят Курск, самые мощные центральные части вражеских войск двинулись прямёхонько к Волге по самому короткому пути – вдоль пятьдесят второй параллели. На этом пути находился Воронеж, который подобно Курску долго и яростно, но безуспешно оборонялся.

Мы с мамой тревожно следили за судьбой всех наших городов, в которых или возле которых происходили бои, но судьба Воронежа нас тревожила особенно: ведь следующим крупным центром на этом пути был Саратов... Если Воронеж устоит, устоим и мы, но если...

Об этом «если» было страшно думать. И нам, и папе. Хотя мы изо всех сил бодрились и подбадривали друг друга, обмениваясь спокойными, иногда даже шутивными письмами.

Мама иногда обижалась: «Неужели он не понимает!» Нет, папа всё отлично понимал, но не хотел, чтоб мы раньше времени тряслись и впадали в стресс.

Ничто нас не спасло от стресса, когда и Харьков пал, дав возможность врагам двигаться дальше по той же пятьдесят второй параллели, прямо к Волге, в нашу сторону. Из переданного по радио очерка мы узнали о том, что среди немецких солдат распространилась песня на мотив «Стеньки Разина» со словами: «Волга, Волга, мутер Волга, Волга, Волга – дойчен флюс». Это был буквальный перевод известных строк «Волга, Волга, мать родная, Волга – русская река», с той лишь существенной разницей, что вместо слова «русская» произносилось «немецкая».

Как предвестники скорого вторжения над Саратовом начали летать вражеские бомбардировщики, сбрасывать бомбы-фугаски и зажигательные, но, к счастью, не на городской центр, а преимущественно на окраины, где были расположены военные заводы. Из всех нас в наибольшей опасности оказалась Леночка, проводившая на одном из этих заводов по двенадцати часов ежедневно, – такова была протяженность рабочего дня тех лет. Она касалась даже подростков, хлынувших из школ на эти заводы, возможно из патриотических побуждений, но скорее всего из желания сменить «детскую» продовольственную карточку на рабочую.

Ксаночка видела «Лялю» только раз в неделю и начала воспринимать её как воскресную гостью. Лена уходила, когда мы все спали, и возвращалась, когда старшие бодрствовали, но Ксаночка уже видела сны. Двенадцатичасовой день изматывал Лену, тем более что ей, в отличие от меня, приходилось проделывать долгий пеший путь на работу и с работы. Мы с мамой очень её жалели, а теперь к этой жалости прибавилась и тревога: Леночка шла не просто работать, но туда, куда падали бомбы. Прямо под эти бомбы.

Я никогда не бывала в районе завода, где трудилась Леночка, но знала, где он находится, и мне становилось не по себе, когда чёрные стервятники со свастикой на крыльях появлялись над той частью горизонта. Над нашими головами эти вестники зла появлялись значительно реже, хотя одна из интересовавших их мишеней – городская электростанция – находилась недалеко от нашего дома.

Саратов начал интенсивно обороняться от воздушной опасности, о которой нас постоянно (особенно в ночное время) оповещали завывания сирен. Уличные фонари уже давно бездействовали, а теперь и городским жителям было приказано занавешивать окна самодельными шторами из склеенных газетных листов, густо смоченных чернилами.

Мы занимались этим коллективно в институтском здании под присмотром инструктора, которым вызвался быть наш главный бухгалтер. Под его же присмотром мы резали газеты на узкие полосы, которые потом крестообразно приклеивали к оконным стёклам: нам было сказано, что это нас предохранит от ранения осколками, если поблизости разорвётся фугаска и побьёт наши стёкла. Красные готические шпили, вздымавшиеся над Консерваторией, были заменены плоскими крышами. Всюду, где это было возможно, в подвалах кирпичных домов устраивались бомбоубежища с толстым покрытием и стенами, а там, где это было невозможно из-за мелких, сплошь деревянных построек, рекомендовалось рыть возле этих построек нечто вроде окопов: они считались более надёжным укрытием, чем домишки из брёвен и досок.

Янсюкевич настояла на том, чтоб и население нашего дома вырыло такие окопчики определённой длины, ширины и глубины на нашем дворе – по одному на каждую квартиру. Некоторые умные люди пытались её вразумить, говоря, что напротив нашего дома построено специальное бомбоубежище, но тов. Янсюкевич не любила отменять своих решений, и работа закипела.

Тяжёлая это была работа! Земля на нашем дворе была настолько истоптана, что казалась каменной. Чтоб вонзить в неё заступ приходилось напрягаться изо всех сил. Правда, чем глубже мы вкапывались, тем менее твёрдой она становилась, но работа от этого легче не делалась. Иногда мне казалось, что у меня переломится спина или шея, когда я, стоя в яме, швыряла широким заступом тяжёлые камни наверх, стараясь при этом, чтоб они не сыпались мне на голову или за шиворот.

Нет, не зря меня после войны наградили медалью «За доблестный труд»!

Работали мы вчетвером поочерёдно: я, Антонина Тимофеевна, Клавдия Андреевна Асеева и даже её мама, которая была не на много моложе моей. Не уклонились от трудовой повинности даже супруги Ларионовы, хотя они взяли на себя обязанность попроще – относить выкопанную землю от ямы к воротам, где её забирали самосвалы.

Именно тогда у меня начало побаливать и сбиваться с ровного ритма сердце, появилась одышка и стали сильно отекают ноги. Мои щиколотки и до отёков были толстоваты, но меня тогда тревожила не столько эстетическая сторона этого явления, сколько практическая: кое-что из моей обуви перестало на меня налезать. А где я достану новые полуботинки?

Выкопанные нами так называемые «Защитные щели» испещрили весь наш двор, – ведь квартир в нашей пятиэтажке было много. Шириной и глубиной они напоминали могилы, подготовленные к приёму покойников.

И я подумала: пусть меня на клочки разорвут, но в эту могилу я и сама не полезу, и Ксаночку туда не понесу.

Видимо то же самое подумали и другие жильцы нашего дома. Нашими «щелями» никто из них никогда ни разу не пользовался, а при воздушной тревоге все спешили, перебегая улицу, укрыться в бомбоубежище – специально оборудованном подвале недостроенного пятиэтажного дома.

В бомбоубежище вместе с другими бабушками и мамами спешила и моя мама с Ксаночкой на руках. Воздушные налёты чаще происходили по ночам, и ей приходилось вытаскивать бедняжку из постельки. К счастью, у Ксаны был крепкий сон, и она не просыпалась, даже когда её тормошили, чтобы одеть, а если и просыпалась, то мгновенно засыпала снова.

Я убежищем никогда не пользовалась, так как, войдя в число так называемой «пожарной команды», по примеру папы, взбиралась на крышу – спасать дом от зажигательных бомб при помощи песка и лопаты. Раз уж я побывала прачкой и землекопом, – почему бы мне не стать и пожарным?

Мама сначала была решительной противницей моих дежурств на крыше, но почему-то успокоилась, узнав, что там вместе со мной и прочими институтскими дамами имеются и два

кавалера – Анатолий Сергеевич Колосов – муж Лиды Баранниковой и Борис Гейликман – брат Зели. Первого спасло от военной мобилизации большое сердце, второго – печень. Их присутствие на той же самой крыше, куда под вой сирен карабкалась и я, внушало маме странную уверенность: «Они тебя загородят».

Интересно, как мама себе это представляла? Защитить даму от уличного хулигана – одно дело, а от падающей фугаски – не совсем то же самое.

В отличие от папы у меня не возникало ни малейшего желания развлекать моих собратьев по дежурству весёлыми байками. Не такое было настроение. Но особого страха я не испытывала. Пожары, действительно возникали то в одном месте, то в другом, но всегда далеко от места, где я находилась. К тому же я видела, что мы не беззащитны: по небу бегали и скрещивались лучи прожекторов, выискивая вражеские самолёты, подобно пальцам, ловящим комара. Гремели зенитки.

Когда я воевала с проникшей в мою комнату крысой, мне было значительно страшнее.

После того, как Воронеж был взят немцами, и они беспрепятственно двинулись к Волге, то есть к нам, – в Саратове началась паника. В организованном порядке его покинул МХАТ, двинувшийся в Среднюю Азию, где уже находилась значительная часть его актёрского состава. А многие – в неорганизованном. Например, наш зав.кафедрой русского языка Лукьяненко, декан Павловский вместе со своими семьями, хотя занятия в институте продолжались и им бы следовало оставаться на своих местах.

Общая паника захватила и дядю Бутю, который принялся настойчиво уговаривать маму бежать с ним в Заволжье.

– Снимем там в какой-нибудь избе комнатку, заведём кур, огородик...

(Несомненно, ему вспомнилось при этом бегство бабушки Юли вместе с Санатой в послереволюционные Шатки).

– А как я Марину брошу?

– Зачем её бросать? Купишь козу, у ребёнка будет молоко...

Какую козу? На какие деньги? Да и кто ждёт нас в тех местах, чтоб обеспечивать жильём, огородом, курятиной или хотя

бы хлебом? Здесь – в своём коллективе, среди своих я имею продуктовые карточки, столовку, молочную кухню для Ксаночки. Можно ли в моём и мамином положении пускаться в авантюру, лететь, сломя голову, неведомо куда, неведомо к кому... Да ещё взвалив себе на шею капризного и житейски беспомощного дядю Бутю?

Я тогда писала папе:

«Имей в виду, что твой свояк собирается похитить у тебя жену. Умчать её, как Хлестаков городничиху «под сень струй», убеждая в том, что «с милым рай и в шалаше». Как тебе нравится такая пастораль?»

Шутки шутками, но паника в городе росла неуклонно. Захватила она и многих моих соседей. Особенно евреев, хорошо осведомлённых, какая судьба ждёт их, если они окажутся во власти гитлеровской армии.

То вбежит ко мне Люба Жак и давай вопить, пугая Ксаночку:
– Бежать! Бежать! Куда угодно, но бежать! Немедленно!

То с такими же воплями ворвётся Белла Моисеевна Гейликман.

А Маргарите вздумалось меня ругательски ругать за то, что я несколько лет тому назад вместе с А. П. Скафтымовым помешала властям выслать её с дочкой в Казахстан вместе с немцами Поволжья.

– Ведь ты погибла бы на полевых работах! Они не для тебя!

– Это ещё неизвестно! А если Саратов разбомбят, – погибну наверняка!

Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то спешил на рынок – продавать вещи...

И вдруг, совсем для нас неожиданно, к нам ворвалась радость: немцы свернули с прямого пути и направились южнее – к Сталинграду, городу значительно более оснащённому военными заводами, чем Саратов.

Мы не были жестокими людьми, но невольно радовались, как празднику, этому известию, хотя и знали, чем это грозит мирным жителям Сталинграда и их детишкам. Стыдились этой радости, но она против воли нас охватывала.

Нашей радости способствовало и то, что постоянные воз-

душные тревоги в нашем городе почти прекратились, – немцам стало не до нас.

Началась та самая кровавая и длительная «Сталинградская эпопея», о которой ничего писать не буду, поскольку она достаточно ярко отображена нашей отечественной литературой во главе с Василием Гроссманом.

Мы, саратовцы, застыли в счастливом оцепенении, стараясь не думать о завтрашнем дне, а лишь благодарить судьбу за сегодняшний.

Мы живы! Мы уцелели! В нас никто не направляет смертоносных орудий, ничто на нас не обрушивается!

Состраданию мы научились значительно позже, когда к нам на баржах начали привозить раненых и изувеченных. Массами. В огромных количествах...

До этого я видела этих страдальцев лишь после того, как они, покинув операционные столы и больничные койки, могли, несмотря на свои увечья, улыбаться и общаться с людьми. Тяжело было на них смотреть. Но ещё страшнее – до кошмара, до ужаса, – когда возле госпиталя выгружались подобие мумий, с головами и руками, плотно обвязанными марлей, нередко окровавленной, а из-под этих повязок слышались то крики боли, то стоны, то хрипы...

Саратову понадобились новые здания для госпиталей. Средние школы перешли на трёхсменное обучение. Для больничных коек и оборудования использовались помещения давно пустовавших больших магазинов.

Пришлось потесниться и нам. Наше основное и наиболее близкое к нам здание, где раньше располагались административные службы и гуманитарные факультеты, тоже стало госпиталем, а словесники, историки и «французы» уплотнили физико-математиков и биологов.

Беда моя заключалась не в том, что мой путь на занятия и с занятий стал несколько дальше, а в том, что город был по-прежнему лишён освещения, и этот путь приходилось преодолевать в полной темноте, точно слепцам. Поэтому мы все, точно калеки, обзавелись тросточками, чтобы ощупывать тротуары. И как же мы при этом проклинали Янсюкевич за выры-

тые по её приказу никому не нужные рвы! Надо торопиться на лекцию, – а тут, изволь, обходи впотьмах яму за ямой, рискуя в любую из них свалиться!

Здания физфака не только тогда не отапливалось, но и не освещались. Поэтому на вечерних занятиях и лекторы, и студенты приносили с собой коптилки домашнего производства – стаканчики с ватным фитильком. Учебная комната начинала походить на поляну, полную светлячков, или на какую-то сектантскую молельню.

До учебных комнат надо было пройти по тёмным коридорам здания, к которому мы, гуманитарии, ещё не успели привыкнуть, и чувствовали себя в кромешной тьме, как в лабиринте, всё время обо что-то стучаясь, на что-то натываясь. Один раз чёрт занёс меня в анатомический кабинет, где под моими ладонями неожиданно очутились сначала рёбра, а затем и череп стоявшего там скелета.

Ощущение было не из приятных!

Когда я ходила в здание физфака в дневные часы, без необходимости держать в одной руке посох, а в другой – стаканчик с коптилкой, я забирала с собой пустое ведро, чтоб не ходить туда за водой вторично. Так же поступали и другие обитатели нашего дома. Характерная саратовская картинка тех лет: шествующий на лекцию доцент с портфелем в одной руке и с ведёрком в другой. Хорошо ещё, что не с коромыслом на плечах.

В городе становилось голодно-ватое. Хлеб у нас выдавался по прежним нормам, но был каким-то странным, – как будто ржаную муку прежде, чем пустить её в дело, смешивали с соломенной трухой и чем-то липким и малосъедобным, похожим на мокрую глину. В столовке начали ограничиваться лишь «волгой-волгой», лишив артистическую и научную элиту привычного второго блюда и «десерта» (жидкого чая). Таяли и наши домашние продуктовые запасы, а из моего когда-то роскошного приданого почти ничего не осталось для рыночного обмена. Да и на что мы могли менять вещи, если бы они у нас и были? Рынки опустели, никто ничего туда из колхозов уже не привозил, только городские старушки разводили на своих подоконниках лук и ещё кое-какую зелень.

Однако не это нас тревожило. Тревожил Сталинград. Он находился далеко, но в поздние часы, когда Саратов погружался во тьму и затихал, этот героический и трагический город становился видимым и слышимым, хотя и в форме едва уловимого зарева и гула. Когда я то с Шурой Вознесенской, то с Петрови-чем приходила на волжский берег (вода, как известно, лучше передает звуки, чем воздух), мы слышали этот гул, а на той черте горизонта, которая отделяла нас от Сталинграда, появлялось зарево, – даже на волжской поверхности слабо поблёскивало его отражение.

Ни Маргарита, ни Зеля меня никогда на этот ночной берег не сопровождали, говорили: «И без того страшно, – зачем же специально нагонять на себя больший страх?»

Разумеется, и мне тоже было страшно видеть это зарево, слышать этот гул. Но рука Петрови-ча была не менее выразительной, чем его улыбающиеся мне глаза. Когда он сжимал своей ладонью мою, мой страх проходил. Наперекор всему – и тому, что меня непосредственно окружало, и этому зловещему зареву, я чувствовала себя счастливой.

Я искренне горевала о бедном Коле, но не стала безутешной вдовой, поскольку Петрови-ч оказался первым человеком, убедившим меня в том, что я – не выродок, способный испытывать к мужчинам лишь тёплые дружеские чувства, а полноценная женщина, которой дано, – как это хорошо заметила Марина Цветаева: «...краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами». Поздно-ватое это ко мне пришло, но и Анна Каренина была не моложе меня, когда встреча с Вронским пробудила в ней подавленное до той поры женское начало.

Мои взаимоотношения с Петрови-чем были тогда вполне безгрешны, не из-за высоких побуждений, а поневоле: моя комната была настолько заселена, что Петрови-ч мог туда только «забежать» или «заскакать». Наши лирические встречи происходили лишь на вольном воздухе, поздним вечером, когда Ксаночка уже спала и никакая Янсюкевич ко мне не лезла то с одним, то с другим общественным поручением. Лирические встречи... Мне казалось, я была единственным человеком, способным радостно их переживать при виде далёкого, но страшного зарева.

Правда, если верить летописцам, и Нерон слагал песни, любуясь пожаром в Риме...

Неужели во мне было что-то родственное Нерону?

Дни бежали за днями. Недели за неделями. А раненых всё везли и везли... Казалось, сталинградскому кошмару не будет конца. А какой может быть конец? И газеты, и радиодикторы нас всячески обнадёживали, но от многочисленных раненых, через медперсонал к нам просачивались слухи совсем не утешительные. Мы узнавали о том, что весь Сталинград превращён в руины, заваленные трупами. Как он сможет устоять, а тем более собрать силы для контрнаступления?

Какие мысли лезли тогда в мою голову?

О том, что с нами будет после того, как Сталинград уничтожат.

Вряд ли немцы станут перебираться через Волгу, – уж слишком она широка, да и что им делать в заволжских степях? Скорее всего, они двинутся вдоль Волги. Но куда? Зачем им Астрахань и изолированное от океанских просторов Каспийское море? Иное дело – верховье с крупными, ещё не покоренными городами. Первый из них – Саратов. Значит, опять над нами нависла грозная туча, готовая нас уничтожить?

Разумеется, этими мыслями я ни с кем не делилась. Но и без моей подсказки многие думали то же самое. Даже городские власти.

Поэтому было отдано распоряжение: окружить Саратов с южной стороны цепью противотанковых рвов, мобилизовав для этого всё трудоспособное население.

Плохо было тем, кто копал эти рвы, в число которых попали и домашние хозяйки, и школьники старших классов, и студенты всех вузов и техникумов вместе с их педагогами, – городу стало уж не до учебных процессов. Меня, Клавдию Андреевну, Маргариту, Шуру и Зелю спасли от этой мобилизации лишь наши малыши.

Работать новоявленным землекопам надо было в тридцати километрах от городской черты, где их никто не обеспечивал ни жильём, ни питанием. Одежду и продукты они должны были забирать с собой. Согреваться кострами. Ночевать под открытым небом и на голой земле, в то время мокрой и холодной.

Правда, то же самое приходилось терпеть и фронтовикам, но у них всё же имелись и непромокаемые плащ-палатки и сапёрное снаряжение, с чьей помощью они могли соорудить себе землянки.

Трудовой фронт... В отличие от настоящего фронта, там не рвались на куски тела, не отрывались конечности, но всё же многие калечились. На всю жизнь. Возвращались домой – кто с ревматизмом, кто с ишиасом, кто с артритом. Всеволод Алавердиевич говорил, что многим студентам консерватории пришлось переходить в другие учебные заведения: люди с отмороженными пальцами или другими повреждениями рук не могли стать музыкантами, хроническая хрипота поражала потенциальных вокалистов.

Особенно плохо пришлось студентам и преподавателям нашего Пединститута вследствие преувеличенного, как всегда, усердия тов. Янсюкевич. Её традиционная формулировка «стыдно спасать свою шкуру» обрывала всяческие попытки мобилизованных на землекопные работы защититься от них врачебными справками. Лида Баранникова с детства болела ревмокардитом, а после «трудового фронта» с двадцативосьмилетнего возраста до конца жизни могла двигаться, лишь сильно хромя и тяжело опираясь на палку. У Аси Каганер были зачатки туберкулёза, а после ночёвок на холодной и мокрой земле её болезнь начала прогрессировать. Асе было тридцать с небольшим, когда она уже в послевоенное время умерла от так называемой скоротечной чахотки. То же самое происходило и на других факультетах.

Зато сотрудники Пединститута получили счастливую возможность полюбоваться крупной фотокарточкой тов. Янсюкевич на городской доске почёта, обтянутой алым кумачом. Эта доска была водружена в самом центре города, возле центрального входа в «Липки». На ней красовались «лучшие из лучших» из числа саратовских жителей, особенно прославившихся «доблестным трудом» в помощь фронту и для укрепления тыла.

За свои подвиги Янсюкевич была также награждена орденом Трудового Красного Знамени, а чуть позже – и орденом Ленина.

Порок не всегда бывает наказан, но добродетель всегда торжествует!

А противотанковые рвы? Они оказались столь же бесполезны, как и те «могилки», которые мы копали возле нашего дома, и в которых кроме нас самих так никто и не побывал. Окружить весь Саратов подобными рвами было бы невозможно, и если бы даже Сталинградская битва закончилась победой немцев, и им бы вздумалось вторгнуться в Саратов, разве укреплённая южная сторона их бы остановила? Подступили бы с другого бока, – только и всего.

Все далёкие от военных сфер бывшие советские граждане моего поколения помнят о том, какой неожиданностью и какой несказанной радостью была для них Сталинградская победа. Это можно себе представить, и я не стану об этом говорить. Всё равно я не нашла бы достаточно выразительных слов, сопровождаемых целым частоколом восклицательных знаков.

Все ликовали. Но особенно, как мне кажется, саратовцы и жители Камышина – небольшого районного городка на полпути от Сталинграда до Саратова.

Это было потрясение! Скачок из мрака к свету! И совсем не думали о том, что наши лишения ещё не исчерпаны, что впереди ещё будет бесчисленное множество смертей и увечий. Мысль о том, что наши войска уже не отступают, а наступают, – поглощала всё.

Я эгоистически не думала ни о тех, кому ещё предстоит сражаться и гибнуть, ни об их матерях и жёнах. И Москва осталась цела, и Саратов вне опасности... Это – главное.

За это судьба меня и покарала.

Хотя появления Петровича в моей квартире сделались для меня привычными, – я совершенно растерялась, когда он неожиданно предстал передо мной в солдатской гимнастёрке и шинели. «Что за маскарад?» – мгновенно мелькнуло в голове. Однако это был отнюдь не маскарад. Петрович сказал, что повесткой из военкомата его забирают в действующую армию, причём немедленно, – и он пришёл проститься со мной. Притом, забирают в качестве простого солдата-пехотинца, по-

скольку он никакой офицерской подготовки не имел, а в далёкие 1918–1919 годы был лишь красноармейцем – то есть не более чем солдатом.

Я сказала бы, что меня точно громом ударило, если бы это выражение вполне выражало моё тогдашнее состояние, не было бы столь банально.

Полная и страшная неожиданность! Петровичу тогда уже исполнилось сорок пять, а людей такого возраста в солдаты уже не брали, – лишь среди высшего командного состава встречались его сверстники, даже кое-кто и постарше.

От растерянности и горя у меня даже не возникло вопроса о том, как это могло случиться, почему всех его сверстников – хотя бы нашего общего приятеля Валерия Павловича Воробьёва – не трогают, а его вдруг сцапали...

Я ни о чём не спрашивала, ничего не соображала. Превратилась в растерянную бессловесную дуру, которая твёрдо помнила одно: ни вскрикнуть, ни заплакать мне нельзя, – ему и без моих истерик сейчас плохо, и Ксаночку – она была рядом – я не должна была испугать.

Даже никаких прощальных слов я не сказала пехотинцу.

А когда за ним закрылась дверь, – хлопнулась в обморок в первый и последний раз за всю мою долгую жизнь.

Сама не ушиблась, но испугала-таки Ксаночку, хотя меня ни на мгновение не покидала мысль о том, как бы это не случилось. На её крик из кухни прибежала мама и тоже не на шутку испугалась, увидев меня, как ей показалось, бездыханной.

Хорошо, что около меня были тогда и она, и Клавдия Андреевна Асеева, потом подросли и Шура, и Маргарита, Зеля, Лида Баранникова...

Великая сила – дружба!

Совсем недавно я разделяла с Маргаритой крушение её женских надежд и с Лидой Баранниковой – её материнское горе.

Теперь настала их очередь.

А потом я сама себя постаралась утешить: «Повестка – не похоронка.... Не всех убивают или калечат... К тому же (так казалось мне) отступающие враги – не так опасны, как рвущиеся вперёд».

Петрович попал в одну из тех дивизий, которая, сражаясь в Сталинграде, потеряла почти весь свой живой состав и при переходе от обороны к наступлению остро нуждалась в пополнении. Он впоследствии в дружеском кругу шуточно хвастался, что лично он никогда перед неприятелем не отступал и никаких позиций ему не сдавал. «Только двигался вперед и завоёвывал». Непосредственным командиром Петровича оказался наш общий коллега и хороший знакомый – доцент истфака Яков Майофи. Он быстро сообразил, что «деду» (так молодые солдаты называли старших по возрасту) не место в общем строю и прикрепил его к штабу их подразделения, где чаще приходилось брать в руки телефонную трубку или ручку, чем боевое оружие.

Такие штабы находились на фронтовой полосе, но всё же не в открытых окопах, а в землянках. Они обстреливались, но в рукопашных схватках участия не принимали. Поэтому Петровичу и посчастливилось сохранить жизнь и вернуться с фронта неискалеченным. Непосредственно участвовать в военных операциях ему приходилось не часто, – главным образом при так называемом форсировании рек, – то есть при водных переправах. Даже от лёгких ранений Петрович уберёгся, – не уберёгся только от контузии, которая не несколько дней сделала его глухим и пагубно отразилась на его зрении.

Провоевал Петрович до последнего дня Великой Отечественной, закончив свой боевой путь уже не рядовым, а старшим сержантом (старшиной). До офицерского звания так и не поднялся, но привёз с собой два ордена Красной Звезды и множество медалей – «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За отвагу» и т.п.

В чём проявлялась эта отвага? Петрович мне об этом не писал.

Однако я понимала, – особенно, когда смотрела на карту, что героическим был сам по себе путь пехотинца от Волги до Берлина по бездорожью, сквозь снега и весенне-осеннюю топь, даже если отвлечься от того, что это был не просто путь, а длинная череда боевых прорывов под артиллерийскими обстрелами.

Лишь спустя почти столетия со дня завершения Великой Отечественной войны, когда мы оба стали уже стариками,

я услышала от Александра Петровича о том, почему он неожиданно в явно не призывном возрасте попал на фронт, и поняла, что его облачение в солдатскую шинель само по себе было подвигом, поскольку он пошёл на фронт добровольно, не получив никакой повестки. В военкомат его не вызывали, а вызвали в НКВД, где ему было предложено (на языке того времени, а фактически это означало – приказано) вести наблюдение за супругами Скафтымовыми, в доме которых он часто бывал. Поскольку Ольга Александровна сравнительно недавно вернулась из ссылки, и она сама, и заодно и Александр Павлович считались людьми политически неблагонадёжными. Тем, кто отвечал за благонадёжность в городе, важно было узнать, кто у Скафтымовых бывает, какого типа разговоры там ведутся, и А. П. Медведев показался им наиболее подходящим лицом для подобного наблюдения и записей, – даже не в виде доносов, а объективного, отражающего характера, разбираться в смысле которых предстояло самим органам НКВД.

Попросту отказаться от такого поручения Петрович не мог: каждый, пытавшийся поступить подобным образом, сам попадал в число неблагонадёжных, то есть подозреваемых, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Единственным достойным выходом из, казалось бы, безвыходного положения Александру Петровичу показалось солдатчина, и он, не колеблясь, принял решение.

Короткими были и письма Петровича, и характерные для того времени треугольнички, которые доставляла мне полевая почта: фронтовики длинных писем не пишут. И лирики в них было мало, так же, как и в моих: мы оба знали, что фронтовая корреспонденция проходит сквозь военную цензуру, ещё более вьедливую, чем гражданская, а какая может быть лирика в присутствии посторонних глаз? Но каждое такое письмецо было для меня праздником. Правда, лишь в течение тех нескольких минут, когда я его вынимала из дверного ящика и распечатывала. Потом я невольно обращала внимание на дату отправки, и радость меркла от никогда не покидавшей меня тревоги: «Да, тогда-то Петрович был жив и невредим. Но с тех пор прошло столько дней... Что с ним происходит сейчас, в настоящую минуту?»

Чем дальше продвигался Петрович со своим подразделением на Запад, что само по себе было очень хорошо, тем дольше шли до меня его письма, и эти интервалы держали меня в постоянном страхе, хотя письма были неизменно бодрыми, а, главное, частыми. Глядя на карту, я мысленно видела на ней пунктир, тянувшийся от фронта до Саратова, каждая точка которого означала непрерывно идущие ко мне весточки. Петрович пользовался каждой свободной минутой, чтоб черкнуть мне хотя бы несколько слов своим мелким, как бы летящим почерком – очень неразборчивым, но который я быстро научилась схватывать глазами так же легко, как свой собственный.

Что касается меня, то я писала Петровичу ежедневно (буквально!) и на многих листках, за что военные цензоры, без сомнения, меня поругивали. Писала не только о себе и о наших общих друзьях, но и вообще о пединститутско-университетской жизни, зная о том, как всё это интересно моему адресату. Не скупилась на комические стороны нашего быта, чтоб вызвать у него улыбку и, по понятным причинам, избегала всего, похожего на жалобу, хотя иногда так хотелось поплакаться то на одно, то на другое. Знала – этого нельзя. Что бы ни происходило, – «Смейся, паяц!». Ведь Петровичу было несравненно хуже, чем мне в моём спокойном тылу, но он же не позволяет себе «хныкать». Мы оба прочли «Василия Тёркина» и во всём старались следовать этому образу.

43 © ПЕРВЫЕ САЛЮТЫ

После того, как в Великой Отечественной произошёл крутой перелом, и уже не мы то и дело «отходили на заранее подготовленные позиции», а фашисты под натиском нашего наступления отступали всё дальше и дальше от Волги, мы, саратовские жители, вполне могли сказать о себе, выражаясь стилем Янсюкевич, что нам посчастливилось «спасти свою шкуру».

Поскольку никакая сирена воздушной тревоги уже перестала гнать старых и малых в бомбоубежища, а средний воз-

раст – на крыши, нам через некоторое время было разрешено освободить наши окна от самодельных газетно-чернильных штор по прозвищу «затемнение», и мы с удовольствием сожгли их в печурках, предварительно со злостью растерзав их на мелкие клочья.

В холодное время года эти шторы нам не мешали, но в душные и жаркие летние вечера мы не могли из-за них приоткрыть не только окно, но даже форточку. Вероятно, с таким же чувством, освобождённые от дедовских законов жительницы среднеазиатских республик срывали со своих лиц паранджу.

Было приказано закидать землёй и выровнять наши так называемые «противовоздушные щели», которые ни разу никому не понадобились.

Этот приказ был выполнен охотно, с неподдельным «трудовым энтузиазмом», поскольку эти щели мешали нашим ребятишкам играть около дома, да и для нас самих в вечернее время были небезопасны. «Трудовой энтузиазм» подогревался и тем, что сбрасывать лопатами привезённую откуда-то разрыхлённую землю сверху вниз было значительно легче, чем подбрасывать вверх комья, предварительно отколупывая их от твёрдого, утрамбованного грунта.

Вернулся и в учебные аудитории и в наши жилища электрический свет, правда, по строгому лимиту, что, впрочем, не особенно нас удручало, поскольку при наличии печурок не было необходимости пользоваться электроплитками.

Хотя первые месяцы своей жизни Ксаночка провела при электрическом освещении, она успела о нём забыть и привыкнуть к тому, что я или мама подолгу возятся с маслом и ватой, налаживая наши коптилки. Когда мы стали вместо этого освещать комнату, притом значительно ярче, простым прикосновением пальца к кнопке, это показалось ей подобием циркового фокуса. Разумеется, ей очень понравилось самой многократно выполнять такой фокус, оказавшийся совсем не сложным.

Вернулись из своего затянувшегося отпуска и уличные фонари, но поскольку электрическое напряжение было ещё слабеньким, они замерцали таким робким конфузливим светом, как будто просили у прохожих прощения за свой затянувшийся «прогул».

Коридорная радиоточка, передававшая фронтовые новости для всей квартиры, не замолкала никогда, но заметно изменился могучий бас диктора Юрия Левитана, которому обычно поручалось сообщать всему Советскому Союзу самое существенное. Ещё недавно в нём звучало что-то общее со зловещим набатным колоколом, но после Сталинградской победы в этом голосе прозвучали торжественность и праздничность.

Однако настоящей праздничности я ещё не ощущала, поскольку война, хоть и отхлынула от города, где я жила, всё ещё бушевала в полную силу, калеча всё новые и новые тела, унося всё новые и новые жизни. Улицы были полны инвалидов, увечья которых ещё не маскировали протезы, – всё было напоказ, – и трагически контрастировали с лицами этих калек, часто совсем юными, почти мальчишескими, Страшно было видеть на многих этих лицах чёрные очки слепцов, как, например, на фото-снимках поэта Эдуарда Асадова – бывшего фронтовика.

К карте Европейской России и я, и все мои домашние подходили постоянно. Пока советские войска отступали, я не делала на ней никаких пометок. После Сталинградской победы начала. Всегда подходила к карте с ластиком и карандашом, внося поправки.

Наше общесемейное внимание к географической карте не ускользнуло от внимания Ксаночки и, вероятно, казалось ей необъяснимым, поскольку сама она не находила ничего интересного в большой непонятной картине, испещрённой многочисленными линиями и расплывчатыми пятнами различных цветов и оттенков. Обычно Ксаночка при виде чего-то нового или непонятного спрашивала: «А катэ это?» и, получив ответ, быстро запоминала название, понемножку овладевая речью.

Пришлось мне и на этот раз удовлетворять дочкину любознательность.

Такие названия, как «Москва» (красная звёздочка в самом центре), «Волга» (длинная синяя волнистая линия), «Крым» («Кым») и некоторые другие, тоже короткие, она запоминала. Другие оказались для неё длинноваты. Она сама произносить их ещё не могла, но узнавала, когда слышала их от других и безошибочно показывала пальчиком или палочкой, когда её спрашивали, где Ленинград, где Чёрное море, где Каспийское и т.д.

Однажды, когда ко мне зашли по какому-то делу двое моих коллег с исторического факультета, я шутки ради блеснула перед ними дочкиной географической эрудицией, которая произвела на них сильное впечатление: вот, оказывается, какой вундеркинд растёт в их доме!

Один из них по имени Айзик Авельевич решил, по моему примеру, воспитать вундеркинда из своего мальчугана, тоже двухлетнего. Но к своему конфузу, принялся тренировать его не как географа, а как историка партии (именно эту дисциплину преподавал он сам). Мальчишечка оказался способным и быстро усвоил то, чего от него требовал отец:

– Кто основатель нашего государства?

– Ленин.

– Кто предатель и изменник?

– Троцкий.

– Кто великий вождь?

– Сталин.

– Кто палач и злодей?

– Гитлер.

Естественно, что когда счастливого отца, навестило несколько человек, включая кого-то из числа районного партийного начальства, он не упустил случая блеснуть «идеологической подкованностью» своего отпрыска.

Но при виде незнакомцев, ребёнок растерялся и принялся отвечать на вопросы своего родителя невпопад. Получилось совсем нехорошо, и смертельно перепуганный папа, по словам его соседей несколько суток провёл в страхе: как бы за ним не пришли товарищи из соответствующих органов.

К счастью, ответственное лицо, в честь которого был организован столь неудачно состоявшийся спектакль, оказался человеком умным. Не на шутку перетрусивший Айзик Авельевич пострадал лишь в том отношении, что его соседи после того случая связали его имя и отчество воедино и за глаза прозвали его «Айзель», что по-немецки означает «осёл».

Наше наступление, между тем продолжалось, и вслед за посёлками и небольшими районными центрами процесс освобождения дошёл и до крупных городов.

Первым из них оказался Орёл, на что я даже отозвалась радостным четверостишием:

«Кто верит в вещей сон, в мистические числа,
А я – в созвучье слов, исполненное смысла,
Орёл крылат, могуч, для клеток не рождён...
Как празднично звучит: «Орёл освобождён!»

За Орлом последовал Харьков... Потом Киев... И так далее.

Каждый из городов освобождался после жестоких уличных боёв. Массами гибли бойцы всех рангов, а заодно с ними и мирное население. Старые и малые. Трагедия продолжалась. Но всё равно: весть о каждом новом освобождённом городе воспринималась как праздник.

И праздник этот, как в столице, так и во всех областных центрах, стало принято отмечать салютами в виде артиллерийских залпов и фейерверков.

Довольно жиденькими были эти залпы, – зенитки, которыми в былые дни защитники Саратова обстреливали вражеские бомбардировщики, звучали громче. И совсем невзрачными были фейерверки, не имевшие ничего общего с тем обилием форм и красок, которые сейчас вспыхивают на московском небе в праздничные дни, рассыпаясь на все цвета, подобно гигантским сказочным фонтанам. Фейерверки военных лет всего-навсего напоминали подброшенный вверх надувные детские шарики двух цветов – ярко-алого и ярко-зелёного. Никаких россыпей, никакого перелива оттенков. Но как мы ими любовались! Нам казалось, что нет ничего прекраснее этих шариков и их отблеска на снегу, если время было зимним, или на волжской шири. Всех нас выметало тогда на дворы или улицы, какая бы ни стояла погода. Особенно неистововали ребяташки всех возрастов – от младенческого до подросткового. Прыгали, плясали и во всю мощь своих глоток – и дискантовых, пронзительных, и басовых – вопили «Урра!»

Тогда и взрослые, судя по выражению их физиономий, готовы были и плясать, и вопить.

А на страницах «Правды» всё чаще и чаще стали появляться стихи К. Симонова, А. Суркова, А. Твардовского и многих других

поэтов – талантливых и не очень, но неизменно полных патриотизма, оптимизма и гневной жажды возмездия.

«Убей его!» – восклицал Симонов, имея в виду любого человека в ненавистной всем немецкой шинели. Ещё далеко было то время, когда мои сограждане осознали разницу между остервенелыми нацистскими палачами и теми немцами, которых гнали на фронт против их воли. Любой немец в нашем восприятии был злодеем и садистом, заслуживавшим самой жестокой расправы.

И я сама, и все, кто меня окружал, с жадностью читали тогда фельетоны Ильи Эренбурга, постоянно появлявшиеся в той же «Правде». В предвоенные годы мне не нравились романы и повести этого писателя, насыщенные набившими оскомину соцреалистическими штампами, но его проза военных лет резко от них отличалась. Она была гневной, страстной, иногда восторженной, иногда саркастической, – словом, полностью отвечавшей нашим собственным настроениям.

Чем дальше отходила война от Саратова, тем заметнее налаживалась работа в его учебных заведениях, включая и Пединститут. Янсюкевич заметно ослабила своё рвение, и нас, педагогов, так же, как и студентов, стали реже гонять на общественные работы, не имевшие к нам никакого отношения.

Ни землекопами, ни прачками, ни подсобными работниками в колхозах никто из нас уже не был. Вместо этого мы стали огородниками. Дело это для нашего большинства было непривычным, но всё же традиционно женским, не требовавшим непосильного мускульного напряжения. К тому же мы трудились не впустую и не для кого-то, а для самих себя, выхаживая картофель, морковь, свёклу и прочие дары природы для институтской столовой и для собственных семей: из общего котла кое-что перепало и отдельным членам коллектива, – в первую очередь тем, у кого были малые дети.

Первыми заслуженно получили земельные участки труженники военных заводов, в том числе Леночка. Потом очередь дошла до учреждений и учебных заведений.

Доставшиеся нам участки (заводским рабочим – получше, остальным – похуже) находились далековато от нас, но туда

и обратно возили в грузовиках, на которые я в те годы вскарабкалась без затруднений. Уставала, конечно, особенно когда приходилось низко гнуться при прополке и таскать воду для поливки, но кругом – свои и воздух свежий, деревенский. Приятно было и то, что когда я после недельного отсутствия возвращалась домой, Ксаночка бурно выражала свою радость.

Мы старались – и Леночка, и я. Каждая у себя. Однако наши труды были вознаграждены более чем скудно. Выращенные нами тыквы были не крупнее апельсинов, картошка своими размерами и сморщенностью напоминала грецкие орехи. В чём было дело?

Видимо, причин было немало. Во-первых, земля в окрестностях Саратова не отличалась плодородием, а никаких удобрений мы не имели, и никакой агроном нами не руководил. Во-вторых, погода в тех местах засушливая (как это нас радовало, когда мы были дачниками в Романовке!). В-третьих, потому, что начальником пединститутских доцентов был специалист по старославянской письменности – В. П. Воробьёв, правда, прослушавший где-то необходимый инструктаж. А главным образом, наша собственная неопытность и неумелость.

Тем не менее, без картошки и без тыкв приличных размеров я не осталась. Оперно-балетный театр ещё бездействовал, но драматический возобновил свою деятельность и даже открыл в своих стенах студию для воспитания актёрской молодёжи. Студийцев там обучали мастерству, пластике, гриму и многому другому, причём в программу входила и история театра – русского и зарубежного. Для чтения этих курсов пригласили Любу Жак и меня. Она начинала свои лекции от Фонвизина, я – от Шекспира. Гонорар за весь 1943–44 учебный год мы получили авансом в виде овощей – результата труда актёров, – в том числе народных и заслуженных.

Наша общая с этими актёрами столовая вернула нам наши вторые блюда и так называемый десерт – «бледную немочь». В какой-то мере ожили и рынки, но ни я, ни мама перестали туда заглядывать, поскольку никаких вещей для обмена у нас уже не осталось – мы владели лишь тем необходимым, что было на нас надето. Естественно, мы очень обрадовались, когда получили

маленькую посылочку от папы «через надёжного человека». Этим «надёжным человеком» была Нина Михайловна Чернышевская, приезжавшая из командировки в Москву и, как всегда, остановившаяся у Ёлкиных. Там были обручальные кольца старичков Яхонтовых и прочая золотая и серебряная мелочишка, унаследованная папой после их кончины. Это пришлось очень кстати, так как кормившая Ксаночку корова, и до этого не слишком дойная, перестала давать молоко, и мы получили возможность приобретать рыночное. Бедная скотинка, которую пришлось свезти на мясокомбинат! Она в течение всего года не знала ни зелёной травы, ни сена, кормясь лишь сухими листьями, которыми её владелица запаслась осенью на улицах, и картофельными очистками из помоек. Пожертвовав позолоченными дедушкиными запонками, мама помимо рыночного молока, купила и куриные потроха, из которых сварила лапшу для внучки (на целую курицу стоимости запонки не хватило). Мы обе с удовольствием смотрели, как ребёнок, которому надоели сплошные каши и кисели из концентратов, с аппетитом уплетает новое для него блюдо.

Одновременно с театрами и рынками в Саратове заметно ожила и научная жизнь, хотя «трудовой фронт» всё ещё давал о себе знать, то и дело переключая энергию учёных мужей и жён в сторону от науки. Кое-кто защитил кандидатские диссертации, в том числе и Зеля, после чего она немедленно получила должность старшего преподавателя в объединённом Ленинградско-Саратовском университете, где специалистка по древнерусской литературе скоропостижно скончалась, хотя была ещё молода (такое нередко происходило с бывшими блокадниками).

В нашем густо заселённом доме было полно малышей. Если погода позволяла, эта голосистая малышня высыпала на двор, к счастью, уже свободный от дурацких «противотанковых щелей». При самых маленьких были в основном бабушки, а иногда и мамы, когда у них выкраивались свободные часы.

У старушек были свои разговоры, у молодых мам – свои, причём Бэла Моисеевна Гейликман охотно меняла своих сверстниц на нашу компанию и оживлённо включалась в нашу беседу. Зеля, по её словам, росла здоровым ребёнком, только

«сопельки у неё часто текли», а вот «Боренька» родился болезненным. То он «понощиком страдал», то «газики пучили его животик», то «слюнки из ротика всё время текли». Наша почтенная и словоохотливая собеседница делилась с нами воспоминаниями и о том, как она ставила «Бореньке» клизмочки и прочищала ему ватой носик или ушки.

Этот «Боренька» или, иначе говоря, Борис Товьевич Гейликман был нашим сверстником. В армию его не забрали по состоянию здоровья, – видимо от действительно «родился слабеньким». Так же, как его мама, он тоже любил включаться время от времени в общество молодых мамаш, чтоб поболтать и пофлиртовать то с одной, то с другой. Всерьёз он ни за кем не ухаживал, но немножко кокетничал и позировал, напуская на себя некоторый оттенок романтизма. Молодые дамы тоже охотно флиртовали с Борисом: он был недурён собой, да и скучали они по обществу мужчин, которых в нашем доме осталось совсем мало.

Бедный доцент был бы очень смущён, если бы знал, о каких деталях его биографии любила рассказывать его родительница.

Игры девочек, которых мы выводили на прогулку, были традиционными: скакалки, мячики, возня с куклами. Но у мальчишек, которые держались отдельно, была своя игра, характерная именно для тех лет, – игра в войну.

Всякий валявшийся во дворе хлам превращался для них в боевые орудия, начиная от артиллерии и танков, а сами они разделялись на «советских» и «фашистов». Среди тех, кто был постарше и посознательнее, желавших становиться «фашистами» не находилось. Поэтому эту роль поручали малышам-несмышлёнышам, которых не обижало то, что их то и дело заставляют «сдаваться в плен» с воздетыми вверх руками и зажимают в какие-то сарайчики. То обстоятельство, что старшие, как равных, принимают их в свою игру, не пренебрегая ими, им нравилось само по себе.

Обижались только мамы этих малышек:

– Зачем вы посадили Вовочку в люк?

– Потому, что он – Гитлер!

– Какой он Гитлер? Он – Вовочка!

– Был Вовочка, сейчас он – Гитлер.

Иногда пренебрегая дворовой компанией, я водила Ксаночку в «Липки», где было значительно больше зелени, да и ребяташек её возраста побольше. При этом я обратила внимание на то, что девочки Ксаночкиного года рождения сплошь назывались Наташами, а мальчики – Андрюшами: несомненный признак того, что с началом войны многие перечитывали «Войну и мир».

Всё дальше отходила от нас линия фронта... Всё чаще гремели салюты под восторженные вопли ребятни... И вот я уже отцепила карту Европейской России, которая мне так долго служила и вешаю на её место другую – карту Европы.

Это знак того, что война уже перешла за границы СССР и идёт на чужих землях, предвещая победу.

44 © ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ

Безгранична была радость Всеволода Алавердиевича, когда осенью 1944 года было объявлено, что Московской Консерватории в полном её составе приказано вернуться «на круги своя».

Неожиданностью для него это не было: ещё раньше, согласно такому же распоряжению, покинул Саратов МХАТ и некоторые другие учебные и творческие коллективы, – именно коллективы, поскольку в военные годы дальние железнодорожные передвижения для отдельных лиц были запрещены, если, разумеется, кандидат в пассажиры не ехал в командировку со специальным заданием, имея при себе соответствующий документ.

Всеволод Алавердиевич так истосковался по привычной ему московской обстановке, особенно по роялю, на котором он в свободные минуты всегда что-то наигрывал, что весть о скором возвращении (его точно сбрызнули живой водой) полностью переродила. Наши соседи изумлялись: они привыкли ежедневно видеть перед собой мрачного старика, который ни с кем из них не общался, даже не здоровался, а нахохлившись,

как сыч, неподвижно сидел в углу, и вдруг перед ними предстал кто-то улыбочивый, суетливый и постоянно распевающий что-то бравурное, почти плясовое, да ещё прекрасным тенором – самому Лемешеву подстать. Эстетические вкусы Всеволода Алавердиевича побуждали его придерживаться одной лишь классики, но классика классике – рознь!

Очень бравурно звучали в его исполнении песенка герцога из «Риголетто» («Сердце красавицы склонно к измене...») и серенада Арлекина из «Паяцев» («О, Коломбина, бедный, нежный Арлекин...»).

Вместе с Всеволодом Алавердиевичем вернулась в Москву и Леночка, вписанная в его эвакуационное удостоверение как «член семьи».

Нашу квартиру Леночка застала в крайне запущенном состоянии и с первого же дня энергично взялась за ведро и тряпку. Ни папа, ни Саната с этими орудиями труда обращаться не умели, а Нине – здоровье не позволяло. Затем Леночка взяла в свои руки папино пропитание, одновременно подав документы в Институт машиностроения, куда её приняли без экзамена на основании диплома об окончании техникума и блестящей характеристики, которую ей выдал саратовский завод.

А Всеволод Алавердиевич по старой памяти объединился с Санатой, не успев, видимо, осознать того, что общее хозяйство с бабушкой и Санатой – это одно, а с одной Санатой – это совсем другое. Хотя саратовская столовая «для научных работников» и мамыны скудные похлёбки отучили его от разборчивости, он быстро заметил, что Саната, как повар, ниже всякой квалификации и при первом удобном случае нанял домработницу, оставив Санату при себе просто как опекаемую. По старой памяти и потому, что её спальня по-прежнему служила ему столовой.

За всё время нашего отсутствия о папе заботилась Нина. Она сама себя содержала, имея рабочую карточку в качестве обувщицы-надомницы (шила тапки для военных госпиталей) и имея при этом частную клиентуру (вязала заказчикам из нитей распушенного шерстяного старья новые джемперы и кофточки). У папы с Ниной не было общего стола, но она следила за тем, чтоб он был своевременно пострижен, побрит, обстиран

и отглажен. Лена получила его из Нининых рук в благообразном виде, но поразились: до какой степени он постарел и исхудал за минувшие четыре года.

Мне думается, что у папы был ещё более измождённый вид, когда ещё были живы его родители и бабушка Юля: ему тогда приходилось урезывать свой научный паёк (равный рабочему), чтобы и их подкормить. Иногда он был вынужден что-то давать и Марии Алавердиевне, хотя никаких обязательств по отношению к ней не имел и нежных чувств по отношению к ней никогда не испытывал. Просто не мог слышать, как беспомощная старуха бормочет, обращаясь уже не к нему, а в пространство: «Мне бы хлеба... Мне бы супчика горячего...»

Когда Всеволод Алавердиевич и Леночка вернулись домой, наш дом уже имел и отопление и освещение. Пока ни того, ни другого не было, Нина спасалась от холода и мрака в больнице, папа – у себя на работе или в Пушкине, у старичков. Некуда было бежать только Санате, которая, как и при бабушке, плотно закутывалась во всё, что попадало под руку.

Фраза, которую часто твердила бабушка, «без меня Саната погибнет» была близка к осуществлению. Но не осуществилась.

Ангелом-спасителем Санаты стала наша соседка из 9-ой квартиры – Лидия Викторовна Варавка.

Эта старая девица почти такого же возраста, как Саната, в молодости была страстной социал-демократкой, готовой положить жизнь за народ и вообще за хороших людей. В этой среде она познакомилась с Горьким, который воспользовался её именем и фамилией, дав их героине романа «Жизнь Клима Самгина», хотя во всех других отношениях эта литературная героиня на живую Лидию Варавку совсем не похожа. Настоящая Лидия Варавка до Октября всласть насиделась в царских тюрьмах, поскольку была эсеркой, а после Октября – в советских – за то же самое. Лишь её пол и возраст спасли Лидию Викторовну от расстрела, но сильно поубавили её революционность и народолюбие. Возненавидев сначала буржуев, а затем пролетариев со всеми их идеологиями, она прокляла всё человечество, отдав всю свойственную ей пылкую нежность бродячим кошкам, которых постоянно подбирала и кормила. Даже, по её словам,

когда какой-нибудь кошке приходилось рожать, «накладывала ей щипцы» (не знаю, какие именно) по всем правилам ветеринарной науки (которую никогда не изучала), после чего «бедные котятки» часто гибли, да и сама кошка начинала с трудом волочить задние лапы.

Лидия Викторовна любила говорить, что люди – самые гнусные и жестокие твари из всех живущих на земле существ и что ей нет до них никакого дела, – «пусть пропадают от собственного зверства и идиотизма». Однако, обладая от природы отзывчивым сердцем, она, наперекор самой себе, нередко заботилась о тех, кому была нужна забота.

Не оставила она без внимания и Санату. Нашла для неё временную жиличку – художницу-графика, книжного иллюстратора, которой надо было где-то пристроиться в ожидании комнаты, обещанной ей книжным издательством, где она работала. Лютая зима 1941–42-го уже сменилась весной, в течение следующих военных зим наш дом, хоть слабенько, но прогрелся. Поэтому и Ребикову – так звали художницу – удовлетворила Санатина комната, и Саната, временно переселившаяся в Леночкину маленькую, была рада. Жиличка платила ей не деньгами (ничего не стоили тогдашние деньги, если они не были четырёхзначными!), а готовым питанием: что варила для себя, тем дважды в день делилась с Санатой.

Ребикова была деликатной интеллигентной дамой, у которой быстро сложились добрые отношения и с Ниной, и с моим отцом. Папа не прощал ей лишь того, что она, имея чистокровную борзую, обращалась с ней, как с болонкой: принуждая красавицу сутками неподвижно лежать на комнатном коврикe и довольствоваться короткими прогулками на коротком поводке. Ребикова нежно холила свою борзую, даже целовала её, но папа говорил, что такое обращение с быстроногим охотничьим псом более жестоко, чем плеть или удавка: «Какого чёрта ей понадобилась борзая? Неужели другой породы не нашлось?»

Обеспечив Санату питанием, Ребикова позаботилась и о том, чтоб она смогла сменить скудный иждивенческий паёк на донорский, не уступавший рабочему. С этой целью она привела Санату на донорский пункт, где сдавала кровь и сама.

Война продолжалась, количество раненых росло, и потребность в доброкачественной крови была очень велика. У Санаты, несмотря на возраст (пятьдесят с хвостом), кровь оказалась доброкачественной: недаром бабушка всю жизнь её откармливала всевозможными полезными продуктами.

Саната была рада тому, что по донорским карточкам начала получать и что-то сладкое, и что-то молочное. Но основной её радостью стало то, что она впервые в жизни ощутила себя полноценным человеком, к тому же человеком, выполняющим важную государственную задачу.

«Я помогаю фронту», – любила она говорить.

Когда вернулась Леночка и заняла свою комнатку, Санате пришлось вернуться в свою, расставшись с Ребиковой. Ребикова расставалась с нашей квартирой дружелюбно, благо та же Л. В. Варавка присмотрела ей другое временное жильё.

Значительно менее дружелюбно было расставание обитателей этой квартиры с другой нашей жиличкой – Катькой (более уважительного именованья эта особа не заслуживала).

Катьку – девицу двадцати пяти или чуть постарше – вселили к нам по временному ордеру после того, как её дом в Земледельческом переулке сильно пострадал от сброшенного сверху фашистского снаряда. Папа впустил её в дальнюю комнату с окнами на север, мою и мамину, не догадавшись предварительно вынести оттуда антикварную мебель, пианино и голубой ковёр. А впрочем, куда бы он мог это втиснуть?

Все эти вещи героически перенесли зимнюю стужу, но Катька сделала всё возможное для того, чтобы их изгадить.

По профессии Катька была вагонным проводником в поездах дальнего следования и по несколько дней или даже недель с небольшим проводила на работе, после чего она на такой же срок получала отгул. Этот отгул она использовала в качестве путаны самого низкого разряда. Папа заметил, что Катьку никогда не посещали офицеры и люди в приличных гражданских костюмах. Зато солдатские гимнастёрки, а иногда и матросские бушлаты вламывались в нашу квартиру то небольшими группами, то поодиночке в любое время суток. Впрочем, если это происходило по ночам, вся квартира, вплоть до глуховатой Са-

наты просыпалась от громких стуков и не менее громких пьяных голосов. Воздух в квартире насыщался сплошным матом и густым махорочным дымом, совсем не полезным для Нины, да и для остальных тоже.

Злосчастных коренных жителей квартиры №10 утешало лишь то, что Катькины отгулы сменялись рабочими днями, – то есть днями её отсутствия – и тем, что у них на глазах ремонтники проводили в порядок домик, где она жила, – верный знак того, что их страданиям виден конец.

Однако, получив уведомление о том, что она может вернуться в свою собственную отремонтированную комнату, Катька нагло заявила: «Никуда я отсюда не поеду. Мне здесь больше нравится!»

Все ужаснулись, тем более что именно в это время вернулись в Москву дядя Бутя и Леночка. Папа не мог допустить, чтоб молодая девушка жила рядом с путаной – попросту говоря, в солдатском борделе. Дядя Бутя громко возмущался: «Ко мне не сегодня-завтра консерваторские студенты начнут приходить! А здесь – кабак! Публичный дом!»

Далеко не идиллическими были взаимоотношения коренных обитателей нашей квартиры: Всеволод Алавердиевич продолжал злиться на Нину, «отнявшую у него его кабинет», заодно и на папу за то, что он этой злобы не разделял. Сана-та, хоть и находилась на попечении Всеволода Алавердиевича, старалась по бабушкиным заветам, не просто смотреть на него, а «грозно взирать». Однако стремление выгнать нахальную Катьку всех объединило.

Исковое заявление в нарсуд подал, естественно, папа – законный владелец жилплощади, на которой она поселилась. Свидетелей, желавших его поддержать, нашлось много, поскольку на шумных Катькиных клиентов давно обратили неблагосклонное внимание и обитатели других квартир, в чьи двери её клиенты тоже иногда били кулаками, спяну перепутав этажи. На судебное заседание пришёл «весь дом», – как написала нам Леночка.

Ни папа, ни Катька никаких адвокатов не брали: и истец, и ответчик были убеждены в том, что и без чужой помощи от-

стоят свои интересы. Но папа воспользовался добрым советом Якова Николаевича: делать упор не на свои ущемлённые жилищные права, а на предосудительный образ жизни ответчицы. И выиграл дело быстро и легко, благодаря тому, что его заявление совпало с тем, что тогда выдвигалось в нашей стране на первый план.

Наши так называемые органы никогда не бездействовали. Работы им всегда хватало. Но точно так же, как менялись их названия (ЧеКа, ГПУ, потом НКВД, МГБ и т.д.), менялись и основные мишени для ударов. То основными врагами советского государства становились безобидные поволжские немцы, позже – евреи (преимущественно, в белых халатах), то мракобесы-попы, то поборники научной генетики, то тунеядцы, типа поэта Бродского, то, наоборот, чрезмерно хозяйственные мужички. Охота на «врагов народа» ни на минуту не прекращалась, но менялась согласно моде, подобно ширине брюк или длине платья.

В середине сороковых мода на вылавливание и строгое наказание обратилась на проститутток. Понятно, почему она возникла: надолго оторванные от своих законных жён молодые мужчины были падки на соблазн, соблазнительницы находились, а это «разлагало армию», которой тогда подобало сосредоточить все свои помыслы на разгроме фашистской Германии.

Катька видимо плохо разбиралась в государственной стратегии и тактике, поскольку на вопрос судьи – действительно ли она виновна в том, в чём её обвиняют, ответила гордо и с достоинством: «Гражданскую шпану я к себе не подпускаю, а сплю только с защитниками нашей родины».

Этим она себя и погубила! Оказалась именно той дичью, которую особенно яростно отстреливали тогдашние охотники. Гражданское дело обернулось уголовным, и упрямыцу, не желавшую переехать из Неопалимовского в Земледельческий, отправили вообще из Москвы в далёкие края.

Выигравший дело истец мог бы ликовать, но он вернулся домой удручённым, точно Нехлюдов после осуждения Катюши Масловой: он совсем не желал такого оборота и винил себя за то, что «искалечил жизнь бедной девчонке». Нина и Яков Николаевич с его адвокатским красноречием не без труда убе-

дили папу в том, что Катька сама схлопотала себе высылку, и уж не так горька её судьба сравнительно с теми, кто в те дни воевал или тревожился за своих сыновей и мужей, попавших «в горячие точки».

Подобно дяде Буте с Леночкой в наш московский дом возвращались и другие эвакуированные, – одни раньше, другие позже.

Не замедлила появиться и Лилька. В дни массового бегства из Москвы она примкнула к какой-то организации, назвав себя специалистом профессии, которая была им нужна, и спаслась от обстрелов в каком-то узбекском городе. Об этом периоде своей биографии Лилька рассказывала скупно, поэтому я ничего толкового о нём сказать не могу. Знаю только, что без продовольственных талонов она не осталась, поскольку всё время работала, вернее, числилась работающей, каждую неделю прыгая из одной организации в другую. Куда-то её взяли даже в качестве ремонтника автомашин, хотя до этого Лилька даже издали не видела ни одного автомобильного устройства. В военные годы директорам было дано право, подобно крепостникам-помещикам, не отпускать на волю людей, работавших под их началом, но Лильке, по её словам, «везло», – все её отпускали охотно, без возражений.

Вернувшись в Москву, Лилька не замедлила явиться к нам в прежнем своём мальчишеском облике (кепка, брюки, куртка) и на мгновенье расстроилась, узнав, что мамы в Москве нет. Ни папа, ни дядя Бутя, ни Нина её не приветствовали, но оставалась Леночка, которую Лилька объявляя своей кухней и которая не посмела её выпроводить из уважения к её тётке – Евгении Михайловне Малюгиной (будущей «бабе Жене»), хорошо к ней относившейся. Была ещё и Саната. Этого оказалось достаточным для того, чтобы Лилька по-свойски расположилась на знакомом ей сундуке.

Леночка из-за своей студенческой занятости успевала что-то наскоро сготовить лишь для себя и для папы, причём продукты тогда ещё выдавались по строгой норме. Поэтому, хотя она Лильке в ночлеге не отказывала, но на свою шею сажать не стала. Однако при посредстве Санаты ей подвернулась дру-

гая шея – Всеволода Алавердиевича, о чём он и не подозревал, иначе не потерял бы этого.

Его домработница была приходящей – вернее, забегающей, поскольку работала на производстве и была матерью семейства. За её торопливость папа её заглазно прозвал «забегаловкой». «Забегаловка» наскоро что-то стряпала или разогревала вчерашнее и, сполоснув посуду, после трапезы хозяина и его свояченицы, торопливо убегала. Ни она, ни дядя Бутя не догадывались о том, что этими обедами с Санатиного разрешения кормится и Лилька, являвшаяся только по вечерам, когда «забегаловки» уже не было.

Не стеснялась Лилька пользоваться и теми сладостями и жирами, которые получала сама Саната по донорской карточке. Буквально сосала её кровь, паразитка!

В то время, как Москва заметно наполнялась бывшими эвакуированными, Саратов их лишился. Уехала Женя Калашникова, оставив меня с одной Асей. Уехали Гейликманы и Лихтманы, поскольку и Борис и уже оправившийся после своего тяжёлого ранения Володя получили приглашение на работу, причём в тот же научный институт. Причём Борис умыкнул с собой старшую дочку Анастасии Гавриловны Пенцовой Наташу. Когда я её впервые увидела, она была ещё школьницей выпускного класса, но за годы войны успела стать красивой взрослой девушкой и даже окончить филфак университета.

Зеля радовалась возвращению в родные места, хотя это возвращение положило конец её успешно начатой научной карьере: уволившись из Университета, она в Москве работы не нашла, до конца своих дней оставшись домашней хозяйкой при муже. Правда хозяйкой высокой квалификации в области как кулинарии, так и кондитерских изысков.

Настало время и Ленинградскому университету возвращаться восвояси. Не знаю, как другие факультеты, но наш литфак прощался со своими ленинградскими коллегами с грустью. Особенно грустно было мне. У специалистов по русской литературе оставался их кумир – А. П. Скафтымов, – да и сами они представляли собой слаженный коллектив. А при мне оставалась лишь Ася, симпатичный человек, но... Она даже конспек-

та лекций составить не умела, мне пришлось подарить ей мои первоначальные, а потому подробные: она их попросту читала вслух. Не отлепляя глаз от тетрадок.

Ася смотрела на меня с таким же почтением, как скафтымовские воспитанники на Скафтымова. Был человек, которому я могла чему-то научить, но мне хотелось и самой учиться у тех, кто этого заслуживал.

Когда Ленинградский университет находился в Саратове, такая возможность у меня была.

Наш литфак был тесно связан с литфаком Ленинградского университета дружескими и в некоторых случаях и семейными узами. Когда Саратовский университет был слит с Ленинградским, – и мы находились тут как тут. Всем своим составом являлись на заседания их литературоведческих кафедр, слушали доклады, участвовали в прениях и теоретических дискуссиях. Это было особенно важно, потому что именно тогда – в сороковые годы, советское литературоведение начало отходить от вульгарного социологизма (кто из писателей идеологию какого класса выражает) и больше внимания уделять художественному слову и проблеме творческого взаимодействия писателей.

Мне казалось тогда, что я прохожу вторую аспирантуру, более высокую и усовершенствованную, чем первая, и это меня радовало.

Помимо этих заседаний, литературоведы объединённого университета организовали и лекторий для широкой публики, – в основном, имея в виду учителей-словесников, старших школьников и библиотечных работников.

Профессор Г. А. Гуковский читал в этом воскресном лектории цикл «Русская лирика XVIII и XIX веков», профессор М. П. Алексеев (тоже ленинградец) – «Зарубежные связи русских классиков, А. П. Скафтымов – «Философскую и моральную сущность романов Л. Толстого».

Шура Вознесенская усердно посещала все три цикла, а вместе с ней и я. Университетский городок был далеко от нас, но ничего – бегали, взявшись под руку по неочищенным от снега и льда тротуарам. Ни Маргарита, ни Зея, и вообще никто из моих институтских коллег к нам не присоединялся, отвечая на

мою агитацию, что вузовским доцентам не подобает слушать публичные лекции, этим они роняют свой авторитет – «перед публикой неудобно». Но меня это не смущало.

Далеко не всегда эти лекции открывали для меня что-то новое. Да и к чему мне, зарубежнице, Пушкин и Толстой, читанные и перечитанные в студенческие годы?

Дело в том, что меня привлекали не столько факты, уже знакомые мне, а их трактовка, мастерство лекторов, их характерные приёмы.

Если в пединститутах будущих учителей и теоретически, и практически обучают методике преподавания, то в аспирантуре методика уже никого не интересует. Были бы знания, а как ты, завтрашний доцент, будешь передавать их другим, – это уже твоё дело. Выпутывайся, как знаешь. А разве организация лекционного материала или семинарских занятий не требует сноровки? Если ты начнёшь попросту излагать факт за фактом, как бог на душу положит, не акцентируя внимания на главном, не уделяя внимания логической последовательности, – кому будет интересно тебя слушать?

Как увлекательно рассказывал М. П. Алексеев о многообразии байронических мотивов у непохожих друг на друга русских писателей! Или о русских «Фаустах», прячущихся под разными именами и одежаниями!

Гуковский и Скафтымов читали лекции по-разному. В этом то и была их ценность – сравнивай, выбирай, комбинируй! Слепое подражание – ни к чему, а присмотреться, прислушаться – ох, как это интересно! А главное, полезно.

А. П. Скафтымов (недаром Маргарита прозвала его «Надзвёздным») всегда смотрел не на слушателей, а как бы вдаль, поверх их голов, как бы не замечая их присутствия, как бы беседуя сам с собой исповедальным, проникновенным голосом, идущим из тайных глубин его души. Создавалось впечатление, что он говорит не о писателе, а о чём-то своём, интимном, привлекая художественный текст лишь для образного воплощения этого интима. Создавалось впечатление, что все толстовские персонажи – и привлекательные, и совсем наоборот – близкие ему люди или даже он сам со своей внутренней борьбой и ду-

шевыми смутами. Казалось, что он нам ничего не сообщает и не объясняет, а сам перед собой исповедуется. А фактически – и сообщая, и объясняя. Своеобразным путём.

А Гуковский с его экспансивностью был похож на дирижёра оркестра, – даже жестикуюлировал он точь-в-точь как дирижёр, – только палочки в руке не держал. Аудиторию он всё время держал в поле зрения, а так как эта аудитория была разношёрстной – от школьников до кандидатов наук, – то он и обращался к нам, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, как дирижёр к оркестрантам. То он серьёзным тоном излагал серьёзные мысли, ориентируясь на наиболее умудрённых, то вдруг подбрасывал слушателям подходящий к случаю анекдот или шутку, вызывающую, как пишут в протоколе собраний, «оживление в зале». И утончённые скрипки, и трубы, и тяжёловесные контрабасы, и литавры, которые без сильного удара не зазвучат, – всё откликалось на эти дирижёрские приёмы, всё становилось ему подвластно.

Совместные заседания кафедр с докладами и обсуждениями продолжались и после отъезда ленинградцев, но какими они стали тусклыми и неинтересными, тем более что и саратовские научные кадры были представлены не в прежнем своём составе. Не было Коли, не вернулись ещё Петрович с фронта, ни Евграф из своего подмосковного гарнизона. Сплошные дамы!

Помню, как у нас чуть не провалился вечер, посвящённый юбилею Фонвизина, который намечался как широкое мероприятие с приглашением студентов и коллег с других факультетов – специалист по литературе XVIII века Ефим Тимофеевич Павловский заболел, а все прочие заупрямились, ссылаясь на то, что они по литературе этого столетия не специалисты. Мне думается, – каждый без труда мог бы выступить, но никому не хотелось тратить время на подготовку, вот и кивали они один на другого: Маргарита на Пенцову, Пенцова – на Щеглову... Пока шли споры в докладчики напросился пединститутский зав.кафедрой русской лингвистики профессор Александр Митрофанович Лукьянченко. И какую же скуку он навёл на всех, когда, пренебрегая смыслом и сюжетом «Недоросля», начал разбирать соотношение существительных, глаголов, наречий

и прочих частей речи в этой комедии и перечислять характерные для Фонвизина префиксы и суффиксы... Студенты начали понемногу расходиться, а я разразилась эпиграммой, которую тайком передала председательствующей Софье Алексеевне Щегловой, побудив её, нарушая приличия, громко фыркнуть к негодованию докладчика.

«Фонвизину реванш достойный дан, –
Доклад унылый затянулся за ночь:
Фонвизиним осмеян Митрофан,
За то его угробил Митрофаныч.
А в роли председателя собрания
Томится Софья, полная страданья,
И тщетно ждёт, преодолая сон,
Чтоб спас её какой-нибудь Милон».

Всем нам было жаль, когда ленинградцы от нас уехали. А они, вероятно, скучая по своему городу, были рады туда вернуться.

Однако многие из них вернулись совсем не на радость себе. Вскоре в Ленинграде начался очередной политический процесс, в результате которого ректор университета Вознесенский был расстрелян как враг народа. Та же участь постигла и некоторых других приближённых к нему людей, а менее приближённые отделались арестами. Но это совсем не означает того, что они избежали смерти. Некоторые, – например Григорий Александрович Гуковский, автор многих книг и блестящий лектор – скончался во время допроса. Ему тогда было сорок восемь. Видимо, организм недавнего блокадника недостаточно окреп для свалившегося на него нового испытания.

Если даже в голодном 1942 году наш литфак не поскупился на организацию совместного обеда в честь ленинградских коллег, то и проводили мы их подобным же образом, тоже в складчину, значительно лучше первого. Во-первых, мы за минувшие два года сблизились, поэтому чувствовали себя более приятно, более непринуждённо, во-вторых, и самый стол был иным, почти не хуже довоенного. И вино на этот раз удалось достать, и у каждого из нас, кто обладал учёной степенью, имелся «второй фронт».

Что тогда подразумевалось под понятием «второй фронт»?

Известно, что во время нападения фашистской Германии на Советский Союз США и Англия были нашими союзниками, обязанными вместе с нашей страной сражаться против общего врага. Известно также, что эти союзники не спешили с этим, предпочитая, чтоб одинаково ненавистные им коммунисты и фашисты уничтожали друг друга без их участия. Второй фронт – то есть их военное вторжение состоялось лишь тогда, когда победа СССР стала несомненной, и для них стало важным после этой победы урвать кусок и для самих себя. Союзники медлили. Но когда эта медлительность начала вызывать серьёзные и опасные для них нарекания с советской стороны, они взялись помогать СССР активно, не щадя жизни своих вооруженных сил. А именно – посылать в СССР продуктивное довольствие. Какое-то время оно и было заменой второго фронта. Отсюда насмешливое название.

Так называемый «второй фронт», разумеется, доставался не всем категориям советских граждан, но научные работники с учёными степенями попали в число избранных. Многие в этих посылках нас обрадовало. А больше всего то, что было наиболее питательно: свиная тушёнка в килограммовых банках и яичный порошок.

В благополучное время никто не гоняется за жирным мясом, и обычно при покупке ветчины или буженины всех привлекают куски с меньшим количеством жира. В голодное время всё было наоборот. Чем мясо жирнее, – тем лучше.

В честь уезжавших ленинградских коллег наши поварахи не поскупились ни на жирную американскую свинину для борща, ни на яичный порошок для бисквитного торта.

Очень обрадовалась этим продуктам мама, тратя их как можно экономнее. Ведь действительно, для людей, привыкших к постному и безвкусному, даже крошечная примесь копчёной жирной свинины к картошке или каше превращало это блюдо в деликатес.

А папе, к сожалению, благоразумия не хватило. На первую же откупоренную им банку тушёнки он набросился с таким зверским аппетитом, что в ту же ночь корчился от жестоких

печёночных колик, да и потом, в течение долгих лет, страдал печенью, хотя жирного уже избегал.

Возвращались к разговору о «перелётных птицах», целыми стаями покидавших Саратов на радость местным жителям, чьи жилища они уплотняли.

Давно пора было вернуться и маме. Она скучала о папе, с которым никогда раньше на такой долгий срок не разлучалась, скучала вообще о Москве и о московских друзьях.

Но её упорно, под разными предложениями не отпускала я.

Мы с мамой твёрдо решили, что пока Ксаночка не достигнет детсадовского возраста, мы её ни в какое казённое учреждение отдавать не будем. Пусть растёт в домашней обстановке, подальше от опасных заражений, питается подомашнему. В этом мы были единодушны. Но это значило, что мама, уезжая, должна была взять Ксаночку с собой, а мне этого совсем не хотелось. Я сдала мои позиции лишь с наступлением 1944 года. Победили меня два серьёзных аргумента. Первый – необходимость летом держать ребёнка на даче, а не на пыльном городском дворе. Второй – папе, жестоко страдавшему от приступов печени, были необходимы мамины заботы. К тому же я надеялась, что мне и самой удастся вырваться на ту же дачу с наступлением студенческих летних каникул и моего отпуска.

И вот – решение принято, мамина одежда уложена, остаются пустяки: купить билет и ехать. Но не таким это оказалось пустяками, как нам думалось! Ведь война ещё продолжалась, а вплоть до её окончания существовало твёрдое правило: продавать железнодорожные билеты лишь командированным и лицам, возвращавшимся из эвакуации. Такие лица обязаны были иметь при себе документ, подтверждающий, что они, действительно, были эвакуированы.

Мама такого документа не имела, поскольку приехала в Саратов до начала войны. Ни в какую Москву она до конца войны не вернулась бы, если бы о билете для неё не похлопотал по моей просьбе институтский директор, незаконным образом используя свои горкомовские и обкомовские связи.

Долгая получилась канитель, но в результате маме доста-

лось лежачее место в купейном вагоне – невиданная роскошь по тем временам.

Грустно мне было расставаться с дочкой, но она никакого огорчения по поводу разлуки со мной не выражала. Росла она существом любознательным, всякая новизна её привлекала, а тут – бездна новизны: вокзал, поезд, купе, а впереди – свидание с Леночкой, по которой она скучала, и с дедушкой, которого она не знала, но с которым хотела познакомиться.

Ручкой из окна поезда дочка мне помахала, но весело улыбаясь, – чего никак нельзя было сказать обо мне. Очень грустно было мне её отпускать.

Радостной была и встреча моих родителей, да и Ксаночка не обманулась в своих ожиданиях: и вкусный обед Леночка к их приезду приготовила, и сладких печений напекла. А Нина её встретила вязаным собственноручной работы костюмчиком, Саната – великолепным «Котом в сапогах», купленным в «Детском мире» на её донорские накопления.

Только мысли о бабушке Юле, которую маме не пришлось проводить в последний путь, отравляли мамин праздник. О бабушке ей напоминало всё – сама квартира, её вещи и когда-то неразлучная с ней Саната, которую непривычно было видеть без бабушки.

Вскоре у моих родителей начались долгие мытарства, связанные с тем, что домоуправление и милиция упорно отказывались снова прописать маму на её законную жилплощадь на основании того, что её имя в первые дни войны было не просто выписано, а жирной чертой кем-то вычеркнуто из домового книги.

Ей посулили, что её пропишут снова, если она предоставит документ о том, что она состоит с А. А. Яхонтовым в законном браке. Такого документа у мамы не было, но она понадеялась на то, что моя метрика его заменит: там ведь ясно обозначены, без всяких сокращений имена, отчества и фамилии младенца Марины и столь же ясно написано: «дочь такого-то и его законной жены такой-то». Однако маме объяснили, что метрика детей не принадлежит к числу документов, свидетельствующим о семейном положении супругов. Пришлось письменно обращаться в архив города Горького, откуда последовал ответ, что разы-

скиванием дел такой давности (1906 год) «в настоящее время заниматься некому». Осталась единственная возможность: обратиться в суд, пригласив «для рассмотрения дела» двух свидетелей их брака.

Мои родители обрадовались: свидетелями могли стать все наши соседи – и Осиповы, и Григорьевы, и Ёлкины, и Терешковичи, знавшие их с 1927 года. Но требовался ведь 1906! Свидетельства В. А. Багадурова и А. Д. Глазовой, которые присутствовали при самом свадебном обряде, тоже были отклонены судьёй на основании того, что они – родственники истцов.

Яков Николаевич уговаривал папу, что проще всего было бы «плюнуть на этих идиотов» и, подав заявление в районный ЗАГС, повести туда маму в качестве невесты. Но папа заупрямился: «Не стану участвовать в шутовском фарсе!»

Между тем участковый милиционер не оставлял маму в покое, постоянно являясь и требуя её немедленного отъезда туда, откуда она приехала:

«Вы жили с дочерью? Вот и продолжайте у неё жить!»

Хуже всего было то, что в течение всех этих долгих месяцев мама не имела ни хлебных, ни прочих продовольственных карточек. Не имела их и Ксаночка, но их продолжала получать я, никуда они не делись, а мама попала как бы в состояние небытия и невесомости.

Районный суд всё же – лучше поздно, чем никогда! – признал Л. Д. Яхонтову законной супругой А. А. Яхонтова и полноправной столичной жительницей (а не какой-нибудь фронтовичкой-дезертиркой или улигнувшей от трудовой деятельности колхозницей).

Помогли свидетельские показания тёти Нюты и Варвары Фёдоровны, хотя им пришлось для этого покривить душой: обе они действительно знали супругов Яхонтовых ещё с прошлого века, но на их бракосочетании не присутствовали: А. И. Худякова находилась тогда за границей, а В. Ф. Мишина – в Петербурге.

Всё хорошо, что хорошо кончается!

После отъезда сначала дяди Бути с Леночкой, затем мамы с Ксаночкой опустела и непривычно затихла моя комната, ещё

недавно, особенно по вечерам, напоминая автобус в час пик. Исчезла и печурка со всеми примыкавшими к ней трубами, поскольку в наш город, вслед за электричеством вернулось и центральное отопление. Лишь в моей памяти продолжал звенеть требовательный дочкин голосок «пилить-пилить», которым она по утрам напоминала нам с мамой о нашей первоочередной обязанности. Возродили отопление и в институтских корпусах, – можно было выбросить изрядно потёртую волчью шубу, уже отыгравшую двойную роль – Леночкиного спального ложа и моей лекторской мантии.

Большим праздником для всего пединститутского коллектива стало наше возвращение из здания физмата в свой корпус после того, как его освободил госпиталь. Конечно, раненых всё ещё было много, – ведь бои не затихли, – но уже отпала необходимость посылать их на излечение в уже далёкие от фронта волжские города.

Громоздкую институтскую мебель, разумеется, грузили на предназначенные для этого автомашины. Остальное, в том числе книги, перевозили на тачках, – не в современном, переносном, а в прямом смысле слова. В частности, этим занималась и я, поскольку педагоги более старшего возраста занимались осёдлой работой: одни что-то связывали и паковали перед отправкой, другие – расставляли.

Дело было трудоёмким, однако настроение у всех было прекрасным: ведь из тесноты мы переходили в нормальную и привычную обстановку, «с чужбины на родину», как шутили некоторые.

Правда, в конце «великого переселения» начались шумные дебаты между деканатами и учебными кабинетами, поскольку многие, воспользовавшись суматохой, пожелали перетащить к себе понравившиеся им предметы мебели и прочий инвентарь, а законные владельцы стояли на страже своих интересов.

Студенты – основная рабочая сила этого мероприятия – получили возможность увидеть своих наставников не с самой лучшей стороны и услышать из их уст далеко не парламентские обороты речи, да ещё с «нарушением предела допустимой громкости». Правда, наш литфак в этом отношении заметно уступал

кафедрам общественных наук – достойных преемников своих духовных отцов, некогда штурмовавших Зимний дворец.

Очень частыми стали письма Москва–Саратов и Саратов–Москва.

Как и в довоенные годы, писала мне, главным образом, мама, однако и с дочкой у меня в тех же конвертах образовалась постоянная связь. Дочка по неграмотности, – вернее по малограмотности, – буквы тогда она уже знала, только складывать их ещё не умела, – ограничивалась рисунками, я же прибегала и к прозе, и к поэзии.

На тогдашней саратовской почте ещё не продавались красочные открытки, но на рынке самодельные умельцы нарезали их из тонкого картона и разрисовывали на все лады цветными карандашами или акварелью.

Для влюблённых – цветы, соединённые ленточками сердца, амуры со стрелами, целующиеся голубки. Для ребятишек – всевозможные смешные зверушки.

Вот этими-то картинками я и пользовалась для писем Ксаночке, благо рыночные анималисты больших денег за свои шедевры не брали.

Картинки подсказывали мне стихотворные комментарии к ним, выполнявшие двойную роль: они должны были позабавить мою дочку не меньше, чем стишки Чуковского или Барто, и в то же время в юмористической форме отображать что-то ещё непонятное ей, но понятное старшим – моим родителям, Леночке, Нине.

К сожалению, все эти картинки потерялись в тушинском доме Аэровых, когда я дала их маленькому Олежке, – лишь отдельные сюжеты застряли в моей памяти.

Например, встреча зайчика с уткой, которая тащит в клюве корзинку с яйцами. На оборотной стороне – мой текст:

«...На мясной, скажи, паёк ты взяла яиц пяток?

Ты забрать могла их, впрочем,

по добавочным рабочим, –

В Райраспреде где-то тут, – мне сказали их дают...

Ну тебя, отстань, шальной!

Размечтался об омлетке!
 Погулять пошли со мной
 Мои собственные детки»

На другой картинке – пляшущий зайчик, одетый в короткую курточку:

«...Променял я пиджачишко на пол-литра молочишка,
 А на хлебные талоны – и пальто, и панталоны.
 Из дерюги фигаро – вот и всё моё добро!»
 На третьей – кошка за клавишами рояля:
 «Мурка весело глядит
 И мяучит, как Эдит»

Вряд ли Ксаночка понимала, что такое хлебные талоны, кто такая Эдит. Но моим родителям была известна по патефонным пластинкам модная в то время эстрадная певица – Эдит Утёсова, дочь известного создателя советского джаза. В её тоненьком голоске действительно звучало что-то мяукающее.

Мама с радостью мне написала, что в нашем 16/13 после многолетнего перерыва снова заработал лифт. Он тогда, как и во всех московских домах, включался не автоматически, а при помощи старушки, дежурившей возле кабины в определённые часы.

Кататься на лифте Ксаночке очень понравилось, так же как незадолго до этого ей понравилась «лестница-чудесница» – эскалатор в метро. Правда, тогдашние лифты лишь поднимали людей вверх – вниз полагалось спускаться «на своих двоих». Но и за это спасибо!

У меня под рукой была картинка, изображавшая зайчиху в юбке, которая держала в лапках удочку, и я тут же откликнулась на мамину новость, превратив эту зайчиху в лифтёршу, а её удочку – в лифт для легкомысленных рыбок.

Рыбки ждут очереди, а паршивенький ершишка лезет вперёд, нахально расталкивая всех (тоже характерная примета эпохи длинных очередей):

«Расступись живей, братва, – пир устроила плотва
 Для ершей и пескарей. Я спешу! Тяни скорей!»

Но порок наказан: нахал попадает на крючок:

«И кричит бедняга-ёрш: «К чёрту этаких лифтёрш!»

Я помнила, как Янсюкевич с беспощадностью рабовладельцы давила на своих подчинённых, если у них на руках не было малышей, и побаивалась, что и меня после отъезда дочки постигнет та же судьба. Но, к счастью, ошиблась... Поскольку никаких рвов копать уже не приходилось, и фронт уже не присылал в Саратов солдатского обмундирования для стирки, она заметно убавила свой трудовой энтузиазм. Никого из доцентов не превращали ни в прачек, ни в землекопов, ни в чистильщиков скотных дворов, довольствуясь лишь проверкой того, как мы повышаем свой идеологический уровень. Недавняя энтузиастка трудового фронта не слова не возразила даже тогда, когда я на всё лето с разрешения директора отправилась к родителям и к дочке. Мой отъезд был, разумеется, оформлен в виде командировки. По моей просьбе директор Саратовского пединститута «командировал» меня почти на два месяца в распоряжение моего родного Ленинского пединститута. Там декан литфака – мой давний знакомец и благодетель И. В. Устинов – оформил всё необходимое для моего августовского отъезда, никакой трудовой деятельности от меня не потребовалось.

Наша дача в Пушкине произвела на меня мрачное впечатление. Ветхие брёвна, из которых она была сложена, стали ещё более чёрными, все три комнаты пустовали, поскольку там уже не было ни милых наших старичков, ни Фирсовых – их жильцов. Участок был до крайности разорён, забор сломан. Не было и наших соседей – совладельцев этой дачи: Бродского арестовали за какие-то жульнические махинации, Пономарёва скончалась. Вместо них появились новые лица, с которыми мои родители заводить знакомство не спешили, – их мысли были заняты другим: как бы поскорее, с окончанием летнего сезона продать нашу часть дачного дома. Это было необходимо, и опять-таки, как во многих других случаях, маме дал добрый совет Яков Николаевич.

Дело было в том, что Пушкино получило статус города. А если любой москвич, помимо жилплощади в Москве, имел право владеть дачей в посёлке, то владеть квартирами в двух городах было строго запрещено. Пушкинское владение можно было продать кому-нибудь из местных жителей, что и было вскоре сделано, иначе государство могло бы его попросту конфисковать.

Для лета 1944 года это было неизбежным будущим, но ещё не настоящим. В настоящем это было неказистое просторное жильё, где мы легко разместились, включая Санату. Мама с удовольствием пригласила бы и Нину, которой свежий воздух тоже был бы полезен, но не решилась поселить туберкулёзную в близком соседстве со своей внучкой.

Ксаночку, разумеется, радовала возможность впервые в жизни пожить среди густых зелёных зарослей, – в том числе одичалой малины, которую она срывала прямо с веток, а мы все радовались, глядя на неё.

И как же грустно мне было в конце лета от неё уезжать! Утешало меня лишь то, что я и в дни зимних студенческих каникул смогу к ней вырваться при помощи точно такой же фальшивой командировки.

Как только Ксаночку перевезли в Москву, у меня и у мамы возникло естественное намерение перевести на московский адрес и её продуктовую карточку. Но для этого, как выяснилось, потребовались бы немалые сложности.

А именно: я должна была официально, через суд, отказаться от дочери, сославшись на какой-нибудь уважительный повод (например, на слабоумие ребёнка или его физическую неполноценность).

Или же второй вариант: мои соседи через тот же суд должны были добиться того, чтобы меня лишили родительских прав, сославшись на какие-нибудь дефекты моего поведения – например, алкоголизм.

После любого из двух вариантов бабушка (опять-таки через судебное постановление) получила бы право стать опекуном внучки и получать для неё довольствие.

Почему-то ни мне, ни маме этот путь не понравился.

Вместо этого, я попросту начала копить многое из того, что получала в саратовском распреде, и привозить это на своём горбу в Москву во время моих командировок.

Вернувшись в город после нашего совместно проведённого отдыха, и Яхонтовы (папа с мамой), и Глазовы (Леночка и Саната) застали там нечто новое, а именно: возродилась из небытия Екатерина Васильевна, видимо, тоже уезжавшая

в эвакуацию вместе с учреждением, где она работала. Каждый день, кроме воскресений, она, отпирая дверь собственным ключом, являлась в гости к Всеволоду Алавердиевичу. Брала у него, как и раньше уроки пения и задерживалась у него допоздна, напоминая о своём присутствии всем остальным обитателям квартиры тем, что время от времени громко и заливисто смеялась, – смех у неё был таким же серебристым, как и голос. А по воскресеньям – наоборот, с утра до вечера исчезал Всеволод Алавердиевич, – видимо, наступала его очередь быть гостем.

Совсем переродился дядя Бутя! Как будто его, как Фауста в оперном прологе, напоили волшебным зельем молодости. Не ходил по квартире, а бегал с мальчишеской резвостью, всё время что-то напевая. К моменту прихода Екатерины Васильевны его домработницы «забегаловки» уже не было, но он в ней и не нуждался. Сам заваривал кофе для гостя, сам готовил для неё бутерброды, накрывал на стол. Вот бы удивилась бабушка Юля, застав его, прежнего семейного баловня, таким непривычно хлопочущим и суетящимся! Санатиной комнатой, как и самой Санатой, он в это время пренебрегал, хотя обедал по-прежнему там с нею. Но для кофе и лёгкого ужина он накрывал маленький круглый столик, – как раз для парочки, – уже в своей комнате, Санату не приглашая.

Было ясно, что Екатерина Васильевна – фактическая жена Всеволода Алавердиевича, но жена приходящая или «приходящая», как прозвал её папа, своеобразно переосмыслив слова в известном стихотворении А. Фета:

«Приходи, моя милая крошка,
 («приходящая милая крошка»)
 Приходи скоротать вечерок».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДОМАШНЯЯ ФАУНА

(Саратов, 1943–44гг., ул. Горького д.6, кв.4)

Сочинено для Ксаночки, поскольку те экзотические животные, которые изображены Самуилом Маршаком в книжке «Детки в клетке» (львята, верблюды, обезьяны и т.п.), ей пока совсем не знакомы.

Я родился на диване
Среди разной старой рвани,
А потом забрался к папе,
Поселился в книжном шкапе.
Чем же пахнет каждый том?
Обязательно клопом!
Чтоб не нюхать эту вонь, –
Не тревожь меня, не тронь.

Называюсь я блохой.
Мой характер неплохой.
Все ко мне привыкли дома,
Тут я всем давно знакома,
Но когда впиваюсь в гостью,
Гостья чешется со злостью.

Я твоя подружка – муха.
Я летаю легче пуха.
Загляни в своё варенье:
Там от мух столпотворенье.
Мы к вам ластимся, как дочки,
Оставляя всюду точки,
Мы весёлым коллективом
Быт ваш делаем счастливым.

Я, весёлый таракан,
Лезу в чашку и стакан.
Я ныряю в молоко, –
Там найти меня легко,
Но когда мой хладный труп
Попадёт случайно в суп, –
Быть мне съеденным судьба,
Вместо белого гриба.

Обитаю я всегда
Там, где сырость и вода.
Но русалкой иль ундиной

Не гоняюсь за мужчиной.
Я – домашняя мокрица –
Очень скромная девица.

Узнаёшь меня? Я – моль,
Я не жалею, не кусаю,
Я душевную лишь боль
Часто людям причиняю.
Я живу у вас в квартирке,
Прогрызая всюду дырки.
Вынет бабушка пальто
И кричит: «оно не то!»
На костюм свой из бостона
Не глядит она без стона,
Даже юбка чуть жива:
Вместо шерсти – кружева.

С добрым утром, милый крошка!
Я зовусь сороконожка.
Я приятная соседка,
В ваши чашки лезу редко
И мои не часто мощи
Попадают в суп и во щи.
Меня больше манит ванна.
Там сижу я постоянно.
Я смиренное творенье
И люблю уединенье.

Я – весёлый старичок,
Работяга-паучок.
Загляни-ка за картину, –
Там увидишь паутину.
Есть она на потолке,
В каждом малом уголке.
Уважай мой скромный труд!
Вам приносит он уют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЮМОРИСТИКА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

1) «Малгалина Фёдоровна обедает»



Канун войны, когда мы ещё позволяли себе держать домработниц.

2) Канун войны. Певец-математик Мурзаев.



(Как ни странно, все узнавали по убежавшим ногам З. Лихтман, М. Яхонтову и Б. Гейликмана.)

7) Война в разгаре.



Дано задание: собрать у населения тёплые вещи для фронта. Маргарита всегда при этом взывала к высоким патриотическим чувствам. Тов. Леонтьева (историк партии) просто требовала. М. Яхонтова чувствовала себя очень неловко и всегда плелась в хвосте. За это была назначена носильщиком собранного. Неудобство было в том, что сами мы ещё не успели износить или распродать наши элегантные шубы, а лезли в бедные семьи.

9) Ударники затемнения.



Враг приближался к Саратову. Наш главбух попытался откупорить бутылку с чернилами на манер водочной – вышибанием пробки снизу. (действительный факт, жертвой которого оказалась в числе прочих – М. Я.)

10) Пожарное звено объекта № 1.

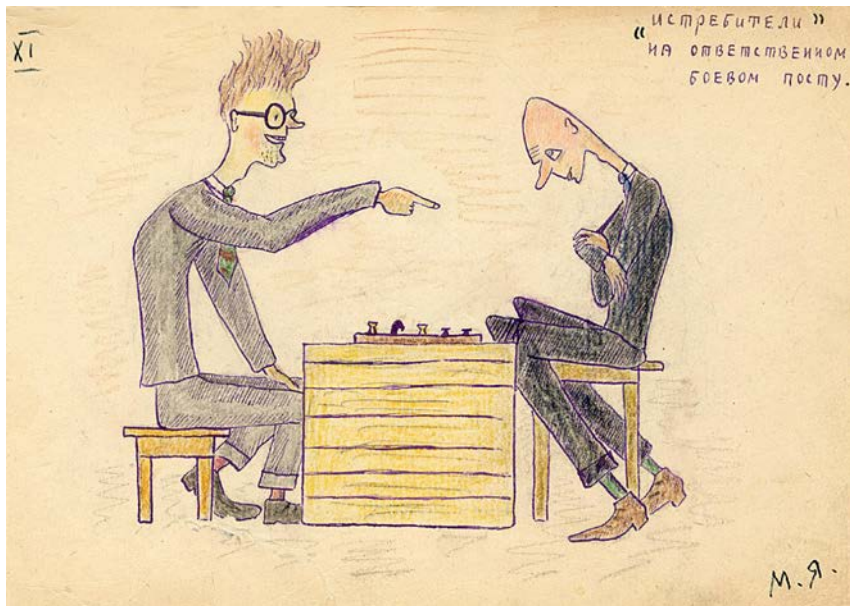


8) Дар бойцам.

Профессор Щеглова – старая девица, которой было поручено шить для бойцов кальсоны. Фасон получился дамским, хотя, разумеется, без кружев и бантиков.



11) «Истребители» на ответственном боевом посту.



А. П. Медведев и Е. И. Покусаев охраняют наш дом от вражеских фугасок. Место действия – чердак.

12) «Добрый вечер!»



Воздушная тревога!

К. А. Асеева с детьми и мама с Ксаночкой мчатся в бомбоубежище. Л. И. Баранникову ничто не может вывести из спокойного состояния.

13) Ударники сланца.



Сланцем мы (наряду с поленьями) топили наши печурки, сами доставляя его с волжской баржи.

На первом плане – зам.директора, проф. Познанский со своей секретаршей, которую он довёл до скелетообразного состояния, обязав её в порядке служебного долга исполнять и обязанности его домработницы.

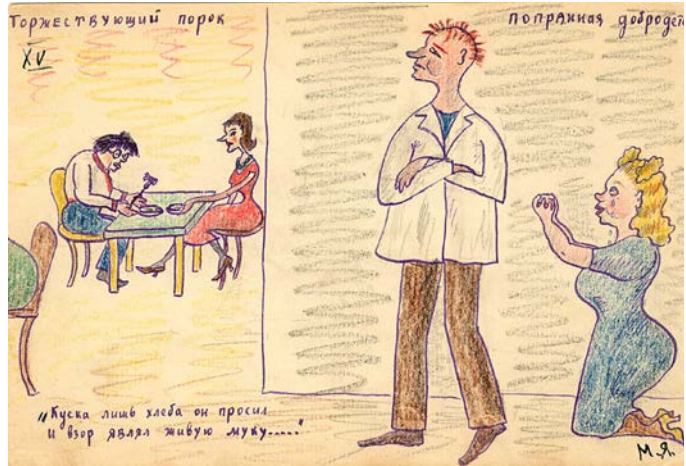
На втором плане – А. Г. Пенцова и М. А. Яхонтова

14) Маргарита и Люба Жак за выгрузкой сланца с баржи.



(У Любы была манера брать каждый кусок двумя пальчиками: у неё были изящные ручки и ножки, – она берегла их.)

15) Торжествующий порок и попранная добродетель.



Столовая научных работников, куда Маргарита однажды не была впущена, хотя опоздала лишь на пять минут: Она честно трудилась на разгрузке баржи до сигнала «отбой», – а кто сумел удрать раньше, – без обеда не остался.

16) Забота об учёных в Саратове.



Фактически «столовая научных работников» обслуживала и цирк, и Консерваторию, и МХАТ, и театр оперетты.

17) Гольдорт в колхозе.



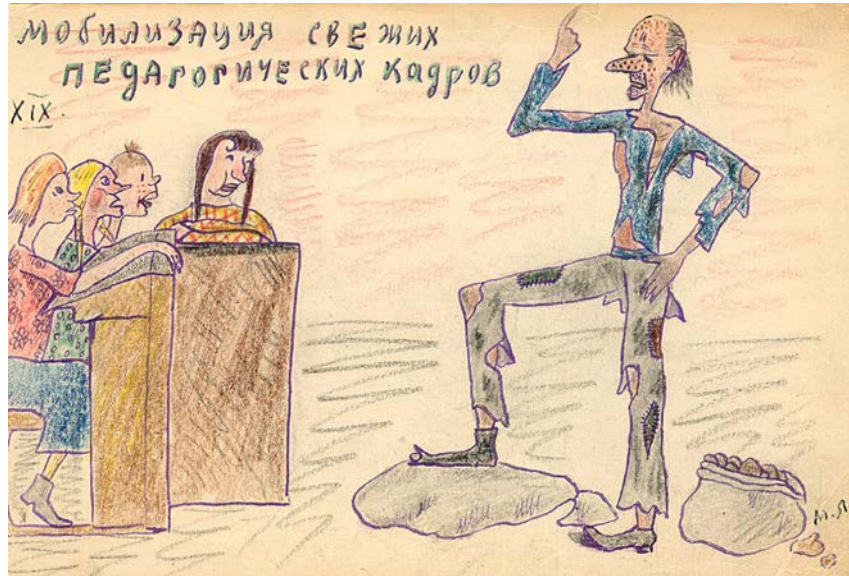
Преподавательский состав Пединститута летом посылали на полевые работы в область. Меня от этого спасала грудная Ксаночка.

18) Аркадские пастушки нашего времени.

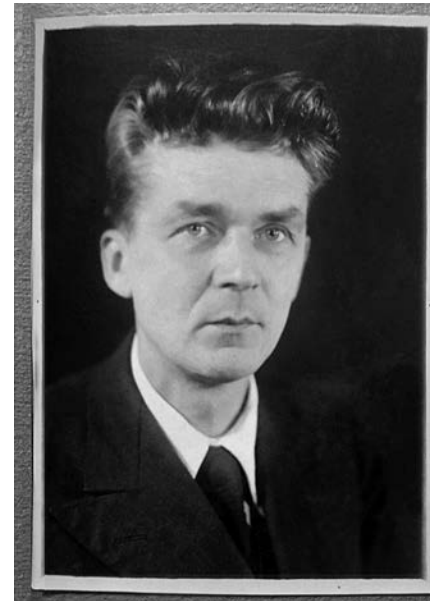


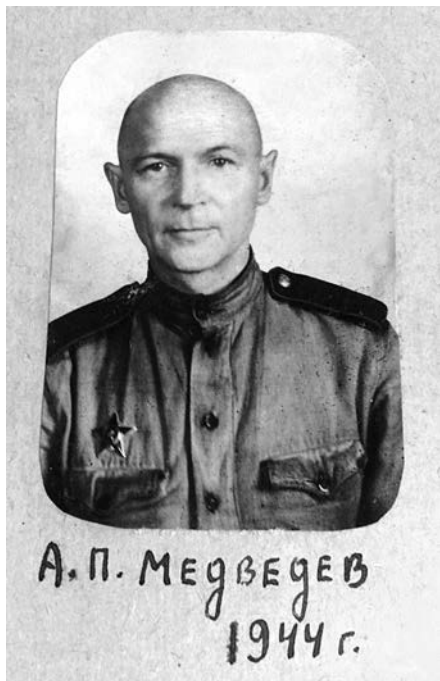
Комизм заключается в том, что Мурзаев и Люба Жак терпеть не могли один другого, а были посланы вместе пасти колхозное стадо.

19) Мобилизация свежих педагогических кадров



В. Воробьёв был командирован разъезжать по области с двойным заданием:
а) вербовать будущих студентов;
б) закупать картофель для институтской столовки.
За время этой поездки зарос щетиной и вернулся оборванец-оборванцем.





А. П. МЕДВЕДЕВ
1944 г.



КСАНОЧКА
НОВОСЕЛОВА
(ЛЕТО 1944 г.)



А. М. ХУЗАКОВА (урожд. ГРОМКИНА)



НИНА БАГАДУРОВА



Н. Д. БАГАДУРОВА, Ю. Н. ГЛАЗОВА, А. Д. ГЛАЗОВА



Ю. Ф. ГЛАЗОВА
А. Д. ГЛАЗОВА
МОСКВА.



Вера Сергеевна Новоселова
Ник. Сергеевич Новоселов
Виталий Некрасов



Н.С. Новоселов



1938 г.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И. Сергеевичу Н.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ
на специальность историко-педагогическая
Филологический факультет
И. ЯХОНТОВА М. Я. Новоселова А. Фрагана
Специальный профессор Савельева В. П.
Специальный профессор
Д. ДИКАЯ В. Е. Новоселова Ф. М.
Специальный совет Орлов Ф. С.
С. доктор Филологический Ф. М.
С. доктор Филологический Ф. М.
Медиа Нарисованная. И. Зарякина ИИИИ.
1938



Аня Багадурови

1947 г.

ноябрь



Ксаночка и Юночка



Юночка

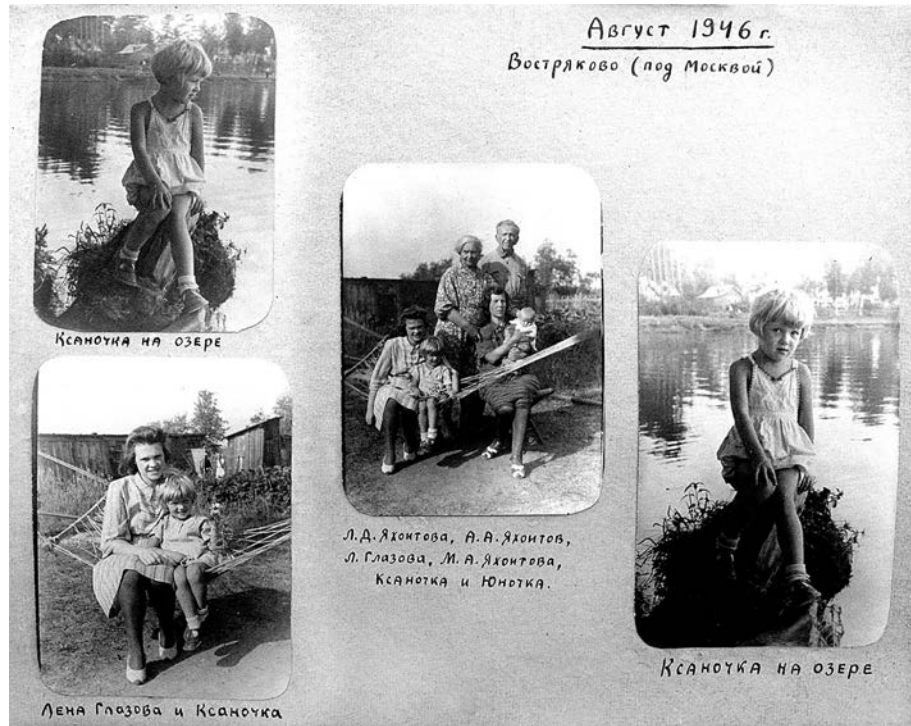
1938 г.

Путешествие М. Яхонтовой
и Н. Новоселова по Кавказу.
(окончание аспирантуры)



Вид музея из парка
г. Орданконикидзе







А.А. Яхитов и Н.А. Макаров среди студенток IV к. естрада МГПИ им. Ленина. Летняя практика (Сокольники)

Золотая свадьба - Л.Д. и А.А. Яхитовых
(Л.Д. Яхитова (Тюзова), Анна Близиков, А.А. Яхитов)



2. Елена Колосова, Л.Д. Яхитова, Елена Колосова, Александра Близиков (Тюзова)

1936 г.



М. ЯХИТОВА



1949 г. Елена - первоклассница.



Е.Д. и Н.А. Разанские: Владимир 1910г.



1953 г. э. Юта - первоклассница



Н. Новгородъ 1901

Лида Глазова и Барв Бакина

Школа в деревне Ушаки

Дядя Александр

О.Г. Глазовы, Яхонтовы, Вил. Бадяуровы и Д. Селивановский. Пикники в Юркино.

Семь дочерей и двоих сыновей В.И. и В.В. Лемки.

Группа Варв. Владим. Лемки.

А.Я. Яхонтов - цветовод Садовники.



Нашь гдичный гостъ А.Д. Глазовъ.

На дачь въ 1906 году

Въ с. Юбцынѣ Арзамаской уездъ усадьба О.Д. Селиванова

Сестры Наталья Александровна и ее Яхонтови старшая (А.Г., М., М.) и младшая (А.А. и Д.)

На хуторъ В.А. Бадяурова въ Юркино

(В.А. Бадяуровъ) Бадяуровы: С.П. Карповъ, В.А. Глазовъ, Е.П. Яхонтовъ, А.Д. Глазова

Сестры: О.Д. Селиванова, М.И. Яхонтова, Н.Н. Глазова (младшая), Н.Д. Бадяурова, А.Я. Яхонтовъ и А. Бадяурова, А.А. и А.Д. Яхонтовы, А.А. Бадяуровы

Въ саду дачи: А.Д. Яхонтовъ, Н.Д. Бадяурова, В.А. Селиванова, А.Д. Селивановъ, Н.Д. Бадяуровъ, О.Д. Селиванова, А.А. Бадяуровъ, С.П. Карповъ, А.Я. Яхонтовъ, О.Д. Селиванова, М.И. Яхонтова, А.И. Яхонтова, А.Г. Яхонтова



Хуторъ Бадяуровыхъ - Н. Новгородъ

1907 г.

Почетный членъ Нижегородскаго Революц. уезд. Совета: Купецъ В.И. Бранъ, А.И. Яхонтовъ, М.И. Яхонтовъ, Сестры: В.А. Бадяурова, Варвара Александровна, А.Д. Бадяурова - Н.К.С.

Въ домѣ у Яхонтовыхъ: А.Г. А.Д., М.И. Яхонтовы, Лида, Юля и М.Г. Шакина, Юля Карповна

Юркино на хуторѣ г. Бадяуровыхъ: А.Д. Ю.И. Яхонтовъ, О.Д. Селиванова, М.И. Яхонтова, Н.Д. Бадяурова, Д.М. Селивановский, С.Ф. Христиничъ, А.А. и Н.Д. Бадяуровы и Ю.А. Христиничъ

Глазовы, Яхонтови и Бадяуровы. Реалъ Землицы.

На хуторѣ: Мария Ю.И. Бадяурова, В.А. Н.Д. Бадяурова, А.Г. Яхонтова.



1908 г.

На хуторѣ г. Бадяуровыхъ близъ ст. Шаки М.К.Ш.

Ю.Н. А.Д. Глазовы, И.И. А.А. Громова, Н.Д. Бадяурова, А.И. Громова.

Н.Д. Бадяурова Л.В. Карповна

Н.Д. В.А. Бадяуровы

Ирина К. Карповна, Сергей И. Яхонтовъ, Н.Д. Глазова, Д.В. Селиванова, Сергей Е.П. Яхонтовъ, О.В. Бадяурова, Ю.И. В.А. - Н.Д. Глазовы.

В.А. и Н.Д. Бадяуровы

Сестры: О.Д. Селиванова, Н.Д. В.А. Бадяурова, и Карповна: Сергей Е.П. Яхонтовъ, Савва, О.В. Бадяурова, Ю.И. В.А. Бадяурова.

Ч А С Т Ь Х

45 © КОНЕЦ ВОЙНЫ И РАДОСТНЫЕ НАДЕЖДЫ

Только после исторической Сталинградской победы ко мне пришла уверенность: мы уцелели! До этого такой уверенности не было, – была лишь надежда, чуть мерцавшая, подобно огоньку наших коптилок. По мере приближения советских войск к нашим западным границам, а затем и к самой Германии думалось не только о том, что мы уцелели, но похоже на то, что наша страна, то есть мы разгромим врага, победим проклятый фашизм. В непоколебимую уверенность эти мысли преобразовались лишь тогда, когда, наконец, открылся долгожданный второй фронт – уже не в переносном, продовольственном, а в буквальном смысле этого слова.

Как радовались мы все, – в частности и я, – узнавая об успешной высадке английских войск на северные берега Европы, о жестокой бомбардировке немецких городов, включая Берлин. Я знала, конечно, о том что при этих бомбардировках гибнут ни в чём не повинные люди, в том числе и младенцы, но мне никого не было жалко, как мы не жалели клопов и тараканов, осыпая их ядом. Страстная жажда конца войны заглушила все прочие душевные движения. Даже позже, когда американ-

ская атомная бомба уничтожила Хиросиму, поразив не только живых, но даже тех, кто ещё не родился, – я никого не жалела. Только радовалась тому, что покончено с войной. Покончено с фашизмом.

Приближение счастливой минуты отразилось не только на нашем настроении, но и на нашем быте, далеко не налаженном, но уже совсем не таким, каким он был в 1941–42 годах, вынуждая нас обходиться без электричества, без нормального отопления и питания и нередко даже без воды в квартирных кранах. Я никогда не испытывала добрых чувств к официальным лозунгам, которые то пестрели перед нашими глазами, то лезли в наш дом при радиопередачах. В них обычно было много фальши, ни на чём не основанной бравады. Но один из них мне запомнился тем, что был безусловно правдив:

«С каждым днём
Нам лучше во всём!»

Да, так и было.

При помощи поступавших от наших зарубежных союзников мясных консервов с необходимыми нам жирами, сахара и яичных и молочных порошков улучшился наш стол. Правда, далеко не у всех. Ни рядовым государственным служащим, ни работникам просвещения, ни медицинскому персоналу, не имевшему отношения к армии, ни инженерно-техническим кадрам, работавшим не на предприятиях оборонного значения, – ничего из этих благ не полагалось. Ничего не получали и колхозники, обязанные любым способом кормить всю страну и армию. Ничего этого не получали и, разумеется, пенсионеры: «кто не работает, тот не ест». Однако, к счастью для меня, папы и ближайших моих друзей, научные работники с учёными степенями, равно как и заслуженные деятели искусства, перестали числиться «гнилой интеллигенцией», как их называли ещё недавно, а превратились в ценный фонд, который государству следовало беречь. В продовольственном отношении нас приравнивали к гегемону – рабочему классу. Воскресли традиции покойного Луначарского, организовавшего в лютые послереволюционные годы ЦЕКУБУ (Центральную комиссию по улучшения быта учёных).

Долгое время зарплата, которую мы получали, не имела никакой цены, за исключением того, что цена тех немногих продуктов, которые нам выдавались в распределителях и в младенческих «молочных кухнях» был соразмерен ей. Всё рыночное можно было получить лишь в обмен на пайковые продукты (главным образом, хлеб) или одежду.

Но вот и в Москве, и в Саратове, возможно, и в других крупных городах открылись коммерческие магазины с продуктами и самой необходимой галантереей. Мало кто мог пользоваться ими регулярно, так как цены там сравнительно с нашими зарплатами были непомерно высоки, но всё же там брали деньги, без необходимости, как было принято на рынке, «сдирать с себя последнюю рубашку».

Коммерческими магазинами в основном люди пользовались лишь в исключительно-торжественных случаях: для встречи Нового года или вернувшегося домой уцелевшего фронтовика. Там имелось и сливочное масло, и сыр, и колбаса, но я заметила, что, выбивая в кассах чеки, никто не брал ни кило, ни полкило: обычно 100–200 грамм, иногда даже 50 или 150, что в наши дни совсем не принято. Многие продукты были даже заранее упакованы в крошечные прямоугольнички, как сейчас поступают лишь с плавлеными сырками.

Долгое время не только в наших «распредах», но даже в коммерческих магазинах не было никаких изделий из белой муки, но понятно даже почему: в нижнем Поволжье пшеничные поля преобладали над ржаными, и до войны в саратовских булочных водилось множество белых булок всевозможного фасона.

Поэтому нас обрадовали пачки с самым бесхитростным плоским печеньем, которые появились на коммерческих прилавках. Все так и набросились на эти пачки, особенно мамы, имевшие малых детей: малышам нравилось с хрустом их грызть. Очень быстро саратовские дамы наловчились мастерить из этого печенья даже торты к праздничному столу. Рецепт был настолько прост, что им быстро овладела даже я: прямоугольнички печений раскладывались вплотную в несколько слоёв. Затем промазывались каким-нибудь джемом или сгущённым молоком из американских посылок, что их размягчали и плот-

но склеивало. Верх украшался половинками зефира, имитировавшего крем, или разноцветного мармелада.

Такие самодельные торты прозвали «сюрпризами»: те, которые имели белую молочную прокладку и зефир наверху – «сливочными сюрпризами», а те, которые составлялись из джема и мармелада – «фруктовыми». «Сливки» и «фрукты» – это было понятно: именно из этого готовилось сгущённое молоко и джемы, но почему «сюрприз»? Каков «сюрприз», если исключительно этим кондитерским изделием саратовские дамы 1944–45 годов украшали свои праздничные столы.

Лишь самые искусные наши кулинарки – С. А. Щеглова и Т. М. Акимова, пренебрегая традиционными «сюрпризами» мастерили что-то самостоятельное. Белой муки в продаже не было, но они обходились ржаной и толчёными ржаными сухарями, из-за чего их изделия звались не тортами, а коврижками.

Очередей в коммерческих магазинах не было. Но они и не пустовали. Представляли собой некую переходную ступень от довоенных Торгсинов к будущим Гастрономам, с той лишь разницей, что и галантерея продавалась тут же.

Мало у кого была тогда возможность приобрести по коммерческим ценам новые ботинки или костюм, однако бойко расхватывались всякие мелочи: катушки с нитками, штопка, тесьма. У наших институтских дам вошли в моду комбинированные платья: чтоб избежать заплаток, они отстригали от поношенного протёртые места, заменяя их нагрудниками, рукавчиками или подшивками к подолу из других материалов. Из костюмов делались платья, кофты или сарафаны. Получалось иногда мило. Мужчины завидовали дамам. Валерий Петрович Воробьёв однажды проворчал:

«Хорошо вам! А попробуй я нижнюю часть брюк заменить чем-нибудь ситцевым в горошек или к пиджаку пришить что-нибудь пёстренькое вместо рукавов, – как на меня посмотрят студенты?»

Большой радостью для нашего коллектива стала дешёвая, то есть сообразная нашим зарплатам, распродажа прочных и удобных ботинок – мужских и женских, английского производства. Правда, далеко не всем они достались, только избран-

ным (я попала в их число) и далеко не всем пришлось по ноге, поскольку нашим мужчинам достался лишь 43-й, а дамам лишь 37-ой размер. Жертвам этого «прокрустова ложа» пришлось нести заманчивую обнору на рынок для обмена. Но и за это спасибо англичанам! Потом появились и зимние пальто – вещь тоже необходимая, поскольку, ведя занятия в обледенелых комнатах или толкаясь в очередях, мы порядком износили то, что имели. Причём на этот раз англичане и американцы были не при чём: благодетельствовал нас родной Москошвей совместно тоже с родной лесной фауной. Но только избранных.

Профессорам и доцентам прекрасного пола досталось по жёлтой енотовой шубе. Сшиты они были на одну и ту же фигуру: могучую, широкоплечую, среднего роста и умеренной полноты. Поэтому подошли решительно всем, хотя и сидели на нас не одинаково: коротенькие Софья Алексеевна и Маргарита в них буквально тонули, Лиде Баранниковой и Клавдии Асеевой они пришлись в самый раз, а моя была мне коротковата: нижняя часть не дотягивала даже до колен, а рукава были чуть длиннее локтя. Нелепый, вероятно, мы имели вид, когда рядышком шествовали в них по улицам.

Преподавательницам, не имеющим учёных званий и степеней, тёплые енотовые шубы не достались, – вместо них они получили тоже жёлтенькие цигейковые жакетки – вещь тоже полезную, но не для зимнего саратовского времени. Они нам явно завидовали, а студенты получили возможность наглядно видеть, кто из педагогов рангом выше, а кто «ещё не дотянул».

Точно такая же енотовая шуба стандартного размера была пожалована Шуре Вознесенской, как заслуженной учительнице, на зависть её многочисленным незаслуженным коллегам.

Разумеется, 1943 год мы не встречали, – не то было у всех настроение. А 1944-й, а тем более 1945-й встречали даже с тостами и бокалами.

Встреча 1944 года была скромной. Главным украшением праздничного стола была варёная картошка с кислой капустой и печёная тыква, а в бокалах пенилось не шампанское, а мутнело нечто непонятное: это был сильно разбавленный водою рыноч-

ный самогон (он же – «сивуха»). Наша победа была ещё далека, но мы уже пили за неё. По одному единственному бокалу.

При встрече 1945 года и тосты звучали увереннее, и застолье уже было похоже на довоенное. Коммерческие магазины позволили нам приобрести вскладчину и приличное вино, и приличные копчёные приложения к той же самой варёной картошке.

К тому времени наша традиционная компания стала почти такой же, какой она была при встрече довоенного 1941 года: пара Воробьёвых, пара Баранниковых, Софья Алексеевна Щеглова, Люба Жак, я и Покусаевы – тоже пара, поскольку Евграфа демобилизовали. Не хватало лишь четы Лихтманов, Петровича и Лидии Павловны, которая была связана с нами лишь через Петровича, а когда его мобилизовали, она отошла в сторону.

Несмотря на то, что встреча 1945 года происходила в значительно более праздничной обстановке, чем предыдущая, наше настроение в ту ночь было тревожным.

Праздничный стол, собранный многими руками, был накрыт не в одной из квартир нашего дома, а за несколько кварталов от него – в квартире Воробьёвых, рядом с музеем Чернышевского. Эта квартира была просторнее всех наших и могла уютно нагреваться голландскими печками, в то время, как наши обогревательные трубы теплотой нас ещё не баловали. К тому же у Воробьёвых, как у местных старожилов, было вдоволь мягких диванов, кресел, ковриков, пуфиков.

Всё было бы прекрасно в ту новогоднюю ночь, если бы не обстановка в городе нагонявшая обоснованный страх на его жителей. К тому же наши мужчины, – особенно наиболее болтливые из них: Валерий Петрович и Евграф – постарались нагнать на нас ещё больше страха своими побасенками, похожими на современные триллеры, или как их ещё называют, – «страшилки».

Говорилось о том, что вооружённая группа то ли дезертиров-фронтовиков, то ли сбежавших из-под стражи уголовников обосновалась в Саратове. Квартирных краж эти бандиты не совершают, но грабят прохожих, отнимая у них всё, начиная с одежды, причём тёплая меховая одежда и валенки их привлекают больше всего. Жертв своих они убивают или бросают

совершенно голыми, что тоже становится убийством при стоявших в городе морозах. Такое преимущественное внимание к одежде понятно: если это дезертиры, то им было необходимо сменить свои армейские мундиры, если уголовники – то арестантские робы.

Вдоволь наслушавшись всего этого, мы после новогоднего пиршества засобирались домой, и на безлюдной малоосвещённой улице Чернышевского почувствовали себя как-то неуверенно, тем более что все дамы были в новеньких енотовых шубках, которыми дорожили не меньше, чем жизнью. Как привлекательны мы были для любых грабительских глаз, когда от страха сгрудились в тесную пушистую кучку! Но, – что поделать, – бредём кое-как, не решаясь от страха даже заговорить друг с другом и пугливо прислушиваясь ко всем уличным звукам. Бредём по середине мостовой, – подальше от домовых дверей и тёмных подворотен.

Вдруг Софья Алексеевна неожиданно отрывается от всех и резово, как только позволяла ей шуба, висевшая на ней до самых пяток, рвётся вперед, как-то странно вытянув вперед правую руку со сжатым кулачком, точно неся перед собой невидимый факел или знамя.

– Софья Алексеевна! Куда вы?

– Домой.

– А почему вы так спешите? И что у вас в руке?

Молчание.

Только после того, как мы дошли до нашего дома, «Царица и львица» соблаговолила разжать свой кулачок, в котором были зажаты её золотые часики, первоначально красовавшиеся на её запястье, и дала нам вразумительный ответ:

– Если бы появились бандиты, я бы сунула им часы, чтоб они оставили наши шубы в покое.

– Но почему вы решили, что, забрав часы, они не польстятся на шубы?

Ответом на сей раз Софья Алексеевна нас не удостоила. Но её поведение убедило нас в том, что, хотя в нашем доме осталось мало мужчин, на страже нашей безопасности имеется достойная и самоотверженная защитница.

Хотя война была страшна сама по себе, на её последнем этапе широко распространился обывательский вкус к «страшилкам». Особенно я это заметила, когда в дни зимних студенческих каникул снова ездила «по директорской командировке» в Москву – навещать Ксаночку и родителей. Ехать и туда, и обратно пришлось на сидячем месте в переполненном вагоне, причём все мои попутчики были явно не работниками умственного труда. О том, чтобы поспать не могло быть и речи, тем более что я держала и за спиной, и в объятиях драгоценный груз: крупу, сахар и консервные банки, полученный мной за несколько месяцев на Ксаночкины продуктовые талоны. Но «страшилок» наслушалась вволю, поскольку и другие не спали, причём каждая из них выдавалась рассказчиком за святую истину: «Ей-богу... Вот те крест...»

Чего тогда пришлось мне послушаться?

Запомнилась одна такая якобы была:

«Пока мужик воевал, его жена загуляла, завела себе дружка. И так к этому дружку прилепилась, что, когда муж пришёл с фронта, они вдвоём его уколошили и на заднем дворе зарыли. Но сынишка-подросток это заметил.

– Мамка, а где отец?

– Не знаю, ушёл куда-то...

Взял парнишка топор – тот самый, которым его отца порешили, да как хватит по башкам и своей матери, и её хахаля...»

Слушаю и думаю: «Боже мой! Да это же «Орестея»! Агамемнон, Орест!»

Берёт слово другая пожилая рассказчица:

«Бывает, мужик с фронта возвращается, а бывает, и нет! Вот одна из нашей деревни мужа ждёт, ждёт, а он не едет... Что вы думаете, – он по дороге какую-то вдовушку встретил, у ней и живёт... А жена всё ждёт, запросы посылает, не понимает, куда он делся...»

Боже мой, да это же «Одиссея»! История Пенелопы!

После того, как я наслушалась этих вагонных бабок, великая классическая литература во главе с Эсхилом, а позже – в великих трудах Корнелия и Расина и многочисленных мраморных изваяниях предстала передо мной в неожиданном обличье. Ещё

до всякого Гомера собирались в кружок древние древнегреческие старушки и давай друг другу рассказывать точно такую же «истинную правду» о своих односельчанах... Вот он, источник классики! Начало всех искусств!

Может быть, напрасно мы не уважаем сплетников? Следует их, наоборот, почитать.

Грустно мне было оттого, что моё зимнее свидание с дочкой получилось коротеньким! Но от этого не менее радостным. Ко дню своего трёхлетия в 1945 году моя девочка в ответ на наши скромные подарки преподнесла и нам подарок: показала, что она не только знает все буквы алфавита, но и умеет их складывать, то есть читать. Этим она побила мой рекорд (я овладела грамотой в три года восемь месяцев), а её рекорда не смог побить никто из моих более поздних потомков. С того момента наша переписка перестала быть односторонней: я начала получать из Москвы рисунки не «неизвестного автора», а с крупным автографом «Ксана», а иногда даже и с пояснениями к этим рисункам: «дом», «каза», «афца».

Не помню, работали ли в сезон 1944–45 годов саратовские театры, – во всяком случае, я ни на какие спектакли тогда не ходила, но не пропускала новинок в кино. Сильное впечатление на меня произвёл «Александр Невский» с Н. Черкасовым в главной роли. В комедиях нравились Л. Целиковская, В. Серова, озарённая романтикой посвящённого ей симоновского стихотворения «Жди меня», Евгений Самойлов. Он не был двойником Петровича, – был и моложе, и красивее, но что-то в нём мне напоминало Петровича: взгляд, голос, походка, движения. Радио знакомило меня не только с фронтовыми информациями, но и песнями Соловьёва-Седого и многих других на тексты Фатьянова, Суркова, Исаковского. Звучали «Землянка», «Тёмная ночь», «В лесу прифронтовом», «Соловьи, соловьи», «Синий платочек», «Случайный вальс» (первоначальное название «Офицерский вальс»), шутливый «Вася-Василёк». Звучали голоса К. Шульженко, Л. Утёсова, М. Бернеса – один другого душевнее. Из месяца в месяц выпускались журнальные отрывки из «Молодой гвардии»...

Вслед за героями гражданской войны – Чапаевым, Котов-

ским, Щорсом – громко зазвучали и новые героические имена: Гастелло, Матросов, молодогвардейцы, из которых всем особенно полюбились Люба Шевцова, Серёжа Тюленин, Ваня Земнухов – более понятные и жизненные, чем Ульяна и Олег.

Не только я, но и многие другие обращали внимание на то, что слова «Россия» и даже «Русь» перестали быть запретными и связанными лишь с представлением о «великодержавном шовинизме». Раньше нам полагалось гордиться в качестве предков лишь революционерами-декабристами, Чернышевским, убийцами Александра II или народными мстителями типа Степана Разина. Сейчас громко зазвучали имена Дмитрия Донского, Александра Невского, Суворова, Кутузова. Их соратников и приспешников.

Не знаю, как для других городов, но для Саратова последних военных лет стала характерной тяга к знаниям, а соответственно этому – и к дипломам о высшем образовании – в среде милицейских офицерских чинов. Все, как один, осознали, что «ученье – свет, а неученье – тьма»!

Поскольку овладевать точными науками или иностранными языками было сложно, подавляющая часть этих возжаждавших знаний милиционеров облюбовала наш истфак и, в соответствии с этим, стали студентами исторического заочного отделения.

Наши обычные заочники появлялись во время специально для них организованных сессий и перед сдачей экзаменов прослушивали обзорные лекции, консультировались. Заочники в милицейских формах никогда не пользовались этим – возможно, времени у них не хватало, а возможно, они боялись ронять свой престиж, садясь на парты рядом с простыми обывателями. И экзамены они сдавали не в общем потоке, а с глазу на глаз с преподавателем, чаще всего у него на дому.

Поскольку в программу истфака входила и зарубежная литература, хотя и в сокращённом объёме, в число милицейских экзаменаторов угодила и я, с чем было связано несколько комических эпизодов из моей тогдашней жизни.

Случай первый:

Натянула я однажды четвёрочку товарищу в милицейской

форме. Вряд ли он, действительно, знал зарубежную литературу на «хорошо», но я раздавала их нашим защитникам и охранителям со спокойной совестью, поскольку понимала, что недостаточное знакомство с Шиллером или Гюго их деятельности не повредит.

Удовлетворённо засунув в надёжное место свою зачётку, где я только что оставила свой автограф, милиционер вдруг заинтересовался:

– А что вы, Марина Александровна, сегодня вечером делаете?

– Ничего особенного. Останусь дома, буду работать.

– А не сходить ли нам в кино? Потом можно будет где-нибудь поужинать.

Я, естественно, отказалась, после чего мой заочник довольно бесцеремонно потрепал меня по плечу, сказав: «Да вы не конфузьтесь! Забудьте о том, что я майор милиции. По душе я – человек простой. Если мне женщина симпатична, я перед ней не возношусь. Держусь запросто...»

Случай второй.

Договариваясь с другим заочником – тоже офицерским чиновником в милицейской форме, назначаю ему время:

– Жду вас завтра в двенадцать или в полпервого.

В назначенное время заочник не явился, и я о нём забыла. А вечером я поднялась к Маргарите и заболталась с ней до позднего часа, – кажется, именно до половины первого.

Осторожно спускаюсь с третьего этажа на второй по неосвещённой лестнице и вдруг в темноте мне мерещится неподвижная фигура у двери моей квартиры.

Мне стало не по себе, поскольку это было в то самое время, когда в Саратове завелись бандиты и ходили слухи об их зверствах.

Что это? Действительно кто-то стоит, или мне показалось?

По-настоящему я струхнула, когда смутная фигура шагнула мне навстречу и внезапно брызнула мне прямо в глаза электрическим фонариком. После чего я услышала реплику Германа из оперы «Пиковая дама», правда, не пропетую, а негромко произнесённую:

– Не пугайтесь! Ради бога, не пугайтесь!

– Кто вы? Что вам нужно?

– Ваш заочник. Вы ведь сами мне назначили: сегодня в полпервого.

– Но я же имела в виду дневное время! Двенадцать тридцать!

– Так бы и сказали! А я вас по-другому понял.

Не могу себе представить, что именно «понял», вернее, подумал обо мне этот человек, получив такое странное приглашение. А что подумали бы мои квартирные соседи, которые в то время обычно мирно спали и безусловно услышали бы, как я украдкой принимаю у себя какого-то чужого дяденьку.

Евграф после этого сказал мне:

– Наверняка это был не рядовой работник милиции, а гэпушник. Они ведь привыкли работать в ночное время.

В число лиц, возжаждавших высшего исторического образования, вошёл в те годы даже сам градоначальник – председатель Облисполкома, по-современному, мэр, а в переводе на дореволюционный язык – Его Превосходительство господин губернатор. Видимо, именно он, обзаведясь студенческим билетом и зачётной книжкой, подал благой пример остальным городским чинам – высоким и не очень.

Надо ли удивляться? Если сам Всевышний счёл возможным воплотиться в сына плотника из Назарета, то почему бы и председателю Облисполкома не стать пединститутским студентом-заочником, если он раньше высшего образования получить не успел?

И вот однажды тов. Янсюкевич вызывает меня в партбюро и отдаёт распоряжение:

– Вы должны завтра в одиннадцать ноль-ноль явиться в Облисполком. Возьмите с собой ваш паспорт и экзаменационный лист из деканата заочного истфака. А пропуск в Облисполком я вам сейчас выдам.

– А что мне там надо делать?

– Товарищу такому-то пришло время сдавать экзамен по вашей дисциплине. Вы должны принять этот экзамен. Будьте на месте точно, без опоздания.

Я, естественно, сообразила, что, действительно, товарищу такого ранга не подобает толкаться в пединститутском коридоре.

доре или ходить по преподавательским квартирам. Я покорно явилась со всеми необходимыми документами куда следует. Даже не в назначенные мне «ноль-ноль», а чуть пораньше, с запасом времени.

В Облсполкоме всё было величественно, всё производило впечатление. И горделивый привратник, внимательно и придирчиво осмотревший мой пропуск и паспорт, и огромные комнаты с лепными потолками и высокими и массивными дверями, и сверхэлегантная секретарша – представительная дама средних лет. Сравнительно с тем, как она была одета, мой костюм, хоть и вполне приличный, выглядел почти убогим.

Бросив на меня небрежный взгляд и блеснув бижутерией, обильно украшавшей её шею и уши, представительная дама объявила:

– Товарищ такой-то сейчас занят. Вы должны подождать. Вас вызовут.

Жду я четверть часа. Двадцать минут. Почти час. Начинаю злиться. Не потому, что мне так уж дорого моё время, – я заблаговременно поручила Асе Каганер заменить меня на всех потоках, – а потому, что во мне возрастало неприятное ощущения неестественности и униженности моего положения. С какой стати я торчу, как дура, в этом разукрашенном предбаннике? Что я – просительница какая-нибудь? Чеховская Мерчуткина в современном варианте? Так нет же, – здесь мне никто не нужен, наоборот, я понадобилась.

Через час бестолкового сидения я, наконец, дерзаю напомнить о себе. Секретарша, преисполненная высокого почтения к должности, которую она занимает, бросает на меня свысока надменный взгляд и произносит ледяным тоном:

– Вам же ясно сказано – ждите. Когда понадобится, вас вызовут.

Но всё-таки она минут через десять снисходит ко мне и вступает в святотелище, где наводит справки, после чего объявляет мне тем же тоном коронованной особы:

– Сегодня товарищ такой-то принять вас не сможет. Приходите завтра в это же самое время.

Я ухожу, не прощаясь, с твёрдым намерением никогда боль-

ше в этом здании не появляться и эту секретаршу не видеть. Об этом я объявляю Янсюкевич, с которой случайно сталкиваюсь на обратном пути.

Физиономия у Янсюкевич была неизменно землистого цвета, и повышать голос не входило в её привычки: свои распоряжения она всегда отдавала спокойно, властно, тоном, не допускавшим возражений. Она никогда не позволяла себе переходить на крик: ей и без этого все повиновались.

Но на этот раз её и в краску бросило, и в голосе появилось что-то бабье – крикливое и истерическое:

– Невозможно! Немыслимо! Вы обязаны пойти, раз вам назначено! Соображаете ли вы, с кем вздумали вступать в конфликт, в какое положение ставите всех нас, весь институт?

Можно было подумать, что я дерзко замахнулась на персону самого Иосифа Виссарионовича.

К счастью, образовавшийся узел, как Геракл, разрубила неоднократно меня выручавшая Ася. Без всяких возражений она в назначенное время пошла вместо меня, куда следует, поставила важному лицу пятёрку, – заслуженно или незаслуженно, не берусь судить, поскольку и сама-то Ася на пятёрку зарубежную литературу не знала.

После этого она даже вошла во вкус и добровольно с большой охотой вызывалась экзаменовать высоких должностных лиц в их служебных кабинетах. Взятки (упаси господи!) никто Асе за её пятёрки не давал, но какие-то блага ей всё же попадали в виде дополнительных продовольственных талонов и промтоварных ордеров. А когда подошло её время уезжать из Саратова, она получила из каких-то высоких инстанций направление не в Харьков, откуда она прибыла, а в Москву, где она никогда раньше не жила и никаких родственников не имела. Там ей без всякой волокиты дали комнату в коммуналке и постоянную московскую прописку.

Вряд ли областное начальство – даже высокое – имело право распоряжаться московскими жилищными площадями и прописками. Но безусловно, имело какие-то связи с начальством Моссовета, чем и воспользовалась Ася.

Через некоторое время москвичкой стала и Люба Жак, тоже

принимавшая экзамены у именитых саратовских вельмож и не скупившаяся на пятёрки.

Повезло Асе и с устройством на работу: её моментально приняли в МГУ на должность лаборанта кафедры зарубежной литературы. Зарплата была небольшая, но много ли надо одинокому человеку? Во всяком случае, Ася попала в интересную научную среду и занялась делом, более подходившим к её возможностям, чем чтение лекций.

При всём этом судьба Аси оказалась незавидной. Из Саратова она привезла жестокий туберкулёз, который вскоре свёл её в могилу.

Меж тем час падения Берлина приближался.

Превратившись, подобно оперной Чио-Чио-Сан, в олицетворённое ожидание, я при помощи неизменной Оранжевой Маруси привела в порядок свою комнату. Оконные стёкла были тщательно вымыты, закопчённые стены и потолок заново выбелены, оконные занавески отстираны.

Известие о Победе пришло в Саратов ночью, перед рассветом. Ликующий голос Левитана разбудил меня, и я прямо в ночной рубашке кинулась в коридор, где висел наш единственный на всю квартиру репродуктор, чтоб лучше расслышать то, о чём он объявлял. Там я мгновенно очутилась в объятых соседки – Натальи Игнатьевны, тоже почти раздетой. Наши взаимоотношения всегда были более чем отчуждёнными, но на этот раз мы крепко расцеловались и даже, – говоря высоким слогом и в то же время буквально, – оросили друг друга слезами. Тут распахнулась ещё одна дверь, и в наших двойных объятиях очутилась и третья наша соседка – Клавдия Андреевна Асеева, тоже с мокрым от слёз лицом. Вслед за ней высунулся было в коридор и её недавно вернувшийся с фронта супруг, но Клавдия Андреевна остановила его возгласом:

– Осторожней, Ваня! Здесь голые дамы на шею кидаются!

Пока я, вернувшись в комнату, приводила себя в порядок, было слышно, что не только весь наш дом бурно зашумел, но и улица заходила ходуном. Засветились и распахнулись все окна, люди с песнями и воплями «Урррраа!!!» принялись выска-

кивать из всех подъездов, сбиваться в кучки, плясать. Гармонисты пустили в ход свои инструменты. Не сиделось в своих комнатах и нам. Началась беготня из квартиры в квартиру, а потом все здешние литфаковцы толпой отправились к Воробьёвым, предоставив и остальным обитателям нашего дома слиться со своими факультетскими товарищами.

Многие прихватили с собой заранее припасенные закуски и бутылки с вином, да и у Воробьёвых всё это нашлось. Мигом был накрыт стол и расставлено всякое «что бог послал», мигом наполнились рюмки. Пили мы и за нашу родину в целом, и за отдельных людей – за Жукова, Рокоссовского, а больше всего «за Сталина». Вполне искренне, от полноты души. Ведь он был Главнокомандующим, и мы были убеждены в том, что раз так, – то именно он руководил всеми важнейшими боевыми операциями, диктуя свои распоряжения маршалам.

Обычно наши праздничные дружеские встречи бывали в прямом смысле застольями: мы ели, пили и болтали. Танцы, столь любимые когда-то Аидой и другими моими московскими друзьями, в нашу программу никогда не входили. Но на этот раз мы все словно помолодели и поглупели. На стульях нам не сиделось. Валерий Петрович и Евграф исполняли что-то залихватское, вроде трепака, не отстали и дамы. Самая старшая из нас, профессор Щеглова, вспомнила дореволюционную польку-бабочку. Маргарита рискнула на что-то типа канкана. Думаю, что к нашему тогдашнему настроению вполне бы подошла современная летка-енька, но до неё тогда человечество ещё не додумалось или же до СССР она ещё не дошла.

А когда, уже утром мы шагали обратно во всю ширину улицы, крепко вцепившись под руки и что-то громко и нестройно распевая, невозможно было отличить почтенных доцентов от школьников-подростков, фэзэушников и наших собственных студентов, которые точно таким же образом вышагивали то навстречу нам, то нас обгоняя, тоже с песнями и приплясываниями.

Само собой и салюты тогда гремели, и фейерверки взвивались, а изо всех распахнутых окон вырывались попури из граммофонных пластинок, гремевших репродукторов, аккордеонов и человеческих глоток.

Уверена, что то же самое творилось во всех городах и прочих населённых пунктах СССР, а уж тем более в Москве. Как явствовало из маминого письма, они с папой, как люди солидные, на улицу не высказывали, но на лестничную площадку выбежали так же, как и жильцы остальных квартир, и там оказались в объятиях не только Григорьевых, Осиповых, Ёлкиных, Крепсов и Терешковичей, но даже тех соседей, с которыми до этого были знакомы только шапочно или даже совсем не знакомы. Тут же, разумеется, была и Леночка, и даже Нина, хотя в то время она расхворалась больше обычного.

На своих местах остались только Ксаночка, Саната, всегда славившаяся своим непробиваемым богатырским сном, и дядя Бутя.

46 © «КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ!»

Огромную популярность завоевала кинокартина «В шесть часов вечера после войны», появившаяся на экранах незадолго до Победы. Не только потому, что исполнителями главных ролей там были всем известные Евгений Самойлов и Марина Ладынина, но и благодаря своему соответствию чувствам, которыми в те дни были охвачены все, кому посчастливилось избежать зловещих похоронок, но и те, кто, проводив своих близких на фронт, истомился тревожным ожиданием их возвращения.

В главном эта кинокартина оправдала надежды: уцелевшие фронтовики, действительно, вернулись к тем, кто их нетерпеливо ждал. Но в чём-то и обманула: далеко не все они были демобилизованы одновременно и имели возможность назначать своим любимым точный день и час их встречи, да ещё на одном и том же месте – на Москворецком мосту или возле него. Этого, разумеется, не было, а если бы случилось, – мост бы рухнул от тяжести, а окрестные улицы превратились бы в подобие Ходынки.

Демобилизация происходила медленно и постепенно, – прежде всего потому, что на территории, которая не стала ещё ГДР,

а являлась всего лишь завоёванной зоной, требовалось оставить крепкую вооружённую охрану. Кроме того, нельзя было перегружать демобилизованными железнодорожные эшелоны, – необходимы были строгий порядок, очерёдность.

А у Александра Петровича, как работника штаба, оказались и всякого рода канцелярские обязанности: требовалось привести в порядок какие-то цифры и документы, которыми он не имел возможности заниматься в боевой обстановке.

Демобилизации Петрович ждал со дня на день. Его могли отпустить в непредсказуемое время: хоть завтра, хоть послезавтра, – но всегда он оказывался для чего-то нужен, и его задерживали. Вплоть до начала августа.

А я с 1 июля находилась в отпуске, причём вполне законном. Ведь на протяжении всех военных лет отпусков не давали никому, и только директорскому благоволению я была обязана тем, что лето 1944 года смогла провести на подмосковной даче в обществе Ксаночки и моих родителей, да и зимой меня к ним отпускали.

И на этот раз родители ждали меня к началу июля, но я всё не ехала и не ехала. Как я могла уехать, если Петрович мог появиться в любую минуту? Это я объясняла маме, но маму мои объяснения не удовлетворяли. В ответных письмах она бранила меня и называла плохой, никуда не годной матерью: несколько месяцев я не видела дочку, она ждёт меня, а я...

Не понимала меня мама! Поскольку сама никогда не была солдаткой. А, возможно, и потому, что мои взаимоотношения с женатым человеком ей не нравились, хотя сам Петрович ей был по душе: в Романовке она сама мне хвалила его черты лица, походку, манеру держаться.

Если тем летом полные упрёков письма из Москвы мне радости не доставляли, то с письмами, которые мне доставляла военная почта, дело обстояло иначе.

Прежде всего, они стали непривычно большими, – ведь в боевой обстановке Петрович часто обходился лишь несколькими словами, чтоб сообщить мне самое главное: такого-то числа он ещё неведим.

Благополучного возвращения Петровича, вернее Шуры,

как я его стала называть по его просьбе вскоре после того, как я рассталась с ним, я ждала всё время. Совершенно не думая при этом о том, куда и к кому он возвратится. Предполагалось, что в тот самый дом, из которого он ушёл. Это было не важно для меня, не занимало мои мысли. Они были сосредоточены на единственном: только бы его не убили... Не ранили... Не изувечили... Только бы он не мёрз и не изнемог от изнуряющего пешего продвижения от Волги до Берлина.

В тех письмах, которые Петрович посылал мне в мае, июне и июле, он впервые заговорил о Лидии Павловне и о своих взаимоотношениях с ней. Жаловался на её холодность и бездушие: «Она стала совсем чужой, когда я уходил». «Она редко мне писала и совсем мной не интересовалась, – только жаловалась мне, как трудно живётся ей самой. Но она-то, в отличие от меня, находилась дома, в безопасности».

Из этих писем я узнала историю их романа, начавшегося в годы их студенчества.

Многое я узнала непосредственно, многое прочла, как говорится, «между строк». Из отдельных разрозненных штрихов составила довольно ясная картина.

Молодой человек вернулся с фронта гражданской войны, где, если и встречал женщин, то лишь типа Анки-пулемётчицы или ещё более огрублённых обстановкой. Потом работал воспитателем в интернате для юных правонарушителей. Легко себе представить, каких представительниц прекрасного пола он там насмотрелся! И вот – совсем иная обстановка: университет и чистенькая, благонравная девушка из патриархальной семьи... Та самая наигранная детскость, которая в Романовке мне показалась смешной, Петровича, наоборот, покорила, тем более что я познакомилась с Лидией Павловной, когда ей было уже под сорок, а он встретил её двадцатилетней, когда эта детскость была ей, вероятно, к лицу. Она долгое время отвергала его ухаживания («мытарил его», как шутил по этому поводу их общий однокурсник Валерий Воробьёв), и, возможно, эта недоступность тоже возвышала Лидию Павловну в глазах её поклонника. Женился Александр Петрович по большой любви, и сначала всё в молодой семье складывалось хорошо, если

не считать того, что Лидия Павловна категорически не желала иметь хотя бы одного ребёнка, а он, рано лишившийся матери и, в сущности, не имевший родной семьи, мечтал о семье с ребятишками. Не нравилось ему и то, что, не имея в Саратове своего жилья, он вынужден был войти «примаком» в семью Вудтке, где он подружился с младшим братом Лидии Павловны, но невзлюбил свою тёщу и свояченицу Веру Павловну, которые относились к нему сверху вниз, – пренебрежительно, чего он совершенно не терпел.

С годами начались нелады. Лидия Павловна, домоседка по натуре, была убеждена в том, что обязанность мужа – проводить часы досуга около жены, развлекая её и всячески ей угождая, как, видимо и было вначале. А Петровича начало тянуть к охоте, рыбалкам, шахматам, иначе говоря, к мужским занятиям и компаниям, что ей решительно не нравилось, а вслед за этим – и к некоторым женщинам.

Я отнюдь не была первой в числе тех, кто расшатывал семейный очаг супругов Медведевых, – правда Петрович уверял меня в том, что всё, предшествующее мне было несерьёзно. Лидия Павловна в этом отношении была безупречна и на этом основании не склонна понимать «грешника» и прощать ему «грехи», она приходила от них в негодование, казнила его неделями молчания.

Находясь на фронте и получая от жены короткие и редкие письма, которые представлялись ему полностью лишёнными теплоты и участия, Петрович ещё задолго до конца войны написал Лидии Павловне что, если его судьба мало её интересует, то лучше бы им «не тянуть канитель, а по-хорошему разойтись». Лидия Павловна коротко ответила, что ничего против этого не имеет, после чего мне немедленно было отправлено письмо с предложением руки и сердца, на которое и я поспешила ответить немедленным согласием, окрылённая и счастливая.

Это произошло в середине мая, когда война была уже позади, и всё вокруг меня соответствовало этой окрылённости. Начиная от весенней зелени.

Однако будь я поумнее, я должна была бы сообразить, что радоваться мне рано.

Если бы Александр Петрович и впрямь охладел к своей супруге, – разве стал бы он роптать на сухость её писем и злиться на неё за недостаток душевности? Зачем бы ему в таком случае была бы нужна её душевность?

А его реакция на её быстрое согласие «разойтись по-хорошему»? Если бы в нём, действительно, всё отгорело, как он меня уверял, он был бы только рад тому, что их желания совпали, и всё получилось так гладко. Но нет! В очередном письме, адресованном мне, Петрович метал громы и молнии: «Вот она какая! Вот, оказывается, как мало я для неё значу!»

Мне тогда казалось, что в моём новоявленном женихе бушует лишь уязвлённое самолюбие, и я мысленно про себя упрекнула его за эгоизм. «Чего же он хотел? Чтоб женщина цеплялась за него? Страдала? Мучилась?»

Нет, это был совсем не эгоизм, а верный знак того, что он, несмотря на все размолвки, отнюдь не охладел к Лидии Павловне, да и вообще не переставал любить её до конца жизни, хотя временами это чувство слабело и уходило в подсознание, как бы превращалось в подёрнутые пеплом угольки угасающего костра, которые в любую минуту были готовы снова вспыхнуть.

Жаль, что тогда я этого ещё не понимала. Просто радовалась... Просто ждала...

И вот дождалась!

В Саратов Александр Петрович прибыл утром 3 августа. Первым делом кинулся к себе домой – помыться и переодеться после долгой дороги, привести себя в порядок. Но дверь его комнаты оказалась запертой. От соседей по коммунальной квартире он узнал, что Лидия Павловна уехала в дом отдыха, никому из них не оставила ключа. Тогда он метнулся ко мне.

Передо мной Петрович предстал небритый и весь пропылённый, – не близкой была его дорога в солдатском эшелоне, – но ничуть не постаревший, хотя его возраст в то время был далеко не юношеским – без нескольких дней сорок семь. Мне даже показалось, что он помолодел и похорошел: так ладно сидела на нём сержантская гимнастёрка, так к лицу была пилотка

(все головные уборы были ему к лицу). Так красиво оттенял густой, почти коричневый загар светлую голубизну его глаз, восторженно и радостно глядевших на меня.

Отпускное время позволило мне отдать новоприбывшему всё моё время и внимание. Никогда я не любила стирать, утюжить, возиться с кастрюлями, но в те дни всё это доставляло мне величайшее счастье. Как было хорошо, что в наши ванны снова, как в довоенные времена, пустили тёплую воду, что открылись коммерческие магазины, где можно было купить всякую вкусноту, а о саратовских рынках что и говорить! Они всегда в августе-месяце были насыщены овощами и фруктами. Всё это стоило дорого, но я заранее готовилась к нашей встрече, ждала её, и не только свою комнату при помощи Маруси довела до первоначальной белизны, но и накопила кое-что съедобное. Да и все мои только что полученные отпускные деньги были ещё в целости и сохранности.

Всё, что было надето на Петровиче, я успешно выстирала, – благодаря тов. Янсюкевич у меня был достаточный опыт в отношении стирки солдатского белья и гимнастёрок. Хуже было с электроутюгом, которым я до тех пор гладила лишь младенческие пелёнки-распашонки и прочую мелочь. Нескладными у меня получались складки и не хватало силёнок на приличную утюжку. Иронически посмотрев на меня, Петрович сам взялся за утюг и всё сделал как надо.

Зато я не ударила лицом в грязь, когда взялась варить борщи, тушить мясо со всевозможными овощами. Свежие овощи пришлось очень кстати: ведь в армии в качестве гарнира ко всем блюдам давали одну лишь «шрапнель» (так солдаты называли варёную перловку).

Поскольку Петрович открыто жил у меня, наша близость не для кого не была тайной, – думаю, что мои квартирные соседи обо всём догадались и раньше, поскольку наш дверной почтовый ящик был общим, и письма с адресом полевой почты и фамилией отправителя я нередко получала из их рук. А теперь, пока на балконе у всех на виду сушилось бельё и гимнастёрка, этот недавний отправитель собственной персоной разгуливал по квартире в тапочках и в моём халате, а болтавшееся на

балконной верёвке зеленоватое сержантское обмундирование было достаточно красноречиво.

Саму меня это ничуть не конфузило, – наоборот, мне казалось, что я развесила победные флаги.

Естественно, нас все поздравляли – и соседи, и друзья, и просто сослуживцы, встречая нас вместе на улице или в институтском дворе. Казалось, весь наш дом и весь пединститут радуются вместе со мной.

Как нам тогда хотелось побыть вдвоём, только вдвоём. Но как редко это удавалось. То Евграф заскочит, то какой-нибудь другой Петрович приятель (мои подруги в этом отношении были значительно деликатнее). То Петрович сам «на минутку» заглянет к А. П. Скафтымову и застрянет там до позднего вечера, к чему я впрочем была заранее готова: в прошлом это были любимый учитель и любимый ученик, а в последующие годы – ближайшие друзья. Петрович звал меня с собой, – но не очень настойчиво, и я сознательно за ним не увязывалась: пусть близкие люди наговорятся вдосталь «как мужчина с женщиной». Не всё, что их связывало, меня касалось.

А я в эти часы ждала за нарядно накрытым столом, проклиная медленное движение часовых стрелок по циферблату, но в то же время ощущая: «Какая я счастливая! Вот сейчас прозвучат его характерные три коротких звонка, и он будет здесь – живой, невредимый, любящий, принадлежащий мне!»

В начале лета я думала: «Как только появится Петрович, мы вместе поспешим в Москву. Отдохнём на Пушкинской даче. Пусть он поближе познакомится с моими родителями, привыкнет к Ксаночке».

Но в августе до начала учебных занятий оставались считанные дни, и ни о какой даче уже не думалось. Тем более что Петровичу для его вторичного оформления на работу в университет, партийного учёта и разных других дел необходимо было быть на месте не 26 августа, как мне, а значительно раньше. Поэтому мы решили: пробыть здесь до дня рождения Петровича, – то есть до 11 августа, отметив его вдвоём или вшестером с супругами Скафтымовыми, Евграфом и Шурой, а на следующий день – в Москву, за Ксаночкой. Забрать её и сразу, без вся-

кого дачного житья, – обратно. И больше уж никогда не расставаться с ней, благо она уж перешагнула из ясельного возраста в детсадовский.

Я предвидела, что мама будет недовольна и начнёт убеждать меня, что грешно до наступления осенних холодов тащить ребёнка с природы в городскую духоту, – но что поделаешь! Другого выхода я не видела.

Известно, что каждому человеку, несколько лет подряд не расстававшемуся с фронтальной гимнастёркой и сапогами, не терпится как можно скорей сорвать это с себя и облечься в привычное, штатское. Попытался осуществить это естественное желание и Александр Петрович.

В поисках ключа от комнаты, где хранились его вещи, он обошёл обоих братьев Лидии Павловны, но этого ключа не оказалось ни у кого из них. Оставалась единственная возможность вскрыть дверь, пригласив слесаря, но Петрович счёл это недостойным и унижительным.

«Не хочу. Я не взломщик. Должна же будет Лида когда-нибудь вернуться!»

Был он тогда на Лиду чрезвычайно зол:

«Я понимаю, что она на меня обижена. Я, действительно, перед ней во многом виноват. Ей захотелось меня наказать. Это понятно. Но то, что она сделала, – так глупо, мелко, недостойно...»

Нам обоим было досадно, когда на третий день после возвращения Александра Петровича наш обычный дружеский кружок вздумал устроить в квартире Воробьёвых вечеринку в честь «покорителя Берлина», как его называл Евграф, и трижды орденосца, который, в отличие от очень многих, вернулся живым и не покалеченным.

Я любила уютную и просторную воробьёвскую квартиру, любила, когда там собиралась привычная милая компания, но на этот раз идти туда мне решительно не хотелось. Петровичу тоже. Он так много за эти годы исходил земли, так устал, что лучше всего чувствовал себя, когда спокойно растягивался на диване, и, кроме меня, ни души рядом не было. Иногда ему при этом хотелось просто помолчать, – и я, понимая это, воздерживалась от рассказов или расспросов, которые так и рва-

лись с моего языка. Мне было достаточно просто ощущать его присутствие.

Нет, решительно не хотелось нам обоим тащиться тогда к Воробьёвым, но разве можно было отказаться от такого сердечного приглашения?

Эту вечеринку наши друзья, без нашего ведома, превратили в некий свадебный ужин. Посадили рядышком во главе стола, принялись поднимать тосты за нашу счастливую семейную жизнь, желать нам «резвых шалунов» (любовь Петровича к детишкам была всем хорошо известна, – он этого ни от кого не скрывал). Кому-то даже вздумалось крикнуть «горько», – но мы, быстро переглянувшись, решили, разумеется, проигнорировать этот возглас. Он был явно преждевременен и неуместен, поскольку ни в ЗАГСе не побывали, ни церковный батюшка нас не венчал, да к тому же Александр Петрович официально продолжал оставаться законным супругом Лидии Павловны.

Вообще неуместного, бестактного тогда произносилось много. Валерию Петровичу, например, вздумалось призвать «покорителя Берлина» «поскорее меня догонять», – поскольку я такая уж сверхуважаемая учёная дама, а ему ещё предстоит за кандидатскую приниматься.

Бедный Коля никогда не обижался, когда в наши аспирантские годы или в Саратове меня над ним пытались перевозносить. Это обижало одну меня, а он по скромности полагал, что так и быть должно, и что я в самом деле его во всём превосхожу. Но на этот раз был совсем не тот характер и не тот случай. В своём отношении к женщинам Петрович видел себя только главой – лидером. С какой стати ему надо кого-то «догонять»? Ведь не я прошла путь от Сталинграда до Берлина, не меня наградили боевыми орденами.

Всегда приятно, когда тебя хвалят, говорят о тебе хорошее. Но на этот раз мне очень хотелось попридержать язычки моим доброжелателям. Крикнуть им всем:

«Хватит твердить о том, как посчастливилось моему избраннику! Говорите лучше о том, как посчастливилось мне! Ведь вы нас, сами того не желая, ссорите или, во всяком случае, трещинку между нами прокладываете. Зачем вам нужно, чтоб Александр

Петрович смотрел на меня как бы снизу вверх? Он же этого не потерпит! Не тот характер! Да и мне не надо этого, поскольку я характером пошла не в бабушку Юлю, а в бабушку Машу».

Во многих отношениях Петрович был похож и на Коршунова из кинокомедии «Кубанские казаки», и на Гошу из фильма «Москва слезам не верит»: характер яркий, но нелёгкий. Полная противоположность мужу Аиды или Анатолию Васильевичу Платонову.

Хмурым и молчаливым вернулся он тогда домой. Только дома немножко оттаял, сообразив видимо, что обижали его другие, а я ни в чём перед ним не виновата.

А на следующее утро пришла телеграмм от мамы:

«Отец умирает. Рак печени. Приезжай немедленно».

Страшная неожиданность! Удар, к которому я совершенно не была готова.

Я, разумеется, знала, что папина печень не в порядке, что у него после злополучной американской тушёнки время от времени бывают мучительные приступы с тошнотой, рвотой и острыми болями. Но слово «умирает»! Но слово «рак», которое звучало, как смертный приговор без надежды на помилование...

Мы вдвоём немедленно бросились на вокзал за билетом, разумеется, одним, – поскольку при сложившихся обстоятельствах появление в Москве Александра Петровича было бы некстати. Благодаря маминой телеграмме, билет мне выдали без малейших осложнений на ближайший поезд. Со мной был маленький чемоданчик с самым необходимым, но навести порядок в комнате я так и не успела. Совсем не помню, позавтракала ли я тогда и оставила ли Александру Петровичу что-нибудь съестное.

Петрович меня нежно расцеловал на прощанье, но в поезде я о нём не думала. Не думала даже о дочке, которую не видела целых полгода и которую завтра увижу. В голове билась единственная мысль: «Жив ли папа? Или его уже нет!»

Если бы я тогда была в состоянии здраво рассуждать, меня бы удивило, что человек, всё время работавший, скоропостижно гибнет. Как ни страшен рак, он, в отличие от ряда

других смертельных болезней, не налетает внезапно. Для него характерна постепенность.

Но разве я была в состоянии здраво рассуждать?

На вокзале меня никто не встретил, да я и не телеграфировала о своём приезде. Но в переднюю навстречу мне бросилась вся квартира.

Мне стало известно, что папу в бессознательном состоянии отвезли на «скорой»! В клинику на Пироговской, где его немедленно осмотрел профессор Мясников – тогдашнее московское светило по желудочно-печёночным болезням.

Увидев мёртвенно-бледное лицо новоприбывшего, который всё ещё находился без сознания и почти без пульса, профессор нащупал в его печени большую твёрдую опухоль, после чего уверенным тоном сообщил маме, ожидавшей его приговора, тот самый убийственный диагноз, который она немедленно протелеграфировала мне.

Цепляясь за ускользавшую от неё надежду, мама попыталась предположить:

«Может быть, всё-таки не рак? Может быть, камень в желчном пузыре?»

В ответ на наивное предположение неведомой ему дамы, не имеющей никакого отношения к медицине, профессор грустно покачал головой:

«Нет, не надейтесь. Таких крупных камней в желчных пузырях не бывает. Да и по состоянию видно, что вашему мужу ничто уж не поможет. Он совсем плох».

Приговор влиятельного специалиста мигом распространился среди папиных сослуживцев, перемахнув и в издательства, с которыми папа имел дело. В результате на каждом экземпляре серии тех зоологических таблиц, которые публиковались тогда под его редакцией, фамилия редактора была напечатана в чёрной рамочке.

Однако мама оказалась великим диагностиком! Той же ночью у отца начались мучительные схватки, похожие на родовые. Он метался, вскрикивал, стонал, – медики думали, что наступает агония, – но к утру страдалец благополучно «родил» печёночный камень и, опять-таки подобно роженице, сразу пе-

рестал ощущать боль и крепко заснул. Камень, действительно, оказался на редкость крупным, чем отец впоследствии даже гордился, точно молодая мать сыном-богатырём, хвастливо демонстрируя его гостям. Он всю жизнь бережно хранил это «сокровище» в специальной коробочке, которую я после папиной смерти, наступившей лишь через тридцать лет после этих событий, с яростью выкинула вон вместе с проклятым камнем. У моей ярости были серьёзные основания. Этот чёртов камень, будь он проклят, действительно, едва не вогнал в гроб папу: желчные протоки, как объяснили маме медики, легко могли бы порваться, когда твёрдое постороннее тело продиралось по ним, и тогда заражение крови и смерть стали бы неизбежностью. А, кроме того, этот камень сломал и мою собственную, почти уже наладившуюся личную жизнь. Хотя не один он был в этом виноват...

Отец был совсем слаб в день моего приезда. Даже не смог оторвать голову от подушки, когда я нагнулась, чтобы его поцеловать. И как же он за минувшие полгода постарел, осунулся! Какое у него было измождённое и измученное лицо! Какая жёлтая и морщинистая кожа! Однако опасность миновала, и он быстро пошёл на поправку, хотя печёночные колики время от времени жестоко мучили его и после этого случая. Видимо, ещё какие-то камушки держались в его желчном пузыре и время от времени о себе напоминали.

Не прошло и нескольких дней, как папа уже смог держаться на слабых ещё ногах, и его выписали из клиники.

Разумеется, как только мы все убедились в том, что отец вне опасности, я поспешила отправить Александру Петровичу на мой саратовский адрес телеграмму об этом. Не помню её текста, но боюсь, что он получился излишне радостным, излишне ликующим, – есть у меня привычка гиперболизировать всё хорошее, что вокруг меня или со мной происходит. Петрович разделял мою тревогу, волновался. Как и я, а теперь мне хотелось, чтоб он и порадовался вместе со мною.

В телеграмме многого не скажешь, и, получив её, мой адресат уяснил одно: видимо, мой отец не так серьёзно был болен, поскольку сейчас почти здоров, и тем, что я устремилась в Мо-

скву, сломя голову, бросив только что вернувшегося фронтовику, я показала этому фронтовику, что не так уж много он для меня значит, – не так уж страстно я его ждала. Даже не подумала, как плохо и одиноко ему будет в чужой квартире среди чужих вещей и чужих людей, – ведь с моими квартирными соседями Петрович был едва знаком, и они совсем не обязаны были о нём заботиться.

Ещё раз сделал он попытку проникнуть в своё собственное жилище, и на этот раз ключ ему не понадобился: он встретил там саму Лидию Павловну, только что вернувшуюся из дома отдыха.

Тем же вечером мне было отправлено письмо:

«Видел Лиду. Она в ужасном состоянии... Если я от неё уйду, она что-нибудь с собой сделает... Невозможно её оставить... Мы не можем быть вместе...»

Мне бы следовало разозлиться, получив такое послание. Но я не могла, так как не столько во время наших недолгих встреч, сколько за долгий период нашей переписки я научилась понимать то, что происходит в душе Петровича, даже если он мне об этом прямо не говорил.

Вот и теперь я понимала, как плохо ему было в опустевшей комнате и как он был рад наконец-то оказаться в родной ему обстановке, в окружении собственных привычных вещей. О чём обычно мечтает каждый фронтовик? О своём доме. Вот и он оказался дома.

Но дело было не только в обстановке. Он встретил там женщину, которую любил и которую, – как я в этом впоследствии убедилась, – никогда не переставал любить, даже в те минуты, когда был на неё зол.

Естественно, Лидия Павловна за минувшие годы не помолодела и не похорошела. Но, как я давно поняла, он любил её не за женскую статью, которая главенствует на современных конкурсах красоты и которой Лидия Павловна никогда не отличалась. Она привлекла его своей инфантильностью, хрупкостью, беспомощностью. Маленьким ростом, детским голоском.

При этой послевоенной встрече Лидия Павловна предстала перед ним ещё более беспомощной и беззащитной, чем обычно.

Она сравнительно недавно похоронила двух опекавших её старушек – мать и так называемую «тётю Маню» – сестру матери, заботливую хозяйку, к которой питал добрые чувства и Александр Петрович.

Вряд ли Лидия Павловна вновь завоевала бы его сердце, если бы держалась по отношению к нему отчуждённо или – ещё того хуже – повысила бы на него голос. Но её слёзы... Но её сиротство... Против такого оружия он сам становился беспомощным.

Всё это было мне понятно. Я могла по этому поводу, как говорится, «биться головой о стену» и «рвать на себе волосы», – но сердиться на Петровича не могла. Неясно мне было одно: почему женщина, не баловавшая мужа письмами и легко согласившаяся на развод, вдруг дала ему понять, что разлуку с ним она пережить не сможет.

Эта тайна открылась Александру Петровичу лишь спустя сорок лет – в 1986 году, когда Лидии Павловны уже не было в живых.

Разбирая заветную шкатулку, в которую при её жизни он никогда не заглядывал, он нашёл пачку писем, из которой он узнал, что в последний год войны Лидия Павловна встретила человека, в которого была безответно влюблена ещё девушкой. На этот раз он проявил к ней внимание, пробудив надежды, тем более что Александр Петрович, оказавшись неверным мужем и, следовательно, по её понятиям, дурным человеком, дал ей моральное право распорядиться собственной судьбой. Вслед за этим мистером Икс, – пишу так, поскольку не знаю его имени-отчества, – Лидия Павловна и уехала тогда в дом отдыха. Однако избранник её сердца вскоре дал ей понять, что хотя она ему и нравится, он не собирается ради неё оставлять жену и детей.

Что ей оставалось делать? Сорок три года – возраст критический для женщины, особенно в послевоенные годы, когда даже юным девушкам нелегко было создать семью. Закрепить за собой свою законную собственность! Лидия Павловна не была дурочкой и знала, на каких струнах ей для этого надо играть и на какие клавиши нажимать.

Думаю, что это позднее открытие сразило бы наповал Александра Петровича, если бы он узнал, что был рогоносцем. Но чего не было – того не было. Только безобидный флирт. Лидия Павловна всю жизнь оставалась женщиной безупречного поведения. Его честь не была задета.

А мой бедный «медовый месяц»! Он длился всего пять дней: 3-го ко мне явился Александр Петрович, 8-го августа я уехала. И когда мы поцеловались на железнодорожном перроне под свист паровозного гудка, я не предполагала, что следующий наш поцелуй откладывается до марта 1987 года на сорок с лишним лет, почти на столетие.

Как я отреагировала на неожиданные для меня слова в письме Александра Петровича «мы не можем быть вместе»?

Обычными бабьими слезами, разумеется. Иного и быть не могло. Но у меня и в мыслях не было попытаться вернуть утраченное, как говорят, – «побороться за себя». Во-первых, я знала: Александр Петрович – из тех людей, которые, приняв определённое решение, не привыкли его менять, и у меня не было того оружия, которым в совершенстве владела Лидия Павловна: я не умела ни быть, ни казаться слабенькой и беспомощной. Это совсем не моё амплуа. А во-вторых, я не терпела клеенного фарфора или хрусталя: если у вещи – даже самой дорогой – образовалась трещина, – следует её выбросить, как это ни печально.

Очень мне было тяжело тогда, но никакого неприязненного чувства к Петровичу я не испытывала, поскольку, как всегда, понимала его. А понимать, – значит прощать. Я и сама не смогла бы бросить глубоко несчастного, плачущего человека, нуждавшегося в моей поддержке. А кроме того... жило во мне то, что я тогда же выразила в стихотворных строчках:

«...Как сил хватило молча отшатнуться,

Понять, простить?

Спасло меня сознание:

Ты здесь. Живой. А мог и не вернуться...»

Не хотелось мне тогда ехать в Саратов, но это было необходимо: через несколько дней должны были начаться учебные занятия. Меня там ждали.

Уезжала я не одна, а забирая с собой дочку: пора ей было перестать бить сироткой при бабушке с дедушкой, тем более что ей было пора ходить в детский садик, а около моего саратовского дома был такой, считавшийся одним из лучших в городе. Туда водили своих малышей все имевшие их обитатели нашего дома, включая Клавдию Андреевну, мою квартирную соседку и нашего директора. Я ещё в начале лета забронировала там место для Ксаночки, осталось только приложить к уже сданным бумагам медицинскую справку, которую я везла с собой из Москвы.

Мама с большой неохотой отпускала внучку, но понимала, что это необходимо: пора было ей из сплошного старческого окружения попасть к сверстникам, а главное, – быть подальше от Нины – милой женщины, но носившей в себе туберкулёзные бактерии.

А что касается меня, то для меня дочка в те дни была, как всегда, спасательным кругом: при ней я не имела права раскисать, обязана была «держаться молодцом», что я и делала в меру моих сил и возможностей.

В раннем, младенческом возрасте дочка спасала меня от жестоких испытаний «трудового фронта». На этот раз – от отчаяния, то есть от меня самой, того душевного смятения, которое во мне тогда происходило.

С совершенно непохожими чувствами вошли мы с Ксаночкой в нашу саратовскую квартиру. Она, как всякий ребёнок, была рада тому, что попала в новую обстановку, – почти забывшую, но всё же ей что-то напоминавшую. Рада она была и свиданию с Валерой и Геней. Я – совсем наоборот. Моя комната, которую я так старательно очищала, ожидая приезда Александра Петровича, успела сильно пропылиться и требовала срочной уборки. Особенно больно мне было увидеть букет засохших, когда-то ярко красных роз, стоявший в вазе. Это были те самые розы, которые Петрович принёс мне утром, тем самым утром, когда я получила мамину телеграмму и поспешила в Москву. Их лепестки почему-то не опали, а засохли и сжались в виде невзрачных чёрных комочков.

Печальный символ!

К тому же обе соседки, ничего обо мне не зная, приняли меня расспрашивать, куда делся Александр Петрович. Разве он не уехал вслед за мной? Почему мы вернулись не вместе?

Если бы на месте Клавдии Андреевны и Натальи Игнатьевны были Маргарита и Шура, я была бы рада поделиться своей бедой, как говорится, «поплакать им в жилетку», но здесь были далёкие от меня люди, и мне пришлось, не орошая ничьих жилеток, бодрым тоном врать им что-то про «мы решили», «мы подумали»... Вряд ли обе дамы поверили моему нескладному вранью.

Начались мои хлопоты – домашние, детсадовские, институтские. Аси в Саратове уже не было, и мне надо было делить педнагрузку с новым человеком – Марией Нестеровной Бобровой, моей сверстницей и бывшей фронтовичкой-связисткой. По своему облику она показалась мне грубоватой (студенты её не любили), но она, подобно мне, была кандидатом наук и зарубежницей, что избавило меня от необходимости опекать её, как я, бывало, опекала и наставляла Асю. Мы с ней поладили, хотя и не подружились. Марию Нестеровну тянуло к другим бывшим фронтовикам и фронтовичкам с других факультетов. С ними она и общалась. Не очень она была довольна тем, что основные курсы я по праву начальницы забрала себе, оставив ей одних вечерников, но возражать не стала: у меня имелась малышка, которую я была обязана забирать из детсада не позже шести вечера, а она ребяташек и вообще семьи не имела.

Я не сомневалась в том, что Александр Петрович явится ко мне, как только я приеду, – он приблизительно знал, когда это будет, да и наш факультетский «беспроволочный телеграф» работал исправно, хотя самая активная наша «телеграфистка» Люба Жак тогда из Саратова уже уехала. Должен же он был узнать мою реакцию на своё письмо, во всяком случае, проститься со мной по-человечески.

И он, действительно, не замедлил придти, – но всё произошло совсем не так, как я ожидала.

Узнав хорошо мне знакомые три коротких звонка, я предоставила соседям открыть входную дверь, а сама, выпрямившись и, конечно, волнуясь, стала ждать: вот сейчас он

войдёт сюда нерешительной походкой, посмотрит на меня виноватыми глазами...

Однако получилось совсем по-другому. Шаги были стремительные, а ворвавшись без стука в комнату, Петрович с лучезарной улыбкой схватил меня в объятия.

Я совсем не собиралась скандалить, но от неожиданности отпрянула назад и даже, помнится, резко его от себя оттолкнула, возможно, слишком резко. От неожиданности.

А это стало обидной неожиданностью для него.

– Что с тобой? В чём дело?

Оказалось, что мой несостоявшийся жених, почти муж, и не думал со мной расставаться.

– Разве я тебе об этом писал? Разве мне такое на мысль приходило? Я написал только, что не могу бросить Лиду. Она погибнет. Я обязан остаться с ней. Это – мой долг. А встречаться мы, конечно, будем. Как же иначе?

Я никогда не была ханжой, и мысль о свободной тайной связи никогда меня не отпугивала. Но какая может быть тайна, после того, как мы вдвоём принимали поздравления от всего факультета и домашнего окружения и чуть ли не свадьбу отпраздновали в воробьёвско-акимовском доме?

Случаются, конечно, и связи отнюдь не тайного характера. Например, начальника с секретаршей или режиссёра с актрисой-дебютанткой, которой он оказывает покровительство. Все на факультете спокойно смотрели на близость А. П. Скафтымова с Маргаритой, пока она не стала претендовать на роль его жены. Но сейчас была совсем иная ситуация. Если мужчине «позор», «который всеми был замечен», возможно, и принёс бы «соблазнительную честь», то для меня – зав.кафедрой, члена учёного совета, – никоим образом!

Расстались мы отнюдь не дружелюбно. Самолюбие Петровича было уязвлено. Ещё бы! Размечтался человек иметь «вторую семью», как сказали бы европейцы, или «вторую жену в гареме», как сказали бы азиаты, а его порыв не поняли, его оттолкнули, – причём в буквальном смысле и довольно ощутимо.

Никаких обидных слов мы друг другу не сказали, но Петрович дал мне понять, что глубоко оскорблён и обижен. Он, ви-

димо, полагал, что, если женщина по-настоящему любит, она обязана быть «рабой любви».

Он быстро и разозлёно ушёл. И мы больше не искали встреч друг с другом, что было не сложно, поскольку мы работали в разных вузах. На заседания кафедр университетского филфака я перестала ходить, да и другие мои коллеги из Пединститута тоже. В своё время магнитом, который нас туда притягивал, были ленинградцы во главе с Г. А. Гуковским и М. Н. Алексеевым.

В каком отчаянии я была, когда Петрович уходил на фронт! А на этот раз отчаяния не было, – одна только злость. Какое-то время мне казалось, что этот человек, недавно такой долгожданный и близкий, для меня больше не существует, что я даже рада тому, что он ушёл. Скатертью дорога!

Причину моего такого состояния помогли мне осознать давние беседы с моим отцом, когда они касались многого, – в частности некоторых биологических явлений – материи наиболее ему близкой. От папы я знала, что в животном мире самка охладевает к самцам и даже гонят их от себя, когда вынашивают и кормят детёнышей. А у людей такое встречается лишь в редких случаях. Но, может быть, я и была этим «редким случаем»? Типичной «биологической самкой»? Не случайно, я всегда великолепно себя чувствовала во время моих беременностей. А я тогда была беременна. Сначала я сама заметила это по некоторым несомненным признакам, потом это подтвердил гинеколог, взявший меня на учёт.

Я и радовалась и злорадствовала:

Будет у меня хорошая полноценная семья – двое ребятешек. Цветущий сад! А Петрович... пусть холит свою сухую веточку, – большего он не заслуживает. Пусть стареют в одиночестве бобыль с бобылихой! Так им и надо!

Маме я не скоро написала о моей беременности, и подругам не скоро о ней сказала. Только после того, как её можно стало замечать, поскольку специальными широкими платьями или блузками я запастись не успела.

Как радовалась мама, когда я сообщила ей о моей первой беременности, и в какой ужас она пришла на этот раз: «Немед-

ленно иди к хирургу! Немедленно сделай аборт! Что я скажу Вере, Екатерине Ивановне, Александре Арсеньевне?!»

Ещё чего не хватало! Ради каких-то чужих тёток я должна обрывать жизнь существа, ещё мне не известного, но уже дорогого! Как хотелось мне, чтоб и «оно» тоже оказалось девочкой!

А мама, как ей не стыдно жертвовать внуком или внучкой, чтоб её, упаси господи, не коснулось пятно стыда за моё «недостойное поведение»!

Напрасно я обвиняла маму. Не о себе она тогда заботилась, а о моей дальнейшей судьбе. Имея одного ребёнка, я могла бы найти нового мужа, хоть это в послевоенные годы было не так просто. А с двумя малышами – совсем безнадежно. А устройство для дочери того, что называется «личным счастьем», – забота всякой матери.

Только я в то время ни о каком замужестве не помышляла и видела своё счастье лишь в материнстве и интересной для меня работе.

Папа вполне меня понимал и всецело был на моей стороне. Только, в отличие от меня, мечтал, чтоб «оно» получилось не девочкой, а мальчишкой. Надоели ему девочки. Захотелось разнообразия.

47 © ПРОЩАЙ, САРАТОВ!

Мой последний учебный год в саратовском пединституте (1945–1946) был значительно легче предыдущих, поскольку был послевоенным. Столовой для научных работников уже не существовало, – ну и бог с ней! Зато существовали коммерческие магазины, заметно оживились рынки, да и в распределителях по карточкам, помимо нормированного хлеба, солёной трески и серых макарон начали выдавать и продукты, которые мы в военные годы не видели: сахар, сливочное масло, мясо, разнообразные крупы (разумеется, тоже по нормам).

Завтраками и обедами Ксаночку кормили в детсадики, – мне оставалось лишь приготовить что-нибудь для самой себя и ей на

ужин. При этом она меня нередко конфузила: бывало, сделаешь её что-нибудь вроде омлетки или кусочка курицы с овощным гарниром, а она, не доев того, что ей положено, – «сыта, больше не хочу», – мчалась к Асеевым, где и без неё было тесно, и вскоре возвращалась оттуда, с аппетитом уплетая большую варёную картофелину без всякого гастрономического приложения.

С домашними делами я легко справлялась. Хуже было то, что работать пришлось напряжённо: ведь к началу апреля – то есть к началу моего декрета – я должна была полностью выполнить всю мою годовую педнагрузку, а это значило читать лекцию за лекцией почти без передышки, то есть по шесть – восемь часов в день.

Очень помогли мне тогда мои друзья и даже их мамы, – например, Мария Николаевна, мама Маргариты. То, бывало, Шура забежит, притащив миску квашеной капусты домашнего приготовления: «Тебе полезно, – ешь!» То Маргарита с бутылочкой морса, тоже домашнего: «Это мама из чёрной смородины сделала. Сплошные витамины!»

В числе друзей не было уже Зели. Зато появились новые, тоже очень заботливые. Например, преподавательница французского языка Надежда Генриховна Леер. После её высылки из Ленинграда она была разлучена с сыном, который остался в Ленинграде с отцом и его второй женой. Надежда Генриховна от тоски по сыну готова была излить свой неутолённый материнский инстинкт на всех ребятишек нашего двора, но почти у всех, помимо матерей, имелись бабушки. А при Ксане, кроме меня, никого не было, и здесь для Надежды Генриховны открывалось широкое поле деятельности. Она всегда была готова и почитать Ксаночке книжку, и поиграть с ней, и погулять. Однако книжки Ксана читала сама, играть предпочитала с Геной и Валерой, а удовольствия гулять с ней по воскресеньям я никому не уступала. Тем не менее и на долю Надежды Генриховны кое-что выпадало к большому её удовольствию. А у меня всегда была уверенность, что возле меня живёт человек, всегда готовый меня выручить. Так оно и случалось, когда в детсадике объявлялся какой-нибудь карантин, а мне надо было идти на занятия.

Словом, в добрых друзьях и добровольных помощниках

недостатка я не испытывала. А от Петровича, наоборот, резко отвернулись все наши общие друзья – та самая традиционная компания, с которыми мы вместе, из года в год, отмечали наши праздничные даты. Те самые люди, которые в начале августа организовали торжественную встречу в честь его благополучного возвращения.

Я в этом была неповинна, поскольку несколько не разыгрывала из себя оболыщённую и брошенную, типа карамазовской «бедной Лизы» или гётовской Гретхен. Да и не была ею. Ни я никого не бросала, ни меня никто не бросал. Просто мне предложили роль не моего ампула, и я от неё отказалась.

Возможно, что друзья обиделись на Александра Петровича даже не из сочувствия ко мне, а за себя самих. Открыто играя роль новобрачного, принимая по этому поводу поздравления, Петрович сам дал всем этим людям повод подумать, что он втянул их играть нелепый фарс. Супруги Воробьёвы и Лида Бараникова не простили ему этого до конца жизни. Прежняя дружба возобновилась у него лишь с Евграфом и Шурой, да и то не сразу. Слишком многое сблизало Петровича с Евграфом: общая университетская кафедра, охота, рыбалка, шахматы.

Разумеется, бойкот со стороны друзей был так же неприятен Петровичу, как и то, что я предпочла разрыв с ним унижительному для меня положению, хотя одиноким он не остался. Возле него были братья Лидии Павловны со своими жёнами и супруги Скафтымовы.

Мои взаимоотношения с Александром Павловичем Скафтымовым всегда были хорошими. Пожаловаться не могу. Но тем не менее я имею серьёзные основания подозревать, что в крушении моих надежд Александр Павлович сыграл роковую роль, не желая мне при этом никакого зла.

Благодаря Петровичу, с которым мы вместе когда-то говорили, и трагических переживаниях Ольги Александровны Скафтымовой и Маргариты, мне было известно моральное кредо Александра Павловича.

Сущность его такова:

Каждый мужчина – холостой или женатый, не важно, – вправе влюбляться и удовлетворять свою страсть. Это

естественно, это прекрасно, поскольку духовно обогащает его. Но если он женат, – особенно в тех случаях, когда он женился на девственнице, – он полностью отвечает за её благополучие и не вправе ни при каких обстоятельствах её покинуть. Забота о ней – его долг.

У Петровича была своя голова на плечах, с любым из своих друзей он мог в чём-то не соглашаться, спорить, – но к А. П. Скафтымову это отношения не имело. С гимназических лет Александр Павлович был для него непререкаемым авторитетом, точно духовник для глубоко верующего.

О чём говорили эти два человека, когда вскоре после возвращения с фронта они до поздней ночи беседовали с глазу на глаз? Может быть, именно этот разговор, а не слёзы Лидии Павловны, подсказали Петровичу тот «выход из положения», который был предложен мне и возмутил меня?

Ксаночка охотно ходила в детский садик, где её учили и рисовать и лепить, и петь песенки. Там бывали и праздники – с красными флажками 7 ноября, с ёлкой и Дедом Морозом – под Новый год. Не нравился ей только так называемый «тихий час», когда детишек днём укладывают спать, а она отвыкла от дневного сна с раннего младенчества. Чтоб она не бунтовала, я научила её брать с собой в кроватку какую-нибудь мелкую игрушку и потихоньку, никому не мешая, с ней играть под одеяльцем, преобразованном в пещеру.

Асеевские ребята тоже ходили туда, только в другие возрастные группы: Валера – в старшую, Гена – в среднюю. В садике они были разьединены, но дома составляли общую компанию, игравшую почти всегда у меня, поскольку у Асеевых и без ребятшек народу хватало (мама, папа, бабушка).

Нередко к этой троице присоединялась и Наташа Покусаева из верхней квартиры. Наташа была уже школьницей, но, видимо, унаследовавшей от Шуры, своей мамы, педагогические наклонности. Она охотно возилась с малышами, включаясь в их игры.

Разумеется, в моей комнате в этих случаях всё вставало дыбом. И по полу, и по дивану, и по моей кровати разбрасывались

и игрушки, и книжки, и бумажки с их рисунками, и цветные карандаши. И шума было предостаточно. Но мне вся эта чертовщина очень нравилась. Поднимала настроение.

Не было в этой компании только Милы Скафтымовой: как только она вышла из грудного возраста, Мария Николаевна – Маргаритина мама – забрала её в свою семью, живущую сравнительно далеко от нашего дома. Там её и навещали поочередно и всегда в разное время Маргарита и Александр Павлович со своими гостинцами.

Валера Асеева была типичной положительной девочкой из назидательных книжек: любила кукол и кукольную посуду, в которой по примеру своей бабушки что-то стряпала, используя для этого вырезанные из бумаги макароны или опавшие листья. Её брат, наоборот, предпочитал иметь дело с жестяными автомобильчиками и всякого рода боевым вооружением. Был непоседой и драчуном. Однако Ксаночка предпочитала Гену его степенной сестрице. Ей нередко влетало от него: то за волосы дёрнет, то игрушку из рук выхватит, – но мне за неё вступаться не приходилось: обидчик мгновенно получал «сдачу» от неё самой, хотя он был на целых полтора года его старше, она ему спуска не давала. После минутной потасовки «стороны» быстро мирились. Подобно Гене, Ксаночка ничего кукольного не любила, предпочитая мальчишеские игрушки и мальчишеские игры с беготнёй и вознёй.

В те годы Гена считался «наказанием» детсадовских воспитательниц, а в школьные годы, как мне впоследствии писала Шура, прослыл «грозою учителей». Его поступки иногда приводили в растерянность даже его маму, хотя Клавдия Андреевна была доцентом кафедры педагогики и кандидатом педагогических наук.

Однажды, например, он выкрал из её сумочки солидную денежную купюру и истратил её на несколько десятков порций мороженого, которые раздал своим одноклассникам. Как должна была поступить родительница организатора? По дедовским законам, казалось бы, – выпороть воришку. Однако советская педагогика требует, чтоб у детей в первую очередь воспитывали принципы коллективизма. Не для себя же Гена

стащил деньги, а для коллектива... Из этих соображений доцент Асеева наказывать сына не стала, только начала с этого дня держать деньги и ценные вещи под замком или там, куда сын не мог дотянуться.

Ксаночкино четырёхлетие мы с ней отпраздновали на славу. Все её друзья пришли с подарками, – в основном, с книжками, поскольку игрушек ей и без того уже некуда было девать, а кругом нас не было никого, кому она могла бы их передать по наследству. Наоборот, она сама была всеобщей наследницей, поскольку всё ещё оставалась самой младшей в нашем многоквартирном доме.

Те гости, у кого нашлись хозяйственные бабушки, принесли и съедобные подарки – домашние сладкие пирожки, крендельки, ватрушки, – к 1946 году белая мука уже перестала быть для саратовских жителей недоступной роскошью.

А больше всех подношений обрадовал и восхитил Ксаночку подарок Надежды Генриховны: купленная на рынке типично-рыночная деревянная лопатка, выкрашенная серебряной краской и имевшая на своей широкой лопасти – «копалке» большую пронзительно-малиновую розу. По размерам и очертаниям – вылитый кочан капусты.

Поскольку Ксаночка, в отличие от меня, не обучалась в школе эстетического воспитания, этот предмет показался ей воплощением роскоши. Она бережно поставила лопатку в уголок розой кверху и отказывалась брать её на прогулку, чтоб использовать по назначению: «Красота сотрётся!»

Прогуливали мою дочку, как полагается, в детсадике. Лишь по воскресеньям, если погода позволяла, гуляла с ней я, обычно в «Липках», где в отличие от нашего двора, не было деревянного и жестяного хлама, опасного для ребячьих ручонков. Идти туда приходилось улицей, где с недавних пор завелись торговки кондитерскими изделиями такого же кустарного производства, как и новая лопатка. В основном, это были красные леденцовые петушки на палочках – лучинках и подушечки из постного сахара, серенькие, но размалёванные цветными полосками.

Вряд ли всё это изготавливалось в гигиенических условиях, поэтому я каждый раз норовила торопливо «прош-

мыгнуть» мимо этих сомнительных соблазнов. Дома у меня всегда водись магазинные пастилки и мармеладки, – зачем Ксаночке эта дрянь?

Однако мой маневр редко удавался, поскольку у Ксаночки был свой хитрый маневр. Она не выклянчивала у меня этих петушков и эти подушечки, – просто останавливалась, как вкопанная, как только мы оказывались рядом с торговкой, и принималась, как бы не обращая внимания ни их товар, заранее ей известный, внимательно рассматривать стену дома или водосточную трубу. Сдвинуть её с места, не рискуя свалить, было невозможно, поднять её в моём положении – рискованно. Волей-неволей приходилось уступать.

Во время этих прогулок я иногда встречала Петровича. Всегда одного, без Лидии Павловны и, как мне кажется, не случайно. Мы с ним обменивались лёгкими кивками, – всё-таки воспитанные люди! – после чего он впивался глазами то в Ксаночкину мордочку, то в мой живот, причём с его физиономией начинало происходить что-то странное: он начинал морщиться, точно от нервного тика, и делать непонятные движения ртом, как будто он чем-то подавился. Не в таких ли случаях говорят: «ком в горле»?

Если бы Петрович со мной бы заговорил. Я бы, конечно, ответила. Но он не заговаривал. Не хотел? Или не мог?

Не первой же мне начинать беседу! Да и о чём я бы могла его спросить? О здоровье Лидии Павловны? О его педнагрузках и партпоручениях?

А какая физиономия была тогда у меня самой? Мне казалось, – холодная и равнодушная. Но кто знает? Со стороны ведь себя не видишь...

Петровичу, разумеется, было известно, что в конце марта или в начале апреля я должна буду уехать в Москву, под родительское крыло. Причём навсегда. Что он по этому поводу думал? Вероятно, осуждал меня за чёрствый эгоизм, как любой человек осуждал бы компаньона, который улизнул бы от него, забрав в свою личную собственность нечто ценное и совместно нажитое...

Ксаночку я отправила в Москву за месяц до того, как вые-

хала туда сама, – необходимо было в спокойной обстановке завершить и оформить все мои институтские дела – и для себя, и для М. Н. Бобровой, которой я сдавала свои полномочия. Уложить то, что я увозила с собой. Распорядиться тем, что на время оставляла.

И снова, как она не раз уж это делала, мне пришла на помощь милая и безотказная Надежда Генриховна. Как раз в эти дни уезжала в Москву гостившая у неё добрая знакомая – надёжный человек. Она по просьбе Надежды Генриховны любезно взялась доставить живую посылочку с саратовского перрона на московский – с моих рук в бабушкины объятия.

Ксаночка, к счастью, чужих людей не дичилась, тем более что «новая тётя» по семейному положению – опытная мамаша – сумела ей понравиться. Ради удовольствия «снова покататься на поезде» и попасть к бабушке и дедушке, она без сожаления рассталась со своим детсадиком, соседской ребятнёй, даже со мной, – правда зная о том, что и я очень скоро последую за ней.

Только «серебряную» лопатку с розой – подарок «тёти Дины» – ей было жалко оставлять. Пришлось пообещать, что я её привезу. Разумеется, мне пришлось обмануть дочку, – не до лопатки мне было, – но к моему приезду Ксаночка уже забыла об её существовании. Её захватили новые впечатления, новые игрушки.

Пединститутское начальство отпустило меня без возражений. Понимали люди – и директор, и его зам, и декан литфака, что в моём положении мне необходимо ехать туда, где обо мне позаботятся близкие, да и какая польза была бы институту от кормящей матери с двумя малышами? К тому же на месте оставался другой доцент – фронтовичка-орденоносец и было достаточно времени для того, чтоб найти ещё какого-нибудь зарубежника с учёной степенью и без малых ребятишек.

В затруднительное положение я институт не поставила. В этом смысле моя совесть была чиста.

Характеристику мне выдали великолепную – хоть в Академию наук с ней иди. И эрудиция у меня – выше всяких похвал, и лектор я блестящий, и марксизмом-ленинизмом владею в совершенстве, и общественница – лучше не бывает: в военные

годы «обороняла Саратов». Мне неизвестно, кто именно сочинял этот панегирик, а подписался под ним весь так называемый «треугольник»: директор, предместкома и секретарь партбюро Янсюкевич. Значит, я была несправедлива к ней? Значит, она совсем не такая ведьма, как мне казалось?

Кроме этой бумаги, мне горисполком выдал медаль «За доблестный труд». Впоследствии такой медалью принялись награждать многих направо и налево, но в начале 1946 года лишь немногие работники тыла удостоивались такой чести.

Сборы мои сложными не были, значительно отличаясь от переезда из Неопалимовского на Ленинградское шоссе и даже с 1-го этажа на 5-ый в доме 16/13.

Моя скудная мебель наполовину была казённой, – мне достаточно было попросить комендантшу забрать её. Остальное – книжный шкаф, диван, стулья – охотно раскупили новые жильцы. Кое-что из домашней утвари я раздарила приятельницам и Оранжевой Марусе, моей постоянной палочке-выручалочке.

Мой когда-то богатый гардероб превратился в ничто: отчасти износился, отчасти был выменен на рыночную снедь. Только с книгами пришлось повозиться, укладывая их в фанерные ящики и заколачивая. К счастью, книг у меня тогда было несравненно меньше, чем сейчас, а помощников – хоть отбавляй. Эти же помощники доставляли всё, что можно было, на товарный поезд, чтоб я – упаси господи! – не поднимала ничего тяжёлого.

Перед самым моим выездом друзья, как всегда вскладчину, устроили в мою честь прощальный обед. По обыкновению – в просторной воробьёвско-акимовской квартире.

Кроме обычной нашей компании, участие в нём приняли Надежда Генриховна, М. Н. Боброва, декан Е. Т. Павловский с супругой и чета Пенцова-Долотов, – та самая, которая первой пригрела нас с Колей, когда мы появились в чужом для нас городе: в их семье мы встречали наш первый саратовский Новый год – 1939-ый.

Поскольку вина мне не полагалось, все, точно в горбачёвские времена, пили морс, приготовленный хозяйкой дома. Были тосты, были добрые напутствия, даже слёзы (Маргарита

не удержалась). Были оды в мою честь, созданные музами Лиды Баранниковой и моего постоянного вечериночного соавтора В. П. Воробьяева. Евграф Покусаев преподнёс мне собственноручно выполненный рисунок «со значением»: в центре среди пышных роз на клумбе восседала я, а сбоку за забором, на пустыре Петрович из огромной лейки заботливо поливает воткнутую в голую землю сухую веточку.

Даром живописца, тем более портретиста, Евграф не обладал, – однако догадаться о смысле рисунка было несложно.

Получила я и коллективный подарок – серебряный с позолотой прибор для праздничного стола: ножик для сыра, лопаточка для икры и широкая вилка для прочих закусок. Всё это покоилось на бархате в плоской коробке.

Ни комиссионных, ни, тем более, антикварных магазинов в Саратове тогда не было. Ещё не пришло время. Скорее всего, кто-то из устроителей прощального вечера углядел эту вещицу у какой-нибудь знакомой интеллигентной старушки и выкупил её.

На вокзале, когда я уезжала, собралась тьма народа: и те, кто угощал меня накануне прощальным обедом, и некоторые другие, а, в основном, студенты. Множество рук пожимало мою руку, со многими я целовалась, не разбирая ни пола, ни возраста.

И вот поезд тронулся... Скрылись от моих глаз лица, руки, платочки... Но я всё же не отлеплялась от окна, бессознательно на что-то надеясь, чего-то ожидая, и – дождалась! В самом конце перрона, вдали от всех, одиноко стоял Александр Петрович. Паровоз уже набирал силу, так что он, конечно, меня заметить не мог, да и я его лица не рассмотрела, – узнала только его фигуру, его пальто.

Какой же сиротливой показалась мне тогда эта фигура! Мне даже почудилось, что он по-стариковски чуть согнулся, хотя вообще-то он всегда, – даже на склоне лет, – держался прямо, – скзывалась военная выправка!

В какую-то долю секунды в моём сознании мелькнула острая жалость к нему и совершенно идиотская мысль: «Куда я еду? Зачем? Моё место здесь, около него...»

Если бы у меня была привычка повиноваться идиотским мыслям, я немедленно выпрыгнула бы из вагона, хотя я была далеко не мастерица прыгать, а уж на девятом месяце беременности...

Конечно, я ничего идиотского не совершила, – просто осознала, что не так уж я охладела к Петровичу, как мне казалось до этой минуты.

И в том, что я для него – не пройденный этап, не пустое место, – я тоже не сомневалась. Не разумом, а подсознанием чувствовала, что он придёт попрощаться со мной. Обязательно. Неизбежно. Возможно, что он бы и в дом ко мне зашёл в один из моих прощальных дней, но у меня тогда с утра до позднего вечера толкались люди. Знакомые ему и незнакомцы.

В вагоне я не заплакала. Нельзя! А то будущее дитя станет плаксой. Но очень хотелось заплакать, хотя меня так хорошо, так тепло проводили, и хотя я сама ехала в родной дом, к самым близким, самым родным...

Ч А С Т Ь XI

48 © ЮНОЧКА

В Москву я прибыла утром 6 апреля – на следующий день после маминых именин. С довоенных лет она их не отмечала и наконец получила возможность воскресить давнюю традицию.

Было у неё по глазовско-яхонтовскому обычаю многолюдно, хотя бабушки уже не было, домработницы мама в то время ещё не держала, и стол ей пришлось организовывать самой при помощи одной только Лены.

Гости были обычные: наша 4-ая квартира, Варвара Федоровна с супругом, Екатерина Ивановна с мужем, Мария Николаевна Мансурова с Олечкой, Александра Арсеньевна, чета Воронковых.

Я сознательно выбрала для своего появления не 5-ое, а 6-ое число, чтоб не появляться в этом многолюдии со своим огромным животом непонятного происхождения. Главным украшением общества была Ксаночка, восседавшая на чьих-то коленях, пока её не отправили спать.

Без именинного угощения я, разумеется, не осталась. Как всегда мама готовила именинный стол «с запасом», и мне достался и салат оливье и всё, что к нему полагается.

В день своего приезда я по-настоящему познакомилась с моим троюродным братом Вадимом – родным братом Леночки. Раньше я его видела лишь мельком и давно, – когда его, тринадцатилетнего мальчугана, бабушка Екатерина Николаевна перевозила вместе с Леночкой из Киева в Арзамас. Теперь это был мужчина на год моложе меня, бывалый танкист, которому посчастливилось живым и без ранений пройти три войны: Финскую, так называемую «освободительную» на польской земле и Великую Отечественную – с первого дна до последнего.

Поскольку его бабушка в военные годы скончалась, Вадим решил, что в Арзамасе ему делать нечего и что он полностью завоевал право стать столичным жителем. Помимо самих столичных преимуществ, им, разумеется, руководило и то, что здесь находилась Леночка – его единственный родной человек. Тогда был ещё жив и его отец, в трудные годы бросивший семью, но о нём Вадим и не вспоминал.

Работу шофёра Вадим нашёл без труда. Временно прописался где-то при гараже, а поселился у нас, отгородив шкафом уголок для себя в Санатиной комнате, против чего Саната не возражала. Вёл себя очень деликатно: сам себя содержал, никому не мешал, – наоборот, старался всем помочь, когда кому-нибудь из обитателей нашей квартиры требовалась мужская сила и сноровка. Например, помог мне после моего приезда доставить домой высланный из Саратова багаж и мои новые приобретения – необходимый мне большой книжный шкаф и письменный стол (возвращаться к моему узенькому, шаткому секретерчику мне решительно не хотелось, и я при первой же возможности поспешила от него избавиться).*

Побывав в Арзамасе, Вадим распродал и раздарил почти всё, что осталось после смерти его бабушки, прихватив с собой лишь немного: семейные фотографии, несколько книг и кое-

* Я очень подружилась с дядей Димой. Именно он научил меня пользоваться и отвёрткой, и молотком. Мы частенько с ним гуляли, причём он любил заходить в одну из многочисленных пивнушек, которых было полно в послевоенной Москве, и пропустить там кружечку пива. Мне он обычно покупал очень мной любимые солёные сушки. Я потом не раз шокировала маму, говоря: «А вот это наша пивная!», когда мы проходили по какой-нибудь улице. (Прим. Кс. Маршак.)

какие сувениры, в числе которых оказались три своеобразных. Мы всей квартирой рассматривали их с немалым интересом, чем боевые ордена и медали самого Вадима.

Одной из этих драгоценностей был «влас господа нашего Иисуса Христа», привезённый кем-то из Палестины: это был довольно длинный волос русого цвета, вставленный в серебряный футляр с хрустальной стенкой, позволяющий этот «влас» видеть, да ещё в увеличенном виде – как бы под лупой. Своим видом и формой эта вещица напоминала градусник для младенческих ванночек, только дерево было заменено серебром.

В другом, тоже застеклённом небольшом футляре хранилась седая прядь волос Серафима Саровского и в сравнительно крупной шкатулке – «брада благочестивого Николая Александровича Мотовилова» – предка Леночки и Вадима. Тоже седая. Чем менее драгоценными были эти священные «власы», тем обильнее было их количество.

Интересно, куда сейчас, когда Вадима уже нет, они девались?

Вадим прожил у нас всего год. В 1947 году он женился, переехал к жене и стал полноправным москвичом. С тех пор я его видела редко, но Леночка подружилась и с ним, и с его женой Таней, очень симпатичной женщиной. Внешне Таня и Лена немножко похожи друг на друга, да и в их характерах много общего: обе домовитые, добрые, заботливые.

О том, что у неё скоро появится братишка или сестрёнка Ксана знала ещё с саратовских времён. «Шила в мешке не утаишь», а дурачить её рассказами об аисте или капусте мне не хотелось. Наоборот, я иногда подзывала её к себе, когда ещё не рождённое существо принималось во мне шевелиться и «знакомила» их, прижимая Ксаночкину ручонку к моему беспокойному животу. В эти минуты моя дочка становилась похожа на нетерпеливого ребёнка, которому обещали подарить щенка или кошечку, но почему-то медлят.

Вторая моя дочка появилась на свет легко, – не скажу, чтоб безболезненно, но быстро: от первой схватки до финала прошло лишь полтора часа. Видимо, старшая, порядком замучив меня, прорыла там, где полагается широкий туннель для млад-

шей. А маме не пришлось на этот раз размахивать водочной бутылкой, выбежав на улицу. По совету одного из новых жильцов нашего дома – гинеколога Цавьянова, мама за два дня до назначенного срока поместила меня в роддом, в котором он работал главным врачом.

Событие произошло 7 мая.

Хотя Ксаночка охотно играла и с мальчишками, она была рада, что «получилась» сестричка. Даже прислала мне в роддом рисунок, изображавший двух девочек с огромными бантами – одну побольше, другую поменьше, которые стояли рядышком, держась за руки.

Однако художница ошиблась в своих предположениях.

Когда малютку принесли домой и положили поперёк покрытого голубым ковром дивана, моя старшенькая мигом взобралась туда же и с решительностью законной владелицы давно обещанного подарка развернула одеяльце. И какое разочарование! Вместо долгожданной подружки она увидела нечто совсем беспомощное, к тому же крепко спавшее. Кукла – не кукла, но ещё далеко не человек. С такой не поиграешь! Какой от неё толк!

А между тем совсем не крошечной была при рождении моя младшая. 3 кило 600 – на целый фунт (400 грамм) крупнее старшей сестры, выношенной в год «великого поста» военного времени.

Ребёночек получился на славу, лучше, чем у многих моих однопалатниц. Как на него радовалась, как не могла налюбоваться мама, когда-то не желавшая его появления, чего я маме никогда не напоминала. Да и папа был счастлив. Ведь ни меня, ни Лену, ни Ксаночку пеленашками он не видел. Впервые в жизни досталось ему удовольствие держать такую на руках, слегка покачивая её.

Все домашние, включая дядю Бутю, весело меня поздравляли, только постоянная его посетительница Екатерина Васильевна громко возмущалась тем, что «квартира провоняла пелёнками». Строгая она была дама, хотя и с нежным голоском, и Ксаночка её побаивалась.*

Ворох поздравительных телеграмм и писем получила я от

моих саратовцев, а от Александра Петровича пришёл почтовый перевод, – не помню на какую сумму, – где в сопроводительном квитке никакого поздравления я не нашла, а нашла лишь обещание, что такую же сумму отправитель обязуется высылать получателнице ежемесячно. Я без всякого «спасибо» сразу же отправила эти деньги обратно, написав, что в его материальной помощи не нуждаюсь и прошу мне никаких денег больше не посылать.

Деньги никогда не бывают лишними, но мои родители вполне меня одобрили. В своё время мама хотела отказаться и от взыскания алиментов с М. А. Малюгина – Леночкиного отца, но бабушка Юля настояла на том, чтобы он их выплачивал. Не корысти ради, а чтоб «наказать негодяя».

Разумеется, когда я писала, что я ни в чём не нуждаюсь, я рассчитывала не на отцовскую шею, а на саму себя. Я тогда уже была принята на доцентскую работу, о чём расскажу позже, а в послевоенные годы работникам высшей школы со степенью и званием платили значительно больше, чем представителям интеллигентных профессий, не связанных с высшей школой.

Как назвать мою малышку? Заранее мне об этом не думалось, – других забот хватало. Хотелось дать ей имя русское, не вычурное, но и не такое, какое слышишь на каждом углу. У тёти Санаты нашлись православные святцы, при помощи которых можно было подобрать что-нибудь подходящее.

Перелистав святцы, я остановила свой выбор на имени «Юлиана». Одобрила его и мама. Сразу нами было придумано и сокращенное от «Юлианы» путём соединения первого слога с последним, – «Юна». Очень милое имя. И простое и незатасканное.

Но через недельку, когда малютка была ещё не зарегистри-

* Насчёт «побаивалась» не помню, но хорошо запечатлелась в памяти наша первая встреча. Когда меня только что привезли из Саратова, все обитатели квартиры высыпали меня встречать, и какая-то очень неприятная тётя с лошадиными зубами схватила меня на руки, что мне активно не понравилось, и я залепила ей оплеуху (к тайному удовольствию всех остальных, кроме дяди Бути, конечно). Тётя быстро поставила меня на пол, пробормотав что-то вроде «терпеть не могу детей», и на этом наши контакты оборвались. (Прим. Кс. Маршак.)

рована, явилась Александра Арсеньевна и даже руками от ужаса всплеснула, – она была экспансивным человеком:

– Это же только в святцах – «Юлиана», а в жизни-то Ульяна! Кухарочье имя! Никакой не Юночкой, а Улькой все её будут называть! Нареките уж её прямо Агафьей или Матрёной!

Нет, я не хотела дочку-Ульку, да и она, став взрослой, этого мне не простила бы, хотя Фадеев в «Молодой Гвардии» это имя опозитизировал, а в наше время простонародные имена – Дарья, Максим, Филипп, да и та же Ульяна вошли в моду. Ульяной зовут, например, прославленную молодую солистку Мариинского балета – Лопаткину.

Выход из затруднения нашла мама:

– Пусть она у нас Юночкой и останется. А в метрике мы её запишем Юлией. В память бабушки.

Так я и сделала, тем более что имя «Юлия» тоже вполне благозвучно и было в те годы мало распространено. Популярным, даже модным оно стало значительно позже.

Моя малышка стала даже полной тёзкой бабушки – Юлией Николаевной, – поскольку обидной метрикой «с прочерком» я её наделять не захотела, а единственным официальным документом, находившимся в моих руках, было только свидетельство о браке с Н. С. Новосёловым. К этому одобрительно отнеслась и Вера, с которой я это заранее согласовала.

– Конечно, конечно, – у сестёр должны быть общими и отчества, и фамилии. Меньше будет ненужных расспросов.

Для обеих моих девочек В. С. Новосёлова до конца жизни была ласковой и любимой «тётей Верой». Относилась и она к ним одинаково, очень сердечно, по-родственному.

Незадолго до моего возвращения в Москву мои родители продали то, что называли своей дачей, хотя в сущности это была никакая не дача, а трёхкомнатная квартира с террасой и кухней в нескладном здании, разделённом на три самостоятельных владения. Продали за гроши, если сравнить полученную при продаже с той, которую по неопытности израсходовала мама, когда это нелепое сооружение строилось.

Но хорошо, что хоть малую частичку потраченных денег удалось вернуть, – с тех пор, как Пушкино из посёлка официаль-

но преобразовали в город, принадлежащее Яхонтовым помещению могли бы попросту конфисковать.

Вырученные за дачу деньги были тогда нам всем необходимы, поскольку в течение военных лет вся наша семья так обносилась, что и мне, и папе было бы просто неприлично показываться на кафедрах перед студентами в том, что было на нас надето. Леночка была «девушкой на выданье», да и сама мама любила и одеваться прилично, и гостей принимать достойно. Кроме того, наши прокопчённые от печурок комнаты настоятельно требовали ремонта.

Эти деньги дали нам всем возможность приодеться, – даже с излишеством: в честь рождения Юночки мама подарила мне золотое кольцо с бриллиантом на фоне чёрной эмали и лису-чернобурку. Она очень жалела о том, что в трудное время мне пришлось обменять на продукты то кольцо, которое было мне подарено к моему семнадцатилетию, и белого песка. Почему-то она сочла своим долгом возместить мне эту утрату, хотя приобретённые за них рыночные ценности, в основном, достались мне же.

Запланированный ремонт был сделан к моему приезду во всей квартире. Потолки были выбелены, стены заново окрашены и полы натёрты до блеска. Дядя Бутя тоже был заинтересован, чтоб жилище, где он принимал учеников и любимую женщину, не оскорбляло ничьих взоров. Возможно, что без так называемых «дачных денег» мама не смогла накопить бы щедрое «приданое» для обеих своих внучек и организовать «пир горой» в день святой Лидии.

Хотя я проявила себя при появлении на свет Юночки удачливой роженицей, кормилицей я оказалась прескверной: собственным молоком я смогла бы досыта накормить разве только котёнка. Я вынуждала голодать несчастную новорождённую Ксаночку, за что она мстила мне громкими и частыми ночными криками: мама боялась раньше времени переводить её на коровье молоко. То же самое произошло бы с Юночкой, если бы я по назначению врача не брала бы из детской консультации дополнительное донорское молоко.

Всё бы ничего, но это донорское привязывало нас всех к Не-

опалимовскому переулку (детская консультация помещалась тогда на Ружейном). Значит, ни мне с малышкой, ни Ксаночке не придётся провести за городом, на свежей травке?

Выручила нас Александра Арсеньевна с её широкими знакомствами. Выяснилось, что одна из молочных донорш – жена знакомого ей военного курсанта, который находился тогда где-то на полевой практике.

Майя Бесчастнова, – так звали эту молодую маму, – тоже была рада вывезти сынишку «на зелёную травку», но не имела материальной возможности осуществить это желание. Поэтому она была рада предложению с нашей стороны, смысл которого был таков:

Мы, то есть Яхонтовы, снимаем дачу и забираем с собой её с сынишкой. Никто из нас никому ничего не платит, но моя мама берёт её на полный пищевой пансион, а она за это кормит, – вернее, докармливает после меня, – мою Юночку. Так сказать, – корм за корм.

Разумеется, эта дача должна была находиться в двух шагах от города и обязательно по Киевской дороге – ближайшей к районной детской поликлинике, где и Юночка, и Майин Саша состояли на учёте. Мало ли что летом могло бы случиться с такими крохами, – было необходимо, чтоб и врачи-педиатры, и медсёстры были близки и доступны.

Именно такую дачу из двух комнат мама отыскала в посёлке Мещерский при станции Востряково. В настоящее время это пригород, который перерезается опоясывающим Москву автомобильным шоссе, а тогда это было просто дачное место с лужайками, большим прудом и лесом поблизости.

Нам всем там понравилось. В одной из комнат поселились мы с Майей и наши новорождённые, в другой – мама с Ксаночкой, а по воскресеньям туда навещались папа и Леночка.

У керосинки хлопотала мама, а нашей обязанностью стало кормить, купать и обстирывать малышей, включая Ксаночку, и выгуливать всю троицу на лесной опушке. Мы с Майей любили, расстелив пледы, давать малышам ползать по ним со своими погремушками.

Летом Ксана осознала, что её сестрёнка не такое уж никчём-

ное создание – не то существо, не то вещество, как ей показалось при их первоначальном знакомстве. Ей нравилось следить за тем, как Юночка и Саша ползают, цепляются за игрушки или за травинки, хватают протянутый к ним её пальчик. Она полюбила играть с малышкой, участвовать в её купании, а позже, уже в городской обстановке она же вместе со взрослыми учила её вставать на ножки, ходить и лепетать первые слова.

Любила Ксаночка возиться и с местными кошками: тощими, вечно голодными и потому нахальными. Несмотря на бабушкин запрет, она их подкармливала не после собственной трапезы, а когда сама сидела над тарелкой. Кошки при этом залезали к ней на коленки и на плечи. Однажды одна из них выхватила у неё прямо изо рта положенный туда кусок котлеты, сильно поцарапав ей при этом язычок. Были и капельки крови, и «кусачий» йод, и горькие слёзы, и бабушкин выговор: «Сама виновата!» Однако и после этого происшествия Ксана не переставала любить и баловать кошек.

Держалась она, в основном, около нас с Майей, но случалось ей и своевольно ускользать из-под нашего надзора. Однажды она очень напугала маму и меня, приняв приглашение «дяденьки» с лошадкой, который развозил на телеге керосин для местных жителей и дачников, прокатиться по посёлку вместе с ним (*и ещё кучей ребятишек – моих друзей. Прим. Кс. Маршак*). А мы – ищем здесь, ищем там, окликаем, спрашиваем соседей, – нигде её нет. Пропал ребёнок!

Только часа через два её случайно обнаружила мама, подошедшая к «керосинщику», чтоб сторговать бидончик керосина. Дочка была совершенно счастливая, но перепачканная и насквозь пропахшая керосином. Долго мы с Майей в четыре руки её отмывали от этого запаха!

Майя была лет на двенадцать меня моложе, – наверное, я ей казалась «тётенькой». Но общие заботы и интересы нас тогда сдружили.

Наше идиллическое существование нарушил только внезапный приезд мужа Майи, у которого к началу августа учебная практика закончилась.

Майя была счастлива. Моя мама – не очень. Не было у нас

с Майей договорённости о том, что в обмен на грудное молочко ей придётся бесплатно кормить ещё и «добра молодца» с отличным аппетитом. Пострадала и я, вынужденная из нашей общей детской перебраться к маме, где и без меня с Юночкой было тесновато.

Поскольку непрошенный гость был мужем кормилицы, папа за глаза прозвал его «кормильцем».

Появление «кормильца» вынудило нас съехать с дачи раньше, чем мы предполагали, и расстаться с Майей, тем более что трёхмесячного младенчика можно уже без ущерба для его здоровья подкармливать молочными смесями.

В Вострякове мы жили (уже без кормилицы и «кормильца») и следующие два года, после чего стали постоянными дачниками более отдалённого, но ещё более живописного места – деревни Чёрной возле станции Трудовая Савёловской железной дороги.

Надо же было придумать такое мрачное название для такого милого места!

Мои дочери в раннем возрасте были светловолосыми, с пушистыми головками, хотя Ксанины волосы легко заплетались в косички, а Юночкины сильно вились, как в своё время и у меня. Обе росли умненькими, обладали хорошим музыкальным слухом, были способны к рисованию и любили рисовать. Обе обожали животных, и у нас постоянно жили кошки – Брошка, Персик, Тишка, Клякса и другие, к сожалению, безвременно погибшие: кто-то из них срывался с балконной решётки на тротуар, не сообразив, что за железо решётки нельзя цепляться когтями, как за древесные ветки. Кого-то убивали или крали во время их романтических весенних прогулок.

Об общей любви девочек к театру, цирку, парковым аттракционам, лесным прогулкам – говорить не стоит, – такое свойственно всем ребятишкам.

Однако в характерах и вкусах моих дочек имелись и заметные различия. Ксана обладала более живым, почти мальчишеским нравом, любила мячи, прыгалки. Юночку тянуло к куклам, и она очень любила украшать себя и кукол яркими тряпочками

и самодельными бусами, которые мастерила из скатанных в комочки конфетных «фантиков», а летом – из ягод рябины.

Разноцветных лоскутков было много у Нины, которая тогда шила платья на заказ. Они постоянно валялись у неё на полу и на креслах, соблазняя Юночку. Нина против её частых визитов и похищенных лоскутков не возражала, но мама не позволяла внучке ходить в комнату, где она могла подцепить туберкулёзную заразу. Юна повиновалась бабушке с неохотой: в знак протеста она не выходила из запретного места, а выползала из него в сидячей позе, спинкой вперёд. А бабушка тут же спешила отнять у неё лоскутки, обмыть её ручки и попку, сменить трусики.

Однажды к какому-то празднику я подарила обеим дочками великолепный набор мебели – миниатюрную копию настоящей. Ксана не обратила особого внимания на этот подарок, а Юночка пришла в восторг и долгие годы играла с этой маленькой квартиркой и расставленной там кукольной посудой. Мне уже тогда казалось, что она будет идеальной хозяйкой, любительницей уюта и порядка.

В Ксаночкином характере преобладала мажорная тональность, в Юнином – минорная.* Её легче было обидеть, она чаще плакала. Но любила я их одинаково. Не только ко дню их рождений, но и в честь всех гражданских праздников устраивала для каждой из них «стульчики», на котором расставляла или рассыпала то, что каждой из них хотелось. Это были и игрушки, и мелкая всякая всячина, но именно то, что любят малыши: пластилин для лепки, переводные картинки, всевозможные настольные игры. И, разумеется, шоколадные фигурки в виде зайчиков и медвежат.

* В детстве я считала глубочайшим позором две вещи: что-то выпрашивать («клянчить») и прилюдно плакать, поэтому тогда я глубоко презирала сестрёнку за плаксивость. Если мне хотелось какую-нибудь игрушку или сладость, я просто «впиривалась» в этот предмет глазами, пока взрослые не догадывались о моих желаниях; но я скорей бы откусила себе язык, чем произнесла: «Купи мне!» (Прим. Кс. Маршак.)

49 © ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Ещё задолго до Юночкиного появления на свет, когда я поняла, что мне не к лицу оставаться в Саратове в качестве общеизвестной подружки Александра Петровича, я задумалась о моём будущем трудоустройстве. Мне помнилось, что те из аспирантов моего выпуска, которые не захотели выезжать из Москвы, ни вузовскими лекторами, ни тем более зав.кафедрами не становились, а прицеплялись к какой-нибудь редакции, иногда даже не имевшей никакого отношения к литературоведению. Мне бы этого не хотелось.

Поэтому, попав под родительский кров, я принялась просматривать все газеты, где помещались объявления высших учебных заведений о вакантных местах, мало надеясь на успех. Но основания на что-то надеяться у меня были: многие доценты не вернулись с фронта, кое-кто был веселен из Москвы за своё происхождение из поволжских немцев или за другие «грехи». Вакансии возникали. (Помнится, что в канун 1947–48 учебного года уже сложилась иная картина, значительно менее благоприятная.)

Меня заинтересовали два объявления: литературовед-зарубежник требовался и Московскому городскому пединституту, – в просторечии «Горпед», и Московскому государственному педагогическому институту иностранных языков (МГПИИЯ), впоследствии ставшим Университетом иностранных языков им. Мориса Тореза. Но, к моему огорчению, оба эти института не просто приглашали, а объявляли конкурс...

Какие у меня были шансы выиграть конкурс?

Были плюсы: безупречная анкета («не была», «не находилась», «не состояла» и т.д.), отсутствие репрессированных близких родственников, – мало, кто из интеллигентов мог этим похвастаться! Восьмилетний непрерывный стаж и такая блистательная характеристика, от которой чуть ли не сияние исходило.

Но был и серьёзный минус: полное отсутствие опубликованных научных исследований, хотя бы в виде журнальных статей. Из опубликованного под моей фамилией я имела в своём активе только странички саратовской газеты «Коммунист» с несколькими рецензиями на спектакли местного театра и коротенькими откликами на юбилейные даты прогрессивных зарубежных писателей.

Мне казалось, что любой, кто представит хоть одну научную публикацию, безусловно меня перешибёт.

Однако таких не нашлось. Те, кто был постарше и посолидней меня, уже где-то трудились, а мои сверстники или те, кто был помоложе, тоже печатных работ не имели: в военные годы ни литературные журналы, ни томики «учёных записок» не публиковались.

Пользуясь тем, что на конкурс надо было подавать не документы, а их нотариально заверенные копии, я подала заявления в оба института, и в оба была принята: выиграла конкурс!

Надо было выбирать.

Горпед меня привлекал больше: я знала и план, и программу пединститутских литфаков. Институт иностранных языков был мне в новинку: я смутно представляла себе, по какой программе мне там придётся работать, кого и чему обучать. Но он находился недалеко от моего дома (двадцать пять минут пешком), а Горпед – в далёком Бауманском районе. А это значит – городской транспорт с его толкотнёй, постоянный страх опоздать...

Я выбрала «Иностранные языки».

И правильно сделала! Лет через пятнадцать – двадцать Горпед закрыли, отпустив его преподавательские кадры на вольную-волю, а «Имени Мориса Тореза» и сейчас существует и процветает.

Моим зав.кафедрой был тогда Исаак Маркович Нусинов – коммунист с дореволюционным стажем, – таких тогда уважительно называли старыми большевиками. Было ему тогда лет шестьдесят с небольшим. До прихода в Инъяз он заведовал кафедрой зарубежной литературы в моём родном Ленинском, сменив арестованного Ф. П. Шиллера.

Предвидел ли он тогда, что придёт время, когда и его не мигнет судьба Франца Петровича? Что он наследует не только его кафедру, но и его злосчастную кончину?

Когда я, первоначально познакомившись, как полагается, с начальником отдела кадров и зам.директора по учебной части, впервые явилась на организационное заседание моей новой кафедры, меня поразило её многолюдство. Не менее полутора десятков человек!

Вскоре я узнала, каким образом это было практически обусловлено. Кафедра обеспечивала все факультеты и оба отделения – педагогическое и переводческое, тоже в свою очередь разбитые на секции. Всюду обстоятельным образом – лекционно и на семинарах – изучалась литература осваиваемого языка, – то есть английская, немецкая, французская, испанская и итальянская. А, кроме того, существовал вводный курс так называемой всеобщей литературы, начиная с греко-римской античности. Для семинарских занятий многие курсы дробились на небольшие группы. В добавление к этому существовали вечерники и заочники, которым вместо докладов на семинарах предлагалось предъявлять преподавателям письменные работы для проверки их знаний.

Все члены кафедры, включая самого Нусинова, были мне незнакомы, кроме Абрама Штейна, который был и студентом и аспирантом одновременно со мной, правда, на более младших курсах (он и возрастом на три года моложе). Тогда мы близкими приятелями не были, хотя Абрам немножко пытался за мной «прихлестывать», как выражались в студенческой среде. Но здесь я очень обрадовалась, увидев среди сплошных чужаков знакомую физиономию. По принципу, отображённому в пословице «На чужой сторонушке рад своей воронушке».

Абрам, кажется, тоже. Узнала я его мгновенно, – внешне он мало изменился. Маргарита Атабекян однажды сказала мне: «У Абрама нет фаса, – один профиль». Профиль, безусловно, остался там же. Однако и фас появился. В годы аспирантуры он казался мальчишкой, хотя был уже женат и даже имел сына. К тридцати с лишним он стал солиднее, хотя оставался худым и вертлявым. Был женат вторично и в добавление

к сыну Ване имел дочку Наташу – чуть помладше Ксаны и чуть постарше Юны.

Встречались мы с Абрамом как близкие друзья, многое и многих вспоминали, обо многом поговорили. После заседания кафедры он проводил меня до дому, где я пригласила его на чашку чая и познакомила с моими дочками. Через какое-то время и Абрам пригласил меня с Ксаночкой к себе, помнится, это был двухлетний юбилей Наташи. С тех пор мы стали, как говорить, «знакомы домами»: водили наших дочерей друг к другу на ёлки и дни рождения.

Жена Абрама, Татьяна Михайловна, которая познакомилась с ним в Радиокomiteте, где они оба работали в военные годы, была значительно старше его, внешне выглядела излишне тяжёловесной, но по натуре была лёгким и остроумным человеком. Помню, например, её рассказ о том, как она решилась выйти за Абрама:

– «Сначала я не хотела. Отказала ему. Через несколько дней он – опять. Ещё настойчивее. Я опять отказала. Решительно, наотрез. А на следующий день он не пришёл на работу. Мне сказали: тяжело заболел. Что-то с сердцем. Целую неделю проболел. А когда явился, – невозможно было его узнать. Жёлтый, понурый, глаза тусклые... И я, конечно, не выдержала: «Не переживай! Успокойся! Я согласна!»

А потом выяснилось, что Абик страдал совсем не из-за меня. Просто его родители прислали ему из эвакуации килограмм сала, который он сразу же поглотил. И живот у него сильно и надолго разболелся. А я-то вообразила! А сейчас – что уж поделаешь, – дело сделано! Наташка растёт... А если бы не это сало...»

На первом заседании кафедры я обратила внимание и на некоторых моих новых коллег. Вот красивый, далеко ещё не старый мужчина с пышными полностью седыми волосами, точно оживший портрет XVIII века. Это был специалист по литературе США Мориц Осипович Мендельсон. Вот две исключительно элегантные дамы – брюнетка и блондинка. Какие у них шляпки, какие жакетки! Одна из них оказалась Галиной Николаевной Знаменской – доцентом, преподающим литературу Германии,

Другая – Ириной Валентиновной Головня – тоже доцентом, «англичанкой». Головня была прехорошенькой и настолько молодой, что студенты, – как я узнала впоследствии, – прозвали её «бэби-доцентом».

А вот пара чрезвычайно солидных мужчин. Как они держаться! Какими орлиными взглядами всех обводят! Одним из них, как мне сказали, был профессор Юрий Иванович Данилин. А кто другой? Наверняка тоже профессор...

Нет, я ошибалась. Борис Израилевич Баратов не имел не только профессорского, но и вообще никакого учёного звания, так же, как и учёной степени. Но был, подобно Нусинову, «старым большевиком», – отсюда и солидность, и горделиво вскинутая голова, и орлиный взгляд. Впоследствии он уверял всех нас, что он непосредственно участвовал во взятии Зимнего дворца, делая при этом какие-то странные хватательные движения, как будто этот дворец, «который он брал», был какой-то небольшой вещицей, которая «плохо лежала», а он проходил мимо.

Борис Израилевич в соответствии со своей фигурой и осанкой имел сильный и очень низкий бас, точно специально созданный природой для чтения лекций в больших аудиториях. Но говорил он с сильнейшим еврейским акцентом, что, впрочем, было свойственно и самому Нусинову. Но Нусинов выражался грамотно, в то время как Баратов коверкал слова немилосердным образом. То он торопился «на автобус», то ходил к врачу на «осмотр»... Меня удивляло. Как его допускают к чтению лекций при таком произношении? А его и не допускали! Вся годовая педнагрузка Баратова состояла в том, что во время выпускных экзаменов он исполнял роль ассистента при экзаменаторах: сидел рядом с ними в виде молчаливой фигуры важного вида и прислушивался к тому, что спрашивает экзаменатор и что отвечает студент. Мне говорили, что некоторые студенты боялись его больше, чем экзаменаторов. Может быть, не зря: если бы какая-нибудь из сторон – экзаменатор или отвечающий – допустила бы неверную политическую формулировку, молчаливый ассистент обратил бы на это внимание и сообщил бы «куда следует».

Госэкзамены, как известно, заполняют собой лишь короткий отрезок учебного года. Торчи на них хоть с раннего утра до поздней ночи, – требуемых законом семисот с лишним годовых часов никак не натянешь. Однако педагогическая недогрузка Бориса Израилевича с лихвой компенсировалась его общественной деятельностью: он вёл кружки политзанятий на нашей кафедре и на некоторых других. Невольно вспоминается некая Шура из фильма «Служебный роман», забывшая из-за своих хлопот по общественной линии, в какой должности она состоит и в каком отделе числится.

Из остальных моих коллег мне в тот раз никто не запомнился. Все они показались мне не одно лицо, преимущественно женского: тихие, незаметные, скромно одетые, не очень молодые... Лишь позже разобралась, что не так уж они были однотипны, как мне представилось. Нина Генриховна Елина – единственный на кафедре знаток итальянской литературы – оказалась милой и высоко интеллигентной дамой. Магдолина Александровна Нерсесова – дамой менее приятной, а Наталья Владимировна Пеховская – сущей дрянью, как в профессиональном, так и в моральном отношении. Лекций читать она не умела, – умела лишь читать вслух лежащий перед ней учебник, да ещё противным писклявым голосом, демонстрируя при этом длинные жёлтые зубы, напоминавшие клавиши подержанного рояля. Эти зубы постоянно у неё болели, и мы постоянно видели Наталью Владимировну с подвязанной щекой или с плюсом (Юночка называла это явление «с плюсом»). Почтенные годы и невзрачная внешность не мешали ей держаться жеманной барышней. Однажды она всех насмешила, когда мы поздравляли профессора Данилина с пятидесятилетним юбилеем. В ответ на наши цветы и коллективный подарок Юрий Иванович благодарно целовал мужчин, потом потянулся к Ирине Головня, как к давней своей ученице. В эту минуту Пеховская, расталкивая тех, кто сидел рядом, метнулась к двери.

– Куда вы, Наталья Владимировна?

– Не хочу! Не допущу, чтоб меня целовали!

Все дружно расхохотались, так как вряд ли этого поцелуя жаждал сам юбиляр.

Студенты презирали Пеховскую, что было ей хорошо известно: на её так называемых лекциях они громко переговаривались, шумели. Но ей не дано было понять, что она сама в этом повинна и, ненавидя всех, к кому студенты относились хорошо, упорно твердила, что эти недостойные люди настраивают против неё студенческую молодёжь. Это хорошо выразил Абрам в эпиграмме, которую, разумеется, решился показать только мне:

«Студенты бы любили вас и даже обожали,

Но как-то раз в зловеший час враги к ним набежали.

И так смогли оклеветать, мерзавцы, педагога,

Что стали все считать вас дурую убогой».

При распределении поручений Нусинов поручил мне, как новичку, ещё ничем себя не проявившему то, что обычно поручают работникам второго плана – одних заочников. Это меня не огорчило и не обидело, а, наоборот, обрадовало, поскольку означало, что мне предстоит почти всё время бездельничать, напрягая силы лишь в дни зимних школьных каникул и в июле-месяце, когда иногородние заочники съезжаются на свои сессии. Количество учебных часов, отведённых на экзамены и консультации, заметно превышали лекционные, вдобавок значительную часть моей педнагрузки составляла проверка и рецензирование письменных работ, – то, что выполнялось в домашней обстановке.

Значит, львиную долю моего времени при нормальной доцентской зарплате я смогу посвятить моим дочкам! Ура!

Получилось, однако, не совсем так.

Заседания нашей кафедры происходили часто, почти ежедневно, – нусиновское стадо было настолько многоголовым, что пастырю приходилось постоянно держать его в поле зрения – наблюдать, проверять, наставлять.

При этих кафедральных заседаниях и, в особенности, во время так называемых «перекуров» и кулуарной болтовни я вскоре убедилась в том, что, по сравнению с некоторыми моими коллегами, я – отсталая провинциалка. Они обменивались репликами, употребляя ещё непонятные мне термины – «постмодернизм», «структурализм» и т.п., обсуждая зарубежные книжки и журнальные новинки, которые я в руках ещё не дер-

жала. Неудивительно: некогда мне было в военные годы или в то время, когда при мне находилась Ксаночка, ходить в университетскую библиотеку. Довольствовалась, как говорится, «старым багажом», – благо мои тогдашние студенты были людьми невзыскательными. Студенты Инъязы несколько на них не походили. Начиная с внешнего облика.

Необходимо мне было навёрстывать упущенное, тем более что время у меня для этого было, – спасибо Нусинову!

И вот я вновь, точно в аспирантские годы, зачастила в Библиотеку иностранной литературы – листать журналы, рыться по каталогам новинок, которые там ежемесячно обновляются и пополняются.

Задерживаясь там на длительное время, я сильно вредила моей недавней стройности, поскольку вместо домашних котлет или голубцов пила в библиотечном буфете чай со сдобными, так называемыми «калорийными», пышками или, – что ещё хуже, – с так называемым «невским пирогом» с толстой кремовой начинкой. Пока мой дух обогащался знаниями, моя грешная плоть обогащалась тоже. К сожалению. Но уж очень хороша была эта сдоба после длительного поста на скверном пайковом хлебе! Да и некогда мне было тогда думать о своей внешности, – необходимо было, согласно распространённому лозунгу «догнать и перегнать».

О моём внешнем облике думала тогда мама. Но односторонне. Не о том, что представляю я сама, а о том, что на мне надето. И действительно добилась того, чтоб я была одета наилучшим образом. И костюмы у меня были отличные, и меховые шубы шились. Сначала из белки, потом из ондатры. Поскольку на это не хватало моей зарплаты – хотя и вполне приличной, – в ход пускалась и часть денег от проданной дачи. Мои выходные костюмы и платья тех лет шила уж не привычная мне Мария Михайловна Охлябинина, а некая Тамара Томасовна, – та мастерица, которая одевала и Г. Н. Знаменскую. Но Галина Николаевна сдобными пышками не увлекалась, и изделия Тамары Томасовны сидели на ней значительно лучше, чем на мне.

Помимо библиотеки я старалась не упустить возможности побывать на защитах диссертаций по современной зарубеж-

ной тематике, о которых тогда заранее уведомляла «Вечёрка». Не все эти диссертации были хороши, – попадались и слабые, – но интересны были выступления официальных и неофициальных оппонентов, их советы, замечания, требования. Я даже обратила внимание на то, что чем более тот или иной диссертант давал повод для критики или даже разноса, – тем больше это способствовало оживлённому и поучительному для меня диспуту. Учило меня уму-разуму, наглядно давая понять, «что такое хорошо, и что такое плохо».

Мои старания не пропали даром. Я перестала чувствовать себя отсталой провинциалкой и стала, как бывало в аспирантские годы, и выступать на заседаниях кафедры, и без недавней застенчивости разговаривать с моими коллегами, когда они в кулуарах что-то обсуждали.

Очень мешало мне то, что я знала лишь французский язык, да и то на троечку. Немецкий из-за отсутствия практики успела подзабыть, английского не знала совсем. Как я тогда ругала себя за то, что в аспирантские годы не воспользовалась возможностью бесплатно и не покидая институтских стен изучить любой другой. Умный Абрам в дополнение к французскому и английскому изучил в аспирантуре и испанский. Умный Володя Неустроев в дополнение к немецкому – языки скандинавских народов, что позволило ему после защиты кандидатской шагнуть прямо на филфак Московского университета, где была нужда в людях, знакомых с языком норвежцев и «разных прочих шведов». Не лень помешала мне воспользоваться этой возможностью, а жадность к чтению, – жаль было отвлекаться от книг – художественных и критических – на что-то другое.

И вот поплатилась за это: оказалась вынужденной читать Стейнбека и Фолкнера и многих других крупных современных авторов, писавших по-английски, в французских переводах. В переводах на русский их просто не существовало: советские издательства публиковали лишь тех авторов, которые рекомендовали себя в качестве «друзей Советского Союза», пренебрегая остальными. В полное отчаяние привёл меня тогда «Улисс» Джойса во французском переводе: читаю – и не черта не понимаю. Перечитываю со словарём в руке – то же самое...

Утешилась я значительно позже, когда «Улисса» опубликовали в журнале «Иностранная литература»: я этот прославленный роман не смогла одолеть и в хорошем русском переводе.

В конце 1946–47 учебного года, сходяв на одну из моих лекций, И. М. Нусинов разлучил меня с заочниками, переведя на один из основных потоков. С 1947–48 учебного года кончилась моя привольная жизнь с ежедневной работой в библиотеке. Я продолжала туда заглядывать, следя за каталогом новинок, но реже, да и острой необходимости в этом уже не было: если из Саратова я привезла с собой лишь два десятка толстых тетрадей с конспектами прочитанного, то к началу 1948-го их накопилось втрое больше. Это давало мне возможность за несколько минут подготовиться к лекции на какую угодно тему для аудитории какого угодно уровня.

Трудность моего положения заключалась тогда не в том, что моими слушателями здесь были не те простенькие, чаще всего деревенские девочки, которых я обучала в Саратове, а вполне культурная молодёжь, в основном – потомственные интеллигенты, от которых не ускользнула бы малейшая оплошность преподавателя. Трудность была в том, что эта молодёжь пришла в МГПИИЯ изучать иностранный язык, а литература, особенно не современная, а классическая, интересовала далеко не всех. Это была не профилирующая, а лишь вспомогательная дисциплина, как, например, для меня в мои студенческие годы, история педагогики или экономическая политика СССР. Некоторые мои коллеги жаловались:

«Не любят они лекции слушать. Болтают о чём-то между собой или какие-то посторонние книжки читают. Норовят забраться в самые дальние ряды, и чтоб не видно было, чем они там занимаются, поставить перед собой вертикально свои портфели...»

Этого мне совсем не хотелось. К этому я не привыкла. Поэтому старалась, чтоб мои лекции были не только содержательны, но и интересны. И я, например, вспоминала манеру тех лекторов, которых я сама слушала с интересом – на Высших литературных курсах и позже – Н. К. Гудзия, А. П. Скафтымова, Г. А. Гуковского. Бедный Гуковский!

Моим дочкам я тогда уделяла время лишь урывками – от случая к случаю. Только по воскресеньям отдавала себя полностью в их распоряжение. Но мама была на меня за это не в обиде. Осенью 1946 года она наняла постоянную домработницу – Марусю, выкроив для неё спальный уголок в кухне (возле двери, примыкавшей к «чёрному входу»). Маруся оказалась расторопной и умелой стряпухой, которая полностью избавила маму от кастрюль и сковородок, дав ей возможность стать только бабушкой. Лишь по ночам мама отдыхала от внучек, поскольку обе девчушки ночевали в моей комнате, под моей опекой. А прогуливала Юночку Саната. Пользуясь тем, что наш лифт тогда работал исправно, кто-нибудь из домашних или та же Маруся выносили к подъезду стул для Санаты и Юночкину коляску – лёгонькую, совсем не похожую на тот монолит, который в своё время подарила Ксане Леночка.

За эту услугу мама держала Санату на полном пансионе, дав ей возможность целиком тратить её маленькую пенсию на патефонные пластинки. Богатую коллекцию собрала тогда Саната: множество опер, все симфонии Бетховена, шесть – Чайковского и многое другое. Но она так неумело пускала эти пластинки в ход, что жестоко их исцарапала, приведя в полную негодность.

Ксаночку необходимо было водить в детский коллектив – к сверстникам и подальше от заразной Нины. Однако и сама мама, и её постоянная консультантка и советчица Александра Арсеньевна, восстали против её помещения в казённый и многолюдный детский садик.

– Ни в коем случае! Пойдут сплошные болезни и карантинные! Сама начнёт болеть и Юночку заразит!

Поэтому мы Ксаночку в детский сад не отдали. Но от зарази ни ту, ни другую всё же не уберегли. Обе в самом нежном возрасте переболели многими детскими хворями: и дифтеритом, и коклюшем, и ветрянкой, и краснухой, и свинкой, не считая многих простудных заболеваний, – только скарлатина и корь обошли их стороной.

Вместо детсада мы поместили Ксаночку в частную, так называемую прогулочную группу, состоявшую с нею вме-

сте лишь из шести детишек. Эту группу организовала у себя дама зрелых лет по имени Анастасия Юлиановна, жившая в одном из Смоленских переулков, рядом с так называемым «Старым Смоленским метро». Мама (или, возможно, Александра Арсеньевна) углядела её объявление, приклеенное к водосточной трубе.

Больше всего в этом объявлении маме понравилось то, что организаторша группы, помимо обязательства прогуливать, кормить и развлекать ребятишек, обещала обучать их немецкому языку. Но хотя она и прогуливала, и кормила добросовестно, из всего богатства лексики Шиллера и Гёте её воспитанники усвоили лишь четыре слова «гуттенморген», «ауфидерзейн», «битте» и «данке»,* – возможно этим ограничивался и собственный словарный запас воспитательницы.

Отводила к ней Ксаночку всегда я по дороге в библиотеку, а забирал обратно то один, то другой из домашних.

В следующем году, поняв, что с немецкой речью дело у Ксаны не продвигается, мама начала посылать её вместо этой группы к жившей неподалёку от нас француженке. Никаких маньяков тогда в Москве не водилось, почти никакой транспорт по нашему переулку не ходил, – густой поток автомашин, направлявшихся к Бородинскому мосту и обратно, следовал только по Ружейному переулку со сплошными деревянными лачужками по обеим его сторонам, узким тротуарам и широкой мостовой.

Поэтому по нашему переулку до 2-го Неопалимовского, где жила «мадам», пятилетняя Ксана ходила одна, без провожатых.

Однако, недолго продолжались эти уроки. «Мадам» (ветхая старушка) вскоре скончалась. Мама присмотрела другую – на Плющихе, в промежутке между ул. Бурденко и Академией им. Фрунзе, – но вскоре против продолжения этих уроков французского подняла свой авторитетный голос Александра Арсеньевна:

– Никому сейчас не нужен французский язык! Необходим английский! Ищите англичанку!

Пока были живы бабушка Юля и тётя Наташа, советы и мнения Александры Арсеньевны влияли на маму лишь как часть общего авторитетного коллектива, в котором иногда принимала участие и Варвара Фёдоровна Мишина. Лишь к мнению и советам со стороны папы мама никогда не прислушивалась, считая его человеком совершенно непрактичным. Но бабушки и тётя Наташи уже не было, «Варюша» жила далеко, – и Александра Арсеньевна стала для мамы единственным и всевластным авторитетом.

Таким образом, по совету Александры Арсеньевны, к Ксане начали приходиться вместо «мадам»* какие-то ни на что не годные «миссис» или «мисс», пока их не сменил «сэр», рекомендованный дядей Ваней Громеко в качестве обладателя безукоризненного лондонского произношения. Но это произошло значительно позже, – в те годы, когда уроки у «сэра» смогла брать и подросток Юночка.

С тех пор, как Ксана перестала ходить к Анастасии Юлиановне, её прогулки под надзором воспитательницы сменились безнадзорными в обществе подружек из соседних квартир. Это были Таня Строева с верхнего этажа, Люся Теплова из 9-ой квартиры (её будущие одноклассницы), Лора Беренфельд из 4-ой квартиры, Аня Терешкович – из 3-ей. Эти девочки не были паиньками – им случалось и на заборы взбираться, и по пожарным лестницам карабкаться, и с местными мальчишками воевать, но это было веселее, чем ходить парочками. При этом было замечено, что, когда Ксане поручали присмотреть за Юночкой-двухлетней, она относилась к этому очень ответственно и добросовестно, не отходя от неё ни на шаг и всячески её оберегая.

* Но всё же к «мадам» я ходила года четыре и неплохо овладела французским (который, к сожалению, впоследствии полностью забыла). Знала множество песенок, читала книжки, причём не адаптированные, из так называемой «Красной библиотеки» ("Bibliothèque rouge"), которые я очень любила. (Прим. Кс. Маршак.)

* И ещё «дер Тыш» (Прим. Кс. Маршак.)

50 © В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ

После того, как Вадим, женившись, ушёл из Санатиной комнаты, Саната обменяла эту комнату на маленькую при кухне, где жила Леночка, предоставив Леночке свою. По своей инициативе она решила это сделать или по маминой подсказке, – не знаю. Во всяком случае, Леночка была этому рада: у неё появилась возможность принимать у себя гостей или одного гостя, что было важно для девушки её возраста. Обмен этот был неофициальным: Санатина комната оставалась её законной собственностью, а бывшая Леночкина – частицей яхонтовской жилплощади.

Недоволен был этим только дядя Бутя, которому Санатина комната служила столовой, но своё недовольство вслух не выражал, понимая, что никаких прав на Санатину жилплощадь не имеет. Зато он имел права на ту, где жила Нина, и всё громче и настойчивее выражал своё возмущение тем, что Нина там «нахально расположилась» и «не желает выкатываться». Нина, которая жила независимо, зарабатывая себе на жизнь вязаньем и шитьём, пыталась оплачивать комнату, которую занимала, но Всеволод Алавердиевич этих денег принципиально не брал: «Я вам эту комнату не сдавал. Убирайтесь вон!»

Не прошло и двух лет с момента женитьбы Вадима, как вышла замуж и Лена, поселив у себя мужа – Бориса Федоровича Белякова, или дядю Борю, как называли его мои девочки, – с которым познакомилась на работе. Он был её сослуживцем и тоже инженером. Молодая пара завела собственное хозяйство, но свить своё уютное гнёздышко ей не удавалось: Саната взяла с собой в маленькую комнату лишь свою кровать и киот с иконами, оставив там сундук со всякой рухлядью и буфет «вот такой вышины, вот такой ширины», который был сооружён ещё в прошлом (XIX) веке по специальному заказу и когда-то красовался в квартире директора Нижегородского

училища, обслуживая семью из шести человек, не считая постоянно гостившей у них родни.

Надо думать, что столовая у нижегородского директора была большой, и огромный буфет* был там вполне к месту, тем более что он был сработан художественно – с фигурными золочёными замочками, с резьбой. На его верхней левой створке был барельеф, вырезанный из дерева с изображением сложенных в кучу рыб осетрового и стерляжьего происхождения, на правой створке – связка пернатой дичи. Внизу – изображения овощей и фруктов. Добротная была вещь со множеством ящичков и полок, – там имелись даже широкие выдвижные доски для пирогов или блюд с заливным. Но для 15-метровой комнаты такая вещь была чересчур громоздка. Продать такой буфет при тогдашней тесноте московских коммуналок было невозможно, да и маме с Санатой не хотелось расставаться с ним, – это была дорогая для них обеих память о Реальном. Он был продан значительно позже, да и то по частям: кто-то польстился на его верх, кто-то – на нижнюю часть. Из буфета выкроилось два широких комода.

Молодая пара прожила по соседству с этим буфетом и сундуками недолго. Когда весной 1950 года на свет появился Митя, они переехали в родной дом Бориса Фёдоровича на Лесную улицу. Борис там имел вместе со своей матерью лишь одну комнату в коммуналке, но комната эта была побольше Леночкиной, а, главное, мать Бориса – Мария Михайловна – могла посвятить всё своё внимание своему единственному внуку, тогда как маме и без Мити забот хватало.

Когда так называемая Леночкина (а фактически Санатина) комната освободилась, мы с мамой с удовольствием поселили там моих девчушек: до этого они спали у меня на двух небольших сундуках за задней стенкой пианино, и я с беспокойством подумывала о том, куда я их переложу, когда их ножки станут длиннее сундучных крышек. Туда же из кухни переселилась и Наташа Букина – наша новая домработница.

Наташа имела собственную маленькую дочку, которая вос-

* Буфет, действительно, был огромный, – во всяком случае, в нём удобно было скрываться при игре в прятки (прим. Кс. Маршак).

питывалась в круглосуточном детсадишке, а по воскресеньям находилась у нас. Юночка была рада подружке. А мама была рада, тому, что и Наташа была по воскресеньям при дочке, то есть здесь, хотя и выходная, но в случае необходимости всегда готовая ей помочь.

Все были довольны, а больше всех – папа. Я перетащила в свою освободившуюся комнату его письменный стол, поставив его наискось между окном и наружной стеной. Таким образом, недавняя детская превратилась в тихий кабинет для нас обоих. Мы оба любили работать до поздней ночи и никого уже не беспокоили – ни маму, ни ребятишек – нашими настольными лампами и бумажным шумением.

Не нравилось мне только то, что папа приволок с собой приданое в виде больших папок с зоологическими таблицами, составленными при его участии, и много других подобных же папок и рулонов, на которых скапливалась неистребимая пыль, и которые мою комнату никак не украшали.

Маме, разумеется, стало спокойнее после того, как папа перестал работать там, где она спала, а являлся туда лишь на ночь – на цыпочках, и не включая свет. Её спокойствие нарушали лишь частые визиты Александры Арсеньевны и Лильки. Другие дамы редко её навещали.

Лилька боялась Александры Арсеньевны, которая терпеть её не могла и всегда при виде её «резала правду-матку»:

«А-а-а! Вы опять здесь! Опять будете театры строить и фильмы ставить? Опять по чужим домам кормитесь?»

Чтоб избежать этого, Лилька при виде пальто Александры Арсеньевны, висевшего в передней, к маме не шла, а шмыгала к Санате, в её комнатушку, выжидая время, когда гостя уйдёт, и она сможет получить ужин и расположиться на коридорном сундуке.

Ни мной, ни папой Лилька в то время не интересовалась, поскольку мы оба кухонными делами не занимались. Но маме постоянно надоедала. Только-только мама, уложив внучек спать, захочет отдохнуть за книжкой или порешать кроссворды в «Огоньке», как Лилька – тут как тут! Корми её, пои чаем, да добавок выслушивай дурацкие бредни...

К концу сороковых годов папа уже не напоминал того полумертвеца, каким я застала его, приехав из Саратова в 1945-м. Окреп, пополнел, стал, как и прежде, способен на дальние лесные прогулки, куда иногда брал с собой и Ксаночку, когда ей минуло пять. Печёночные боли время от времени напоминали ему о себе, но мама зорко следила, чтоб в его тарелку не попало ничего жареного, жирного и острого. Время от времени печёночные колики загоняли папу на больничную койку, где его лечили всевозможными процедурами, и где он систематически глотал карлсбадскую соль и минеральную воду, растворявшую опасные затвердения в желчном пузыре, но больным стариком себя не ощущал ни в семьдесят лет, ни в восемьдесят. Совсем наоборот, – именно возраст аксакала стал временем его апофеоза.

Вскоре после войны в Москве была создана Академия педагогических наук, куда отец был приглашён на должность заведующего отделом методики естествознания. Он, не колеблясь, принял приглашение, оставив Ленинский пединститут. Там ему уже стало трудновато работать: читать лекции, проводить загородные экскурсии. Здесь же он, как некогда в Наркомпросе, а потом и в Учпедгизе, имел спокойное кресло в своём кабинете, да и бывать там был обязан не ежедневно, а лишь два или три раза в неделю. И дело имел уже не с шумной студенческой ватагой, а с коллегами – вузовскими методистами или со школьными учителями – московскими или периферийными, съезжавшими в Москву на так называемые «педагогические чтения».

Не прошло и года со дня папиного назначения на эту должность, как ему было дано профессорское звание, а затем и звание члена-корреспондента Академии педагогических наук с соответствующим повышением зарплаты, одновременно посыпались награды: помимо медали «За доблестный труд», которую имела и я, два ордена: «Знак почёта» и «Трудового Красного знамени». Но больше, чем этим орденам, красиво отливавшим алым цветом и позолотой, отец гордился скромной серебряной медалью Ушинского, которую давали избранным школьным педагогам и некоторым методистам за безупречный многолетний труд в средней школе.

Свои ордена папа хранил в шкафу, а медаль Ушинского носил постоянно, накрепко привинтив его к тому костюму, в котором ходил и на повседневную работу, и на ответственные заседания.

Вскоре папу пригласили стать по совместительству членом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве просвещения. Эта должность считалась очень почётной: папиными коллегами по ВАКу были ведущие величины по всем научным отраслям.

Эта должность была не обременительной. Члены комиссии получали на руки уже защищённые на местах кандидатские и докторские диссертации по своим специальностям и должны были дать письменный отзыв о каждой из них с конечным выводом: утвердить или не утверждать. Этот отзыв прочитывали на собрании всех экспертов на общих заседаниях, и их коллективное решение окончательно определяло участь диссертанта. Разумеется, математики или естественники не могли непосредственно судить о научных качествах работ гуманитариев и наоборот, – их мнения складывались на основаниях прослушанных ими отзывов экспертов-специалистов. Так в судопроизводстве выступление адвоката и прокурора определяет решение судьи и даже юридически не образованных народных заседателей.

Высшая аттестационная комиссия сокращенно называлась ВАК. В семейном кругу папа переименовал её в ВАКХ («Завтра меня ВАКХ задержит до позднего вечера»), а судилище общих заседаний соответственно переименовал в «Вакханалию». Вот тогда-то отец и отвёл душу, «угробив» ряд диссертаций, написанных с лысенковских позиций. Разумеется, имя Лысенко (упаси, господи!) при этом не называлось, а проваленным ставилось в вину не приверженность к всеильному «народному академику», а погрешность против науки, поверхностность суждений, бездоказательность, натяжки, – всё то, в чём вполне можно было бы уличить и самого Трофима Денисовича, если бы тогда против него кто-нибудь дерзнул выступить с научной критикой.

Годы брали своё. Отец физически слабел, чаще хворал, но,

помимо работы в Педакадемии и в ВАКе ухитрялся постоянно писать статьи для журнала «Естествознание в школе», а к концу жизни выпустил в свет венец своей научно-педагогической деятельности – двухтомник «Зоология для учителя», выдержавший два издания.

Только достигнув восьмидесятилетнего возраста, папа вышел на пенсию, сознательно соединив это с юбилейным торжеством. Он объяснял это тем, что на проводах пенсионеров сослуживцы обычно произносят: «отдыхайте спокойно», что звучит почти так же траурно, как «спи спокойно» на панихидах. А на юбилеях звучит совсем другое: юбилярам любого возраста желают «новых творческих успехов».

Так оно и получилось. Добрые пожелания звучали вполне оптимистически. Но «новых успехов» уже не было, и быть не могло. Папу сделали беспомощным инвалидом почти ослепшие глаза, лишившие его возможности читать книжные и газетные тексты, а затем и ноги, навсегда приковавшие его к дивану.

Это произошло уже много лет спустя после тех лет, о которых я говорю и в которые мне пора вернуться, что я и делаю.

Известно, что радость от разгрома гитлеровской Германии и других фашистских государств, объединявшая крупнейшие державы Европы и Америки, быстро сменилась так называемой «холодной войной».

Нечто подобное произошло и в нашей квартире. Всех её обитателей объединила радость оттого, что в число лагерных узников, помилованных в честь Великой Победы, попал и Гуля: его, осуждённого в 1938-м году на девять лет, отпустили на волю в 1945-м – на три года раньше срока. Но поскольку это была милость, а не амнистия, вернуться в Москву он не мог: ему, даже освобождённому, было дано право лишь наведываться туда для встречи с родными на строго определённые сроки.

Гуля устроился на работу по своей специальности в городе Прокопьевске Кемеровской области и правом помилованного «наведываться к родным», разумеется, не замедлил воспользоваться ещё до того, как приступил к работе.

Разумеется, Гуле было радостно приближаться к Москве, ехать по знакомым улицам к родному дому, где его с нетерпе-

нием ждали, и никакая милиция не была ему опасна. Но само пребывание под родительской крышей радостным не было, поскольку не было там самых дорогих ему людей – тёти Наташи и бабушки, а Всеволод Алавердиевич был неразлучен с женщиной, которую Гуля справедливо считал одной из причин того, что его мать ушла из жизни, страдая не только физически, но и духовно.

Не знаю, как Екатерина Васильевна встретила Гулю, – может быть любезно, – кто знает. Но Гуля с первой же встречи любезности по отношению к ней не высказал: ручку не поцеловал, в дружескую беседу не вступил, – наоборот, сразу дал ей понять, что встреча с ней ему неприятна. Этого Екатерина Васильевна никогда ему не простила и до самой Гулиной смерти относилась к нему враждебно. На это Гуле было наплевать, но далеко не безразлично ему было то, что его отец тоже не простил ему неприязни к женщине, в которую был по-юношески влюблён. Между отцом и сыном встала стена отчужденности. Гуле это было горько. Думается, что и для Всеволода Алавердиевича тоже.

Отравила Гуле приезд в Москву и Нина. Она ждала его, как мужа, с надеждой, но Гуле при всём его сострадании к ней была неприятна её назойливость. Ему совсем не хотелось её обижать, но его упорное нежелание близости с нею её обижало, вызывало истерические слёзы.

Мне казалось, что Гуля уезжал от нас в Прокопьевск с чувством облегчения.

В Прокопьевске он встретился с Анной Терентьевной Никитиной – в то время просто Аней – девушкой из шахтёрской семьи, которая была на восемнадцать лет его моложе. Возможно, что их взаимоотношения ограничились бы короткой связью, которых в Гулиной жизни было великое множество, если бы Аня не забеременела. Возможность стать отцом очень обрадовала человека, только что убедившегося в том, что родной семьи у него уже нет. Он женился на Ане – не столько из любви к ней самой, сколько из желания иметь семью. Его желанным ребёнком в 1948 году стала Наташа. Сначала Багадурова, потом Ободьянская.

Для оформления брака Гуле потребовался развод. Для этого ему пришлось ещё раз съездить в Москву. Помня своё первое свидание с Ниной, он заранее готовился к тому, что она начнёт упрямиться, плакать. Но к его неожиданной радости этого не случилось. За прошедшие месяцы Нина уже смирилась с мыслью, что Гулю ей не вернуть, а кроме того, она, как добрый, хороший человек понимала, что Гуле нужен ребёнок, которого она не сможет ему дать, а ребёнку – отец.

Гуля так был благодарен Нине за её безропотное согласие, что после развода повёл её в хороший ресторан, где угостил обедом самого праздничного характера. А перед отъездом в Прокопьевск по-братски её расцеловал и преподнёс ей большой букет белых роз. Такие букеты женихи часто дарят невестам, – но я не припоминаю ни одного другого случая, когда разведённая жена получала бы такой подарок от бывшего мужа.

Бедная Нина! Что может быть более грустным для женщины, чем развод с мужем, которого она любит, продолжает любить, несмотря на то, что ему она совсем не нужна и не дорога. Но обед в ресторане (помнится, это была «Прага») и эти розы были такой неожиданностью в её серенькой жизни, что почти что её осчастливили. С какой радостью и гордостью она рассказывала и мне, и некоторым другим людям, которые хорошо к ней относились, какими вкусными блюдами и напитками угощал её Гуля, как он мило с ней держался, какой нарядной была обстановка в том зале, какая играла музыка. И как она радовалась подаренным ей розам!

Как мало ей, больной и одинокой нужно было для счастья, хотя, казалось бы, развод с любимым человеком и счастье – вещи несовместимые.

Гуле было известно о намерении Всеволода Алавердиевича выселить Нину со своей жилплощади. И он попросил отца этого не делать, «оставить Нину в покое». Просьбу свою он повторил и в передней, прощаясь с Всеволодом Алавердиевичем, в присутствии мамы и Санаты:

– Не трогай Нину! Неужели тебе одной комнаты мало? Такой большой, светлой!

Ошибся Гуля. Мало, оказалось. Поскольку Всеволод Алавер-

диевич вовсе не собирался жить в одиночестве, а мечтал, не смотря на свои семьдесят, о счастливой семейной жизни с Екатериной Васильевной в просторной трёхкомнатной квартире, желательно, отдельной.

Для этого требовалось представить в обменное бюро две его комнаты (именно две, а не одну) и ту комнату в другой коммуналке, где жила его избранница.

Как только Нина перестала быть Гулиной законной женой, Всеволод Алавердиевич от словесных выкриков при виде её перешёл к решительным действиям, а именно – подал в суд иск о её выселении. Напрасно мама напоминала ему о Гулиной просьбе «оставить в покое Нину», – эти слова вызвали у него лишь враждебное чувство к маме, которая «лезла не в своё дело».

Суд состоялся. Истец обзавёлся убедительными документами и от Консерватории, и от Союза Композиторов. И живые люди из этих почтенных учреждений свидетельствовали в его пользу, и адвокат был оттуда прислан. У ответчицы на руках тоже имелось кое-что: свидетельство из тубдиспансера, доказывавшее её право на дополнительную жилплощадь. И свидетели имелись, правда, не такие почтенные, как у истца: моя мама и наши друзья из 4-ой и 2-ой квартир, в основном, – домашние хозяйки.

Процесс выиграл Всеволод Алавердиевич, но не совсем так, как он того хотел, – выселить человека «в никуда», как он того желал, суд не имел права, но его права на дополнительные метры суд принял во внимание, а Нинины – нет, поскольку он был ответственным съёмщиком и имел большой стаж проживания в нашем доме.

Было вынесено решение о том, что гр. Багадуров В. А. имеет право на две комнаты, но обязан отгородить в любой из них для гр-ки Багадуровой Н. Н. 12 метров, – то есть ровно столько, сколько тогда полагалось одному человеку по жилищной норме. За ним стояли более влиятельные лица и учреждения, которые перешибли Нинины медицинские справки.

И истец, и ответчица остались не довольны решением суда. Всеволод Алавердиевич рассчитывал на то, что «мерзавку» выставят вон, а он останется единоличным владельцем двух

больших и хороших комнат. А его обязали разделить одну из них пополам, причём на свои собственные деньги, водрузив солидную звуконепроницаемую перегородку. Это требовало от него крупных расходов, на что он не рассчитывал, и что совсем ему не нравилось.

А Нина горевала из-за того, что вместо просторной комнаты, где ей хватало и воздуха, и света, и где она красиво расставила антикварную мебель, унаследованную от матери, ей предстояло жить в узком закутке с единственным окном, где вся мебель некрасиво стояла вплотную, занимая всё пространство.

– Как я буду там жить? Чем дышать?

Недовольны были и все остальные обитатели квартиры №10. Не только из сочувствия к Нине, но и потому, что постройка сперва перегородки, а потом и двери, соединявшую Нинину комнатушку с коридором, на долгое время отравило им жизнь.

Сначала пришли плотники с длинными досками, пилами и топорами и принялись стучать и визжать пилами с шести часов утра. Сыпались стружки, летели опилки. Потом настала очередь штукатуров и маляров, которые наполнили всю квартиру известковой пылью и запахом красок. Ад крошечный, особенно для того, кому пришлось всё это оплачивать, притом не по государственным расценкам, а по коммерческим. И как же ему было обидно, когда весной 1951 года всё это наконец-то закончено и оплачено, а летом того же года Нина скончалась. Скончалась от гнойного плеврита, которым осложнился туберкулёзный процесс в её лёгких, причём, по мнению районного врача, следившего за её здоровьем, одной из причин её смерти был тот воздух, которым она тогда надышалась.

Нине было сорок три года, когда она умерла. Произошло это без нас: семья Яхонтовых в полном своём составе отдыхала тогда на Рижском взморье. Около больной была только Леночка, Саната и Нинина родня – её брат с женой. Они её и похоронили в могиле её матери Лидии Ивановны Кашиной – на Ваганьковском.

Жестоко был наказан Всеволод Алавердиевич за то, что не внял Гулиной просьбе оставить Нину в покое: на собственные деньги, – причём немалые, – оттяпал у себя половину комнаты,

которая после Нининой смерти вошла в государственный фонд и была предоставлена молоденькому демобилизованному солдату, а впоследствии рабочему фабрики «Красная Роза» – Василию Фёдоровичу Никонову. Он оказался славным и деликатным человеком, и мои девочки так же быстро привыкли к «дяде Васе», как раньше к дяде Диме и дяде Боре.

Хотя Нины уже не стало «холодная война» в нашей квартире не прекращалась. Мы с Леночкой старались держаться от неё в стороне, – вежливо здоровались с Екатериной Васильевной, которая тоже холодно и молча нам кивала. Но она открыто ненавидела маму, а заодно и папу: видимо, не могла забыть, что мама оказалась невольной свидетельницей того, как тётя Наташа выдворяла её из квартиры, употребляя при этом далеко не парламентские выражения. Она никогда не здоровалась с моими родителями, – лишь норовила толкнуть плечом или локтем кого-нибудь из них, встречаясь в коридоре, если мама или папа заранее не прижимались к стенке, освобождая проход.*

Особенно раздражало маму то, что Екатерина Васильевна постоянно носила браслет с бриллиантами и кольцо с крупным рубином, подаренные Наташе её родителями ко дню её свадьбы. По маминому убеждению эти вещи должны были принадлежать Гуле, его жене и дочери, а уж никак не Екатерине Васильевне, и что Всеволод Алавердиевич не имел права их ей дарить.

Обладательницы подобными ценностями обычно не носят их повседневно, но Екатерине Васильевне, видимо, нравилось дразнить маму этими камушками, и она не снимала их с руки, даже моя в кухне посуду.

Мама решила сохранить для Гули хотя бы столовое серебро и остатки фарфоровых сервизов – тоже часть приданого тётки Наташи. Так она и сделала после того, как Гуля вернулся в Москву, а пока что ей приходилось выслушивать коридорные ворчания Всеволода Алавердиевича относительно того,

* Помню также, что она никогда не запиралась в ванной, и когда бабушка или Вася случайно открывали дверь, «Катка», отнюдь не смущённая, начинала громко и заливисто хохотать. Мужчины, чертыхаясь и отплёвываясь, поспешно ретировались, сопровождаемые издевательским смехом. (Прим. Кс. Маршак.)

что она «украдала эти вещи». Упрёки такого рода были маме не в новинку: ещё в Саратове он нередко попрекал её тем, что она «крадёт продукты» из его пайка и кормит его неполноценными обедами.

Не прощал он моим родителям того, что они при конфликте между ним и Ниной были на стороне Нины. Не простил он этого и «четвёртому номеру». Не знаю по чьей инициативе были порваны взаимоотношения между Всеволодом Алавердиевичем, с одной стороны, и Осиповыми-Григорьевыми – с другой. Но помню, что были они решительным образом разорваны.*

Мама не трогала Екатерину Васильевну, – просто старалась её не замечать. Но Саната оказалась менее сдержанным человеком и однажды, оказавшись лицом к лицу с «Каткой», высказала ей всё, что она о ней думала. Грубой лексикой Саната не владела и, видимо, то, что она тогда произнесла, полностью сходилась с её мнением о советских композиторах. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтоб Екатерина Васильевна возмутилась, а Всеволод Алавердиевич включил и Санату в число своих врагов.

Уехал он из нашей квартиры ни с кем не простясь, – в том числе и со мной, хотя я ни ему, ни Екатерине Васильевне ничего дурного не делала.

Вместо него к нам вселилась многодетная и шумная семья Курашовых. На главу этой семьи, алкоголика Сергея Фёдоровича, нам нередко приходилось спотыкаться то в коридоре, то в передней, когда он, хлебнув лишнего, располагался на отдых.

Так наша квартира превратилась в обычную коммуналку.

Курашова были неплохими людьми, – могло быть и хуже, но всё же обидно, что, меняясь с ними квартирами, Всеволод Алавердиевич не вспомнил о том, как в своё время мои родители отказались от отдельной трёхкомнатной квартиры ради того, чтоб уберечь Багадуриных от жителя коммуналки.

* Ещё одной особенностью этой семьи было то, что к ним постоянно заходил бывший супруг Е. В. – незаметный серый человечек, частенько сидевший в передней с трубкой в зубах. Дядя Гуля прозвал его «Свяжкой», это прозвище так прочно к нему приклеилось, что настоящего имени никто и не помнил. (Прим. Кс. Маршак.)

Последние дни в Неопалимовском Всеволод Алавердиевич провёл в хмуром настроении, видимо, жалея о том, что ограбил сам себя ненужной перегородкой. Только перед самым выездом неожиданно развеселился и, разгуливая по комнате, из которой выносили мебель, пел отрывок из своей собственной оперы «Дворянское гнездо»:

«Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребёнок, душою я стал,
И я сжѐг всё, чему поклонялся,
Поклонился тому, что сжигал».

Смысл этих слов мы вскоре уразумели. Когда новая жильчиха – Елизавета Николаевна Курашова, – начала выносить из своих комнат брошенный там мусор, она обратилась к маме с вопросом:

– Там среди выброшенных бумаг множество фотоснимков. Может быть, они кому-нибудь нужны?

Мама взглянула и убедилась в том, что выброшенными оказались снимки тёти Наташи и тех семейных групп, где была представлена семья Глазовых, включая его самого.

Разумеется, мама всё это сохранила и впоследствии передала Гуле. Ни слова ему не сказав о том, что эти дорогие ему реликвии были найдены среди выброшенного мусора. Зачем? Ей совсем не хотелось восстанавливать сына против отца, к тому времени уже покойного.

В новой квартире (тоже коммуналке) Всеволод Алавердиевич прожил недолго, не подавая нам о себе никаких вестей. Лишь после того, как он скончался, к маме нежданно-негаданно пришла Екатерина Васильевна и любезным тоном попросила у неё разрешения похоронить урну с прахом Всеволода Алавердиевича в нашей фамильной могиле – на Новодевичьем. Любезный тон давался Екатерине Васильевне легко: её голос звучал нежно и мелодично не только тогда, когда она пела, но и когда разговаривала.

Мама такое разрешение дала, к негодованию Санаты:

– Незачем там лежать его урне! Сегодня она мужа положит, а завтра и сама в нашу могилу влезет!

Но мама знала, что делала. Знала, что Гуле будет приятно,

что его родители и бабушка с дедушкой, которого он, в отличие от меня, помнил хорошо, похоронены вместе.

Впоследствии он и сам к ним присоединился...

Всеволод Алавердиевич не спешил ни с оформлением своего второго брака, ни с переездом на новую квартиру. Хотя его, по его убеждению, окружали сплошные недоброжелатели, он, как всякий человек более чем почтенного возраста, слишком привык к нашему дому и району для того, чтоб желать менять привычное на незнакомое. Стать молодожёном и новосѐлом он заторопился лишь после того, как Гуля из «досрочно помилованного» превратился в реабилитированного и вместе со всеми прочими гражданскими правами получил право вернуться туда, откуда был взят – в Москву.

Но куда вернуться? Но куда вернуться? В Неопалимовский он уже не мог, – там на законом основании жили уже другие люди, в новое жилище отца – тоже: там он не значился ни к каких домовых книгах. Переезд Всеволода Алавердиевича захлопывал перед Гулей возможность вернуться в Москву.

Пришлось ему с женой и дочкой застрять сначала в Прокопьевске, затем – в Кадиевке Ростовской области, где климат был лучше, и Азовское море недалеко.

Я уверена в том, что возвращению Гули в Москву активно воспрепятствовал не отец, а мачеха. Отца это, наоборот, мучило и, составляя завещание, он оставил Гуле тридцать тысяч специально для покупки московского жилья. Кроме того, Гуля получил половину денег, имевшихся на сберкнижке В. А. Багадурова (другая половина на законном основании досталась его вдове). Это дало возможность Гуле с семьёй переехать сначала в жалкую халупу на одной из московских окраин, а затем и в приличную квартиру, в которую их вселили после того, как халупу снесли.

Справедливость восторжествовала!

Никто из наших родных и знакомых не присутствовал ни на гражданской панихиде Всеволода Алавердиевича в Консерватории, ни на его кремации. Мама присутствовала по любезному приглашению Екатерины Васильевны лишь при захоронении его урны. Пошла бы туда и я, но в то время болела гриппом. По словам мамы и на этот раз было много народа (в основном, его

ученики – тогдашние и более ранних выпусков) и много цветов. Вскоре ученики Всеволода Алавердиевича вскладчину поставили над его прахом мраморный крест.

Естественно, что Гуле при его переезде в Москву встречаться с Екатериной Васильевной совсем не хотелось. Но он, преодолевая себя, всё же нанёс ей визит, в надежде получить кое-что из оставшихся после отца вещей, среди которых имелось немало ценных. Мачеха согласилась отдать ему лишь портрет прямого Гулиного предка – архитектора Баженова в кругу семьи. И за то спасибо! Гуле хорошо заплатили за это полотно, хотя и выполненное неведомым крепостным художником сомнительного мастерства, когда он предложил его Музею Архитектуры, где она сейчас и находится.

Много лет спустя, когда на свете не было уже ни Гули, ни скончавшейся после него Екатерины Васильевны, вдова Гули Аня сделала попытку получить что-нибудь на память о Всеволоде Алавердиевиче у Ксении – его бывшей домработницы. Поскольку Екатерина Васильевна умерла в полном одиночестве – никаких родственников она не имела, – всё, чем она владела, по завещанию досталось Ксении, которая за ней ухаживала в дни её предсмертной болезни.

Придя к этой женщине, Аня сразу узнала знакомые ей вещи – и столики из карельской берёзы, и ковёр, и картины, – даже гипсовый бюст опекуна бабушки Юли – бывшего школьного инспектора из города Вильно, – видимо Ксения приняла его за художественную ценность. Как и следовало ожидать, Аня от неё ровно ничего не получила, лишь принесла нам известие о том, что наследница Багадуриных сожгла в печке все оставшиеся после Всеволода Алавердиевича ноты, – в том числе и рукопись его полностью законченного клавира оперы «Дворянское гнездо». Мои родители очень об этом сокрушались, – там было много красивых мелодий. Я и сама это знала, слыша, как дядя Бутя иногда наигрывает, а иногда и пел что-то из «Дворянского гнезда». Исполнителем одной из этих красивых арий был и Яков Николаевич Осипов («Якобус»):

«Луна плывёт высоко над землёю средь бледных туч
И движет с высоты морской победный луч...»

Я и сейчас могла бы сыграть мелодию этой арии одним пальцем. Но не записать, разумеется.

Так растаяла в воздухе целая законченная опера в стиле Чайковского и Направника, – то есть насыщенная лиризмом.

Исчез В. А. Багадуринов. Сначала из нашей квартиры, а вскоре и из жизни. А в нашей когда-то дружном семейном убежище, ставшем, благодаря его второму браку «коммуналкой», принялись мелькать всё новые и новые чужие фамилии: Никонов, Воляк, Курашова, Фирсовы, Сетюковы, Далтанова, Амаев...

51 © СЕРЕДИНА ВЕКА. СТРОГИЕ МОРАЛИСТЫ И ГНЕВНЫЕ ПАТРИОТЫ

В 1950 году мне исполнилось тридцать восемь лет. Много это или мало? Совсем мало, если судить по моим дочкам, которые, давно перешагнув через этот возраст, всё ещё остались внешне привлекательными, стройными, полными энергии. Но я в те годы считала, что много. Прежде всего, я тогда была далеко не стройной (ох, уж эти пышки с кремом в библиотечных буфетах!), а что хуже всего, – к огорчению мамы, превратилась в некое бесполое существо, не помышляющее не только о замужестве, но даже о пустяковом романе.

Обожглась я на Петровиче!

Он постепенно уходил из моей памяти, забывался. Только в тех случаях, когда я стороной узнавала о том, что он болен, повредил себе руку или ещё о чём-нибудь подобном, мне становилось не по себе. Всякую его боль я воспринимала, как собственную, как боль кого-то очень мне близкого. Неудивительно: ведь самым длительным периодом наших взаимоотношений был тот, когда Александр Петрович находился на фронте, а я за него тряслась, каждую минуту опасаясь зловещей «похоронки».

Страх за него был фундаментом всего того, что меня к нему привязывало.

Но этот страх проходил, поскольку в послевоенные годы

ничего плохого с ним не происходило, а вместе со страхом и вообще мысли о Петровиче. А заодно и обо всех мужчинах, поскольку в моём представлении он всё ещё оставался лучшим из лучших.

Ни ибсеновской Сольвейг, всю жизнь тосковавшей о покинувшем её Пер Гюнте, ни Чио-Чио-Сан из оперы Пуччини я не стала, поскольку ещё в Саратове мое влечение к Петровичу отгорело, а в Москве – и подавно. И моё время, и моя внутренняя суть были заполнены многим, не имевшим к нему никакого отношения.

Прежде всего – мои девочки, в то время ещё домашние, то есть принадлежащие мне всецело. Школьная жизнь, Дом пионеров, их собственные друзья и увлечения – всё это было у них ещё впереди.

Кроме того, согласно моей натуре быть «вечной студенткой», я с привычной жадностью поглощала книгу за книгой то в «Ленинке», то в «Разинке», ещё не помышляя ни о каких научных исследованиях, а просто потому, что мне это было и нужно, и интересно.

Словом, и без всяких романов жизнь моя была содержательной и наполненной.

Чего мне тогда всё же не хватало?

Друзей!

За восемь лет отсутствия я потеряла почти всех, кого имела раньше. Не осталось ни одной знакомой души из числа акулловских теннисистов, никого из обеих моих школ, кроме скучной Зины и Аиды, которой тогда было совсем не до меня: в 1951 году она родила свою дочку Ирину. Куда-то разъехались или просто куда-то подевались те, с кем меня связывали институт и аспирантура...

Да и были ли в их числе друзья в полном смысле слова?

Скорее, просто приятели от слова «приятно»: те, с кем было приятно поболтать о пустяках, потанцевать, посидеть у ночного костра или «на брёвнышках».

Цену дружбы в настоящем смысле слова я узнала лишь в Саратове. Этому благоприятствовало то, что все мои друзья, за исключением четы Воробьёвых-Акимовых жили со мной в одном

доме. Захочешь с кем-нибудь из них поделиться радостью или горем, – достаточно подняться на несколько ступенек или вбежать в соседний подъезд. А главным было то, что мы постоянно выручали друг друга, – делились и продуктами, и вещичками, помогали по возможности кормить и обстирывать наших ребятшек. Не случайно и мои родители в трудные послереволюционные годы держались единой кучкой с обитателями 4-ой и 5-ой квартир. Близкое соседство и постоянная взаимопомощь – великая вещь!

Что осталось у меня от прежних друзей?

Разумеется, Олечка и Федя. Милые люди и почти родственники. Но жившие довольно далеко.

Сёстры Мясниковы, особенно Галя. Муж Гали – Ива Сахаров, мой бывший одноклассник и Кирилл Швайцер – одноклассник нас обеих. Но где я могла с ними запросто встречаться? У меня – невозможно: комната, где я жила одновременно служила сначала спальней для моих малюток, затем папиным рабочим кабинетом. У Гали – тоже: её уголок был лишь шкафами отгорожен от владения младшей сестры Наташи.

Дмитрий Владимирович Охлябинин, когда-то оживлявший мою «голубую скорлупку» галантными анекдотами во французском вкусе, с годами поскучнел, отяжелел, и я общалась с ним лишь ради его жены Марии Михайловны – моей постоянной портнихи. Но и она моей подругой не была. Со всеми этими людьми я встречалась от случая к случаю. В ноябре Охлябинины приглашали меня на день рождения Дмитрия Владимировича, в декабре – Олечка на свой день рождения, в январе – Туся на «Татьянин день». 25 марта отмечала свой день рождения Галя Мясникова, 11 апреля – Аида. Я, следуя примеру моих родителей, отмечала именины, не потому что скрывала свой возраст, – его и так все знали, – а потому, что март веселее февраля. Я с удовольствием украшала праздничный стол мимозой и маленькими букетиками подснежников и фиалок.

Всё это было очень мило. Гости чокались, отдавали должное хозяйским пирогам и салатам, танцевали, развлекали друг друга как умели... Но разве такого рода встречи имеют отношение к дружбе?

Ближе всех в то время была для меня Зея – кусочек Саратова, в чьём доме я в течение долгих лет неизменно встречала Новый год. На этих новогодних встречах неизменно бывала и Женя Калашникова – тоже какое-то время саратовская жительница и моя коллега, а также Илья Фрадкин – близкий Зелин сосед и её товарищ по детским играм во дворе и одновременно – мой товарищ по аспирантуре.

Поскольку Фрадкин оставался в то время и близким другом Абрама, я решила познакомить Абрама с Зелей, чтоб вовлечь и его в нашу традиционную вечериночную компанию. Но ничего хорошего из этого не вышло. Когда я одновременно пригласив на свои именины Абрама с Татьяной Михайловной и чету Лихтманов, посадила Абрама рядом с Зелей, он не нашёл ничего лучшего, как начать разговор с фразы: «Почему вы такая тощая? Терпеть не могу тощих женщин!»

После такого вступления дальнейший разговор не клеился, а, прощаясь со мной, Зея решительно заявила: «Не вздумай приводить с собой твоего Абрама. Если он тебе по вкусу, – дело твоё. А я не терплю хамства».

Саратовских друзей мне очень не хватало, хотя у меня завязалась оживлённая переписка со многими из них: с Маргаритой, с Шурой, с Лидой Баранниковой, с Татьяной Михайловной Акимовой, с Надеждой Генриховной Леер. Письма Шуры и Татьяны Михайловны нередко сопровождалась короткими записочками или приписками от Евграфа и Валерия Петровича, обычно юмористическими.

Маргарита и Шура в своих письмах смешили меня тем, что каждая из них на свой лад стремилась «излечить меня» от безнадежной тоски по Александру Петровичу, которую я вовсе не ощущала. Причём, действовали по-разному. Шура мне писала, что «мой герой» стал стариком, чуть ли не развалиной, «на него страшно взглянуть». А Маргарита в то же самое время внушала мне, что за Петровичем бегают «толпы студентов», и он сам, как истый Дон Жуан, «расстиляется перед каждой юбкой». Прислушаешься к этому дуэту и невольно вспоминаешь традиционную фразу следователей из советских детективных фильмов: «Нестыковочка получается!»

Из писем саратовских друзей я с грустью узнала, что то, что я называла «нашей компанией» и что всегда казалось мне монолитом, перестало существовать. Чета Воробьёвых-Акимовых продолжала дружески общаться с Лидой Баранниковой и её мужем, но этот квартет отгородился ото всех остальных. С. А. Щеглова нашла себе приятельниц более близких ей по возрасту и тоже ото всех отошла. Покусаевы и Медведевы жалась к супругам Скафтымовым. В основном, это была близость трёх мужчин с их специфически мужскими интересами, – дамы при этом лишь присутствовали и у стола хлопотали, но Маргарите не нравились частые встречи Шуры с Ольгой Александровной Скафтымовой, и она отдалилась от Шуры.

Как старались мои милые подруги утешать меня, вовсе не нуждавшуюся в утешениях! А между тем, в их собственных жизнях происходило много трагического.

Очень неудачным оказался брак Маргариты с отставным офицером Василием Уманским. Не помню, в каком он был чине, – то ли майор, то ли капитан. Во всяком случае, – малообразованный солдафон, пьяница и совсем ей не пара. К счастью, Маргарита с ним быстро развелась, однако после развода супруг не пожелал съехать с Маргаритиной жилплощади, вынудив её саму сбежать из Саратова в Ярославль – в чужой город, к чужим людям. Из-за своего нелепого брака Маргарита потеряла уважение своей дочери Милы, отчего страдала до конца своих дней.

У Шуры всё было хорошо, пока Евграф, по примеру А. П. Скафтымова, не обзавёлся «второй семьёй», – открыто, на глазах у всех общих знакомых. Настала моя очередь вытирать её слёзы, как она до этого старалась вытирать мои, которых не было.

Личная жизнь Лиды Баранниковой была в те годы благополучна. Заботливый любящий муж, приёмный сын – славный мальчик, хотя и не родной, но заменивший ей тех, кого она потеряла. Никто же не знал в то время, что она безвремененно лишится и его.

В начале пятидесятых годов беда подстерегала Лиду не в личной жизни, а в её научной деятельности. А это многое для

неё значило! В отличие от Зели, которая с лёгким сердцем сменила доцентскую деятельность на судьбу домохозяйки, Лида была, прежде всего, исследовательницей, настолько же преданной этому делу, как Шура или Вера Новосёлова – школе.

Значительно раньше, чем все мы – молодые кандидаты наук, довольные своими достижениями и ещё не заглядывавшие в будущее, Лида выбрала себе тему докторской диссертации и энергично за неё взялась. Предметом её исследования стал Николай Марр – весьма уважаемый в те годы советский лингвист.

Марр доказывал (не могу судить, насколько справедливо), что все европейские языки, начиная с древнегреческого и латыни и включая все славянские языки и наречия, имеют общий источник – Индию.

Я ещё со студенческой скамьи была знакома с работами Марра и относилась к ним уважительно, но папа над ним посмеивался, говоря, что глаголы «слоняться» и «прислониться» – наглядно подтверждают марровскую гипотезу: только в Индии кто-то «слоняется», только там можно «прислониться» к чему-то, начиная от слонов.

Итак, в то самое время, когда ни о каких докторских степенях никто из моих саратовских сверстников ещё не помышлял, самая младшая из них – Лида Баранникова – героически за это взялась, благо и её домашние условия этому способствовали. Её муж Анатолий Сергеевич Колосов – преподаватель одного из саратовских технических вузов и постоянный член нашего дружного кружка – полностью посвятил себя тому, чтоб научные способности Лиды расцветали пышно и беспрепятственно. Несмотря на собственную занятость, он полностью взял на себя и кухню, и домашнюю уборку, и заботу о Мише – их приёмном сыне, – словом то бытовое и повседневное, чем обычно бывают заняты женщины.

И его заботы, и Лидины труды, казалось бы, были достойно вознаграждены: докторская диссертация созрела, была отпечатана на машинке и встретила полное одобрение и нашей кафедры русской лингвистики во главе с профессором Лукьяненко, и иногородних рецензентов. Её защита должна была со-

стояться в Ленинградском университете, – даже день события был уже назначен.

Однако на Лидину беду «высокий генералиссимус и вождь всего прогрессивного человечества» вздумал блеснуть и в качестве лингвиста, в результате чего появилась его брошюрка, где Н. Марр был разнесён в пух и прах и где, в частности, доказывалось, что великий русский язык абсолютно самобытен, возник сам по себе и не имеет ни малейшего отношения ни к индийским языкам, ни к каким-нибудь другим.

Брошюра была тоненькая – лишь несколько страничек, но в лингвистической среде произвела эффект разорвавшейся бомбы. Н. Марр бесспорно разделил бы горькую судьбу Мейерхольда и Вавилова, если бы, на своё счастье, не был тогда уже покойником.

Бедная Лида Баранникова! Защита её докторской развеялась пылью в то самое время, когда казалось, что желанная цель уже достигнута.

Но не таким Лида была человеком, чтобы смириться. Используя богатый фактический материал своей несостоявшейся диссертации, она повернула её на сто восемьдесят градусов, заменив минусы плюсами, а плюсы – минусами. В результате чего и двух лет не прошло, как Учёным советом сначала Саратовского, а затем и Ленинградского университетов была представлена новая докторская диссертация, богато насыщенная фактическим материалом, с обширной библиографией, – ничуть не хуже прежней, но под другим названием: «И. В. Сталин об антинаучной концепции Н. Марра».

Можно ли было сомневаться в том, что защита на этот раз пройдёт не только благополучно, но и блистательно.

Молодец, Лидия Ивановна! Своим примером она указала путь многим и научным, и политическим деятелям дальнейших поколений, легко превратившихся из атеистов в благочестивых христиан, из секретарей коммунистических парткомов – в убеждённых демократов. И никого она этим не обидела: Николай Яковлевич Марр был уже мёртв в то время, когда на его работах был поставлен крест. А крест как раз и подобает мёртвым.

После успешной защиты Л. Баранниковой стали докторами наук и некоторые другие мои саратовские друзья: сначала Т. М. Акимова, вслед за ней – Евграф Покусаев. Пошла по этой дороге и Маргарита, но личные неприятности (неудачное замужество, переезд) и недомогания помешали ей довести задуманное до желанного конца.

А я в то время ни о каких докторских темах и не помышляла. Дело было в том, что такого рода работа требовала углублённой сосредоточенности на чём-то одном, строго ограниченном. А меня всегда тянуло не вглубь, а вширь. Встречавшиеся мне так называемые «горьковеды», «чеховеды», «блоковеды», даже «пушкиноведы» никогда не вызывали у меня особого уважения. Исключением был Ираклий Андронников, сосредоточивший свой научный интерес на Лермонтове, но лишь потому, что никак нельзя было упрекнуть за узость интересов человека, блестяще соединившего в себе литературоведа, музыковеда, писателя, актёра-исполнителя и пародиста.

Писать статьи мне тогда не хотелось. Крупные исследования – тем более. Хотелось читать и читать. Не только о литературе стран Запада, но и о литературах Востока. Не только потому, что это было интересно мне, но и потому, что это было важно для меня, как для лектора, – чтобы меня с интересом слушали даже те, кто пришёл в институт изучать иностранный язык, нимало не интересуясь литературой.

Разумеется, эти мои старания сильно отвлекали меня от моих материнских обязанностей. К счастью, мама в этом отношении вполне меня заменяла и не тяготилась этим. С дочками по будням я общалась урывками, почти мимоходом, компенсируя моё недостаточное внимание к ним тем, что я никогда для них не скупилась ни на игрушки, ни на книжки, ни на лакомства.

Полностью я посвящала себя дочкам, когда они были ещё малышками, лишь во время моих летних отпусков – сначала Востряково по Киевской ж.д., потом Трудовая Савёловской ж.д., один раз это было Рижское взморье. И по воскресеньям.

Мои воскресенья принадлежали им. Безраздельно.

У Самуила Маршака имеется стишок, начинающийся так:

«Вот портфель, пальто и шляпа,

День у папы выходной,
Не ушёл сегодня папа, –
Значит, папа будет мой!»

Сказано, как будто про меня, тем более что я, действительно, была для моих дочек скорее «папой», чем «мамой»: за тем, чтоб они были своевременно накормлены умыты, причёсаны, прилично одеты, следила моя мама – их бабушка. Имелись у неё помощницы: жившая неподалёку прачка Аннушка, приходящая портниха Евдокия Герасимовна (тётя Дуся), которую нам сосватала... Ну, известно кто: Александра Арсеньевна, постоянный ангел хранитель нашей нерасторопной семьи.

Если не было сильного мороза, дождя или другого какого-нибудь природного неблагополучия, нашим основным воскресным времяпрепровождением были длительные прогулки. Не только потому, что воздух, даже уличный, полезнее комнатного. Мы обе – и мама, и я – побаивались близкого соседства туберкулёзной Нины, и нам обеим хотелось удержать малышей как можно дальше от её комнаты, её вещей. Кроме того, я старалась, как могла, оберегать моих девочек и от другой заразы: от той взаимоозлоблённости, которая тогда царила в нашей когда-то дружной квартире, и которую я по праву называла «холодной войной».

Где мы гуляли?

Не возле нашего дома, разумеется, – там им всё надоело, и там они могли гулять и без меня. Ходили подальше: весной и ранней осенью, главным образом, в Парк Культуры Горького, где было множество аттракционов, в другое время – на Походку – посмотреть на украшавший эту улицу почти сказочный терем-теремок, или в сеть переулков, соединявших Арбат с Пречистенкой, где тоже было немало красивых домиков с разной лепниной, колоннадами и мезонинами.

Иногда я предпринимала то, что на нашем языке называлось «искать приключений». С этой целью мы садились на любой автобус или трамвай (в дневные часы они обычно пустовали, и мы без труда находили свободные места возле окошек). Выходили, где нам вздумается, и принимались знакомиться с новыми кусочками Москвы. Помню, какое впечатление на

обеих малышей произвели действительно красивая церковь в Филях, вид Кремля с Софийской набережной и многое другое. Чтоб не было скучно ехать до намеченного места, мы придумали незатейливую игру: от остановки до остановки выбирать две квартиры в домах, мимо которых проезжали: одну «для себя», другую «для ведьмы». «Для себя», естественно, выбиралась что-нибудь в красивых, многоэтажных домах с балконами, а «для ведьмы» – какой-нибудь полуподвал в ветхой деревянной развалине. Тогдашняя Москва была полным-полна подобными контрастными строениями, а в наше время «ведьма» наверняка осталась бы без жилья: ничего ветхого и деревянного в тех местах уже не осталось.

Однажды мне вздумалось совершить со своей командой «кругосветку». Поехали на троллейбусе «Б» в сторону площади Восстания (Кудринской). Миновали и эту площадь, и площади Маяковского, приблизились к Курскому вокзалу. Ксана забеспокоилась: не пора ли нам сойти? Когда заехали за Москву-реку, забеспокоилась ещё больше:

– Давай выйдем, мама! В такую даль забрались! А нам ведь ещё надо будет обратно ехать! К обеду опоздаем! Бабушка будет нас ругать!

Но вот опять Москва-река... Как она здесь очутилась? Ведь мы же от неё отъехали! Что-то очень знакомое в очертании Крымского моста, а дальше началось ещё более знакомое. Вот Зубовская площадь! А вот и наш переулок!

Изумлению девочек не было предела. Они чувствовали себя точно так же, как Магеллан после того, как обогнул земной шар. Им казалось, что произошло необъяснимое чудо. Ведь мы же ехали только вперед, никуда не сворачивали!

Когда мои дочери стали постарше, я начала водить их в театры, начав, разумеется, с театра кукол Сергея Образцова. А потом были и цирк, и «Синяя птица» в Художественном, и многое-многое другое. Первоначально на все эти спектакли Юночка входила на цыпочках, точно балерина на пуантах, вытянув шейку как можно выше: согласно правилам детей в театры полагалось водить лишь с пятилетнего возраста, а тогда ей было только четыре.

Приходили мы всегда заранее, чтоб, не дай бог, не опоздать и располагались в фойе, пока в зрительный зал ещё не впускали. Ксаночке надоедало сидеть на месте, и она принималась бегать (на улице в зимнем пальто или в нашей переуплотненной квартире не очень-то побегаешь!). При этом она обычно шлёпала ладошкой по стулу, с которого соскочила, со словами: «Скажи, что здесь занято!»

Вслед за Ксаной убежала и Юночка, спрыгнув с моих колен – своего обычного места – и, подражая старшей сестре, шлёпала меня по коленкам и предупреждала: «Здесь занято!»

Я очень любила эти наши театральные походы. Во время представлений я не столько смотрела на сцену, сколько на их милые оживлённые мордочки, выражавшие то нетерпеливое ожидание, то тревогу, то восторг. Так сильно реагировать на сценическое действие умеют только маленькие дети.

Единственным, что в какой-то мере отравляло для меня удовольствие водить девочек в театры, были наши зимние сборы туда и обратно. На каждую надо было натянуть вязаную кофточку, длинные штанишки-рейтузы, носочки, валенки, шарфики, шапочки, варежки. Застегнуть невероятное количество пуговиц, завязать столь же невероятное количество шнурков и ремешков, а дело ведь имеешь не с куклами, а с вертлявыми живыми существами. То и дело приходилось заново налаживать сбившиеся на бок головные сооружения или искать под чужими калошами ускользнувшую варежку.

Ежегодно я отводила моих девочек в фотоателье – запечатлеть их облик. Ведь сегодня они уже не такие, какими были вчера, а завтра будут заметно отличаться от сегодняшних. Фотографировала их и парочкой, и каждую по отдельности. Заказывала как можно больше отпечатков и щедро делилась ими со всеми родственниками – близкими и дальними. Посылала их и в Саратов – то Маргарите, то Шуре, заранее зная, что Петрович у них эти снимки выклянчит.

Каюсь, делала я это с недобрыми целями. Я не желала Петровичу зла, не хотела, чтоб он от чего-нибудь всерьёз страдал. Но немножко кольнуть его – мне хотелось. Не могла от этого удержаться.

Итак, чем была ознаменована для нашей семьи середина XX века?

Ксана стала школьницей, да и Юночка была близка к этому: умела читать-писать, изучала вместе со старшей сестрой английский язык. Лена родила сынишку. У свободного уже Гули была семья, бегала двухлетняя Наташа. Скончалась (летом 1951) бедная Нина. Всеволод Алавердиевич резко порвал со своим глазовским прошлым. Заслуженно вознесся по научной и служебной лестнице отец, а вместе с ним и я, став зав.кафедрой того самого института, куда пришла робкой провинциалкой. Но не столько заслуженно, сколько по воле обстоятельств, о которых расскажу позже. В самый канун 1950 года папа отметил семидесятилетие – одновременно с Иосифом Виссарионовичем, находившимся тогда на вершине своего культа и могущества.

Великая Отечественная война была настолько кровопролитна и опустошительна, что нам, пережившим её, не верилось, что недавние поля сражений, изрезанные окопами и искорёженные взрывами, вскоре вновь станут хлебородными полями или пастбищами, а на месте городских развалин и пепелищ вырастут новые дома и воскреснет промышленность. Однако это произошло. Значительно раньше, чем мы могли на это надеяться, были отменены и продовольственные карточки, и выдача одежды-обуви по ордерам. Вместо «распредов» вновь появились магазины (обычные, а не какие-то там коммерческие для немногих!), где нам уже не «выдавали» что-то, а попросту продавали.

Москва не только реставрировала то, что было покалечено во время авиационных налётов, но многое и создавала заново. Воздвигались высотные дома – один красивее другого: на Смоленской площади, на площади Восстания, у Красных ворот, на Котельнической набережной. Быстрыми темпами шло строительство университетского комплекса на Воробьёвых (тогда ещё Ленинских) горах, а вслед за этим – спортивного в Лужниках, где до войны был лишь пустырь, лесопилка и капустные огороды. Расширялось и разбрасывалось во все стороны метро, преобразуя недавние пригородные деревни в благоустроенные городские районы.

Моим дочкам покупались шоколад и фрукты. Папа вновь вернулся к своему любимому китайскому чаю, мама – к возможности достойно сервировать стол к приходу гостей.

Жить бы да радоваться! Однако многое нас не радовало. Не случайно сказано в Библии, что человек живёт «не хлебом единым».

Многим, – и мне, в частности, – не нравилась та враждебность, которая встала между нами и нашими недавними союзниками по антигитлеровской борьбе. Тот «железный занавес», который нас резко от них отделил.

Когда я была студенткой, мне было обидно, что слова «Россия», «русский стиль», «русское искусство» стали почти запретными, как проявление «великодержавного шовинизма». Мои товарищи из Украины, из Армении, из среднеазиатских республик, – откуда угодно, – могли хвастаться своими национальными орнаментами, традициями, танцами, но мы, русские – ни-ни! Наше искусство было «советским», наши танцы – «народные». Эпитет «русский» был упразднён.

А в послевоенные годы наша страна в лице своих властей ударилась в противоположную крайность. Положено стало гордиться тем, что мы – русские, иначе говоря – герои-победители; снисходительно, как на младших, стали посматривать на другие народы СССР, хотя и они столь же мужественно сражались против гитлеровской Германии. Сверху вниз полагалось нам смотреть и на страны так называемой Народной демократии. А весь остальной мир воспринимался как враждебный.

Всем нам были неприятны наглые слова фашистского гимна «Дойчланд, юбер аллес» («Германия превыше всего»). Но столь же неприятно было мне, – да и не только мне одной, – когда нечто подобное стало твориться и в России.

Поскольку моей областью, как читателя и как педагога была зарубежная литература, а вместе с ней и вся зарубежная культура, частью которой эта литература является, – я быстро учуяла это очень неприятный для меня националистический душок, принимавший всё более и более очевидные и официальные формы.

Сильно сократилось издание в СССР и художественной,

и научной зарубежной литературы. Даже прогремевшие на весь цивилизованный мир романы Стейнбека, Селина, Мальро не были у нас изданы. Не вошёл в русское собрание сочинений Хемингуэя его лучший роман, его творческая вершина – «По ком звонит колокол», так же, как в собрании сочинений Томаса Манна не нашлось места его шедевру – роману «Иосиф и его братья», где библейский сюжет подчинён глубокому философско-историческому смыслу.

К нам перестали приглашать зарубежных артистов-гастролёров, и когда однажды в Москву всё же вырвался известный французский шансонье Ив Монтан, вся Москва чуть не сошла с ума от восторга, – так это было неожиданно и необычно. Перестали появляться на наших экранах зарубежные кинофильмы, – даже всемирно известный «Диктатор» Чарли Чаплина, сатирически высмеивавший Гитлера, не был нам показан. Не потому ли, что жестокий тупой диктатор в этой комедии был похож не на одного германского фюрера, а мог бы вызвать у советских зрителей совсем не желательные ассоциации?

Доходило дело до смешных мелочей. Французские булки были переименованы в «городские булки», а «американские горки» в Парке культуры стали «русскими горками» и т.д. Потеряли свои привычные названия известные сыры и колбасы. Одни только английские булавки каким-то чудом сохранили своё наименование в целостности и сохранности.

В школьных программах значительно урезали часы на изучение иностранных языков. В нашем Инъязе провести подобную операцию оказалось невозможным, – нельзя же рубить тот сук, на котором сидишь! Но директор издал приказ, который никому из наших преподавателей не пришёлся по душе: пользоваться иностранными языками исключительно во время занятий, а в буфете, деканате, коридорах разговаривать только по-русски. Совершенно забывалось о том, что живая иностранная речь была необходима самим педагогам, и их общение с одними лишь студентами, а не между собой, вредило им (тем более что никаких «заграничных стажировок» в те времена для них предусмотрено не было).

Оказывало ли на мировоззрение и творчество русских клас-

сиков какое-то ни было воздействие зарубежная мысль, зарубежные классики? Например, Мольер – на нашу отечественную комедию, Байрон – на Пушкина и Лермонтова? Новые школьные программы предпочитали вообще этого опасного вопроса не касаться, а Малый театр поставил пьесу «Пушкин в Михайловском», не помню какого автора, где показывалось, что не только сюжеты сказок, но и всё своё мировоззрение Александр Сергеевич полностью воспринял от Арины Родионовны.

С той тенденцией было связано и вышеупомянутое выступление Сталина против Марра, которое «зарезало» докторскую диссертацию Лиды Баранниковой в её первоначальном варианте: русский язык был провозглашён абсолютно самобытным, и глубокой политической ошибкой было допустить на него влияние индийской или вообще какой бы то ни было иноземной лексики.

Поскольку о самобытности русского языка заговорил сам великий вождь, его примеру принялись ретиво следовать и деятели культуры меньшего масштаба. Некий музыковед, например, предложил заменить во всех нотных изданиях итальянские слова на русские, и вместо «аллегро», «анданте», «модерато» и т.п. печатать «быстро», «медленно», «умеренно». Когда мне об этом рассказал Всеволод Алавердиевич, я приняла это за анекдот, тем более что это предложение осталось неосуществлённым. Но недавно о нём вспоминал и Никита Богословский («Вечерняя Москва» от 27 января 2000 г.). Значит, это было правдой!

Самое гнетущее впечатление произвели на многих, – в том числе и на меня, – выступления А. А. Жданова – сначала в «Правде», а затем и в виде отдельных брошюр, изданных миллионными тиражами. Там Жданов подвергал разгрому Мурадели и Шостаковича, сатиру и юмор Зощенко, лирику Ахматовой.

Вслед за ждановскими выступлениями в той же «Правде» публиковались соответствовавшие им директивные – то есть обязательные для всех постановления ЦК ВКП(б).

С первого взгляда была видна необоснованность ждановских обвинений. Например, он приписывал самому Зощенко высказывания его персонажей, что так же нелепо, как при-

писывать Грибоедову мысли Фамусова и Скалозуба или Гоголю – то, что произносит Хлестаков или Городничий. За свои прекрасные стихи Ахматова была названа «блудницей», хотя в возрасте Жданова не мешало бы знать, что любовь и блуд совсем не одно и то же.

К музыке Мурадели и Шостаковича я всегда была довольно равнодушна, но и за них мне было обидно, когда Жданов и на них с подобной же грубостью устроил «вселенскую смазь», как в своё время выразился Гуля на языке гимназистов.

Разносил Жданов упомянутых композиторов и за то, что они следуют зарубежным (а, следовательно, зловредным) образцам, и за то, что они не используют в своём «сумбуре вместо музыки» народные русские мелодии.

Вслед за Ждановым эту тему принялись всячески развивать и многочисленные прихвостни, пытавшиеся с журнальных страниц доказать, во-первых, «что музыка хороша лишь тогда, когда в ней использованы мотивы народных песен, а, во-вторых, что единственным возможным критерием для оценки музыкального – и вообще художественного – произведения является его широкая доступность и популярность среди «широких масс», – то есть простого трудового народа. На этом основании доказывалось, что лучшие места оперы «Евгений Онегин» – это хоры «уж как по мосту-мосту» в первом акте и «Девушки-красавицы» – во втором. И что пушкинская сказка «О попе и работнике его Балде» выше «Медного всадника».

Эта политика в области эстетики коснулась и книг Всеволода Алавердиевича о методике пения. В специальных журналах эти книги громили за то, что автор ориентируется там на Карузо и других итальянцев, а не на русскую манеру музыкального исполнения, проявившую себя в хоре Пятницкого и в сольных выступлениях Руслановой и Мордасовой.

Всеволоду Алавердиевичу было плевать на все эти нападки, поскольку за свои книги он уже имел и докторскую степень, и профессорское звание, а специальные издания – это всё же не «Правда». Зощенко и Ахматовой пришлось хуже – их перестали издавать. Не знаю, чем кормился в то время Зощенко, – возможно, друзья его поддерживали. Знаю только, что Ахматова дол-

гое время тратила своё время и свои силы на переводы с подстрочников дрянных корейских поэтов.

Наряду с трагедиями происходили и курьёзы.

Так, например, в качестве всяческих «гнилых разложенцев», которые в дореволюционные годы пагубно влияли на молодую Ахматову, Блока и на многих других, Жданов упомянул Гофмана. Просто Гофмана, без инициалов.

Любой образованный литературовед мог бы сообразить, что здесь имеется в виду третьестепенный русский поэт Виктор Викторович Гофман (1884–1911), который принадлежал к группе символистов и публиковал свои стихи в их журналах. Он давно забыт, тем более что жизнь его была короткой, и литературное наследие невелико, но в энциклопедиях его фамилия обычно упоминается вслед за фамилиями Брюсова, Бальмонта и других корифеев московской символистической школы. Видимо, оттуда и вычерпнул эту фамилию тот референт, которому было поручено подобрать материал для разгромного ждановского доклада. Она лишь там промелькнула, как она и до сих пор мелькает в БСЭ и в Литературной энциклопедии. Однако, при этом угодила в весьма неприятный контекст – прямёхонько в стан наших идеологических противников.

В отличие от Виктора Викторовича Гофмана, классик немецкой литературы Эрнст Теодор Амедей Гофман – широко известен. Бдительных товарищей не смутило то обстоятельство, что немецкий Гофман скончался в 1822 году и, следовательно, никак не мог общаться с Ахматовой, если только ей не удалось вызвать его дух на спиритическом сеансе. К тому же, какое отношение могли иметь милые и остроумные гофманские сказки к декадентской литературе начала XX века? Если в этих сказках и проskalзывали иносказательные сатирические колючки, то они касались мелких немецких князьков рубежа XVII–XIX столетий, а уж никак не Советского государства, возникновение которого никто тогда и предвидеть не мог. Однако бдительные товарищи редко бывают мыслящими, и их эти обстоятельства не смутили. Они попросту выкинули Гофмана и всё, с ним связанное, из вузовских программ и «зарезали» несколько вполне подготовленных к защите кандидатских диссертаций. Из репертуара Большо-

го театра был убран балет Чайковского «Щелкунчик», а из театра имени Станиславского и Немировича-Данченко – опера Оффенбаха «Сказки Гофмана», где этот опасный является не только автором сюжета, но и центральным героем оперы, выходя на сцену собственной персоной. Мой папа сердито шутил, злясь на чужую дурь: «Прищёлкнули “Щелкунчика”».

Некоторые из наиболее ретивых товарищей, к тому же увенчанных учёными степенями, пошли ещё дальше: в толстых литературных журналах и в «учёных записках» появились статейки, разносившие в пух и прах бедного Эрнеста Теодора Амедея. Авторы доказывали там, что именно сказки Гофмана отравили своим смрадным воздействием мировую литературу, – причём, на много десятилетий вперёд. Системой доказательств эти статейки отягощены не были, но этого никто и не требовал, а боевитости им хватало. И на почти площадную брань мои собратья-литературоведы не скупилась, благо сам товарищ Жданов показал им достойный пример.

Одновременно с борьбой за чисто русскую народную культуру, очищенную от всякой зарубежной скверны, послевоенные идеологи взялись и за проблемы морали. В первую очередь – за укрепление советской семьи. Многодетные матери награждались поощрительными медалями, а если число детей доходило до десяти, – званием «Мать-героиня» с соответствующим орденом. Независимо от того, в каких условия воспитывались их дети и все ли они здоровы и умственно полноценны. Был введён так называемый «налог на холостяков»: у лиц обоего пола старше восемнадцати и моложе сорока пяти лет вычиталась часть заработанных денег, если они не имели детей или имели лишь одного ребёнка. При этом не принималось во внимание, состоит ли данное лицо в браке, поскольку никому не возбранялось становиться матерью-одиночкой.

Так, например, наша домработница Наташа Букина – мать-одиночка, жившая вместе с моими девочками в уголке комнаты, принадлежавшей Санате, а до этого – даже на кухне, и вынужденная держать свою дочь в круглосуточном детском саду, была обязана что-то «отстёгивать» государству за то, что у неё только один ребёнок.

Были строжайше запрещены аборты, за исключением лишь тех случаев, когда состояние здоровья женщины не позволяло ей рожать. Аборты не разрешались даже в тех случаях, когда женщина не имела жилищных условий, необходимых для воспитания ребёнка.

В результате того, что квалифицированные врачи, страшась ареста, перестали помогать женщинам, не желавшим рожать, многие женщины начали обращаться за помощью к всевозможным «бабкам», которые нередко их калечили или даже убивали. Так после аборта, произведённого подобной «бабкой», скончалась наша соседка Теплова – молодая женщина, мать Ксаниной подруги Люси. Эта несчастная ютилась вместе с дочкой в четырёхметровой комнатухе при кухне, однако отсутствие нормального жилья не стало уважительной причиной для того, чтобы ей помогли избавиться от второго ребёнка в лечебном учреждении.

С раннего детства осталась круглой сиротой Люся Теплова, у которой, к счастью, оказалась родная тётка, взявшая на себя заботу о девочке.

Сомнительно, что советское законодательство руководствовалось при этом заветам библейского Савоофа «плодитесь и размножайтесь!». Здесь более ощутим расчёт предприимчивого скотовода, сообразившего, что если бойня нанесла серьёзный урон его поголовью, то необходимо это поголовье спешно восстанавливать. Неизвестно, какие бойни ждут нас в близком будущем, а мясом (пушечным) необходимо своевременно запастись.

С точки зрения скотоводства это вполне разумно. Но за что должны были страдать люди? Жаль не столько взрослых, которые вынуждены рожать и растить ненужных и нежелательных для них детей, сколько детей. Хорошо ли жилось малышам, где они были никому не желанны, не нужны?

Борьба советской власти за «укрепление советской семьи» выразилась и в резко-отрицательном отношении к разводам.

Официально государственными законами они не были запрещены, но партийные организации усиленно с ними боролись. Члены партии, в особенности занимавшие ответственные

посты, не решались на оформление разводов, опасаясь серьёзных неприятностей, которые могли бы помешать их карьере – продвижению по службе.

Партийные организации держали под строгим контролем и верность отдельных лиц супружескому долгу. Достаточно было любой женщине заявить в парторганизацию мужа о том, что её супруг «имеет кого-то на стороне», «гуляет», как на первом же общем собрании на него обрушивался гнев коллектива, и провинившемуся объявлялся выговор, который мог перерасти и в строгий выговор, если «нарушитель морали» не спешил публично раскаяться и, «порвав преступную связь», «вернуться в лоно семьи».

Публичная экзекуция была неизбежна и для самого грешника и для соблазнительницы, толкнувшей его на грех, особенно если она, на свою беду, тоже оказывалась членом партии.

Если в тридцатых годах подслушивание и доносы всячески поощрялись и красиво назывались «бдительностью», то на рубеже сороковых и пятидесятых копание в чужом белье и заглядывание в чужие спальни – традиционное занятие сплетниц – было возведено в ранг борьбы за чистоту семейных отношений.

В основном же на «загулявших на стороне» мужей заявления в партбюро приносили жёны, которым парторганизация помогала «укреплять семью». Но случалось что, наоборот, на жён-изменниц в партбюро жаловались мужья-рогоносцы, хотя мужской природе более свойственно не строчить подобные бумаги, а самостоятельно карать виновных по примеру Отелло или Арбенина: бить морду сопернику, если дело происходит в демократической среде или вызывать его на дуэль, если среда была аристократической.

Однако в нашем Инъязе произошёл случай, отнюдь не традиционный, но очень характерный для своего времени.

Профессор одной из лингвистических кафедр – дама далеко не первой молодости, но внешне очень эффектная, была уличена в неверности своим мужем-генералом, человеком тоже немолодым.

Как настоящий советский человек середины века, обма-

нутый муж для защиты своей чести не воспользовался огнестрельным оружием, хотя несомненно имел его, и не стал таскать неверную за косы, как на его месте поступил бы какой-нибудь мужик-деревенщина, – ведь оба супруга были высококультурными людьми и членами партии. Нет, он подал заявление в институтское партбюро, подлинность которого были заверены двумя свидетелями-соседками и печатью домоуправления.

На партбюро, на котором разбиралось это заявление, он явился во всём величии своего генеральского облика – в мундире, щедро увешенном боевыми орденами и медалями и в сопровождении обеих свидетельниц. Они подтвердили, что когда генерал пригласил их в свою квартиру, где он перед этим через замочную скважину увидел свою супругу в неглиже и в обществе постороннего мужчины, они собственными глазами через ту же скважину увидели то же самое.

Что оставалось делать бедной даме, несмотря на профессорское положение? Только каяться и клятвенно обещать, что «такое больше не повторится». У религиозных людей в таких случаях бывает убедительное объяснение «бес попутал». Поскольку члену КПСС сослаться на беса было бы неприлично, оправдания ей не нашлось, и строгий выговор был ей вlepлен.

Хотя это собрание было закрытым, о нём быстро узнал весь институт. Ведь в числе членов партии – участников собрания – были и те студенты, которых провинившаяся дама обучала.

Поскольку обманутый супруг добился своего – наказал провинившуюся строгим выговором, – никакого развода вслед за этим добиваться не стал. Чета помирилась.

Как же был правдив Александр Галич в своей пародийной песне о «товарище Парамоновой», которая при посредстве партсобрания покарала мужа за неверность, после чего супруги отпраздновали своё примирение за столиком ресторана:

«...Она выпила «Дюрсо», а я «Перцовую»

За советскую семью, образцовую».

Какой-то журналист в «Правде» бросил выразительную фразу: «Тот, кто изменяет жене, может изменить и Родине».

Эта фраза была подхвачена многими, получила широкое распространение.

Означает ли это, что в СССР и впрямь нравы стали значительно чище? Отнюдь нет! Просто люди, не желавшие для себя неприятностей, научились быть более осторожными, хитрить, изворачиваться. А поборники строгой морали, в свою очередь, изворачивались тоже, чтобы добыча не ускользала от их глаз, и за каждым преступлением следовало бы наказание.

Борьба сталинской партии «за высокую мораль и крепкую советскую семью» была столь же безуспешной, как позже при Горбачёве – борьба за трезвость в нашем государстве.

Всё чаще, всё назойливее звучало слово «патриотизм» на всех наших собраниях, на политзанятиях и во всей нашей прессе, начиная с «Правды».

Помимо прямого своего смысла это слово приобрело много других значений: культ деревенского стиля на эстраде и в кустарных промыслах, ориентация всех видов и жанров искусства исключительно на доступность любому человеку, даже малограмотному, – чем оно примитивнее, тем лучше.

Антиподом слову «патриотизм» стал космополитизм, к которому крепко прилип эпитет «безродный» и который выражался в «преклонении перед Западом» во всех областях жизни, будь то мировоззрение, бытовой уклад или искусство. Под «безродным космополитизмом» подразумевалась готовность приверженному к нему человека совершить предательство, причинить родной стране какую угодно пакость. Следовательно, с ним необходимо было беспощадно бороться, выкорчёвывать даже его малейшие ростки, если они где-нибудь проглядывались.

Понятно было, что в такой обстановке, к глубокому папиному огорчению, продолжал пользоваться высоким почётом Т. Д. Лысенко – так называемый «народный академик», хотя никакой «ветвистой пшеницей» он страну не накормил, и преобразовать сорняк в полезные сельскохозяйственные культуры ему не удалось. Его происхождение было бесспорно русским, крестьянским, а опровергал он теории зарубежных учёных, – за что ему и прощались все его неудачи.

Выражение «безродный космополит» на рубеже сороковых и пятидесятих годов звучали так же зловеще, как «враг народа» в тридцатых, и в такой же мере требовали самой беспощадной расправы.

Какое-то время это выражение было абстрактным, то есть не прикрепленным к какой-нибудь конкретной социальной группе, хотя и считалось, что интеллигенция больше подвержена этому злу, чем колхозное крестьянство и рабочий класс. Но ни с какой конкретно национальностью убийственное понятие «безродный космополитизм» до поры до времени не связывался.

Дело круто изменилось после того, как однажды одна из сотрудниц Кремлёвской больницы – врач Лидия Тимашук – обнаружила в аптеке этой больницы сосуды с мышьяком, опиумом и прочими ядами и сильными наркотическими средствами. Но какая же аптека могла без этого обойтись? Вредность или целебность многих препаратов полностью зависит от их дозы.

Свою «находку» бдительная Тимашук сопоставила с тем, что за недавние годы кое-кто из кремлёвских пациентов скончался, а у кого-то с годами ухудшилось здоровье. Отсюда последовал вывод, что ведущие врачи Кремлёвской больницы – в основном академики и профессора с солидным стажем – сознательно отравляют пациентов. А поскольку их пациентами являлось всё наше правительство во главе с «отцом народов» – великим Сталиным, угроза страшна и неотвратима.

От бдительной дамы поступил «сигнал», – так в сталинские времена величались доносы. Аптеку обыскали, яды нашли, и судьба десятка крупнейших медиков Советского Союза была безотлагательно решена: «Расстрелять злодеев!»

А в «Правде» громом прогремела статья «Убийцы в белых халатах».

К несчастью, эти расстрелянные «убийцы» в своём большинстве оказались евреями. И абстрактное до тех пор понятие «безродный космополитизм» лиц, готовых к любому злодеянию, безотлагательно приобрёл конкретную национальную оболочку.

Евреи – вот кто эти злодеи! И неудивительно: у них нет родины, они рассеяны по всему земному шару. Какой у них мо-

жет быть патриотизм? Все они – безродные космополиты по самой своей сути.

Под воздействием охватившей все наши газеты шумихи обыватели перестали доверять врачам с еврейскими фамилиями: «Отравят!» «Убьют!» Перестала доверять им и администрация поликлиник, больниц и санаториев. Началось массовое увольнение, причём не принималось во внимание ничто: ни стаж, ни квалификация, ни даже ордена, добытые под обстрелами теми врачами, которые, рискуя собственными жизнями, спасали раненых во фронтовых госпиталях.

А потом началось увольнение «космополитов» и в других учреждениях: не только врачи, но и инженеры, экономисты, педагоги, юристы начинали представляться «социально опасным элементом», если, хотя бы наполовину имели в своих жилах еврейскую кровь. Так, например, была беспричинно уволена Софья Владимировна Фейерман – мать Наташи Казанской, полуврейка, которая при заключении брака не взяла фамилии мужа, что, возможно, защитило бы её. На какое-то время ей пришлось стать иждивенкой своей золовки Шуры Казанской, да и мои родители тоже материально поддерживали тогда и её, и Наташу – в то время школьницу. Ведь дяди Серёжи тогда в живых уже не было.

Никто не устраивал по примеру дореволюционных черносотенцев погромов с ломкой вещей и избиениями. Оскорбительная кличка «жид» по-прежнему оставалась под запретом и в советскую печать не проникала. Тем не менее, антисемитизм нагнетался. Наши товарищи вожди как будто забыли о том, что евреями были и сам великий Маркс, и почитаемые ими революционеры Роза Люксембург, Клара Цеткин и верный соратник Ленина Свердлов, чьим именем были названы и один из крупнейших наших городов, и одна из самых значительных московских площадей – Театральная. Забылось и то, что евреями были многие наши зарубежные друзья, – в том числе писатели Брехт, Фейхтвангер, Арагон, и погибший в гестапо Юлиус Фучик. Кажется, ещё вчера мы справедливо поносили фашистов за их жестокость по отношению к евреям. А теперь? Получается, что мы уподобляемся им, взяли из их поганых рук эстафету...

Как крепко тогда досталось молодому тогда Евгению Евтушенко за поэму «Бабий яр», где он выразил сочувствие евреям, которых после завоевания Киева расстреляли нацисты. Кому он этой поэмой не угодил? Неужели между советской и нацистской идеологиями разница не так уж велика?

Их Пушкинского Дома в Ленинграде уволили крупнейшего исследователя толстовского наследия – профессора Б. М. Эйхенбаума вместе с рядом других сотрудников – тоже евреев. Из московского Литературного института, воспитывающего молодые писательские кадры – доцента Тамару Лазаревну Мотылёву, хорошо мне знакомую по совместным аспирантским годам. Она была очень способным человеком, автором многих книг, но в то же время, на своё несчастье «Лазаревной». А когда в Литинституте, накануне её изгнания, состоялось судилище над ней, все ораторы упорно произносили её фамилию с ударением не на третий слог, как полагалось, а на первом, чтоб всем было ясно, что данная особа сродни Рыжему Мотеле из известной поэмы Иосифа Уткина. Не одобровать бы тогда и самому Уткину, если бы он не погиб на фронте.

Прекратил своё существование Еврейский театр, хотя некоторые его спектакли, – в частности, «Король Лир», – прославились не только у нас, но и за рубежом. Почто все актёры этого театра были арестованы, некоторые – расстреляны: например Зускин, исполнявший в «Короле Лире» одну из наиболее ответственных ролей, – роль Шута. Возглавлявшего этот театр народного артиста СССР Соломона Михоэлса официально власти не тронули, поскольку слишком широка была его международная известность, – но чья-то неведомая рука, оставшаяся безнаказанной, застрелила его на улице через окно автомобиля, в котором он проезжал.

Широкая международная известность спасла от правительственной расправы Илью Эренбурга, хотя судьба Михоэлса вполне могла постигнуть и его. Но старику посчастливилось уцелеть, только его имя, ещё недавно очень популярное, совсем исчезло с газетных страниц. Перестал существовать и джаз Утёсова, тем более что само понятие «джаз» стало как бы символом

«безродного космополитизма» – признаком влияния Запада на советскую культуру.*

Комедия «Весёлые ребята» продолжала появляться на экранах, и зрители могли там полюбоваться Утёсовым в облике простого русского парня – пастуха Кости с белокурым париком на голове. Исчез только всем хорошо знакомый утёсовский голос: роль Кости была дублирована и какое-то время звучала с экранов в исполнении другого эстрадного певца – Владимира Трошина.

Видимо, кто-то из наших идеологических наставников усмотрел в исполнительской манере Утёсова наличие еврейского акцента, не подходящего русоволосому русскому пареньку, которого изображал Утёсов.

С целью самосохранения многие литераторы и актёры принялись торопливо брать себе русские псевдонимы или переводили свои фамилии с идиш на русский. Так, например, меццо-сопрано из Большого театра Гольдберг превратилась в Златогорову. Вообще же звёзд первой величины не трогали. В Художественном театре продолжали играть Марк Прудкин, в Большом – петь Марк Рейзен, танцевать Майя Плисецкая. Этой блистательной балерине – новатору не повредила даже неблагоприятная анкета: её отец-инженер был расстрелян как «враг народа», когда она была ещё маленькой девочкой.

Естественно, никто не решился также изгнать из Консерватории Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса и других музыкантов того же уровня, – без них советское исполнительское искусство утратило бы свой высокий международный престиж.

Стойко держался на своём посту верный соратник Сталина Лазарь Каганович, хотя, думаю, что и ему тогда жилось не совсем спокойно. А жену другого своего соратника – Молотова, – еврейку и первого мужа своей дочери Светланы тоже из той же «безродно-космополитической» породы «великий вождь» хоть и не казнил, но и не миловал, а заслал их обоих в те края, куда «Макар телят не гонял».

* Существовала в те времена такая фразочка: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» (прим. Кс. Маршак).

Сложившаяся в стране нездоровая обстановка, помимо Софьи Владимировны, коснулась и многих других хорошо знакомых мне людей.

Каждый спасался, как умел. Например, мой приятель со школьных лет – живописец-пейзажист Кирилл Швайцер, которому не удалось своевременно сменить фамилию отца на материнскую и подобно ей стать Шапошниковым, – решил поправить дело фиктивным браком. Женщина, с которой он развёлся немедленно после того, как заключил с ней брак, носила фамилию Солнцева, которой одарила и его. Кирилл Солнцев! Как это звучало! Не только вполне по-русски, но и блистательно! Не то, что какой-нибудь Репин, Поленов или Шишкин – или ещё того хуже – Коровин.

«Блистательная» фамилия, действительно, Кирилла от неприятностей уберегла, но и славы ему не принесла. Видимо, самый его талант оказался не вполне солнечного масштаба.

Тяжело тогда пришлось и близкой мне семье Лихтманов-Гейликманов.

Бориса Гейликмана, только что защитившего докторскую и успешно работавшего в Институте физики Академии Наук, уволили без объяснения причин. Долгое время он с Наташей и маленьким сыном жил лишь на имевшиеся у него сбережения и при материальной поддержке родителей. Лишь много позже ему не без труда удалось устроиться в Институт Физики, расположенном в подмосковном городе Долгопрудном, мотаясь на электричках туда-сюда.

Такая же угроза нависла и над Володей Лихтманом – тоже молодым доктором наук. Естественно, Зеля нервничала, причём её беспокойное состояние усиливала её мама Бэла Моисеевна – весьма экспансивная старая дама, что мы с мамой заметили ещё в Саратове. То она громко и безостановочно выражала своё негодование по поводу происшедшего произвола, то накидывалась на ни в чём не повинного зятя, к которому никогда не испытывала нежных чувств, кляня его за то, что он «сгубил Зелину жизнь».

Унять поток её буйного красноречия было невозможно, и Зеля страстно мечтала о том, чтобы её маму «убрали куда-

нибудь подальше». Сокрушалась Зеля и по другому поводу: чувство и долг обязывали её быть при муже, находившемся тогда в неопределённом – «подвешенном» – положении. А между тем ей хотелось вывезти из городской духоты дочь Таню – четырнадцатилетнего подростка, которая никогда крепким здоровьем не отличалась.

На помощь Зеле поспешила моя мама, которая только что получила письмо от бывшей папиной аспирантки Зои Софроновой, жительницы Риги. Зоя приглашала всю нашу семью приехать на время летних отпусков в Юрмалу, которая тогда у нас называлась Рижским взморьем, обещая заранее присмотреть для нас хорошую дачу. Вот на эту по-барски просторную дачу мама и повезла с собой помимо меня, папы, двух моих девочек и домработницы Наташи Букиной Бэлу Моисеевну с Таней, – разумеется, в качестве самостоятельной хозяйственной единицы.

Всё получилось как нельзя лучше: и Таня отдохнула на морском пляже, и Бэлу Моисеевну перемена обстановки и хозяйственные заботы отвлекли от крикливого истерического состояния, и Зеля вздохнула свободно. А с Володей всё благополучно обошлось: его статус инвалида войны и обладателя многих боевых наград искупило неблагоприятие его национальной принадлежности.

Возможно, пострадал бы Товий Борисович – Зелин отец, если бы он был тогда ещё жив. Но он, к счастью для него, умер незадолго до появления разгромной статьи об «убийцах в белых халатах» со всеми дальнейшими последствиями.

Товий Борисович Гейликман, несмотря на свой преклонный возраст, был не только членом, но и активистом того самого Еврейского антифашистского комитета, к которому принадлежал также загадочно погибший Михоэлс и расстрелянный Зускин. Спас бы его почти восьмидесятилетний возраст от расправы? Сомневаюсь.

Понятно, что и на моей кафедре, во главе которой стоял тоже член злополучного «Еврейского антифашистского комитета» Исаак Маркович Нусинов, и лиц еврейской национальности было более чем предостаточно, статья о врачах-убийцах взорвалась, как бомба.

Не спас Исаака Марковича ни его дореволюционный стаж большевика, ни возраст, ни болезни. Схватили его и отвезли «куда следует» в то время, когда он после тяжёлого сердечного приступа был отвезён на «скорой» в больницу, а оттуда – в подмосковный санаторий «для поправки здоровья». Прямо из санаторной палаты он попал совсем в иное место... Как там с ним обращались, к какому наказанию готовили, – не знаю. Знаю только, что, не дождавшись в Бутырках никакого суда и приговора, он умер там «естественной смертью» очень быстро после ареста.

Не стало Исаака Марковича. Но клеймо на нашей кафедре осталось. И насмерть перепуганные члены кафедры, спасая себя, метнулись кто куда.

Спешно ушёл на пенсию Борис Израилевич Баратов, – срок подошёл. Скатертью дорога! Не место ему было в высшем учебном заведении.

Стала домашней хозяйкой при муже Ада Львовна Выгодская.

Поспешила уволиться и перейти со штатной педагогической работы на случайные литературные заработки Мариам Наумовна Черневич.

Профессор Юрий Иванович Данилин никакого отношения к евреям не имел, но жутким трусом и паникёром был. Поэтому, как только узнал об аресте Нусинова, перестал появляться в институте, бросив на произвол судьбы все свои лекционные курсы и даже не удосужившись подать начальству заявление об уходе, получить очередную зарплату и проститься с нами – своими коллегами. Исчез – и всё.

Позже я узнала, что он устроился в Институте мировой литературы, где позже судьба снова свела меня с ним.

Учебный год был в разгаре. Занятия шли. Необходимо было назначить нового зав.кафедрой. Но кого? Все почтенные литературоведы-москвичи в то время уже где-то работали, а, кроме того, на нашу кафедру с только что арестованным завом вся филологическая общественность смотрела тогда, как на зачумлённую. Подальше от этой заразы!

Когда стало ясно, что никакой «варяг» на приглашение нашей дирекции не откликнется и не проявит желания «володеть

и править нами», встал вопрос о выдвижении зав.кафедрой из нашей собственной среды. Но кого именно? Евреи само собой отпадали. Была Г. Н. Знаменская и И. В. Головня – дамы вполне достойные, но начальство, видимо, сочло, что обе они слишком молоды и неопытны. Н. В. Пеховская была далеко немолода, но слыла дурой: если её не выгоняли из института, несмотря на постоянные жалобы студентов на низкое качество её лекций, то лишь потому, что она читала эти лекции на французском языке, – правда, отнюдь не парижском, а напоминающим тот язык, которым иногда перебрисывались мама и тётя Наташа, когда сообщали друг другу что-то, не предназначенное для других ушей.

В конце концов выбор пал на меня – человека с восьмилетним опытом заведывания кафедрой. К тому времени я уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны не столько как педагог, сколько как безотказная общественница (не случайно я прошла суровую школу Янсюкевич, убедившую меня в том, что если начальству угодно на тебя навьючить ту или иную поклажу, следует не роптать и не брыкаться, а покорно подставлять спину). К концу 1948 года я уже имела несколько письменных благодарностей и почётных грамот и от райкома, и от исполкома за «отличную пропагандистскую деятельность среди населения», была награждена медалью «800-летие Москвы», была выдвинута и выбрана в число народных заседателей районного нарсуда.

Зав.кафедрой литературы меня назначили с 1 января 1949 года.

Разумеется, я заранее знала, что мне будет потруднее, чем в то время, когда я была начальством лишь при послушной Асе Каганер и умной Е. Калашниковой. Распределять педнагрузки, составлять планы, писать отчёты – было для меня делом привычным. Но здесь было и другое. То директор, то секретарь институтского партбюро, а случалось даже кто-то из райкомовских или райисполкомовских вышестоящих товарищей вызывал меня к себе и давал мне понять, что мне пора «очистить» доверенную мне кафедру от «безродных космополитов» с нерусскими именами и фамилиями. Прямого требования «уволь-

ните евреев!» я ни от кого не слышала, – мне лишь косвенно это «давали понять», что позволяло мне «разыгрывать дурочку» и упрямо отстаивать всех, кого я стремилась во что бы то ни стало сохранить. Я доказывала, что мне не обойтись без Штейна и Елиной, поскольку мне не известны другие специалисты по литературе Испании и Италии, и что институту необходим Мендельсон, как признанный знаток литературы США.

Так мы «беседовали». Начальство намекало, увещевало, даже иной раз пыталось нагонять на меня страх, а я простодушно долбила своё, как бы не понимая, откуда ветер дует.

Из каких побуждений? Приятельских? Это имело отношение лишь к Абраму Штейну – давнему моему однокашнику, поскольку и от Мендельсона, и от Елиной я была тогда далека, знала только их деловые качества. Просто всё во мне кипело и восставало против явной несправедливости, неприятно напоминавшей ненавистный мне фашизм, а кроме того, я действительно заботилась об интересах дела, о том, чтоб на кафедре, поскольку она мне была доверена, преподавание национальных литератур шло на должном высоком уровне. Вот если бы Пеховская была еврейкой, я бы избавилась от неё с радостью.

Однако, имея дело исключительно с нашим институтскими и районными идеологическими организациями, я упустила из вида такую мощную силу, как Министерство высшего образования. Между тем как главные грозные тучи шли на нашу несчастную кафедру именно оттуда.

Как великие министерские умы могли смириться с тем, что будущих учителей иностранного языка и переводчиков с утра до вечера пичкают иностранщиной? Ведь это яд! А яд требует противоядия.

Разумеется, в Ингъязе, как во всех советских вузах того времени, изучалась и политэкономия по Марксу-Энгельсу и диалектизмат, и история ВКП(б), – даже военное дело под руководством бывалых людей в офицерских мундирах. Но всего этого мудрым министерским деятелям показалось недостаточным. Отсюда директива: снять на всех факультетах вводный курс всеобщей литературы (под предлогом того, что и без этого слишком много в учебном плане тлетворной иностранщины!),

сохранив по необходимости лишь курс истории литературы изучаемого языка, да и то в сильно урезанном виде, но зато ввести строго обязательный курс советской литературы в объёме ста лекционных часов.

Зачем? Кому это было нужно? Ведь наши воспитанники и школьниками-старшеклассниками и абитуриентами вызубрили эту учебную дисциплину. Добро бы ещё программу расширили, введя туда Булгакова, Паустовского, Платонова и некоторые другие фамилии незаслуженно отвергнутых талантливых писателей. Так нет же! Та же горьковская «Мать» – родоначальница соцреализма, тот же Демьян Бедный, «Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Ф. Гладкова. Всё давным-давно жёванное-пережёванное, надоевшее.

Какую цель ставили перед собой министерские мудрецы, введя эту учебную дисциплину в учебный план будущих учителей иностранного языка и переводчиков?

Это и без разъяснений было понятно. Студенты, изучая советскую литературу одновременно и параллельно с иностранной, должны были наглядно убеждаться в её превосходстве и в том, что сравнительно с соцреализмом, всякие там зарубежные сентиментализмы, романтизмы, а уж тем более – модернистские школы – есть нечто примитивное.

Наши лекторы – М. О. Мендельсон, отличный знаток литературы США с Нью-Йоркским университетским образованием, Г. Н. Знаменская (Германия), И. В. Головня (Англия), А. Л. Штейн (Испания), Н. Г. Елина (Италия) – знали своё дело, читали лекции хорошо, да и сами по себе Шекспир, Данте, Сервантес и другие великие классики привлекали внимание студентов. Каким же блистательным ораторским искусством должны были обладать те, кто призван был их всех «перешибить», доказывая недоказуемое? Где Министерство сумеет отыскать их?

Как выяснилось, никаких особых стараний никто для этого не прилагал, и новые члены кафедры, которые явились ко мне уже принятыми и утверждёнными дирекцией и парткомом, совсем не походили на людей, способных увлечь нашу, в достаточной мере разборчивую, инъязовскую молодёжь высокой эрудицией или красноречием.

Фёдор Михайлович Журко оказался сереньким и на вид, и по сути, человеком, и лекции он тоже читал серенькие, скучные. Мне казалось, что даже в средней школе такой учитель симпатией и уважением не пользовался бы. Хотя он был доцентом и кандидатом наук, недавно защитившем диссертацию о своём тезке – Фёдоре Панфёрове.

Как я и предвидела, лекций Журко никто не слушал, тем более что он бубнил давным-давно известное и никому неинтересное.

Ещё более безотрадное впечатление произвела на меня другая лекторша по курсу истории советской литературы – Марья Прокофьевна Теряева.

В течение многих лет эта особа проработала ткачихой на фабрике, имела солидный рабочий и партийный стаж. Если верить документам, заочно окончила литфак и даже какое-то время находилась в аспирантуре, хотя ни степени, ни звания так и не получила. Хуже всего было то, что Марья Прокофьевна вообще не производила впечатления мало-мальски культурного человека. Её жесты, интонации, манера говорить пригодились бы актрисе, получившей роль базарной торговки или бабы из тёмной глубинки. Но как такую пустить в студенческую аудиторию?

Разумеется, произошло то, что и должно было произойти. На лекциях Журко, а особенно Теряевой, студенты громко разговаривали между собой и занимались посторонними делами. Кое-кто даже потешался над Теряевой. А оскорблённые их поведением педагоги сделали отсюда вывод, что на нашей порочной, бывшей нусиновской кафедре не все корни «безродного космополитизма» выкорчеваны: есть там ещё враги, умышленно настраивающие студентов против советской литературы из ненависти ко всему советскому и русскому. Да и чего хорошего можно ждать от людей, если одного из них зовут Абрам, другого Морис (не Мордухай ли?), и этот Морис-Мордухай прибыл в СССР из самого главного вражеского гнезда – США?

Хотя Пеховская – бывшая жеманная барышня, воспитанная гувернанткой, – ничем не походила на Теряеву, она немедленно к ней присоединилась: «Да, настраивают студентов, да, вредят...» Ведь студенты отказывались слушать и её тоже!

Не успела я, бедная, освоиться со своим новым положением, распределить нагрузку, наладить контроль, как очутилась в разгаре сражений, где, говоря словами Чуковского, «то Лелёшенька Кокошеньку тузит, то Кокошенька Тотошеньку разит».

Плохо стало на кафедре, когда Теряева превращала наши нормальные деловые заседания во что-то базарное, крикливое, отравлявшее жизнь. Но стало ещё хуже, когда она перенесла эти базарные выкрики на общеинститутские партсобрания. Галина Знаменская, тоже член партии, горестно рассказывала мне о том, какие мерзости приходилось там выслушивать ни в чём не повинному Мендельсону. Как достойная партийка Теряева в смысле «парламентских выражений» ни в чём не уступала Жданову, обличавшего «подонка» Зоценко и «блудницу» Ахматову.

– Почему же вы, Галина Николаевна, не выступили против этой гадины?

– Не могу. Именно потому, что она – гадина. Когда она смотрит на меня своими змеиными глазами, я чувствую себя парализованной. Как кролик перед удавом.

Пришлось мне безотлагательно подать заявление о желании вступить в партию. Разумеется, до получения полноценного партбилета мне ещё полагалось пройти годичный кандидатский стаж, но меня это не смущало, поскольку и кандидаты партии имели право ходить на партсобрания и выступать там.

Люди вступали в КПСС по разным причинам. Кто-то по идейным, кто-то по шкурным – ради карьеры. Я не принадлежала ни к тем, ни к другим. Даже в те годы, когда я относилась к политике советского государства вполне положительно, не находя в ней серьёзных пороков, у меня не было желания торчать на скучных партсобраниях и взваливать на себя дополнительные общественные нагрузки. Мне их и без того хватало. Но я не могла, не имела права отсиживаться в кустах, когда творился явный произвол, когда «наших бьют».

Даром обличительного красноречия я никогда не обладала. Поэтому на общеинститутских партсобраниях я и не пы-

талась выступать против Теряевой пространно и впрямую. Я лишь закидывала её вопросами, на которые пространно приходилось отвечать ей. А чем больше она разглагольствовала, тем заметнее становилась её некультурность. А ведь все наши лингвисты – люди высокоинтеллигентные и чуткие к чужим погрешностям. Чем больше Теряева впадала в «патриотическое неистовство», тем заметнее обнаруживала перед всеми, что она собой представляет. К тому же, чем больше она злилась и теряла власть над собой, тем вульгарнее становилась. Так же, как Бэла Моисеевна, свободная от еврейского акцента и местечковых интонаций, неожиданно обрела их, когда нервничала.

Однако мне мало было показать широкой институтской обществу, что собой представляет Теряева, мне захотелось и сделать подарок студентам, полностью выгнав её из инъязовских стен. Слава богу, все члены Учёного Совета уже поняли, что собой представляла Теряева. Поддержку она находила лишь в нашем директоре – В. А. Пивоваровой, которая, в отличие от этой своей протезе, сволочью не была, но тоже вышла из ткачих, культурой не отличалась и не знала ни одного иностранного языка, что явно не соответствовало специальности института, которым она управляла.

Как осуществить моё намерение выгнать Теряеву, не вступая (боже упаси!) в конфликт с директором?

Помог мне счастливый случай.

Благодаря общеинститутским партсобраниям и Учёным Советам, – а я бывала и здесь, и там, – институтские новости мимо меня не проходили. Дошло до меня, в частности, что на кафедре истории КПСС завелась новенькая по фамилии Нефёдова, от которой «вся кафедра стонет», называя её за глаза не иначе как гадюкой и сволочью.

«Так и норовит всё обо всех пронюхать, навредить, донести...»

Вспомнив поговорку о том, что «клин клином вышибают», я решила, что такая особа мне и нужна. И подступила к ней с умильной физиономией:

– Товарищ Нефёдова! Не откажите мне в любезности! На моей кафедре Марья Прокофьевна Теряева читает один ответ-

ственный курс – советскую литературу. Надо бы её послушать, проверить. Но я – не специалист! А история советской литературы так близка истории партии! Побывайте на её лекциях, пожалуйста! Скажите ваше мнение! Это так важно!

Нефёдова охотно и безотлагательно выполнила мою просьбу, – ведь кого-то бдительно проверять и разоблачать было её любимым делом. Выслушала её лекцию и даже выхватила потом из-под теряевского носа тетрадь с конспектом, на что никто ей права не давал.

Ознакомившись с этой тетрадкой, Нефёдова нашла в ней кучу политических ошибок, причём грубейших: «оскорбляет Ленина», «искажает политику партии» и т.д. Не сомневаюсь, что она, если бы захотела, нашла бы в этой тетради немало ошибок и орфографических, но это её не интересовало. Политические – иное дело! За них надо карать! Не место искажительнице Ленина в нашем институте!

Теряеву немедленно убрали, чего я и добивалась. А в следующем учебном году простились мы и с Журко: в Министерстве высшего образования нашёлся, наконец, умный человек, который выкинул никому не нужную дисциплину из учебного плана

Нелёгкими были для меня два учебных года – 1948–49 и 1949–50, когда мне приходилось не столько заниматься своим прямым делом – лекциями, семинарами и подготовкой к ним, сколько с кем-то воевать и от кого-то кого-то защищать. Но, в конце концов институтская общественность смогла наглядно убедиться в том, что правда была на моей стороне, и не так плохи были те «безродные космополиты», от которых и дирекция, и партбюро, и отдел кадров стремился избавиться. И Мендельсон, и Штейн, и Елина дружно взялись за писание докторских диссертаций, которые были ими в скором времени успешно защищены.

52 ◉ РАЗВЕНЧАННЫЙ КУМИР

Тот отрезок нашей истории, который первоначально принято было называть периодом «культа личности» (впоследствии это понятие было заменено другим, более жёстким) начался ещё в тридцатые годы. Этому способствовали успехи нашего государства в области международной борьбы за мир во всём мире и промышленном строительстве. А в годы Великой Отечественной и после неё этот культ возрос неимоверно, достигнув исполинских размеров: ведь всем нам внушалось, что именно генералиссимус Сталин выиграл войну, гениально руководя всеми её стратегическими действиями, а Жуков, Конев, Рокоссовский и прочие маршалы были лишь исполнителями его планов и предначертаний.

Культ личности великого вождя продолжался, нарастал и в послевоенные годы. Вслед за Сталинградом на карте СССР возникли Сталинобад, Сталинск, Сталино и многие другие города, носившие это прославленное имя; поэты, художники, драматурги и кинематографисты всячески его воспевали и прославляли, идя даже на неприкрытую выдумку, – так, например, в финале фильма «Падение Берлина» изображалось появление Иосифа Виссарионовича в только что побеждённой германской столице, хотя этого не было. Все понимали, что это ложь, но принимали ложь за романтическую мечту, ничуть не противопоставляя её принципам социалистического реализма.

И живописцы, и киноактёры всегда изображали Сталина молодым и красивым, хотя его возраст был всем известен. Это никого не удивляло: разве боги могут стареть? Разве он не бессмертен? В тридцатых годах великий вождь был лишь одним из четырёх основоположников марксизма и декларировал своё уважение к Ленину, – даже свой основной труд тех лет – наше тогдашнее Евангелие – он скромно назвал «Вопросы Лениниз-

ма». В послевоенные годы акценты переставились, и мощная сталинская фигура стала заметно оттеснять на второй план доброго и простодушного Ильича в его кургузом пиджачишке и с лысинкой. Нам внушалось и в журналах, и с экрана, что подлинным вдохновителем Октябрьской революции был Иосиф Виссарионович, а Владимир Ильич лишь прислушивался к его мудрым советам и выполнял их. Недаром очень популярным стал фотоснимок, где оба основоположника сидят рядышком на парковой скамейке в Горках (как выяснилось впоследствии, сфальсифицированная).

Бесспорным пиком сталинского культа стал рубеж между 1949 и 1950 годами, когда величайшему из величайших исполнилось семьдесят лет. Радоваться, казалось бы, нечему: возраст довольно преклонный, и многие старики в это время уже подумывают о спасении души. Однако, Сталин, согласно общему представлению, стариком не был, как не был он и ничьим дедушкой, хотя уже имел в то время внуков, которых не знал и знать не хотел.

О потомках Сталина просто молчали. Да и были ли достойны его люди, один из которых оказался в немецком плену, а другая опозорила себя, выйдя замуж за «безродного космополита»? В отличие от христианского Бога-отца, Зевса и Юпитера Сталин кровных потомков как бы не имел, а если и был отцом, – то лишь «Отцом народов».

В течение целого года в газетах нечего стало читать: все предприятия и организации – и большие, и средние, и малые – слали юбиляру поздравления, которые там публиковались день за днём, лист за листом под рубрикой «Поток приветствий». Один из московских музеев, временно убрав в запасники свои экспонаты, заполнил свои залы ценными подарками, присланными Сталину со всего СССР и многих других стран. Это были узбекские, таджикские и туркменские ковры ручной работы с вытканными на них сталинскими портретами, роскошные фарфоровые и хрустальные вазы с подобными же портретами и многое другое, тоже очень ценное. Всё это было естественно собственностью юбиляра, но он, как истинный коммунист – враг частной собственности, – всё это великодушно отдал государ-

ству, не отказывая себе, однако, в удовольствии прихвастнуть этими подарками перед всеми желающими.

Охвативший всю страну по отношению к культу личности восторженный беспредел не миновал даже младенцев. Так, например, дочка нашей домработницы Наташи Букиной трёхлетняя Леночка, когда её впервые отвели в малыштовую группу детского сада, вернулась оттуда, гордясь вызубренным там стишком:

Я маленькая девочка –
Танцую и пою,
Я Сталина не видела,
Но я его люблю.

Отдала должное культу Сталина и моя Ксана, сочинившая в четырёхлетнем возрасте такие бравурные строки:

У Сталина есть свой народ.
За Сталиным он всё идёт.
И слышно у нас со двора:
«Да здравствует Сталин! Ура!»

Следует ли после этого удивляться тому, что весть об инсульте, а вслед за этим – о кончине Сталина прогремела для всей страны и для нас, в частности, как полная неожиданность, подобная грому среди ясного неба.

Очень многие люди заболевают и даже умирают в почтенном возрасте, но то были люди, а здесь – божество! У каждого был в глазах бравый черноволосый джигит без единой морщинки в традиционном френче или в парадном обличии генералиссимуса, – таким мы постоянно видели его на развешанных всюду портретах. Но представить его себе неподвижно лежащим, безгласным, беспомощным... Нет, это было немыслимо, невозможно... Такого просто не могло быть!

Многие искренне плакали, – в частности моя мама. Многие, даже из дальних мест и глубинки спешили в Москву, чтобы успеть проститься с «родным и любимым», пока его густо окружённое цветами тело ещё пребывало в Колонном зале. В результате этого массового порыва, как известно, возникла новая Ходынка с многочисленными жертвами. Эта жуткая картина впоследствии была воспроизведена на экране Евгением Евтушенко.

Если никого из моих близких эта трагедия не коснулась, то лишь благодаря счастливым обстоятельствам или господней милости.

Будь я тогда в Москве, я без сомнения потащила бы в Колонный зал своих дочек, по крайней мере, старшую из них. Не потому, что так уж страстно жаждала проститься с этим покойником, а в воспитательных целях: я сознавала, что всенародное прощание со Сталиным – момент исторический, который подрастающему существу важно видеть и запомнить. Я повела бы дочек (или дочку) к сталинскому гробу из тех же побуждений, с которыми я водила их в Исторический музей и в Третьяковку. А папа меня – на патриаршее богослужение в Храм Христа Спасителя.

Но, к счастью, я находилась тогда в Кисловодском санатории.

Второй божьей милостью явилось то, что в смертельную давку не попала и Саната, которая очень туда рвалась.

Почему рвалась? Трудно объяснить, как и многие другие Санатины поступки послевоенного времени.

Пока жива была бабушка, Саната постоянно находилась при ней, как приклеенная, и лишь после её кончины начала проявлять какую-то самостоятельность.

Самостоятельно ездила в центр покупать патефонные пластинки классических опер и симфоний. Самостоятельно покупала в книжном магазине всё, имевшее отношение к Индии: интерес к этой стране в ней пробудили помимо арии Индийского гостя из «Садко» («Не счесть алмазов в каменных пещерах...»), постоянно навещавшая нас Лилька и кинофильм «Индийская гробница».

Самостоятельно Саната завела дружбу с соседкой из ныне уже не существующего деревянного домика №18 по 1-му Неопадимовскому – некой Натальей Ивановной Боборицкой («прокуроршей» – то есть вдовой прокурора), выводя (а сначала вынося) на прогулку крошечную Юночку.

Вот и прощаться со Сталиным Саната двинулась по собственному побуждению, даже не предупредив домашних о том, куда она направляется. Двинулась, не обратив даже внимания

на то, что чувствовала себя не вполне здоровой: с утра у неё побаливал живот.

Пошла по Арбату, где уже образовался широкий поток желавших попасть в Колонный зал, которому после Арбатской площади предстояло слиться с другими такими же потоками, валившими с других улиц. Но до Арбатской площади Саната так и не дошла: её живот всё болезненнее начал о себе напоминать, и, наконец, боль стала настолько острой, что Саната сочла за благо повернуть обратно, что далось ей не без труда: количество людей всё прибывало, а двигаться против течения было труднее, чем по течению.

Вконец измученная вернулась Саната домой. Мама поспешила вызвать неотложку, которая доставила её в больницу, где ей немедленно вырезали загноившийся аппендикс. Операция прошла благополучно, – было бы значительно хуже, если бы Саната была здорова и угодила бы в страшную давяльную.

Из тех, кого я знала, пострадала тогда лишь мама приятельница – Екатерина Ивановна Чернышёва. Причём, не из желания проститься с великим вождём, – от этого желания она была далека, – а из служебной добросовестности.

Екатерина Ивановна, овдовев, поступила смотрителем в музей Малого театра, где служил её муж Николай Гольбе. Музей был расположен в здании самого театра. Такие музейные комнаты и сейчас существуют в тех московских театрах, которые имеют свою историю и свои традиции. С улицы туда не пускают: но за час до начала спектакля и во время антрактов зрители имеют возможность осмотреть портреты умерших знаменитостей, эскизы или макеты классических постановок, старые театральные костюмы, программы, афиши и многое другое.

Экскурсоводов у таких музеев не бывает: необходимые пояснения можно прочесть на пояснительных бумажках, приколотых к стенам. Присутствуют лишь смотрители – обычно пожилые дамы, следящие за тем, чтобы кто-нибудь что-нибудь не запачкал или не стащил. Зарплата у них была пустяковая, но Екатерину Ивановну, имевшую приличную пенсию, интересовала не столько зарплата, сколько возможность по вечерам уходить от своего одинокого существования, находиться среди

людей и культурных ценностей, быть хоть скромной, но частичей всеми уважаемого театрального коллектива.

Политика мало интересовала Екатерину Ивановну. Сталин – живой или мёртвый – тоже. В тот злополучный день ни о каком прощании с ним она и не помышляла, а просто-напросто, как добросовестная служака, отправилась под вечер на своё рабочее место, не сообразив, что в траурные дни все спектакли во всех театрах были отменены.

Пока бедная женщина то с трудом протискивалась, то уносила чужими телами в сторону Малого театра, она ещё могла дышать, но как только её вынесло на Петровку, её с такой силой притиснуло к какому-то дому, что она чуть не лишилась сознания. Жива осталась, но домой приплелась со сломанной рукой.

Другие многочисленные жертвы той катастрофы, к счастью для меня, не были мне известны.

И папа, и я по поводу кончины Сталина не скорбели, поскольку пресловутый «культ личности» ни его, ни меня не коснулся. Мы оба уважали Сталина, как умелого организатора, который мало говорил, но многое совершил, и полководца-победителя: ведь, доверяя газетам, мы оба не сомневались в том, что именно Сталин руководил всеми военными операциями, изгоняя фашистов с нашей земли. Но папа не прощал «великому вождю» выдвижение Т. Лысенко и расправы над истинной биологической наукой, а я – жестокого и совершенно не понятного мне антисемитизма. Кроме того, с юмором относясь ко всякого рода преувеличениям, мы оба посмеивались и над самим «культом личности» и раболепствующими приверженцами этого культа.

Тем не менее, в те дни, когда Сталин умирал, а затем и умер, на душе у меня было беспокойно. Кто его заменит? Старенький Калинин? Мягкотелый Молотов, не сумевший даже собственную жену спасти от ареста и лагеря? Палач Берия? Жданов – тоже почти палач, судя по его расправе над Ахматовой, Зощенко, Шостаковичем и многими другими талантами? Не Хрущёв же? Уж очень он был комичен. Ни одно имя не приходило на ум. Кроме того, – опять-таки согласно газетам, – Сое-

диненные Штаты, да и не только они грозили нам новой войной. Кто нас защитит? Мысль о нашей военной незащитности очень тревожила и маму. Именно из-за этого, а не из простого сострадания к умиравшему она тогда пролиwała слёзы.

Сильнейший удар по культу личности и сталинскому правлению вообще нанёс, как известно, Хрущёв на XX партсъезде.

Его доклад на съезде, по моему (и, конечно, не только по моему) убеждению, вместе с его последствиями – лучшее из всего совершённого этим человеком, который и сам глупостей сумел наворотить немало.

Разоблачительный хрущёвский доклад первоначально опубликован не был: его лишь читали вслух членам партии на закрытых партсобраниях. Однако, как известно, шила в мешке не утаишь: у членов партии имелись беспартийные жёны, мужья, просто приятели... Разумеется, зарубежные газеты и радиостанции тоже не остались в неведении. Всё то, что нашему правительству хотелось бы сохранить в тайне, «разразилось, загремело, покатилося», – как поёт у Россини дон Базилио в своей знаменитой арии.

А в самой нашей действительности – капелька за капелькой, шажок за шажком – начало происходить нечто такое, что нельзя было не заметить. Не кардинальное, не чуждое – боже упаси! – марксистско-ленинской идеологии, но всё же такое, что не могло бы появиться, будь Сталин ещё жив. Непоколебимым оставалось имя Ленина, принцип коммунистической партийности, но всё же... Тем не менее... Какие-то едва уловимые трещинки в монолите уже намечались. Стало возможным не только всё советское восхвалять, но и критиковать кое за что, как это в своё время делали пригвождённый к позорному столбу Зощенко и Ильф с Петровым, которым тоже не избежать бы гневной расправы, будь они живы в грозные дни ждановских разоблачений.

Первыми ласточками на этом небе стали повести Дудинцева «Не хлебом единым» и Эренбурга «Оттепель». Само название «Оттепель» стало нарицательным, распространившись на всё то время, когда её опубликовали. Время «оттепели», открыв-

шее путь более молодым, более дерзким авторам – так называемым «шестидесятникам».

Чуть позже Дудинцева и Ильи Эренбурга выступили Анатолий Рыбаков с романом «Дети Арбата» и драматург Виктор Розов. Появились первые так называемые барды во главе с Булатом Окуджавой, Александром Галичем. Тексты их песен не публиковались, им неохотно предоставляли клубные залы или парковые «ракушки» для выступлений, но они все каким-то таинственным образом находили пути к слушателям. Засверкал на эстраде Аркадий Райкин – учитель и предтеча сегодняшних многочисленных Задорновых, Карцевых, Шифриных и т.д. и т.п. Кто-то неосторожно заявил, что нам нужны новые сатирики гоголевско-щедринского типа, что далеко не всем понравилось. В ответ на это последовала облетевшая всю московскую интеллигенцию анонимная устная эпиграмма:

«И конечно, нам нужны
Лишь такие щедрины
И такие гоголи,
Чтобы нас не трогали».

Многое уже не было под запретом, но не публиковалось или публиковалось лишь в урезанном виде и малыми тиражами. Однако помимо типографий существовали принадлежащие частным лицам и пишущие машинки, а это был тот самый «роток», на который, согласно пословице, невозможно было «накинуть платок». Так же, как значительно раньше, в годы продуктовых недостат, когда съестное приходилось не покупать, а «ловить», родился термин «авоська», в конце пятидесятых возник термин «самиздат».

Тогда же появился и характерный анекдот:

Гость спрашивает у отца семейства, что он печатает на машинке.

– Для моего школьника рассказы Чехова перепечатаваю.

– Зачем? Ведь Чехов имеется в каждой библиотеке?

– А разве моего балбеса заставишь взяться за книгу? Нынешняя молодёжь только самиздатом интересуется.

Словом, крепко запертая ещё недавно дверь отнюдь не распахнулась, – лишь приоткрылась на узкую щёлочку. Но щёлоч-

ка имела тенденцию мало-помалу расширяться. Медленно. Со скрипом. В искусстве всё ещё сохранились темы, а подчас и целые жанры, нежелательные, даже запретные. Как, например, всё, связанное с недавними массовыми арестами, сталинско-бериевской поры: система допросов, мало отличавшаяся от застенков Малюты Скуратова, условия жизни и труда в лагерях. Хрущёв об этом многое сказал, многие это слышали, но каждому рекомендовалось об услышанном забыть. Не вспоминать никогда точно о бесследно миновавшем кошмарном сне. Точно этого и не было. Ушло в землю вместе со Сталиным, который лишь короткое время пролежал в Мавзолее у всех на виду рядом с Ильичем, точно на брачном ложе. Но на сталинской могиле хоть памятник поставили, а его жертвам никаких памятников не полагалось. Просто случился провал в истории советского государства. Забвение. Небытие.

Лишь позже этот запрет сломал А. Солженицын при посредстве А. Твардовского, опубликовавшего в журнале «Новый мир» его повесть «Один день Ивана Денисовича». За эту дерзость Солженицын был изгнан из Советского Союза, а Твардовский жестоко раскритикован и лишён редакторской должности. Однако если первый весенний лёд уже треснул, – ни ледохода, ни речного разлива уж никакая сила не удержит. После коротенького «Ивана Денисовича» ссыльный Солженицын опубликовал «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» и многое другое. А потом к нему присоединились Г. Жжёнов, Е. Гинзбург, В. Шаламов, мой бывший приятель Ю. Домбровский. В Политехническом музее зазвенели молодые голоса Вознесенского, в то время не впавшего в ультрамодерновую бессмыслицу, Р. Рождественского, Е. Евтушенко с его «Бабьим Яром» и «Наследниками Сталина».

Но случилось это уже в более поздние годы, в которые я здесь уже не заглядываю.

Здесь я вспоминаю лишь о том, как начал закладываться фундамент всего этого.

После кончины Сталина и расстрела Берии вместе со многими его подручными начали возвращаться из тюрем и лагерей многие уже не «помилованные», как Гуля, а реабилитирован-

ные. В частности, был полностью реабилитирован и Гуля, и расстрелянный в 1937 году отец его жены Ани – рабочий-шахтёр, обвинённый «во вредительстве».

Правда, вернулись из заключения лишь те, кто был помоложе и покрепче. Остальные погибли от непосильного труда, голода, холода, жестоких издевательств. Как например, Н. Н. Семёнов – муж Александры Арсеньевны и отец Ирины Снеговой, С. С. Скворцов – дядя и воспитатель Насти Багадуровой, сормовский инженер. Да и те, кому посчастливилось вернуться, прожили недолго. Гуля, – едва перешагнув шестидесятилетний рубеж, Юра Домбровский – не дожив и до шестидесяти...

Стали возвращаться реабилитированные и в Институт иностранных языков.

К их числу принадлежала, например, старушка-еврейка с кафедры истории КПСС.

Удивительно было, как она уцелела. Ведь даже Гуля – бывший здоровяк – вернулся из «дальних мест» с пороком сердца, больной печенью, больными почками... Как эта-то осталась жива? Совсем старенькая, сгорбленная, тщедушная. Впрочем, возможно её, в отличие от Гули, не гоняли ни на погрузку угля, ни на лесоповал.

Эта моя коллега носила двойную фамилию – Фрай-Вольная. Она была старой большевичкой, – то есть человеком, который ещё до Октября вступил в партию Ленина. В то время ей исполнилось только семнадцать, но как страстная революционерка-энтузиастка, она вела себя столь активно и бесстрашно, что даже отсидела какое-то время в царской тюрьме, где в моральном отношении отлично себя чувствовала, гордясь тем, что страдает за народ и за свои убеждения.

В институте я с Фрай-Вольной ничем не была связана, – встречалась с ней лишь на партсобраниях. Но я ей чем-то приглянулась, и она – человек совершенно одинокий – часто пользовалась случаем со мной поговорить и выразить мне свою симпатию. От неё я узнала, что «Фрай» – её настоящая фамилия, а «Вольная» – партийная кличка, в сущности представляющая собой буквальный перевод слова «фрай» на русский язык. После революции она объединила обе свои фамилии

в одну. Однако эта двойная «вольность» не избавила её от ареста по ложному доносу.

Если о царской тюрьме эта старушка рассказывала охотно и с гордостью, то о колымском лагере никогда не вспоминала. Он её сильно доконал, и она выглядела совсем дряхлой, хотя её было лишь семьдесят с небольшим. У неё заметно тряслись руки, тряслась голова. Она постоянно что-то забывала, что-то теряла, – то сумочку, то перчатки, то очки. Заметив эту её привычку, институтские уборщицы, найдя какую-нибудь забытую вещь, почти безошибочно угадывали владелицу и громко её окликали: «Товарищ Фривольная! Это не ваше?»

В институте «товарищ Фривольная» не дотянула и одного учебного года. Не смогла.

Таким образом, из числа «старых большевиков» я имела честь быть знакомой с четырьмя людьми. Это был бывший член моей кафедры Баратов, это наш сосед Лебедев из 9-ой квартиры и Аидина мама, которая, похоронив мужа в среднеазиатской глуши, вернулась доживать свой век в Москву к своей старшей дочери Веронике.

Естественно, что наступившая во всей стране оттепель захватила и институт, где я работала. Кончились еврейские погромы и погромы вообще, даже обманутые жены и мужья-рогоносцы перестали во имя высокой морали атаковать партбюро заявлениями, требующими, чтоб согрешивших публично измордовали и тем самым вернули в лоно семьи. И я, наконец, смогла снять с себя боевые доспехи, которые были мне совсем не к лицу и не к характеру, – то есть никого не защищать и не изгонять, а спокойно делать своё дело. Вся доставшаяся мне паства – то же самое. Даже Пеховская, лишившаяся поддержки в лице Теряевой и Журко, утихомирилась и стала безобидной, хотя и оставалась в убеждении, что кто-то из коллег натравливает на неё студентов, побуждая их то и дело писать в дирекцию жалобы на низкое качество её лекций.

Пользуясь этим затишьем, я начала понемногу «выходить в люди», – то есть чаще иметь дело с журналом «Вопросы литературы» и с «Издательством литературы на иностранных языках», затем получившим название «Прогресс».

Однажды меня по телефону разыскал профессор Данилин, который, как оказалось, после своего поспешного бегства с кафедры опозоренной арестом Нусинова устроился в Институт мировой литературы (ИМЛИ) Академии наук СССР. Тогда работники Зарубежного отдела этого института трудились, в основном, над выпуском коллективно составленных многотомников главенствующих национальных литератур. Уже вышли в свет пять томов литературы Великобритании и первый том литературы США, готовились к изданию первые тома литературы ГДР и ФРГ и второй том литературы Франции. Там Юрий Иванович был одним из основных авторов и членом редколлегии. Мне он предложил тоже войти в эту редколлегию – редактировать чужие работы и написать одну из наиболее ответственных глав: обобщающее теоретическое введение к разделу «Критический реализм».

Я с радостью согласилась: это было и почётно (как сейчас говорят, престижно) и интересно.

Так я впервые переступила порог красивого особняка на улице Воровского (ныне опять Поварской) и познакомилась со многими сотрудниками отдела. Некоторых из них я знала и раньше: когда Фёдор Семёнович Наркирьер и Тамара Владимировна Балашова защищали свои кандидатские, я была одним из официальных оппонентов каждого из них и гостьей на ресторанных банкетах, которые, согласно тогдашней традиции, диссертанты устраивали после состоявшихся защит.

А Илью Моисеевича Фрадкина – работника немецкого сектора зарубежного отдела – я знала и как бывшего товарища по аспирантуре, и как приятеля четы Лихтман, с которым многократно чокалась бокалами с шампанским под звон новогодних курантов.

Ю. И. Данилин был тогда разведённым холостяком, и мне даже одно время казалось, что он за мной, как говорить, «приударяет» и даже намечает в «подруги жизни». Однако его пыл мгновенно угас, как только я ему сказала, что у меня двое ребятшек мал-мала меньше, и перешёл в спокойные приятельские отношения уже без первоначальных ухажёвских ползновений.

Но если какая-то конкретная дама потенциальному жениху не подошла, это совсем не означает того, что он отказался от намерения жениться. И я совсем не удивилась, когда, появившись в ИМЛИ после отпуска, Юрий Иванович радостно мне объявил:

– Порадуйтесь за меня! Я женился.

– На ком? На полковнике НКВД!

Я опешила. Даже, кажется, рот разинула. Но Юрий Иванович поспешил мне объяснить, что полковником по званию и следователем по профессии Юлия Александровна, его молодая супруга, состояла не тогда, когда он с ней познакомился, а давно (при Ежове? при Бериин?). «Она была следователем по политическим делам. Понимаете?» Эту фразу пугливый Юрий Иванович произнёс шёпотом, хотя нас никто не слышал, и в его интонации звучали и ужас, и в то же время восхищение.

В момент их знакомства Юлия Александровна занимала скромную должность инструктора по лечебной гимнастике в фешенебельном подмосковном санатории, где Юрий Иванович отдыхал и лечился.

– Она спортсменка. И красавица. Я хочу, чтоб вы с ней подружились. На днях я вас к себе приглашу. Познакомлю вас.

Тут я вспомнила, что скоро у меня именины и пригласила его с супругой, благо ко мне уже были приглашены в числе других и наши общие знакомые – Абрам, Галина Знаменская, М. О. Мендельсон, и я знала, что в отношении именинного стола мама лицом в грязь не ударит.

Юлия Александровна мне понравилась. Далеко не первой молодости, но действительно красивая, элегантная, приветливая. Обласкала моих девочек, а младшую, узнав, что она – её тёзка, даже попыталась посадить к себе на колени, чему, впрочем, Юночка воспротивилась: она не терпела фамильярного обращения с собой со стороны людей, которых видела впервые.

Разговор за столом шёл в оживлённом, шутливом тоне. Всё сошло хорошо.

После этого я продолжала встречаться с Юрием Ивановичем в деловой обстановке. Он продолжал производить впечатление счастливого человека. Наметил однажды день, когда

я должна была навестить его семейное гнёздышко, правда, не по поводу какого-то торжества, а запросто:

– Моя Юля не любит многолюдства. И вообще она – скромница и домоседка. Работать больше нигде не будет, хочет стать только хозяйской. Вот увидите, как она вкусно готовит, как у нас уютно!

Однако воспользоваться приглашением мне не пришлось, так как не прошло и недели, как Юлия Александровна застрелилась. Неожиданно и, казалось, беспричинно. Ни с кем не простившись. Не оставив никакой записки.

Поскольку записки не было, а в квартире, где прогремел выстрел, не было никого, кроме мужа погибшей, бедного Юрия Ивановича затаскали по допросам, не дав ему даже времени оправиться от шока. Хотя быстро выяснилось, что стрелял не он, у него долго допытывались, чем он довёл жену до трагического поступка.

Бедный, бедный Юрий Иванович! Всю жизнь он смертельно боялся арестов, допросов и вдруг такое! Неожиданный выстрел среди бела дня в соседней комнате, подозрения, протоколы...

Я не сомневаюсь, что, вступая с Юлией Александровной в брак, он искренне в неё влюбился, – мне достаточно было на неё взглянуть, чтобы понять, что она – из породы так называемых «секс-бомб». Но уверена я и в том, что её недавняя работа в НКВД и сохранившиеся там знакомства тоже имели для Юрия Ивановича притягательную силу: что бы с ним ни случилось, за него вступятся, защитят, спасут.

Перепуганный человек «из бывших» наконец-то почувствовал себя как за каменной стеной, как принято в таких случаях говорить. И вдруг такое...

А что действительно произошло с Юлией Александровной?

Своими соображениями поделился со мной Фёдор Семёнович Наркирьер, наш общий коллега, который, в отличие от меня, успел побывать у четы Данилиных и кое-что от Юрия Ивановича услышать.

Что же Юрий Иванович рассказал Фёдору Семёновичу?

Юлия Александровна сначала была человеком спокой-

ным, жизнерадостным. Но вдруг в ней что-то изменилось. Она помрачнела, стала нервной и, как бы замуравив себя в стенах квартиры, решительно отказывалась выходить из дому куда-нибудь.

Создалось впечатление, что она чего-то или кого-то смертельно боится.

Только в ближайшие продовольственные магазины ей, конечно, ходить приходилось, – не профессора же гонять за хлебом и за пакетами молока!

Перед самым самоубийством Юлия Александровна ворвалась в дом так стремительно и была так бледна, что Юрий Иванович испугался: «Ты не заболела?» Жена его успокоила. Но вскоре – этот выстрел...

Разумеется, Фёдор Семёнович, когда это стало ему известно, мгновенно вспомнил о мстителях, убивавших тех, кто калечил их судьбы.

Видимо, не только Юрий Иванович мечтал о «каменной стене». Настало время, когда такая «стена» понадобилась и бывшему полковнику НКВД. И вот она сначала спряталась в уединённый санаторий. Потом воспользовалась возможностью сменить фамилию и стать домашней затворницей.

Но всё-таки кто-то, кому Юлия в своё время сильно насолила, её выследил, узнал. Она поняла свою обречённость, но не захотела быть убитой кем-то. Предпочла сделать это собственной рукой.

Это понятно. Непонятно только, почему женщина не сочла нужным оставить мужу хотя бы одно ласковое прощальное слово? Неужели она видела в нём только «каменную стену», а не человека? Забыла о его существовании? Наплевала на то, как её смерть на нём отразится?

Разумеется, мы, друзья и сотрудники, были около Юрия Ивановича во время кремации. Заходили к нему поодиночке и до кремации, – никого из нас он как бы не замечал. Ни на кого не смотрел. Ни с кем не пытался заговорить.

И в Институте мировой литературы никто больше его не видел. Ушёл на пенсию, благо ему как раз стукнуло шестьдесят. Однако публиковал статьи. Даже ещё раз женился – на этот раз

очень благоразумно – на медицинской сестре, заботы которой ему после пережитого потрясения и в шестидесятилетнем возрасте были, конечно, необходимы.

Уже после кремации Ю. А. Данилиной мне стало понятно то, что меня в своё время удивило.

В санатории, где меня застала весть о смерти Сталина, я находилась в своеобразном окружении. Этот санаторий в Кисловодске принадлежал Академии Наук, и в тёплое время его заполняли исключительно работники академических институтов. Я, в то время имевшая к ИМЛИ лишь косвенное отношение, смогла купить путёвку в этот санаторий лишь потому, что в холодное время года этот санаторий был открыт для посторонних. Разная публика там собиралась, а в марте 1953-го там оказались сплошные начальствующие чины из сибирских лагерей со своими жёнами. Дамы были как дамы, только интеллигентностью не отличались, но все мужчины, как на подбор, выглядели настоящими бульдогами, – один неприятнее другого, – это легко заметить по групповому фотоснимку, который я оттуда привезла.

Весть о заболевании Сталина – никто не сомневался в том, что оно смертельно, – естественно опечалила всех, – многие медики, которые нас лечили, и официантки, которые нас кормили, ходили мрачные, а кое-кто и с заплаканными глазами. Это меня не удивило. Но удивило то, что на лицах приезжих колымско-магаданских чинов вместо печали читался ужас – только ужас. Ошибиться было невозможно. Все они, как один человек, стремительно засобирались домой, даже те, кто только что прибыл. Как будто за ними кто-то гнался, и надо было спасаться.

Санаторий почти опустел. Видимо, не одну лишь Юлию Александровну охватил страх перед надвигавшимся возмездием.

Не напрасно ли они все перепугались? Да нет, не напрасно. Судьбу Берии разделили многие его подручные. Главным образом, об этом позаботилось государство, но и отдельные лица из числа невинно пострадавших помнили своих мучителей и мстили им.

ЧАСТЬ XII

53 © СЛУГА ДВУХ ГОСПОД

Заведующей кафедрой литературы МГПИИЯ я проработала до 1963 года. К счастью, последние десять лет из них уже не воюя за что-то или против кого-то, а занимаясь своим прямым делом.

Кафедра, которой я управляла, – опять-таки к счастью, – была далеко не столь многолюдной, как при Нусинове. Это понятно: на всех факультетах ликвидировали большой вступительный курс всеобщей литературы, сохранив лишь историю литературы изучаемого языка, к тому же в значительно урезанном виде по сравнению с прежним количеством отведённых на неё часов. Из всего бывшего многолюдия, когда-то меня поразившего, на кафедре остались два «англо-американца» – М. О. Мендельсон и И. В. Головня, два «немца» – Г. Н. Знаменская и А. Н. Зуев, две «француженки» – я и Пеховская, один «испанец» (он же – латиноамериканец) – А. Л. Штейн, одна «итальянка» – Н. Г. Елина. Все – люди отнюдь не скандальные, – даже Пеховская, продолжавшая с откровенной неприязнью смотреть на всех своих коллег, завидуя тому, что студенты их всех слушают и уважают, вела себя мирно, нигде и никому больше не пакостила. Держала свою озлобленность при себе.

Никто из нас не был излишне перегружен или недогружен. Не хватало лекционно-семинарских часов лишь Елиной и Абраму, поскольку ни итальянского, ни испанского факультетов в институте не было, – имелись лишь специальные отделения по этим двум языкам на переводческом. Но Елина дополняла недостачу преподаванием итальянского языка на соответствующей кафедре, а Абрам помогал самому многолюдному нашему факультету – английскому, взяв на себя частицу их работы с заочниками и в роли экзаменатора.

Всё бы хорошо, да люди иногда болеют. Кто недельку, а кто и подольше. В этих случаях заболевшего заменял другой специалист по той же национальной литературе. Но, к сожалению, «немцы», «англичане» и «итальянка» не могли заменить специалистов по другим национальным литературам, поскольку у них всех было не литературоведческое, а лингвистическое образование с соответствующей аспирантурой. Других национальных литератур они не знали, – во всяком случае, в той мере, которая необходима для преподавания. Поэтому, когда у специалистов по одной из национальных литератур совпадали часы в расписании или выходили из строя они оба, – спасти положение приходилось либо мне, либо Абраму – литературоведу той же школы, которую прошла и я. Так называемого «широкого профиля».

Хорошо, ещё, если о необходимости кого-то заменять деканат или сам заболевший сообщал заранее, – хуже всего было, когда меня внезапно отрывали вечером от уютного чайного стола в кругу семьи и требовали, чтоб я немедленно мчалась заменять кого-то заболевшего. Спасибо, если это была Метростроевская (полчаса пешком), а не филиал в Сокольниках (троллейбус, метро и трамвай): целый вечер был загублен из-за какой-то пары часов, – и что всего обиднее – чужих! А если при этом была вьюга или лил дождь...

К счастью, тогда у нас, как у большинства москвичей, ещё не было телевизоров, и эти немедленные вызовы не отрывали меня от интересных фильмов или сериалов.

Сильно досаждали мне, как зав.кафедрой, и еженедельные длиннющие Учёные советы, на которых я обязана была присут-

ствовать. Они полностью отнимали у меня понедельник, вынуждая с перегрузкой работать все остальные дни недели (с субботах включительно, поскольку в те годы ни о каких свободных субботах и речи не было ни в каких учреждениях).

Учёные советы досаждали мне и в Саратове, когда мне, гуманитарии, постоянно приходилось выслушивать всё то, что касалось наших физико-математиков или химиков. Но там эти заседания были не столь часты и не так долго тянулись.

Наш МГПИИЯ считался, а возможно, и сейчас считается, головным вузом по изучению иностранных языков не только в Москве, но и во всём Советском Союзе, включая национальные республики. Защищали там свои диссертации – кандидатские и докторские – не только сотрудники самого МГПИИЯ, но и бесчисленное количество приезжих. Казалось, не было им ни конца, ни края. А я должна была выслушивать всё, что там произносилось относительно фонем и морфем, суффиксов и префиксов различных языков, чаще всего совсем мне неизвестных. Не дай бог заняться чтением какой-либо книжки! Ведь тебе предстоит сыграть свою роль в заключительном акте – голосовании. Значит, надо было притворяться, что ты внимательно слушаешь и «соискателя», и «оппонентов». Как круглая невежда в иноязычных грамматических проблемах, я, разумеется, всегда голосовала «за», – злясь при этом на судьбу из-за бессмысленной траты времени. Несмотря на эту злость, никому из защищавшихся я вреда не причиняла, совесть моя спокойна.

Ещё больше чем Учёные советы и постоянная необходимость кого-то заменять, досаждали мне мои партийные нагрузки, которые я сама накликала на свою шею, став членом КПСС. «Назвался груздем – полезай в кузов».

Включив меня в число лекторов от райкома и райполкома, меня безостановочно гоняли то в клубы, то в рабочие цеха во время обеденных перерывов, то в домовые комитеты – ЖЭКи или ДЭЗы, что-то докладывать в связи с приближающимися датами Октября или Первомая, Женского дня или Ленинского рождения, а иногда и по специальности – рассказать что-то о Горьком, Барбюсе или других прогрессивных писателях. Организаторы этих мероприятий ставили спасительные для них

«галочки» в своих отчётах, но сами мероприятия не только отнимали время у докладчиков и лекторов, но и слушателям были совсем не нужны и не интересны, чего от нас и не пытались скрыть. Кто дремал, кто зевал.

Решив, что пропагандистской работы «среди населения» мне мало, институтское партбюро включило в мою «нагрузку» и руководство местным кружком по «углублённому изучению классиков марксизма-ленинизма», как будто не было для этого людей на специальной кафедре!

Я сначала ужаснулась! Неужели опять жевать и пережёвывать то самое, что мне успело опротиветь и в студенческие годы, и в аспирантуре, и в Саратове в порядке «повышения моего идеологического уровня»!

Я решила схитрить и фактически превратила мой кружок в сравнительное изучение работ Маркса и Энгельса с работами Гегеля, Фейербаха и других философов, так или иначе с ними связанных. Заодно и сама проштудировала многое из того, чего раньше не читала, – например, трёхтомную «Эстетику» Гегеля. Боялась, что бдительные товарищи покарают меня за эту вольность, но ошиблась: не только местные наблюдатели, побывав на моих занятиях, но даже инструктор из райкома вполне их одобрил, в результате чего я удостоилась получить несколько почётных грамот и медали «К 800-летию Москвы». Словом, попала в число лиц, не только заметных в институте, но даже украшавших его. Поэтому была удостоена и высокой чести на одном из общеинститутских партсобраний быть выбранной в общеинститутское партбюро.

Сначала очень испугалась: как я для этого время найду? Но оказалось, что это не так страшно, как я сначала подумала: партбюро собиралось не так часто, как Учёные советы, заседали не так долго, а главное, кончилось уже то время, когда там сплошь занимались семейными склоками по заявлениям обманутых жён и «рогатых мужей», да и с еврейскими погромами было покончено.

Не обошла меня стороной и другая выборная должность – ещё более почётная – должность Народного заседателя при районном суде.

О народных заседателях моё поколение раньше имело представление лишь по художественной литературе, изображавшей царские времена. Например, Нехлюдов в толстовском «Воскресении» был одним из заседателей (тогда их называли «присяжными заседателями») во время суда над Катюшей Масловой. При советском судопроизводстве их долгое время и не существовало, и их появление стало как бы одной из первых ласточек наступившей «оттепели».

Производствам и учреждениям было дано право выдвигать участников районных судебных заседаний из своего коллектива. Выбранные должны были один раз в году быть освобождёнными от своей обычной работы на две недели (с полным сохранением зарплаты) и в течение этих двух недель ежедневно участвовать в судебных заседаниях, – то есть вместе с судьёй решать то гражданские, то уголовные дела. Причём, последние уже были заранее подготовлены следствием: не наше дело было решать, виновен или не виновен человек. Было уже доказано, что виновен, а суду полагалось разобраться, до какой степени, заслуживает ли виновный снисхождения или не заслуживает.

Мы, заседатели, работали парами. На возвышении, похожем на эстраду, где размещался судейский стол, мы поднимались вместе с судьёй. Садись – один справа, другой – слева от него; все трое – на стульях с высокими спинками. На этих спинках, то есть над головой каждого, красовался большой выпуклый герб СССР: серп и молот на фоне земного шара, обрамлённого снопами пшеницы.

Заседание, естественно, вёл судья, а протоколировал сидевший у подножья судейского стола секретарь. Иногда, но не всегда, присутствовал адвокат (защитник), изредка и адвокат, и прокурор (обвинитель), напоминавшие мне спорящих оппонентов на Учёных советах.

Во время процесса и мы, народные заседатели, имели право задавать вопросы к обвиняемому, и защитнику, и обвинителю, если считали нужным. А потом все втроём удалялись в совещательную комнату, куда в то время строго запрещалось входить ещё кому-нибудь, даже секретарю. Наше совместное решение

выносилось на основании соответствующей статьи закона, с которой нас знакомил судья. В каждой статье указывался минимум и максимум (недель, месяцев или годов тюрьмы или лагеря, рублей штрафа). Нашим делом было установить необходимый срок или необходимую сумму в пределах минимума-максимума нормы, ограничивавших наши права.

Уважая авторитет и мнение судьи, защитники обычно решали этот вопрос единогласно, и если кто-то один не был согласен с двумя остальными, он обязан был подчиниться решению большинства – то есть двух остальных. По закону оставшийся в меньшинстве имел право потребовать, чтоб в протоколе было отмечено его «особое мнение». Но я не помню, чтоб в моём присутствии кто-нибудь когда-нибудь этим правом воспользовался. Наши решения были единогласными.

Поскольку и институт, где я работала, и нарсуд, куда меня выбрали, находились в одном и том же районе (Фрунзенском, ныне Хамовническом), где я жила, обитатели нашего 16/13 очень меня уважали, заметив мою фамилию и инициалы в списке кандидатов в народные заседатели. Ведь этот список задолго до того, как он был включён в избирательные бюллетени, красовался на стенах окрестных домов, да ещё крупными буквами.

Приятно, когда тебя уважают, но у этой «приятности» оказалась и изнанка: некоторые жильцы нашего дома, совсем мне незнакомые, вздумали приходить ко мне с просьбами всякого рода. Кто-то конфликтовал с соседями, кто-то с кем-то судился. Меня просили кому-то в чём-то помочь, «похлопотать», по крайней мере «замолвить словечко судье». Разумеется, я во всю силу отпущенного мне красноречия старалась убедить подобных просителей, что всё это – вне моих возможностей и что, за исключением моего двухнедельного дежурства, я в нарсуде не бываю и с судьей не общаюсь. Мои слова доверия обычно не вызывали, и люди уходили от меня недовольные и обиженные.

Судебные заседания обычно интересными не были. Чаще всего один за другим проходили скучнейшие гражданские процессы: какое-то предприятие взыскивало с другого предприя-

тия какие-то недостатки и убытки, требовалось дать согласие на развод бывшим супругам, или осиротевшие наследники никак не могли поделить доставшиеся им ложки-плошки. Но случались и уголовные процессы, когда мы видели перед собой не истцов и ответчиков на обычной скамье, а «пострадавших» и тех, кто при грабеже или мордобое нанёс им «телесные повреждения» – серьёзные или «средней тяжести». Были и грабители, и убийцы, которых приводили конвойные и сажали их точно в клетку на специально отгороженное место, оставаясь за их спинами, наподобие ангелов-хранителей.

Поскольку телевизоры были редкостью, а за посещение кино полагалось платить, зал заседаний во время уголовных процессов обычно был набит посторонней публикой, охочей до бесплатных зрелищ. Именно той самой, которая в настоящее время увлечённо смотрела бы триллеры американского производства со стрельбой и потасовками. Преобладали представительницы прекрасного пола, давно перешагнувшие через так называемый «средний возраст», и демократического обличья, – то есть не в шляпках, а в платках.

Мелкие кражи и мошенничества не особо интересовали эту публику, так же как и гражданские тяжбы. Но когда дело касалось разбоев и убийств, все зрительницы были тут как тут и вели себя очень активно, точно хор из античных трагедий: ахали, охали, всплескивали руками и довольно громко выражали свои эмоции. Судье приходилось то и дело призывать их к порядку, угрожая вывести из зала наиболее шумных. Они испуганно на какое-то время замолкали, и я не помню, чтоб судья хотя бы раз привёл свою угрозу в исполнение.

Однажды судили детоубийцу – женщину, задушившую свою шестилетнюю дочь из-за того, что приглянувшийся ей парень согласился жениться на ней лишь при условии, что никакого ребёнка при ней не будет. Ярость «хора» против этой женщины была так велика, что выражалась не только словесно: когда осуждённую вели по залу, конвойным пришлось её защищать от многих норовивших её стукнуть или даже поколотить.

Эту детоубийцу я знала: до своего ареста она долгое время была продавщицей в одной из ближайших к нашему дому бу-

лочных. Ничего злодейского в чертах её лица не было – самая заурядная физиономия, какие встречаешь на каждом шагу. Ничего пугающего не было и в облике других убийц и насильников, которых я видела за их загородками. Наоборот, все такие кроткие и притихшие, как бы запуганные.

Мне было жаль их стареньких матерей с заплаканными лицами, но ни в коем случае не их самих.

Если в качестве голосующего члена Учёного Совета я была добра ко всем, кто там защищал свои диссертации, да и в качестве студенческого экзаменатора строгостью не отличалась, то по отношению к уголовниками – наоборот. Всегда добивалась того, чтоб их покарала по максимальной норме, иногда даже жалела о том, что народные суды смертных приговоров выносить не вправе, – я бы без колебаний поставила свою подпись под смертным приговором уже упомянутой здесь детоубийце или мерзавцу, изнасиловавшему тринадцатилетнюю девочку.

Эти выродки получили достаточно долгие сроки, но мне всегда казалось, что этого мало.

Мой постоянный напарник – пожилой мастер с завода «Каучук» был значительно добрее меня, и когда я стояла за максимум, он стоял за минимум и упрекал меня за мою, как он считал, «кровожадность»:

– Зачем вы так? Выпил парень, погорячился. С кем не бывает...

К моему удовольствию, судья обычно соглашался со мной, и третий оставался в меньшинстве, недовольный нами обоими.

Судья часто хвалил меня за умение «правильно ставить вопросы» и «загонять этими вопросами в угол, кого надо».

– Хорошо это у вас получается! Вам бы юристом надо быть. Не по своей вы дороге пошли.

Слушать похвалы – каждому приятно, но я всё же никак не могла согласиться с тем, что «пошла не по своей дороге». Куда приятнее иметь дело с писателями, поэтами, даже с самыми недобросовестными из студентов, чем с уголовниками любого масштаба.

Впрочем, перед моими глазами в зале судебных заседаний проходило не только трагическое или омерзительное, но и комическое.

Запомнились мне, например, две одинокие представительницы «прекрасного пола» средних лет, которых судьба обрекла жить вдвоём в двухкомнатной квартире. В порыве взаимной неприязни они повадились бросать друг другу в кастрюли и чайники то папиросные окурки, то вычесанные клочки собственных волос, то что-нибудь ещё похуже. Выглядели обе крайне несчастными, замученными. Приговорили мы их обеих «за бытовое хулиганство» к трём месяцам заключения, причём каждая, забыв о себе, откровенно радовалась тому, что и «мерзавке» влетело. А я радовалась за каждую: хотя тюремная баланда – не лакомое блюдо, но всё же разновидность супа, в котором окурки и клочки чужих волос не плавают. Пусть нормально покушают, бедные, пусть отдохнут немножко от домашних обедов с соседским «вложениями» и «добавлениями».

Запомнилась мне и старушонка-дворничиха самого жалкого вида, попавшая в лапы иногороднего толстомордого мошенника, который по возрасту годился ей в сыновья. Этот ловкач, польстившись на старушкину каморку, оформил брак с ней и прописку. Но разделять ложе с супругой не стал, – один на него взгромоздился, загнав законную жену на половичок, лежащий на полу.

Мы, разумеется, наказали мошенника, признав и брак, и прописку недействительными. Но истица осталась судебным решением в свою пользу крайне недовольна:

– Зачем так? Я не этого хотела. Я не просила его выселять. Я хотела только, чтоб он со мной по-супружески жил. Думала, вы его заставите...

Институт в лице своего партийного и профсоюзного актива выдвигал меня в народные заседатели два раза – каждый раз на два года, так что в общей сложности это составило четыре года: 1949 – 1953. Каждый раз за длинный список, в который была включена и моя фамилия, единодушно голосовало всё население нашего района, – так в наше время было принято при всех выборах: взял бюллетень и тут же чистеньким опускаешь его в урну. Кабинки и лежавшие там карандаши играли чисто

декоративную роль, – даже заглядывать туда считалось неприличным для голосующих, касалось ли это верховной власти или скромного райсуда.

За эти четыре года судья не менялся, менялись только адвокаты, прокуроры и мои напарники: после заводского мастера моим напарником был врач из клиники.

Нравилась ли мне эта работа? Сначала было любопытно заглянуть в мир, известный мне только по книгам или газетным статьям. Но вскоре она начала мне надоедать своей монотонностью, и не только истцы с ответчиками, но даже уголовники мне начали представляться как бы на одно лицо – скорее заурядное, чем злодейское. Я пришла к выводу, что кинорежиссёры напрасно выискивают специальные типажи и особенным образом гримируют артистов, когда требуется изобразить злодея (низкий лоб, огромные челюсти, приплюснутый нос и т.п.). Ничего такого я не заметила в зале суда, когда передо мной появлялись те, кто кого-то убил или искалечил. В их внешних обликах не было ничего устрашающего.

Однако, хотя уголовники тех лет мне решительно не нравились, я могу удостоверить, что тогдашнее «дно» было не так страшно, как современное. Значительно реже происходили квартирные кражи с убийствами, никого не брали в заложники, никаких домов с живыми обитателями не взрывали. Ни о каких наёмных убийцах, киллерах, мы и не слыхивали, полагая, что это понятие далёкого прошлого, чуть ли не средневековое. Проститутки, вероятно, были, но не держались целыми кучками, как сейчас, и не слышно было ни о каких притонах и «девочках по вызову», так же как о наркоманах и всякого рода маньяках.

Только воры, мошенники разных калибров и пьяницы водились всегда. Видимо, – это непреодолимое свойство русского национального характера, вполне совместимое и с коммунистическим режимом, и с принципами ельцинской демократии.

Несмотря на мою занятость и прямым моим педагогическим делом, и всякого рода общественными поручениями, которые ко мне так и липли, я жалела о том, что моя связь с Институтом мировой литературы подходила к концу. И авторская

моя работа, и редакторская для II-го тома «Истории французской литературы» были уже давно закончены, из-за чего в самом этом институте я почти не бывала – уже нечего было мне там делать, а бывала, да и то нечасто, лишь в издательстве «Наука», где этот том печатался, присматривая, а иногда и поправляя по праву члена редколлегии его гранки и вёрстки.

Между тем, работа над двумя заключительными томами «Истории французской литературы» – III-м (от Парижской Коммуны до Октябрьской революции) и IV-м (современная литература Франции) ещё предстояла. И выяснилось, что Зарубежному отделу ИМЛИ так же не хочется расставаться со мной, как и мне с ним.

Узнала я это после того как заведующий Зарубежным отделом ИМЛИ – Роман Михайлович Самарин – позвонил мне по домашнему телефону и пригласил на встречу в удобное для нас обоих время.

– О чём вы хотите со мной поговорить?

– Приходите – узнаете. Это не для телефонного разговора.

При встрече Роман Михайлович предложил мне стать членом редколлегии обоих томов – III-го и IV-го, которые должны были создаваться одновременно и выходить в свет один за другим, без долгих промежутков. И стать автором нескольких глав в обоих этих томах – о Р. Роллане, А. Сент-Экзюпери и о ряде других известных писателей. Причём, не за пограничную оплату, как было в то время, когда я по приглашению Ю. И. Данилина трудилась над II-м томом, а в качестве штатного научного сотрудника на половинной ставке, составлявшей довольно крупную сумму.

Я, разумеется, была обрадована и польщена, но смутилась:

– Как я время для этого выкрою? Ведь на основной работе мне приходится быть и в дневное время, и по вечерам.

– Не бойтесь. Я же справляюсь, хотя я здесь – зав.отделением, и в Университете – зав.кафедрой зарубежной литературы и декан филфака. На полной ставке и здесь и там.

Действительно, так оно и было. Роман Михайлович, действительно, неплохо справлялся с обеими своими ответственными обязанностями, причём, судя по его круглой физиономии

и солидному брюшку, – без ущерба своему здоровью. Правда, и здесь и там, не утруждал себя авторской работой, выполняя, в основном, административную. А если то в сборниках ИМЛИ, то в журналах выходили его статьи, то обязательно под двумя фамилиями: Самарин и Тураев, Самарин и Урнов и т.д. Попробуй, разбери, кто тут подлинный автор, а кто лишь поддерживает опубликованное своим именем и авторитетом. Явная честь для новичка – вчерашнего аспиранта.

Словом, я согласилась, даже не думая в ту минуту о дополнительных деньгах, а только радуясь тому, что меня ждёт интересная творческая работа в кругу уже известных мне людей – и интересных мне, и приятных. С некоторыми из них я успела подружиться.

Это были Ф. С. Наркирьер, З. М. Потапова, Н. И. Балашов, Е. М. Евнина и новые лица: молоденькая и очень способная Тамара Балашова, только что окончившая университетскую аспирантуру, А. И. Пузиков – зав.отделом зарубежной художественной литературы Госиздата. Он, как и я, был принят в ИМЛИ в качестве полставочника.

Работа началась. Очень интересная, но и очень напряжённая. Дирекция Института иностранных языков охотно выдала мне разрешение на совместительство, – мне даже казалось, что и В. А. Пивоварова (директор) и М. Д. Степанова (её заместитель) были даже польщены тем, что один из институтских сотрудников будет связан с самой Академией Наук.

Однако их милостивое разрешение отнюдь не означало того, что меня будут меньше нагружать общественными поручениями по партийной линии. И из институтского партбюро меня не отпустили («Как можно? – Вас же выбрали!») и от руководства марксистско-ленинским семинаром не избавили, и с лекциями-докладами по клубам и цехам Фрунзенского района продолжали гонять... Самарин, который при наших предварительных переговорах ставил мне в пример свою выносливость, на своё счастье, членом КПСС не был...

Жизнь моя, точно у Фигаро или у Труффальдино из Бергамо, превратилась в сплошные перебежки с Метростроевской (ныне Остоженки) на улицу Воровского (ныне – Поварскую)

при необходимости посвятить какое-то время то Ленинской библиотеке, то библиотеке Иностранной литературы. Спасибо ещё, что к этому времени Александра Арсеньевна свела знакомство с книжным жучком, неким Леонидом Андреевичем, который каким-то образом доставал в издательствах нужные мне дефицитные книги и, умножив в несколько раз их нарицательную стоимость, их перепродавал. Не подобало бы избранному народом члену суда водить знакомство с подобным человеком, но – что поделаешь! Это знакомство дало мне возможность собрать солидную библиотеку зарубежных классиков. Отпала необходимость читать в библиотеках, где с тех пор мне нужны были лишь литературоведческие труды, журналы и только что приобретённые библиотекой парижские новинки.

Благодаря моим полтора ставкам, я получила возможность не только покупать книги по раздутым спекулятивным ценам, но и приобретать что-то, не относящееся к предметам первой необходимости: ожерелье из натурального жемчуга (оно сейчас у Ксаны), фарфоровую статуэтку, изображающую двух балерин в «лебединых» пачках (она – у Юны) и кое-что из декоративного хрусталя и саксонского фарфора. Я могла делать ценные подарки моим близким, часто водить моих девочек в театр, – прежде всего, в Большой, не считаясь со стоимостью билетов, постоянно пользоваться такси, – не шика ради, а экономя время.

Только копить деньги я никогда не умела и правильно делала, поскольку накопленное в годы Перестройки превратилось в пух и прах.

Если в денежном отношении я тогда чувствовала себя свободно, то в отношении времени – совсем наоборот. Друзья-приятели, жившие в Москве, обижались на меня за то, что я редко их навещаю, мои постоянные саратовские корреспондентки – Маргарита и Шура – на то, что мои письма к ним стали значительно короче и начали приходить к ним не так часто, как раньше. Могли бы обидеться на меня и мои дочери: когда-то я полностью посвящала им все мои воскресенья, а теперь и по воскресеньям мне приходилось работать, если и не в одном из институтов, между которыми я металась, то в библиотеках. «Ни

сна, ни отдыха измученной душе», – как поёт Князь Игорь в Половецком стане. К счастью, мои девочки в то время стали уже школьницами, обзавелись собственными дружескими компаниями и уже не так нуждались во мне, как в то время, когда они были маленькими.

Родители мои в то время были ещё бодры – во всяком случае свою Золотую свадьбу в 1956 году они отметили пышно и многолюдно. Правда, у отца время от времени случались печёночные приступы с сильными болями, а у мамы постоянно повышалось кровяное давление, что заставило её отказаться от натурального кофе и пользоваться специальными лекарствами. От кухонных забот её освобождала постоянно жившая у нас домработница – Наташа Букина. На родительские школьные собрания, касавшиеся моих девочек, я всегда ходила сама, – это было приятной моей обязанностью, поскольку их обеих всегда хвалили и ставили в пример другим. Но когда они хворали, около них всегда хлопотала бабушка, а не я. И она же всегда следила за тем, чтоб они были прилично одеты, своевременно накормлены. Честь ей и хвала и беспредельная моя благодарность.

Р. М. Самарин собирал в ИМЛИ свою паству в лице всех зарубежных один раз в неделю и, к счастью, не в тот день, когда я обязана была с утра до вечера торчать на Учёных Советах Инъяза. Другие отделы ИМЛИ (русской классической литературы, советской литературы, античных и восточных литератур) собирались в другие дни, и я с их сотрудниками встречалась редко, но всё же встречалась, раскланивалась. В их числе были известные лица, как, например: внучка А. М. Горького – Марфа Максимовна Пешкова, Зиновий Самойлович Паперник – знаток Маяковского, но в то же время известный юморист и сатирик, недавняя кремлёвская «принцесса» – Светлана Аллилуева (первоначально – Сталина), А. Синявский, вскоре осуждённый за то, что вместе со своим другом Даниэлем публиковал неподходящие для советского издательства повести за рубежом, следуя примеру Б. Пастернака, уже с позором изгнанного за то же самое из Союза советских писателей.

К счастью, я, как полставочник, на партсобраниях ИМЛИ

тогда не бывала и не принимала никакого участия, хотя бы в виде поднятой руки ни в осуждении Пастернака, ни в требовании тюрьмы для Синявского с Даниэлем.

Так шли годы. Пятидесятые и начало шестидесятых. Создавались и редактировались заключительные тома «Истории французской литературы». Впереди у отдела был ещё выпуск многотомных историй литературы Германии, США, Латинской Америки, но я ко всему этому не имела отношения и опять, как раньше, до приглашения Р. М. Самарина, принялась грустно размышлять о том, что в скором времени мне придётся расстаться с интересной работой и полюбившимися мне людьми. Особенно с такими, как Фёдор Наркирьер и Злата Потапова.

Однако и на этот раз мои опасения рассеялись: я опять была приглашена в начальственный кабинет, но на этот раз не завоём Зарубежного отдела, а самим директором ИМЛИ – Иваном Ивановичем Анисимовым.

54 © «ВСЕМИРКА»

Перед тем, как начать разговор о том, с какой целью меня пригласил в свой директорский кабинет И. И. Анисимов, мне необходимо рассказать о самом Анисимове или о «Большом Иване», как его прозвали в ИМЛИ не только за сверхвысокий рост и богатырское телосложение, но и за внутренние качества.

Среди литературоведов бывают однолюбы, преданные какому-нибудь одному определённому писателю – своему кумиру: пушкиноведа, толстоведы, шекспироведы и тому подобные. Обычно они бывают добросовестными и кропотливыми текстологами, которым нравится сличать окончательные редакции художественных текстов с их предварительными вариантами, детали биографий своих избранников, круг их друзей и любимых женщин. Характерный пример – известный литературовед Ираклий Андроников, который, несмотря на свою солидную комплектацию, не поленился обойти все кавказские горные тропы, где бывал Лермонтов, и рыться в старых архивах, где могли найтись

альбомы и портреты, – даже не самого Михаила Юрьевича, а тех, кто имел к нему хоть какое-то отношение.

Такого рода учёные заслуживают всяческого уважения.

Однако, бывают и другие, тоже достойные уважения, которых влечёт не вглубь, а вширь. Таких интересуют не одно имя, хотя бы и очень значительное, а литературная эпоха, направление, школа и взаимоотношения этих школ с другими – как современными, так и предшествующими, иногда принадлежащим к другим национальным культурам.

К литературоведам такого типа в дореволюционной России принадлежали братья Александр и Алексей Веселовские, а в советское время – Луначарский, хотя обязанности Наркома просвещения сильно его отвлекали от научных исследований, а позже – ленинградские профессора В. М. Жирмундский и М. П. Алексеев, изучавшие Гёте, Байрона и многих других великих писателей в их широких международных связях и взаимосвязях. В том же духе нас, аспирантов своей кафедры, стремился воспитывать Ф. П. Шиллер, что нашло отражение в работах А. Аникста, Т. Мотылёвой, А. Штейна.

У «Большого Ивана» это тяготение к широким обобщениям приняло сравнительно со всеми, кого я знала, особые, гипертрофические формы. Будь он одиночкой – на такой охват всего сущего не хватило бы ни сил, ни жизни, но И. И. Анисимов был отнюдь не одиночкой, а руководителем большого коллектива учёных разных специальностей и поэтому счёл свою задачу выполнимой. Так дирижёр большого симфонического оркестра может дерзнуть исполнить то, что не под силу отдельно взятому пианисту или скрипачу.

Работа в ИМЛИ при Анисимове шла успешно. Русский и Советский отделы выпускали том за томом академические (то есть полные и тщательно откомментированные) собрания сочинений Пушкина, Л. Толстого, Чехова, Горького, Маяковского. Вышел в свет четырёхтомник «Русской советской литературы» и готовилась к печати ещё более пространная «История советских литератур», включавшая в себя историю литератур как крупных национальных республик СССР, так и самых малых народностей, населявших нашу страну. Зарубежный отдел под-

готовил к печати многотомники литературы Великобритании и Франции, да и литературы США и Германии успешно приближались к финалу, причём второе из них напоминало дракона с единым туловищем и двумя головами – ГДР и ФРГ.

Словом, работ шла успешно, и коллектив был доволен своим директором. Директора научных учреждений бывают разными. В моё время кто-то, воспитанный в сталинско-бериевской обстановке вечного страха, помышлял, главным образом о том, как бы получше угодить партийному начальству. В другом случае использовал директорскую власть для собственного материального благополучия или научного продвижения – карьеры.

«Большой Иван» всех этих крайностей благополучно избежал. Его с полным правом можно было назвать отцом того коллектива, которым он управлял. Отцом строгим: он мог и гневно распечь сотрудника, если он был им недоволен, или даже уволить его, если тот того заслуживал. Добряком я бы его не назвала. Перед ним робели, его побаивались. Но уж если он в кого-то верил и брал под своё крыло, то старался всячески продвинуть того, на кого возлагал надежды: помочь ему где-то что-то опубликовать, как можно скорей получить учёную степень или звание. Часто своим полемическим авторским пером он защищал того или иного сотрудника ИМЛИ от газетно-журнальных нападок, если они появлялись. «Своих» в обиду никогда не давал. Словом, Иван Иванович был справедлив и заботлив по отношению к тем, кто принадлежал к его «команде», за что его уважали и высоко ценили. Это нашло отражение в небольшой коллективно составленной книге «Большой Иван», опубликованной издательством «Правда» после кончины И. И. Анисимова.

Скончался он в 1966 году, когда ему было шестьдесят семь лет, а за четыре года до этого, когда он меня к себе (неожиданно для меня) пригласил «для серьёзного разговора», был не только физически бодр, но и «дум великих полн», подобно царю Петру в прологе «Медного всадника».

Прежде всего, он задумал подписное издание невиданной мощности, включающее в себя избранную классику всей мировой культуры от Гомера до наших дней и охватывавшего и За-

пад, и Восток в виде двухсот солидных томов – по одному на каждого выдающегося писателя.

Широко разрекламированная подписка на эти издания пошла бойко, тем более что платить за все двести роскошно изданных томов надо было не сразу, а по мере их публикации – за каждый том отдельно. Однако, по моему мнению и мнению многих моих коллег, с которыми я разговаривала, этот гигантский замысел был не вполне удачен. Серьёзные любители литературы вполне могли удовольствоваться однотомниками поэтов, некоторых драматургов и тех мастеров художественной прозы, где наследие невелико по своему объёму, как, например, у Свифта или Дефо. Однако Диккенса, Гюго, Толстого, Достоевского они желали иметь не в виде однотомников чего-то избранного, а в более или менее полном виде. Из-за этого я на это издание не подписалась, многие другие тоже, а те, кто подписался, оставляли у себя лишь то, что их удовлетворяло, а многих «избранных», – то есть сильно урезанных классиков, продавали букинистам на радость тем обывателям, которых такие однотомники вполне устраивали.

«Библиотека всемирной литературы» успела выйти в свет ещё при жизни И. И. Анисимова и принесла ему славу и почёт. Это издание было удостоено Государственной премии, которая досталась и ему, и его наиболее деятельным помощникам из числа составителей и комментаторов.

Однако это небывалое по размаху издание было для Ивана Ивановича не целью, а лишь предварительным приступом к главной цели, которую он задумал: создать «Историю всемирной литературы» в десяти томах, ещё более солидных, чем тома «библиотеки всемирной литературы». И включающее в себя не одну только классику. И не одно «избранное» из их наследия.

Многотомные издания всемирной литературы издавались и в дореволюционной России. Например, пятитомник «Всеобщая литература» под редакцией Корша и Кирпичникова. Там имеются и русская литература, и зарубежная, включая Восток. Однако это были литературы лишь крупнейших стран мира, к тому же расположенные параллельными рядами, изолированно одна от другой без попыток установить между ними ту или

иную взаимосвязь. А Иван Иванович поставил перед задуманным им многотомником более широкую задачу: охватить литературу всех континентов, вплоть до самых примитивных памятников самых незначительных народностей, и представить весь мировой литературный процесс как крайне сложное, но единое целое с национальной спецификой его составных частей, но в то же время в их сходствах и взаимодействиях.

Здесь Анисимов показал себя истинным сыном своей страны и своего времени, то есть того времени, когда советские люди стремились побивать рекорды и создавать что-то небывалое – по примеру станций метро, облицованных многоцветным мрамором или витражами, или самолёта невиданной величины.

Перед тем, как представить свой проект Большому академическому совету во главе с министром культуры, Иван Иванович выступил с ним на заседании Учёного Совета руководимого им института, чтоб выслушать мнение и других авторитетных специалистов, заручившись их поддержкой.

Как рассказали мне мои коллеги по ИМЛИ, которые присутствовали на этом Учёном Совете, первоначально почтенные доктора наук затею директора не одобрили: большинству она показалась невыполнимой. Однако Большой Иван разбил все доводы «против» и, в конце концов, добился того, чтоб его поддержали.

– Где вы найдёте специалистов по всем этим литературам?

– Где угодно! Головным институтом будет наш, – в первую очередь зарубежный отдел. Но, разумеется, и другие отделы тоже: русский-классический, советский, отдел литературы народов СССР со всеми его национальными ответвлениями. Привлечём к этому делу и другие академические институты – Востока, Африки, Славяноведения. Поищем авторов в столицах наших республик – союзных и автономных, а также за рубежом – в первую очередь, в странах Народной демократии...

Словом, как поётся в песне:

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор...»

Работа закипела.

По замыслу Ивана Ивановича задуманные им десять томов, начиная с первого, предантичного, включавшего в себя древнейшие мифы и легенды, кончая десятым – современностью, были разделены на исторические этапы: после фольклорного примитива – античность, потом – Средневековье, Возрождение, XVII век и т.д. У каждого тома – своя редколлегия во главе с ответственным редактором. А начать свою работу и завершить её они должны одновременно. Поэтому отдельным авторам не возбранялось одновременное участие в нескольких томах.

Из-за сложности и ответственности работы над «Историей всемирной литературы» эти работы были разделены на три последовательных этапа.

Сначала составлялись краткие проспекты всех десяти томов в виде тонких брошюр. Их дважды обсуждали – сначала в своём коллективе, затем совместно с приглашёнными из других городов, республик и даже государств так называемой Народной демократии, разумеется.

После обсуждения проспектов и внесённых в них добавлений и исправлений авторы брались за свои главы, а члены редколлегии внимательно за ними наблюдали, – не столько за стилем изложения (эта работа ещё впереди!), сколько за тем, чтоб никто «не тянул одеяло на себя», и все помнили, что «том не резиновый». Пропорциональное соотношение национальных литератур в каждом томе было установлено заранее и нарушать его не полагалось.

Всё написанное, обсуждённое коллективом ИМЛИ и отредактированное печаталось на дешёвой газетной бумаге без иллюстраций в виде кирпичей в бумажных обложках в количестве двухсот экземпляров. Это были так называемые макеты. Макеты рассылались по областным городам, где имелись специалисты-филологи, и по столицам всех наших республик и стран Народной демократии, включая даже далёкую Кубу, – для международного обсуждения. Посылались они на этот раз и в так называемые буржуазные страны, но напрасно: ни Сорбонна, ни Гарвард, ни Оксфорд на приглашение не откликнулись, даже письменно на них не ответили.

Силён тогда ещё был так называемый «железный занавес»!

Только после этого «вселенского собора» и второго по счёту обсуждения с последующими дополнениями и поправками тома должны были превращаться в готовые книги, рассылаемые подписчикам.

Поскольку после завершения моей авторской и редакционной деятельности над IV томом «Истории французской литературы» мне в ИМЛИ делать было нечего, там мне за мои полставки стали поручать статьи в сборниках, которые там постоянно выпускались наряду с многотомными трудами и собраниями сочинений писателей-классиков. А ещё чаще, я бы даже сказала, главным образом, редактирование чужих работ – монографических или для тех же сборников. Часто – далёких от моей специальности, хотя и принадлежавших к нашему Зарубежному отделу, возглавляемому Р. М. Самариным. Так, например, мне дали на редактирование рукопись недавнего эмигранта из Греции Яниса Мочоса – его будущую книгу «Современная литература Греции». Эту литературу, в отличие от древнегреческой, я совсем не знала, но надеялась, что сам Я. Мочос, приехавший в СССР магистром филологических наук, знает её хорошо и фактических ошибок не допустит. Так оно и было, но автор рукописи так скверно владел русским языком, что я не столько редактировала написанное, сколько занималась переводом: переводила текст с искажённого русского на приличный русский. Менее сложную, но всё же подобную работу мне пришлось выполнять и имея дело с моими соотечественниками, для которых родным языком был не русский, а таджикский, туркменский и т.п. Бывало и так, что автором был русский человек, к тому же в высшей степени эрудированный, но излагавший свои мысли так сложно, с таким обилием латинизмов и прочих мудрёных слов, что в его тексте до смысла нужно было добираться, как сквозь дебри. Тут тоже редактору приходилось немало поработать для того, чтобы книга читалась легко и свободно. Мне это удавалось, – как говорится «набила руку», и я вскоре приобрела в ИМЛИ репутацию отличного редактора, хотя меня авторская работа влекла больше редакторской.

Однако и от редакторской не отказывалась, понимая, что именно ради неё меня всё ещё держат в ИМЛИ, где авторов

и без меня хватало, и расставаться с которым мне не хотелось. Скромно делала своё дело, выполняя всё, что мне поручали, и радуясь тому, что им можно заниматься и дома: после того, как мамы не стало, а папа заметно дряхлел, я уже не могла позволить себе целыми днями пропадать в одном из моих институтов или в библиотеках.

Я удивилась, когда однажды не Самарин – мой непосредственный начальник, а сам И. И. Анисимов однажды пригласил меня в свой директорский кабинет. А пригласил он меня для того, чтоб предложить перейти с половинной ставки на полную, став не просто членом редколлегии одного из томов «Истории всемирной литературы», причём одного из самых ответственных – «От Великой Октябрьской литературы до победы над фашизмом», IX-го предпоследнего тома (1917–1945), но даже стать его ответственным редактором.

Я согласилась. Разве можно было не оценить такую честь, такое доверие? Да и сам замысел «Истории всемирной литературы» меня увлёк. Меня саму, как и «Большого Ивана», всегда больше влекло не «вглубь», а «вширь». Но в то же время и изумилась: почему выбор Анисимова пал на меня, кандидата наук, когда в ИМЛИ было полно докторов наук разных специальностей? К тому же я с ним редко встречалась, редко разговаривала, имея дело, главным образом, с Самариним, с которым меня познакомил Ю. И. Данилин.

Помогла мне случайность.

Незадолго до этого разговора в директорском кабинете при моём Инъязе, при всех трёх факультетах – английском, немецком и французском – были организованы годовые курсы повышения квалификации. Разумеется, на этих курсах, в основном, занимались лингвистикой, всякого рода неологизмами, плюс неизбежный в те годы диамат-истмат и история КПСС. Однако и современная литература изучаемого языка не была забыта. На неё отводилось целых восемь часов.

Что мне было делать с этими часами? Ведь дипломированные специалисты – в своём большинстве наши же недавние выпускники – всё это они уже слушали и сдавали – у меня и мне же. А что касается остальных, то с первого взгляда было видно,

что это люди высокой культуры, как, например А. В. Сеземан, наш дачный сосед, которого помнят и мои девочки. Выпускник Сорбонны, почти парижанин, друг Марины Цветаевой. Современную литературу Франции он, конечно, знал лучше меня, поскольку имел возможность читать её всю, а я – лишь то, что к нам проникало, и что нам разрешали читать.

Чтоб не долбить людям то, что им уже знакомо, я пошла на хитрость, сопоставляя творчество писателей то с изобразительным искусством (у меня, к счастью, имелся солидный семитомник о художниках, по охвату подобный нашей «Всемирке»), то с театром, то с кинематографией (книги об этих видах искусства у меня тоже имелись), то с их зарубежными литературными связями. Известно, например, что Арагон во многом следовал Маяковскому, – хороший повод, чтобы порассуждать о сходстве и различии этих двух поэтов. Известно также, что А. Камю – уроженец Алжира, проживший там много лет, – прекрасная возможность для того, чтобы поискать в его книгах отражение литературы этой страны. Алжирской литературы я не знала, но могла найти её в библиотеках, переведённую на русский или французский языки. Ж. Ануй был поводом поговорить о специфике современной французской режиссуры и сценическом оформлении спектаклей. И так далее. А мой политсеминар в МГПИИЯ неплохо меня подготовил к лекциям о связях художественной литературы с философией – гегелевской и современной.

К счастью, лекции по литературе проходили лишь один раз в неделю, – было время к ним готовиться и являться на лекции «вооружённой». И я с удовольствием видела, что меня слушают, а кое-кто и усердно записывает то, что я произносила. Среди наиболее усердных была и Надя Анисимова – невестка Ивана Ивановича, вдова его безвременно погибшего сына Бориса, которая со своим ребёнком осталась жить у свёкра со свекровью и после того, как Бориса не стало.

Однажды Иван Иванович заглянул в Надины тетрадки, и что-то в них его заинтересовало: он увидел, что и я, подобно ему самому, склонна «расширять» и «обобщать» и что я, следовательно, «его поля ягода».

Словом, не прояви Иван Иванович случайного интереса к невесткиным тетрадкам и не будь Надя такой усердной и добросовестной слушательницей, – никто бы меня редактировать один из томов «Всемирки» не пригласил бы, и штатная работа в ИМЛИ обошла бы меня стороной.

Спасибо Наде!

Разумеется, для того, чтобы включиться в работу, предложенную мне Анисимовым, я должна была полностью расстаться с Институтом иностранных языков. Для меня это было безболезненно. Студенты ведь беспрерывно приходят и уходят – к ним не успеваешь привыкнуть. Коллеги? Из них мне ближе всех были Абрам и М. О. Мендельсон. Но с Абрамом я тогда встречалась и в домашней обстановке, а Морис Осипович перешёл в ИМЛИ следом за мной: в это время он уже защитил докторскую диссертацию и справедливо считался наиболее эрудированным знатоком литературы США в нашей стране. Вот Р. М. Самарин и пригласил его, как говорится, «для укрепления» местных американистов. Это было необходимо и для завершения работы над «Историей литературы США» и для «Всемирной».

Единственно, что меня смущало при беседе с Иван Ивановичем, было то, что в учреждениях случаются сокращения. В МГПИИЯ я была неуязвима, как зав.кафедрой и человек, давно там укоренившийся, свой. А в ИМЛИ я становилась новичком. Кому я там буду нужна, когда «История всемирной литературы» выйдет в свет?

Об этом своём сомнении я сразу сказала Ивану Ивановичу, но он возразил мне так убедительно и энергично, что не поверить ему было невозможно:

– Пока я жив – никто вас не тронет!»

Слово своё он сдержал. Действительно, при жизни Ивана Ивановича меня никто не обижал. Но пригласил он меня в 1963 году, а в 1966-м его не стало.

Как всем нам было его жаль! Даже тем, кого он иногда отчитывал, поскольку, если Иван Иванович и поднимал на кого-то голос, то всегда справедливо. Он ещё успел подержать в руках все десять наших проспектов и макетов, но ни одного готового тома «Всемирной» так и не увидел.

Институту иностранных языков я своим уходом никакого ущерба не причинила, поскольку моё место сразу же заняла доцент И. Д. Шкунаева, тоже «француженка» и человек со стажем, ранее работавшая в Институте международных отношений.

Да и уходила я их МГПИИЯ не «по собственному желанию», как в свое время из Саратовского пединститута, а назначалась в Академию Наук сверху, согласно распоряжению самого Министерства культуры. Меня не посмели бы там удержать, даже, если бы кто-нибудь этого и захотел.

И вот принялись мы – члены десяти редколлегий – составлять сложную, но осмысленную и, по возможности, гармоничную мозаику из текстовых кусочков: то крупных, то крошечных, которые приносили или присылали нам многочисленные авторы – свои же сотрудники (иметь с ними дело было легко) и незнакомцы или незнакомки, приезжавшие из дальних мест и иногда неважно владевшие русской речью, особенно письменной. Это было значительно сложнее, – ведь будущий читатель этих томов не обязан был замечать, что текст стилистически неровен: то чересчур перегружен научной терминологией, то почти сбивается на примитив излишней популярности, а иногда и попросту малограмотен. Приходилось исправлять этот пёстрый слог, выравнивать его. А привередничать не приходилось: так мало было тогда в Советском Союзе специалистов по литературам Албании, Чукотки или республик Центральной Африки, что приходилось пользоваться принципом из одного из чеховских рассказов «Лопай, что дают».

Хотя я была уже не на полутора ставках, а на одной, нормальной, иногда нелегко мне приходилось. Ой, как нелегко, особенно, когда имеешь дело с человеком малокультурным, но при этом и болезненно самолюбивым. Такие попадались нередко.

Но всё же я была рада, что рассталась с МГПИИЯ. Никаких просыпаний под треск будильника, чтоб поспеть на лекцию к восьми утра, да иногда ещё и в Сокольники. Никаких нудных еженедельных Учёных советов, когда приходилось голосовать за что-то совершенно мне не понятное и несколько не интересное. Никаких общественных нагрузок, которым там конца-края не было, особенно, когда в добавление к моим обязанностям

пропагандиста меня включили в районное лекционное бюро с обязательством что-то говорить «перед населением» о текущей политике или о каком-нибудь писательском юбилее. В ИМЛИ ничего подобного не было, да и, вообще, рабочий день там начинался лишь с одиннадцати утра.

Наш недавно тихий двухэтажный особнячок заметно преобразился. Когда-то его отделы собирались в разные дни недели. Наш – то под председательством Самарина, то дробясь на небольшие национальные секции. Многие комнаты при этом пустовали. Однако, когда закипела работа над «Всемиркой», всё стало по-другому. Все отделы являлись одновременно, были заполнены не только все комнаты, но и коридоры, когда комнат не хватало. То и дело встречались незнакомые лица – иногда среднеазиатского типа, иногда, как сейчас принято говорить, «кавказской национальности» или ещё посмуглее. А иной раз, наоборот, – знакомые – например, известные мне учёные из Ленинградского университета и Пушкинского Дома, которые в годы военной эвакуации жили в Саратове. Их было мало: те, кого не арестовали одновременно с Г. Гуковским, преждевременно скончались от блокадного истощения. Из Львова приезжал иногда профессор Алексей Владимирович Чичерин, когда-то обучавший меня русской грамматике и литературному сочинительству в школе Н. И. Сац, – наш бывший «дядя Алёша». Я, разумеется, не узнала бы в седом сутулом старичке бывшего двадцатилетнего красавца, но, услышав его фамилию, поспешила подойти к нему. Я уже знала, что он стал видным литературоведом, поскольку имела три его книги и нередко встречала его фамилию в журналах. Лишь не знала о том, что и он, подобно многим, побывал на Колыме, после чего расстался с Москвой и устроился в далёком от неё городе.

Алексей Владимирович меня, конечно, не узнал, но, к моему удивлению, вспомнил мою фамилию. Мне казалось, что он будет рад узнать, что я пошла по его стопам – тоже стала литературоведом, хотя до докторской степени ещё не дотянула. Но ошиблась: он был разочарован: «А мне казалось, что вы будете писательницей. В духе Тэффи».

Вспомнили мы нашу школу, Наталью Ильиничну, Елизавету

Борисовну Ауэрбах – мою одноклассницу и тоже его любимицу. Вот она его надежд не обманула! Хотя и посвятила жизнь сначала сцене, а потом эстраде, но и выпустила сборник рассказов. Он у меня имеется.

Приезжал в ИМЛИ из Ленинграда и академик Д. С. Лихачёв. Я его близко видела и слышала, но знакома с ним не была, так как он, как специалист по древней русской литературе, трудился для одного из первых томов, к которым я не имела отношения. Д. С. Лихачёв был не моложе Чичерина, но значительно его моложавее. Держался прямо, двигался по-юношески стремительно и легко.

Помимо многочисленных «званных гостей», в институтских коридорах попадались и незваные, хотя тоже известные, – некоторые московские соцреалисты («инженеры человеческих душ», как их величал Сталин). Видимо, из опасения, что составители заключительного тома «Всемирной» забудут их или окажут им недостаточное внимание. В их числе были Евгений Долматовский, Римма Казакова, Юнна Мориц.

А мы? Не знаю, как мои коллеги, но я ощущала себя участницей большого оркестра, где кто-то пользуется струнными, кто-то играет на медных или деревянных, а иной разок-другой ударит по барабану или в литавры, но и он при деле, и он необходим.

Общее дело дружески сближало нас, тем более что в нашем коллективе было немало людей, любящих шутку. Например, Ф. С. Наркирьер, несмотря на то, что прошёл через фронтовые испытания и вернулся из госпиталя с искалеченной рукой. Или внешне серьёзная А. А. Елистратова. Или Илья Фрадкин – мой бывший однокашник по Ленинскому пединституту и его аспирантуре, который и за новогодним столом у четы Лихтман вносил большое оживление и был мастером на всевозможные смешные выдумки.

Всех нас бесспорно затмевала Злата Михайловна Потапова – выдающийся знаток новейшей культуры Италии: её литературы, кинематографии, театра. И в то же время – ещё молодая, внешне привлекательная женщина, которая на зависть остальным филологам, была спортсменкой, умела водить машину, прекрасно фотографировать. Будь я мужчиной, я, вероят-

но, влюбилась бы в неё, хотя Злата при всех своих достоинствах спутника жизни не имела. Она была мастером на шутки и эпиграммы, которые рождала мгновенно, экспромтом.

Однажды Злата охарактеризовала многих наших коллег в насмешливом стихотворении, озаглавленном «Кому живётся весело в ИМЛИ» и стилизованном под известную поэму Некрасова. Стихотворение было большим, – я, конечно, его не помню, лишь отдельные строчки застряли в моей памяти:

«Иван кричит: Самарину!

Роман кричит: Тураеву...»

Иван, понятное дело, – Анисимов, Роман – начальник зарубежного отдела Роман Михайлович Самарин.

А дальше следовало:

«Боярину Феодору,

Купчихе Евниной...»

Поскольку в нашем отделе было трое Балашовых: Петр Степанович, его невестка Тамара Владимировна и их однофамилец Николай Иванович, – Злата сочинила стихотворение «Путеводитель по Балашовым», чтоб люди не плутали между этими тремя соснами:

«Балашова Тамара –

Дочь Вольдемара,

Жена Викторова,

Отец которого –

Пит Балашоу

Корпит над Шоу,

А корпит над Золя

Балашов Николя».

Именно Злата придумала весёлое слово «Всемирка», которое мгновенно было подхвачено всем коллективом ИМЛИ. Как и слово «Эпохалка»: наш непосредственный начальник – Р. М. Самарин злоупотреблял эпитетом «эпохальный», говоря о таких книгах, как «Тихий Дон» или «Хождение по мукам». При встречах она кричала ему:

– Привет, Роман Михайлович! Какую эпохалку сейчас читаете?

Иногда доставалось и ей самой. По поводу сборника статей, которые мы с Златой вместе редактировали, но не успели к сро-

ку, Фёдор Наркирьер съязвил, уподобив этот сборник телеге, завязший в трясине:

«Она сверкает Яхонтом

И ярким Златом выслана,

Но воз и ныне там».

Вместе со Златой Фёдор воспел Тамару Балашову, когда она вернулась из поездки по Военно-Грузинской дороге, в пародийном подражании «Тамаре» Лермонтова. А Тамара в ответ, тоже в стихотворной форме, уподобила Фёдора Семёновича отцу Фёдору из «Двенадцати стульев», который на той же Военно-Грузинской дороге встречал Тамару с краденой колбасой в руке.

Была у нас и тяга к коллективному поэтическому творчеству – недаром «Всемирка» воспитывала всех нас в духе коллективизма и взаимопомощи.

Специалистка по литературе Англии наша коллега Диляра Гиреевна Жантиева (по национальности осетинка) защищала докторскую диссертацию о творчестве Вальтера Скотта, в центре которой находился роман Скотта «Веверлей», разумеется не имеющий никакого отношения к общеизвестной дурацкой песенке «Пошёл купаться Веверлей».

Злата написала на бумажке:

«Гирей сидел, потупя взор,

Янтарь в устах его дымился,

Дочь родилась, – и с этих пор

Гирей совсем переменялся.

В тени отцовского шатра

Цвела прекрасная Диляра...»

Продолжить начатое ей не дала сидевшая рядом с ней Анна Аркадьевна Елистратова, завершившая начатую строфу на свой лад. И пошёл листочек гулять по всему ряду: от Елистратовой – к Фрадкину, от Фрадкина – к Наркирьеру, обрастая новыми подробностями в согласии с содержанием диссертации, которая в это время обсуждалась. К сожаления я не помню остального текста, помню только, что получилось очень смешно. Только заключительная строфа мне запомнилась, поскольку сочинила её я сама:

«Прошло сто лет. Заглох тот пруд.

Усохла ног торчащих пара, –
Но вечно свеж научный труд,
Что посвятила им Диляра».

В ИМЛИ не было буфета, поэтому если наш рабочий день там затягивался, мы нередко ходили во время перерывов или по окончании всех дел в кафе при ресторане «Прага». К столику, который при этом занимали Злата, Фёдор Наркирьер и я иногда подсаживался научный сотрудник отдела советской литературы – Зиновий Самойлович Паперный – сверстник Фёдора и Златы (я на шесть лет была старше их всех). Тогда за нашим столиком становилось особенно весело, – со стороны можно было подумать, что мы хлебнули чего-нибудь такого, чего в кафе обычно не подают.

Паперный беспощадно высмеивал и своих коллег по отделу, особенно Зою Кедрину – «более марксистку, чем сами Маркс-Энгельс-Ленин вместе взятые», и тех мастеров соцреализма, которых они изучали. В годы «оттепели», когда Сталина уже не стало, его эпиграммы и пародии стали появляться в печати, но нам выпала честь услышать их первыми, из уст самого автора.

Помню, как нам всем понравилась пародия Зиновия Паперного на только что напечатанный роман Ф. Панфёрова «Бруски». Сюжет, характерные образы, язык – всё было подмечено и отражено блестяще. Но эта пародия дорого обошлась автору, который, к своему несчастью, познакомил с ней не только тех, кому можно было доверять. Панфёров разозлился, партбюро (не наше, а Союза писателей, где Паперный состоял на учёте) вlepило ему «выговор с предупреждением». Однако он не внял предупреждению и не унялся. Вскоре сочинил не менее ядовитую пародию на очередную новинку – повесть Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?» Пародия была озаглавлена «Чего же ты, Кочет?»

Кочетова больше всего оскорбило то, что Паперный посмел назвать его «кочетом», петухом по-украински, то есть глупой и драчливой птицей.

Как стерпеть такое оскорбление?

Если даже мирный гоголевский обыватель оскорбился, когда его называли «гусаком», как же должен был вспыхнуть

гневом главный редактор журнала «Октябрь» – самого партийно-ортодоксального из вышедших тогда литературных журналов?

За допущенную дерзость Паперного немедленно исключили из партии, а потом выгнали из ИМЛИ: не годилось академическому институту держать у себя разоблачённого посягателя на «священную особу». Но кто знал, что Кочетов – особа священная и неприкосновенная, подобно членам ЦК. И не было в живых Большого Ивана, который всегда брал под защиту своих птенцов.

Я не имела чести видеть В. Кочетова вблизи, но многих других известных соцреалистов встречала нос к носу и в наших институтских коридорах, и в писательском клубе, расположенном по-соседству. Я туда пропуска не имела, но многие мои коллеги числились членами Союза советских писателей по разделу критики и иногда меня туда водили то на концерт или на кинофильм, который демонстрировался только избранным.

Далеко не все писатели-современники внушали мне уважение.

Помню, как однажды мой прямой начальник Самарин дал мне служебное поручение: в связи с приближавшимся юбилеем Романа Роллана.

– Напишите, пожалуйста, небольшой доклад к юбилею. Страничек тридцать, не больше. Желательно короткими фразами, чтоб было похоже на устную речь.

– Мне придётся где-нибудь выступить?

– Нет, нет, просто отпечатайте написанное и дайте мне.

Совсем я забыла об этом выполненном мною поручении, когда меня и других сотрудников ИМЛИ пригласили в писательский клуб на роллановский вечер с концертом.

С юбилейным докладом выступал Г. Марков. Слушаю его и чувствую: доклад мне очень нравится. Умно, толково, мысли прямо-таки совпадают с моими. И вдруг узнаю собственную фразу...

Вот так-так! Да это же моя собственная статейка! От слова до слова!

Оборачиваюсь к А. Елистратовой, чтоб поделиться с ней моим удивлением, но она не удивляется:

– Это у писателей привычное дело. Я сама часто пишу такие же шпаргалки, когда дело касается английского автора.

А о немецких, как выяснилось, это доводилось делать Фрадкину!

Постаралась я представить себе на месте Маркова Пушкина, Тургенева, Чехова, Толстого, – не получилось. Впрочем, и некоторых современников тоже. Астафьева, Солоухина, Евтушенко...

Ай-да «инженеры человеческих душ», как их назвал однажды Сталин! Ай-да «вершина всей мировой литературы», как нас всегда убеждали и продолжали убеждать наши коллеги из отдела советской литературы! Ведь даже школьники, за исключением отпетых двоечников, стыдятся пользоваться подсказками и шпаргалками!

Помимо составления «шпаргалок», нам давались и поручения иного рода, более почётные. Например, выступать с научными докладами (в основном, юбилейными) на научных конференциях то в конференцзале собственного института, то в Союзе писателей. Однажды меня по случаю столетнего юбилея Р. Роллана занесло вместе с Анисимовым и несколькими другими моими коллегами даже на сцену Большого театра, – ту самую сцену, куда мечтают попасть многие певцы и танцоры, где блистали Шаляпин и Анна Павлова. Сначала выступали мы, потом была продемонстрирована сцена из оперы «Кола Брюньон» и исполнено что-то бетховенское из числа любимых произведений Роллана.

Это был мой служебный долг в дополнение к «Всемирке». Но помимо этого я охотно поддавалась и посторонним приглашениям, тем более что они хорошо оплачивались, и давались мне без особого труда: писала предисловия к французским романам, публиковавшимся в издательстве «Художественная литература на иностранных языках» и рецензии на работы моих коллег-литературоведов в журнале «Вопросы литературы», которые с лёгкой руки Златы Потаповой был прозван «Вопли» (Воп. ли.). Выступала в лекториях «для широкой публики» то в Университете, то в какой-нибудь библиотеке. О подобных лекциях оповещали афиши, и вся моя родня – и ближняя, и дальняя – очень гордилась, встречая на афишах мою фамилию. Один

раз мою публичную лекцию в университетском лектории удостоил своим посещением мой папа, и несколько раз на них побывали Аня и Шура Казанские – мои двоюродные тётушки.

Впрочем, для того, чтобы умилить родню, не обязательно подниматься на высокую кафедру. Когда однажды появились в газете три мои слова о А. Барбюсе с моей фамилией внизу, меня с этой «публикацией» не замедлили поздравить не только все дальние родственники, но и все многочисленные мамыны приятельницы.

Наиболее трудоёмким из того, что я тогда делала помимо работы в ИМЛИ, был учебник «История французской литературы» для студентов факультета французского языка Института иностранных языков. Писали мы его втроём: Абрам Штейн (от древнейшей литературы до Великой французской революции), бывшая наша коллега по МГПИИЯ – Мариам Черневич (от Великой революции до Парижской Коммуны) и я (от Парижской Коммуны до современности). Этот учебник выдержал три издания, причём эти переиздания особых хлопот моим соавторам не доставляли, но меня заставляли порядком потрудиться, поскольку современность – это безостановочное движение: одни писательские имена от времени тускнеют, другие, наоборот, приобретают блеск, появляются новые книги, новые литературные школы, новые имена...

Словом, работы мне хватало. И обязательной, подолгу службы, и посторонней, – за которую я бралась не столько ради денег, хотя и это, конечно, играло роль, но и интереса ради.

Однако на пустяки всё же не разменивалась. Центром моих интересов всегда была «Всемирка», причём не только тот том, за который я непосредственно отвечала, а издание в целом. Макеты всех предыдущих томов я прочитывала с начала до конца не только потому, что была обязана в качестве члена редколлегии издания в целом, а потому, что мне это было интересно.

Разумеется, не вся в равной степени. Например, литература африканских стран, да и некоторых отсталых азиатских. А из того, что я прочла с наибольшим интересом, мне особенно заполнились главы I-го тома «Всемирки», написанные совсем ещё молодым тогда Серёжей Аверинцевым, который впослед-

ствии стал профессором, а затем и академиком Сергеем Сергеевичем Аверинцевым – большим специалистом по литературе Древней Византии и стран так называемого Двуречья, находившегося в районе Тигра и Евфрата. Тогда Аверинцев только-только окончил аспирантуру в МГУ, был почти мальчиком, но и Самарин, и Анисимов уже тогда возлагали на него большие надежды, как на «первооткрывателя» в области научных исследований.

Меня особенно заинтересовали те главы «Всемирки», где Аверинцев прослеживал историю возникновения религий, начиная от самых примитивных, языческих. Как постепенно прародительница всего живого – Земля превращается в богиню Гею, а затем в Софию – Премудрость Божию, в честь которой был построен православный храм и в древнем Киеве. Как полубог-получеловек возникает первоначально из цветка лотоса (в Индии), затем рождается девственницей, но ещё не Марией из Иудеи... Бесперывная преемственность, связь при многочисленных вариантах.

Поэтому впоследствии я очень удивилась, когда узнала, что в настоящее время С. С. Аверинцев, расставшись с Академией Наук, стал ректором Духовной семинарии в Сергиевом Посаде – то есть православным христианином, уверовавшим в Ноя с его Ковчегом и в божественную сущность Иисуса Христа. А не он ли, убедительно оперируя неоспоримыми фактами, доказывал в I-м томе «Всемирки», что источником легенды о Всемирном потопе было местное наводнение в Двуречьи, а воскрешением мёртвых, изгнанием бесов и другими деяниями значительно раньше Иисуса прославил себя Будда, а до Будды и многие другие?

Бесперывное чтение, писание и редактирование отнимало у меня массу времени. Но, в отличие от Института иностранных языков, где на меня навьючивали несметное количество партийных нагрузок, в ИМЛИ эта тяжесть полностью свалилась с моих плеч. Правда, меня назначили председателем общеинститутского Товарищеского суда, – видимо, как недавнего народного заседателя, а, следовательно, человеком, знакомым с судопроизводством. Такие Товарищеские суды создавались

тогда в тогдашней Москве при домоуправлениях, и дела им хватало, поскольку при сплошных коммуналках квартирные склоки вспыхивали постоянно и повсеместно.

Однако работники ИМЛИ были людьми мирными, между собой не конфликтовали, и, как председателю Товарищеского суда, делать мне там было решительно нечего. Лишь единственный раз местный фотограф, делавший в подвальном помещении перепечатки для институтских изданий, пожаловался на свою помощницу: халтурно работает, а когда он делает ей замечания, – орёт, хамит, нецензурно выражается. Он уже жаловался на неё Анисимову, но они вдвоём не смогли ничего поделывать с этой хулиганкой: её, как щит, отгораживала от ответственности за все её поступки справка из психдиспансера, где она состояла на учёте. Там было написано и подтверждено государственной печатью, что такая-то по состоянию здоровья не несёт ответственности за свои, как там было написано, «нервные срывы».

Истец требовал минимального: чтоб его обидчица перед ним извинилась и публично пообещала впредь вести себя сдержанней. Ответчица потрясла своей справкой, точно победным знаменем.

Противная была баба, но, действительно, казалось, неуязвимая. Но, к счастью, я вспомнила, что в том же подвале, где трудились фотографы, хранилась и драгоценнейшая святыня – архив Горького, – черновики его творений, публичных выступлений и писем вместе со множеством писем, адресованных ему. Этим я воспользовалась для того, чтоб решением Товарищеского суда постановить официально (то есть письменно) обращение к директору с требованием убрать от соседства с драгоценным архивом лицо, не способное отвечать за свои поступки. Тем более что опасность заключается не только в соседстве: нашим фотографам нередко приходилось делать переснимки с самих документов, держать их в руках.

Анисимов охотно выполнил наше требование, – скандалистка и ему надоела. Уволенная кинулась за защитой в районный нарсуд, но медицинская справка, которой она пыталась и там потрясать, действовала уже не за неё, а против неё: от

психбольной невозможно было защитить человека, но вполне возможно, даже необходимо, защитить драгоценный архив. Институтский фотограф получил больше того, чего добивался: добивался он только извинения и строгого предупреждения, а его избавили от его постоянной мучительницы, позволили взять не её место скромного приличного юношу. На радостях он даже предложил мне сфотографироваться, обещая изготовить для меня большой, художественно выполненный портрет моей особы. Но я отказалась, – не столько потому, что это было бы разновидностью взятки, сколько из-за того, что никогда не считала свою физиономию достойной такого портрета, особенно после того, как мне перемахнуло за сорок.

Через некоторое время мне дали ещё одно партпоручение, назначив председателем так называемой комиссии Народного контроля в рамках собственного учреждения.

Такие комиссии по приказу партийных властей были тогда, то есть в первой половине шестидесятых, созданы всюду, поскольку без сталинской карающей руки во всей стране началось повсеместное воровство. Так называемые «несуны» слишком буквально понимая, что государственная собственность принадлежит народу, растаскивали всё, что могли: с фабрик и заводов – выработку и часть оборудования, инструменты, из магазинов – товары, из ресторанов и прочих так называемых «пунктов общепита» – продукты, даже из парикмахерских – казённый шампунь и одеколон. На инструкции в райкоме, куда я была вызвана, нас, «народных контролёров», наставляли, как нам следует бороться с «несунами» и в своём коллективе, сигнализируя о них «куда следует».

Всё это звучало грозно, но не применительно к такому учреждению, как наш ИМЛИ. Моё партийное поручение оказалось таким же мифическим, как и товарищеский суд. Что могли украсть «несуны», если бы они у нас завелись? Разве только чернила, бумагу, кнопки и скрепки. Наши пальто находились под наблюдением гардеробщицы, пишущие машинки – в канцелярии и в машбюро при тех, кто ими пользовался, а после рабочего дня запирались за стальными дверями, подобно бумагам архива.

Таким образом, партпоручения в ИМЛИ были совсем не такими чудовищными, как в МГПИИЯ, и несколько меня не тяготили.

Естественно, что я начала подумывать о докторской, тем более что меня в этом отношении принялись перегонять не только сверстники, но даже те, кто был моложе меня: Наркирьер, Злата Потапова, Фрадкин...

Писание докторских диссертаций и их защита была делом нелёгким. Особенно для тех, кто вынужден это делать урывками, в свободное от работы часы. И для периферийных работников, оторванных от столичных библиотек. Но не для сотрудников ИМЛИ. Если кому-нибудь из них поручалось написать монографию – то есть книгу достаточного объёма, – он уж мог не сомневаться в том, что докторская степень его не минует. Ведь защищал он потом эту книгу не где-то, а в своем институте и своём коллективе, в благожелательной товарищеской обстановке. Потом книга-диссертация поступала, как водится, на утверждение в Высшую аттестационную комиссию Министерства (ВАК), членами которого по литературоведческой линии были наши же начальники – Анисимов и Самарин.

Тема будущей книги у меня была, как мне представлялось, и интересная, и вполне солидная: «Восточная тематика в литературе Франции XVII–XIX и XX веков». Ни одного восточного языка я не знала, но понимала, что и французы, о которых я собиралась писать, их не знали и пользовались лишь переводами.

Я собиралась показать, как Монтескье в «Персидских письмах», Вольтер во многих повестях и другие их современники использовали модные в то время сюжеты и образы из «Тысячи и одной ночи» для замаскированной политической сатиры, как впоследствии поэтическая японская миниатюра влияла на сюжеты и формы французского рококо и как в настоящее время восточная тема используется в колониальном французском романе, – у кого-то чисто декоративно, у кого-то – по существу, в сочетании с темами национального конфликта и освободительных войн.

Иван Иванович мою тему вполне одобрил (широта её объёма была вполне в его вкусе), но благожелательным, дружеским

тоном посоветовал мне отложить мою книгу-диссертацию на будущее, не спешить.

– А сейчас полностью займитесь вашим IX томом. Да и как редактор вы сейчас очень нужны. А потом – пишите!

Я согласилась с его доводами. Действительно – зачем спешить? Времени впереди у меня – сколько угодно.

В 1966 году Иван Иванович скончался к общему горю всего институтского коллектива.

Вместо него директором стал Борис Леонтьевич Сучков, работавший до этого ответственным редактором журнала «Иностранная литература». Он уже был профессором и доктором филологических наук. А став директором ИМЛИ, сразу, автоматически, получил и звание члена-корреспондента, как и Анисимов.

Я была рада назначению Сучкова. Он был моим однокашником по аспирантуре, хотя и не моего выпуска: когда я уже готовилась к защите кандидатской, он, как аспирант-первокурсник ещё готовился к первым кандидатским экзаменам. Он и возрастом был моложе меня. Мы хорошо друг друга знали и по совместным кафедральным заседаниям и потому, что он в то время безуспешно пытался ухаживать за Маргаритой Атабекиан – моей в те годы неразлучной подругой.

Разумеется, фамильярничать с бывшим Борей я не собиралась, но надеялась на тёплую встречу с ним, согласно поговорке: «На чужой сторонешке рад своей воронешке». Однако новый директор с первой же встречи дал мне понять, что меня не узнаёт. Но как же он мог меня не узнать? Если даже внешне я так круто изменилась, то мои имя и фамилия остались при мне. А Борис Леонтьевич делал вид, что встречает меня впервые.

Точно так же он обошёлся с Ильёй Фрадкиным – нашим общим товарищем по аспирантуре. Фрадкин справедливо обиделся. Ведь они были даже однокурсниками.

Не понравился Сучков и остальным нашим коллегам. Был со всеми сух, отвечал на приветствия лишь лёгким молчаливым кивком, никому не подавал руки, хотя в числе институтских сотрудников были и почтенные люди, которые годились ему в отцы.

Я сначала подумала: может быть это похоже на то, как когда-то юная Н. И. Сац напускала на себя излишнюю важность, чтоб скрыть, что она, в сущности, ещё девочка.

Нет, здесь было что-то другое, очень неприятное.

В отличие от Ивана Ивановича, Сучков никогда никому не улыбался, никому не говорил добрых слов, даже если человек их заслуживал. А распекают они оба умели, – только по-разному. Иван Иванович мог наорать на нерадивого сотрудника, даже употребить крепкое словцо, если поблизости не было женщин (Паперный рассказывал). Но это у него выходило почти по-отечески: покричит и успокоится.

Сучков голоса ни на кого не повышал, а держал себя, распекая кого-нибудь «тихим инквизитором», как выразился однажды Фёдор Наркирьер.

Одновременно с этим, наш холодный и, казалось бы, надменный директор проявлял признаки льстивого угодничества по отношению к «сильным мира сего», будь то государственный деятель или влиятельный чиновник. Было замечено, например, что он нередко зачисляет то в нашу аспирантуру, то в число сотрудников обязательно кого-то из сынков и дочерей ничем не примечательных, но с достаточно известными фамилиями. Научные руководители этих аспирантов иногда ворчали: не клеились диссертации у некоторых из подопечных. Наша весёлая компания во главе с Златой над этим посмеивалась. Посмеивалась и я, ещё не подозревая о том, какую угрозу для меня самой таит привычка нашего директора угождать сильным и полезным.

Другая угроза, ещё хуже этой и коснувшаяся уже не одну меня, а многих, выползла подобно чёрной грозовой туче из самого Министерства культуры.

Я давно подозревала, что в наших министерствах – и в этом, и в Министерстве просвещения, ведающим Институтом иностранных языков, помимо умных людей, водятся и дураки. Один из них, например, додумался ввести в учебную программу для студентов, изучающих иностранные языки, никому не нужный курс советской литературы.

А другому дураку, – на этот раз из Министерства культу-

ры, – пришло в голову радикально омолодить научные кадры Академии Наук во всех его институтах. Видимо тот, кто отдал это распоряжение, обратил внимание на непонятное для него безобразие: с каждым годом научные кадры почему-то становятся на год старше... С этим следует бороться. Подобные соображения, возможно, уместны, когда дело касается театра или спорта. Действительно, нехорошо, если актриса среднего возраста пытается изображать на сцене Джульетту. И звёздный час мастеров спорта короток. Но при чём тут наука? Чем желторотый юнец, ещё мало начитанный, с недостаточным опытом лучше немолодого, но высоко эрудированного знатока? Разве Д. С. Лихачёв в свои девяносто с лишним не выступал в печати с блистательными статьями?

Мудрые головы из Министерства культуры об этом не подумали и решили остричь под одну гребёнку с балеринами и циркачами научных работников из академических институтов. Дорогу молодым! Равенство, так равенство!

Хуже всего было то, что министерский приказ о радикальном омоложении академических кадров появился под самый Новый год, то есть в то самое время, когда эти кадры, как на грех, на целый год постарели вместо того, чтобы помолодеть или хотя бы застыть на месте в своей возрастной категории.

Директора многих академических институтов возроптали и встали на защиту своих немолодых, но вполне деятельных и достойных уважения сотрудников. Нет сомнения в том, что и «Большой Иван» этого бы не стерпел. Но Сучков оказался человеком не той породы и с редкостным усердием принялся выполнять министерское распоряжение. На «заслуженный отдых» были отправлены многие крупные учёные из всех отделов ИМЛИ, как например, известный пушкинист Благой и знаток античных литератур Гаспаров. Пострадал и наш Зарубежный отдел, причём выгнанными, то есть отправленными на пенсию, оказались многие мои коллеги, только что успешно защитившие свои докторские диссертации и этим доказавшие свою научную полноценность.

Это было для них обидно во всех отношениях, – в частности, и потому, что совсем недавно каждый из этих пенсионеров

потерпел крупный материальный убыток, заказав после своей диссертационной защиты шикарный ужин в одном из ресторанов (обычно это были «Прага», «Украина» или «Арагви») с приглашением всех сотрудников отдела, официальных оппонентов и дирекции института с замом и учёного секретаря. Такова была традиция.

Естественно, все отправленные на пенсию, были возмущены. А в одном случае произошла и настоящая трагедия. Диляра Гиреевна Жантиева – одинокий человек, у которого не было не только семьи, но и никакой родни поблизости жила исключительно наукой, интересами института. Когда, вскоре после диссертационного успеха и ресторанного ужина с поздравлениями её выставили за дверь, – в сущности, в никуда, – бедная Диляра не выдержала и бросилась ночью с моста в ещё не покрывшуюся коркой, но уже ледяную Москву-реку. В записочке, найденной в её комнате, она объяснила причину своего самоубийства: «Если я не нужна, – мне незачем жить».

Тело Диляры было найдено не сразу и в таком состоянии, что ни о какой гражданской панихиде с гробом и цветами не могло быть и речи. Мы не простились с ней, как многократно прощались со многими нашими коллегами, не было никаких венков и прощальных речей, но эта смерть на всех нас произвела очень сильное и тяжёлое впечатление. Только не на Сучкова. Он, как ни в чём не бывало, продолжал с прежней энергией «омолаживать институтские кадры».

Под угрозой увольнения находилась и я, поскольку мне тогда уже перемахнуло за шестьдесят, да и к числу маститых учёных я с моей всё ещё кандидатской степенью отнюдь не принадлежала. Однако до поры до времени меня не трогали, так как в качестве глав.редактора одного из томов ещё не завершённой «Всемирки» была ещё нужна институту. Макет «моего» IX-го тома уже был отпечатан и обсуждён в широкой всесоюзной аудитории, но предстояло ещё многое: составление для него именного и предметного указателей, синхронной таблицы, указывающей, какие крупные произведения мировой литературы одновременно создавались на всех континентах земного шара (за исключением Антарктиды, разумеется).

Мне предстояло также просмотреть и отредактировать гранки окончательно составленного тома, подобрать к нему художественные иллюстрации, расположить их, – словом, ещё очень и очень многое.

К тому же после изучения макета И. И. Анисимов включил в план изданий ИМЛИ и мою монографию – будущую диссертацию. Я тогда усердно трудилась над ней и две её главы (то есть треть работы) были уже обсуждены в отделе и получили его одобрение. На очереди стояла третья глава, уже заключительная.

На основании всего вышеизложенного я воображала себя неуязвимой, несмотря на мой пенсионный возраст. Но ошиблась!

Писателю Чаковскому (не путать с К. Чуковским) понадобилось пристроить к научной деятельности сына, только что окончившего аспирантуру МГУ при кафедре нашего же Р. М. Самарина. Чаковский-отец был писатель не бог весть какой величины, но ответственным редактором «Литературной газеты», – то есть человеком очень полезным для тех, кто хочет, чтоб его хвалили и рекламировали. Его сын в научном отношении ещё никак себя не проявил, но обменять шестьдесят с хвостиком на двадцать с хвостиком, – было как раз то, что требовалось Министерству культуры и чем можно было ему угодить.

Поэтому моя судьба была решена.

Сыграло здесь свою роль и другое.

Из институтской бухгалтерии в Комиссию народного контроля, которую я возглавляла, поступил так называемый сигнал о том, что наша дирекция неправильно распорядилась деньгами, которые Президиум Академии Наук ежегодно рассылает своим подшефным институтам для награждения авторов наиболее достойных научных трудов. При Анисимове эти деньги по справедливости доставались кому следует, а Сучков внёс самовольное изменение: под предлогом того, что никто из его паствы ничего заслуживающего награды не создал, он распорядился раздать полученную сумму своему заму, учёному секретарю, даже секретарю-машинистке при дирекции, не забыв при этом и самого себя.

Поскольку я в области общественных нагрузок долгое время бездействовала, я сочла своим долгом безотлагательно от-

реагировать на этот сигнал, благо одним из членов Комиссии контроля была и работница бухгалтерии, способная быстро проверить и подсчитать все необходимые документы. Справедливость была восстановлена: несправедливо полученные деньги дирекция была вынуждена вернуть и наградить ими кого следовало.

Как члены трудового коллектива обычно любят работников месткома, способных кому-то достать путёвку в санаторий, кому-то отправить ребёнка в хороший пионерлагерь, кому-то помочь с жильём. И как, наоборот, они не любят контролёров, хватающих их за руку при попытках захватить домой то, что «плохо лежит».

Вот и меня после истории с деньгами из Президиума заметно невзлюбили те, кто счёл себя обиженным. А это, как на грех, оказались самые влиятельные в институте люди – состав дирекции.

Что могло бы спасти меня, если для сына Чаковского потребовалось освободить штатное место, возраст у меня был пенсионный, да и дирекция была мною недовольна, выражая это, хотя и не прямо, а выразительными мимическими средствами.

Вот и последовал вызов, – правда не к Сучкову, а к его заместителю – Р. Щербине, для короткого и неприятного разговора:

- С января 74-го вы у нас не работаете. Оформляйте пенсию.
- А как же работа над девятым томом?
- Кто-нибудь другой вас заменит. У нас незаменимых нет.
- А моя книга? Она уже стоит в плане издательства...
- Обойдёмся без неё...

Вот я и стала пенсионеркой, причём институт простился со мной «по-хорошему»: в мою трудовую книжку была вписана благодарность «за хорошую работу», а на руки, помимо выходного пособия, выдана премия в тысячу рублей, – по тому времени сумма достаточно солидная. Зарубежный отдел устроил прощальное чаепитие в мою честь, хотя настроение у меня было невеселое: слишком ещё свежа была у нас в памяти трагическая гибель Д. Г. Жантиевой. Говорились добрые слова, в том числе и Р. М. Самариним, который перед этим говорил мне с глазу на глаз извиняющимся тоном:

– Никогда бы с вами не расстался, но сами понимаете, – человек я подневольный. Если директор приказывает подписать заявление о том, что без вас отдел обойдётся, – как я мог не подписать?

На мои проводы пришли и отправленные «на заслуженный отдых» незадолго до меня Е. М. Евнина, чью книгу о Гюго (она же докторская диссертация) мне довелось редактировать, и М. О. Мендельсон. Оба – признанные специалисты и люди, вполне ещё трудоспособные.

Не было только ни Сучкова, ни Щербины.

Мои товарищи вскладчину преподнесли мне корзину фиалок (для декабря-месяца – настоящая роскошь!) и большой синий плед, который и сейчас исправно мне служит.

Моя предполагаемая докторская так и осталась незаконченной, подобно гоголевским «Мёртвым душам» или пушкинской «Русалке». Я вполне могла бы её завершить: и свободного времени у меня было сколько угодно, и весь необходимый для этого материал был собран. Но для чего? Поскольку ни одно научное учреждение уже не стало бы оплачивать её перепечатку, публикацию автореферата, труд оппонентов и прочие расходы, связанные с защитой, мне пришлось бы оплачивать всё это самой. Однако подобные расходы были мне уже не по карману, а, главное, в этом не было смысла. В Москве никаких вакансий для человека моей специальности и моего возраста уже не было, тем более в то время, когда научные учреждения, согласно приказу Министерства Культуры, стремились «омолодить» свои кадры, а уезжать в другой город подобно тому, как я когда-то легко решила в молодые годы, мне решительно не хотелось: здесь были мои дети, да и возраст был, хотя и не вполне старческий, но близкий к этому...

Словом, ни о какой диссертации я уже не помышляла, хотя ни от журнальных статей, ни от случайных лекций не отказывалась, пока их мне ещё предлагали и моих сил хватало. А толстые папки с листками, отчасти машинописными, отчасти рукописными засунула в задний ряд верхних полок моего стеллажа. А при переезде из Неопалимовского на Ленинградское шоссе выкинула их вместе с многочисленными тетрадами, которые

в своё время выручали не только меня и членов моей маленькой саратовской кафедры, но и моих дочерей, когда они были студентками.

А какая судьба постигла «Всемирку»?

На долгое время она застыла без движения, подобно саду Спящей Красавицы, уколовшейся веретеном мстительной феи. Правда, не на сто лет, как в сказке, а на менее длительный срок. С 1983 по 1994 подписчики (а, возможно, их наследники) получили все тома, в которые это издание полностью вместились, да ещё в такой оформлении, что лучшего и пожелать было нельзя: на отличной бумаге – тонкой и гляцевитой, в благородных тёмно-коричневых с позолотой переплётах, со множеством иллюстраций, с синхронными таблицами и всем прочим справочным аппаратом, помогающим читателю легко найти нужные страницы в бездне национальных культур и эпох.

И у этого великолепия оказался лишь один недостаток, правда, существенный: вместо обещанных десяти томов подписчики получили лишь восемь. «История всемирной литературы», начавшись с вавилонских глубин, дошла лишь до конца XIX века, лишь слегка коснувшись некоторых бесспорных литературных вершин начала XX-го.

Это было сделано сознательно и благоразумно. В последних двух десятилетиях XX века и в нашей стране, и в Югославии, и во многих африканских и азиатских государствах начались такие бури и сдвиги – политические, географические, идеологические, что разобраться во всём этом можно было на газетных листках, в полемическом тоне, но отнюдь не в академическом издании, предназначенном вещать истину и рассчитанном на долголетнее существование.

Вот и красуются эти великолепные восемь томов на одной из моих полок, а впритык к последнему из них – разлохмаченный макет «моего» девятого, неказистый на вид и безнадежно устаревший по сути, поскольку там говорится о Советском Союзе, двух Германиях, успешно строящих социализм странах народной демократии и очень большое место во всех разделах отводится литературе социалистического реализма, победно охватившей все страны и континенты.

Почему «История Всемирной литературы» не выходила в свет так долго, хотя макеты – её каркас – были созданы и обсуждены ещё в пятидесятых годах?

Ответ прост: в процессе «омолаживания» Институт мировой литературы лишился многих своих сотрудников, обладавших обширными знаниями и опытом, а заменившие их вчерашние аспиранты были ещё не готовы к работам широкого обобщения и смогли довести их до конца лишь тогда, когда, в свою очередь, стали опытными и маститыми.

Когда ещё при жизни Анисимова в ИМЛИ появлялся какой-нибудь именитый зарубежный гость, Иван Иванович, никогда не отделявший себя от своей паствы, всегда приглашал на встречу с ним всех, для кого она была интересна и полезна. На встречу с Олдриджем звал тех, кто занимался английской литературой, на встречу с Арагоном и Эльзой Триоле, а позже с Сартром – нас, «французов». Причём представлял каждого из нас гостю, точно отец своих сынков и дочек, и произносил при этом не только лишь имена и фамилии, но и характеризую каждого добрыми, рекомендательными словами.

Когда у нас гастролировала какая-нибудь иноземная труппа, Иван Иванович всегда добивался того, чтоб не он один, а и его подопечные получили даровые билеты на спектакли. Не весь громоздкий институтский коллектив, но во всяком случае, актив, к которому имела честь принадлежать и я в качестве ответственного редактора одного из томов «Всемирки».

Добился он и того, чтоб французский актив приглашали вместе с ним и его супругой на приёмы во французское посольство, когда там что-то отмечалось.

При Б. Л. Сучкове всё это прекратилось. Новый монарх показывался на людях без свиты, а когда в институт навевался какой-нибудь «варяжско-веденецкий» гость, двери его кабинета плотно запирались. Только его зам туда допускался и секретарь-машинистка сновала взад-вперед, разнося подносы с кофейными чашками и коньячными бутылками (то, что это был именно коньяк, удалось издали разглядеть любопытствующему Ф. Наркирьеру).

Кончилась наша великосветская жизнь, но сохранилось

многое другое. Мы, независимо от директора, пользовались во время отпусков санаторием Академии Наук в Кисловодске, он всегда был для нас открыт. Служебное удостоверение старших научных сотрудников ИМЛИ открывало нам двери в соседний с нами Дом Литераторов, где можно было посмотреть зарубежные кинофильмы, которые по тем или иным причинам (в основном из-за непривычного для глаз советского человека слишком откровенного секса и недостаточно плотно прикрытых женских прелестей) на городских экранах для широкой публики не демонстрировались.

Для пенсионера и Кисловодский санаторий АН, и Дом Литераторов был закрыт, не считая того, что моя пенсия, хотя и максимальная, была почти вчетверо меньше моей зарплаты.

Можно было подрабатывать, что я и делала. Ездил читать лекции в Коломенский пединститут, заменяла заболевшего преподавателя истории зарубежной драматургии в театральной студии им. Щепкина при Малом театре. Но, к сожалению, согласно дурацкому закону тех лет пенсионерам разрешалось работать лишь два месяца в году, если он желал трудиться по своей специальности, а не чернорабочим или санитаркой.

Обидней всего было, однако, не то, что я здесь назвала, а то, что в выпущенном издательством «Наука» ни моя фамилия, ни фамилии других пенсионеров, когда-то принимавших самое деятельное участие в подготовке проспектов и макетов этого издания не упомянуты даже петитом... А ведь мы вложили в роскошный восьмитомник много и нашего труда, и нашей души. Хотя я и была в период подготовки ответственным редактором лишь одного тома, но работала членом редколлегии всего издания!

Это было мне значительно обиднее, чем несостоявшаяся докторская.

А что выгадала я, выйдя на пенсию?

Только свободное время, которого раньше мне никогда не хватало, – отсюда и привычка постоянно пользоваться такси – не из боязни толкотни в городском транспорте, а из нежелания тратить драгоценные для меня минуты на медленные передвижения.

Мой отец умер ровно за две недели до того, как меня уво-

лили, – если бы он до этого дожил, он безусловно пережил бы это болезненно, поскольку последние свои месяцы жил моими интересами и гордился моими успехами. Мои дочери жили собственными семьями. Поскольку со стиркой и уборкой меня продолжала выручать возможность вызвать работницу прачечной на дом и фирма «Заря», моей заботой стало лишь приготовление пищи для себя и Санаты (домработницы, естественно, я тогда уже не держала и ресторанными обедами не пользовалась) и помочь воспитывать малышей, – гулять с ними, провожать на врачебные осмотры или на музыкальные уроки, иногда долгие часы проводить с ними в домашней обстановке, когда молодые родители уходили на какое-нибудь зрелище или на дружеские встречи.

Это были самые счастливые часы в моей потускневшей жизни.

А самыми безрадостными – те часы, которые у меня отнимала Лилька, – та самая паразитка, с которой я надеялась навсегда расстаться ещё тогда, когда молодой женщиной переезжала из Москвы в Саратов.

Пока была жива мама, Лилька досаждала ей, не обращая ни на папу, ни на меня никакого внимания. Но когда мамы не стало, – тяжёлое наследство легло на мои плечи, что иногда доводило меня до скрытого бешенства, когда я ещё работала и мне было совсем не до пустых разговоров с кем бы то ни было. Но куда денешься, когда к тебе является голодное и бесприютное существо, будь это даже не человек, а кошка?

55 © ЛИРИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ

И о моей трудовой деятельности зрелых лет, и о моей домашней обстановке того времени я рассказала, как мне кажется. Достаточно. А как дело обстояло с моей так называемой личной жизнью?

А никак. Круглый ноль. Как будто я приняла схиму и стала «христовой невестой».

В послевоенные годы многие мои сверстницы остались вдовами, а те, кто был помоложе, оставались незамужними или с горя связывали свою судьбу с безногими и прочими, кто, подобно мужу пушкинской Татьяны, был «в сраженьях изувечен».

Слишком много молодых мужчин погибло на полях сражений!

Это не означало, однако, того, что молодые вдовы до конца жизни оставались одинокими, а девушки становились старыми девами. Более молодые и бойкие отбивали мужей у тех, кто был постарше, а многим законные браки были и не нужны, – довольствовались так называемыми гражданскими, временными. Словом, устраивались, кто как мог.

Меня это не коснулось. Почему?

В первые послевоенные годы меня полностью захватили мои материнские инстинкты и обязанности, хотя основная часть этих обязанностей достались моей маме. Да и работать пришлось много, поскольку мне, отсталой провинциалке, необходимо было в скоростном порядке догонять моих коллег-москвичей. Ведь в Саратове, особенно в военные годы, я была полностью оторвана от зарубежных литературных журналов и художественных новинок.

Ни о каких романах – серьёзных или несерьёзных – мне тогда даже не думалось. Думалось о них, как ни странно, только маме: когда она настаивала на том, чтобы я лишь половину лета проводила на даче с ней и моими дочурками, а вторую половину моего двухмесячного отпуска – в санатории, она заботилась не только о моём здоровье. Желая мне счастливой женской доли, мама надеялась на то, что я «кого-нибудь встречу».

Нет, мне было совсем не до счастливых встреч, а тем более не до лёгких курортных романов! Хотя случалось, что в этих санаториях меня кто-то и замечал.

Замечали меня и обоих моих институтах – и в МГПИИЯ, и в ИМЛИ, но поскольку с моей стороны никакого ответного отклика не было, – эти едва приметные искорки быстро угасали.

Дело было в том, что я подсознательно понимала свою полную бесперспективность в области личной жизни, если понимать под этим близкие взаимоотношения с представителями

сильного пола. Разве могла бы я даже подумать о возможности оставить моих девочек на попечение бабушки с дедушкой, променяв постоянное общение с ними на какого-нибудь чужого дядю, обладай он даже какими угодно совершенствами? А какого дурака я могла бы заманить в нашу густо заселённую коммуналку? Тоже исключено!

А обойтись без ЗАГС'а и попросту стать чьей-то приходящей подружкой или завести себе приходящего дружка?

Тоже исключено! Если уж роль подобно подружки не прельстила меня, когда дело касалось человека, которого я горячо любила...

Некоторые доброжелатели мне намекали, что если у малых ребятшек нет отца, для их нормального воспитания необходим хотя бы отчим. Возможно, это так и есть, если мать-одиночка в буквальном смысле одинока: ни одного мужчины рядом. Однако моим дочкам хорошо заменял папу дедушка, пока не одряхлел, да и ласковых дядей у них имелась целая куча – дядя Гуля, дядя Дима (Леночкин брат), дядя Боря (Леночкин муж), дядя Федя (муж Олечки Воейковой), даже дядя Вася – наш квартирный сосед, поселившийся в бывшей Нининой комнатухе.

Никакого дополнительного «дяди» не требовалось ни моим дочкам, ни мне. И я постепенно превращалась из нормальной женщины в бесполое существо, как и подобает учёной даме, старшему научному сотруднику Академического института. Такими были в своём подавляющем большинстве и мои коллеги по Зарубежному отделу: Анна Аркадьевна Елистратова, Диляра Жантиева, Елена Евнина, даже хорошенькая и озорная Злата Потапова.

Правда, ещё до ИМЛИ мелькнуло недолгое время, когда и во мне что-то затеплилось, я была уже готова принять эту теплоту за любовное увлечение.

Уж очень красиво начал мне оказывать знаки внимания М. О. Мендельсон в то время, когда мы оба работали в Институте иностранных языков, но Теряевой на кафедре уже не было, и вообще «еврейским пограмм» в СССР пришёл конец.

Морис Осипович был не красавцем, но безусловно видным мужчиной со статной фигурой и полностью седыми, как бы се-

ребрянными, волосами при моложавом лице, что придавало ему сходство с современниками Моцарта или Людовика XIV. Ему уже было за пятьдесят, он имел взрослых детей, но двигался по-юношески быстро, по-спортивному.

Зная о том, что он женат, я бы и на него не обратила внимания (обожглась на Александре Петровиче и совсем не желала повторения чего-то подобного). Однако Морис Осипович сам начал проявлять инициативу, и я невольно поддаюсь его обаянию, хотя твёрдо знала, что отбивать его от жены я не собираюсь, да и вообще наши отношения были тем, что называется лирической дружбой. Лирическая дружба с таким интересным во всех отношениях человеком была мне приятна, а ничего большего я не хотела и не допустила бы.

В чём выражалось то, что я называла «красивым ухаживанием» со стороны Мориса Осиповича?

Например, он иногда приносил в институт и дарил мне цветы, – обычно только что появившиеся: в феврале – веточку мимозы, в марте – крошечные букетики крымских фиалок или подснежников, в мае – ландыши и сирень, тоже одну веточку, чтоб я могла тут же, незаметно для посторонних глаз сунуть подношение в мой портфель. Поскольку этот портфель был всегда туго набит, а на работе я проводила долгое время, цветочки погибали, я приносила их домой увядшими и помятыми. Попадали они не в вазочку, а прямёхонько в помойное ведро. Но всё равно было приятно.

Иногда Морис Осипович приглашал меня в Консерваторию, – выяснилось, что у нас общие музыкальные вкусы и общие симпатии к определённым исполнителям. Однажды пригласил меня в Абрамцево – побродить по красивому лесу и полюбоваться местными достопримечательностями. Эти достопримечательности были мне давно знакомы, но я охотно откликнулась на приглашение, захватив с собой и десятилетнюю Ксаночку. Во-первых, мне захотелось показать ей «домик Бабы-Яги» и полухрам –получасовню васнецовской постройки в окружении вековых елей, а во-вторых, я была дама благоразумная и не хотела, чтобы кто-нибудь из общих знакомых «застукал» нас, гуляющих парочкой по уединённым местам.

Однако нас всё же «застукали»: в консерваторском фойе мы столкнулись нос к носу с Галиной Знаменской, которая из этого сделала вывод о том, что Морис Осипович не так прочно прилеплен к своей жене, как ей раньше казалось. А вывод подтолкнул её к решительным действиям. Каким были эти действия, – мне неизвестно, но с тех пор Морис Осипович меня в Консерваторию больше не приглашал, а через короткое время всему институту стало известно о том, что М. О. Мендельсон и Г. Н. Знаменская – законные муж и жена.

Поскольку это известие ни капельки меня не огорчило, я поняла, что увлечённость Морисом Осиповичем была лишь плодом моего воображения. А на самом деле мне лишь льстило его внимание – только и всего.

Выбор Мориса Осиповича был вполне понятен – Галина была моложе и значительно привлекательнее меня: и стройность фигуры сохранила, и одевалась всегда так, как будто была фотомоделью на обложке журнала мод, и за своим лицом и ногтями тщательно следила, в то время как мне всегда некогда было сходить к маникюрше, а весь мой «макияж» заключался в том, что, выходя из дома, я наскоро проводила красной палочкой по губам и чёрной – по тем нескольким скудным волоскам, которые заменяли мне брови.

Надо ли удивляться тому, что человек предпочёл розу утратившему свежести шиповнику?

Никакой обиды или ревности я не испытывала и потому, что молодожён, хотя и перестал водить меня на концерты и дарить букетики, остался моим другом и в МГПИИЯ, и в ИМЛИ, куда мы перешли одновременно и оба трудились над «Всемиркой», – правда в разных её томах. Только лирическая дружба переросла в просто дружбу, – без всякой лирики, но доверительную. Морис Осипович говорил мне, например, о том, как он мучительно переживает охлаждение к нему обоих его детей, не прощающих ему развода с их матерью – Верой Ионовной. А позже, после кончины Веры Ионовны делился со мной своими траурными и покаянными настроениями.

Очень трогательным было то, что даже стариком семидесяти восьми лет, умирающим в больнице от инфаркта и несколь-

ких других неизлечимых болезней, Морис Осипович посылал мне открытки, где слабой рукой, вихляющимися буквами пытался «выпить со мной на брудершафт», то есть называть «на ты» и без отчества, как близкого человека.

Но романом наши взаимоотношения я всё же не назвала бы. Чего не было, того не было. Вера Ионовна была права в том, что не чуяла во мне никакой опасности. Сама она симфонической музыки не любила, предпочитая спортивные стадионы. Для походов на стадионы у неё были свои спутники. Взаимоотношения этих супругов были довольно поостывшими, но мирными и либеральными. У каждого из них была своя жизнь, свои интересы, но их связывали дети и долгие совместно прожитые годы.

Вся моя послевоенная московская жизнь в области личной жизни – сплошная монашеская схима с единственной лёгкой примесью и невинной пасторали, такой же далёкой от жизни, как все на свете пасторали – вышитые или фарфоровые. Случалось мне иногда и пофлиртовать с каким-нибудь случайным соседом по праздничному столу и даже пококетничать – по телефону, когда собеседник не видел моей физиономии и расплывшейся фигуры. Но это – такая мелочь, о которой говорить не стоит.

А как в это время жил мой бывший ясный сокол – Александр Петрович? И думала ли я о нём, вспоминала ли?

И да, и нет.

Первое время я почти не вспоминала. Всем сердцем погрузилась в моих девочек – ещё совсем крошечных. И работа в МГПИИЯ – в непривычной обстановке, среди новых людей – требовала от меня не только времени и усилий, но и душевного напряжения.

А время шло. И понемногу отплывал от меня мой герой. Всё дальше и дальше.

Однако случись с ним что-нибудь плохое, я бы не на шутку встревожилась. Даже, возможно, кинулась бы к нему на помощь, не раздумывая. Ведь последнее, что нас связывало, были его письма с фронта, державшие меня в состоянии непрерыв-

ной тревоги. Привычка волноваться за Александра Петровича (жив ли? не ранен ли?) цепко вкоренилась в меня, стала моей, как говорится, «второй натурой».

Но время было мирное, и ничего плохого с ним не происходило. Наоборот, в 1950 году он защитил кандидатскую и в качестве доцента Саратовского университета начал преподавать историю русской литературы XVII и XVIII веков. Вероятно, предпочёл бы свой любимый XIX-й, но там уже занимали прочные позиции Евграф Покусаев и сам А. П. Скафтымов.

Кроме того, ему, как бывшему школьному учителю с солидным стажем, подкинули курс методики. До войны эта дисциплина изучалась лишь в педвузах, но в послевоенные годы её ввели и в учебный план университетов, поскольку многие университетские выпускники шли работать в среднюю школу.

А Лидия Павловна позаботилась о том, чтоб и домашняя жизнь Александра Петровича текла благополучно. Чуть-чуть их брак не развалился, причём не из-за меня, а сам по себе. Но её стараниями треснувшее и покачнувшееся вновь склеилось и укрепилось.

Не только по моему пристрастному мнению, но и по мнению многих наших общих знакомых, эта дама была на редкость скучным человеком, – таких, как она, обычно называют занудами. Валерий Петрович Воробьёв, чей язычок бывал не только острым, но и злым, сострил однажды, что фигурой Лидия Павловна из-за полного отсутствия женских форм напоминает единицу, а сущностью – ноль. Это было несправедливо. Быть скучным совсем не значит быть глупцом, и Лидия Павловна показала себя человеком очень даже не глупым. Особенно после того, как перестала напускать на себя детскость, которая когда-то вязалась с её внешним обликом, но давно уже не вязалась с её возрастом и, как говорится, взялась за ум.

Прежде всего Лидия Павловна перестала киснуть в районной библиотеке, выдавая книжки населению, а налетела на науку, и так энергично, что одновременно с Александром Петровичем защитила кандидатскую, – правда не филологических, а педагогических наук, поскольку выбрала тему по методике построения урока. Став доцентом, она тоже перешла в универ-

ситет, ведя семинарские занятия и школьную практику, сопровождавшие лекционный курс Александра Петровича.

Общее дело, взаимосвязанная работа... Разумеется, это очень сблизило супругов, подобно тому, как когда-то в молодости их сблизила общая студенческая скамья.

Скончалась «тётя Маня», хлопотавшая на кухне, и Лидии Павловне пришлось самой взять на себя эти хлопоты, а заодно и обязанности «нянечки», так как и с годами, и в результате фронтовых испытаний Александр Петрович начал всё чаще и чаще прихварывать. То сердечные боли у него случались, то кровяное давление подскакивало. Наметились признаки диабета... По письмам Шуры Вознесенской я узнавала о том, что умелой кулинаркой Лидия Павловна так и не стала, но ухаживать за больным научилась быстро и делала это старательно.

Очень сблизило супругов и то, что в дальнейшем, когда они оба вышли на пенсию, они купили небольшую дачку с садиком, выходящим прямо на Волгу. Раньше Лидия Павловна разводила только цветы на подоконниках, – теперь получила возможность сажать их на клумбах, а Александр Петрович, которому уже трудно стало бродить по лесам и болотам с охотничьим ружьем (да и Евграф Покусаев, его постоянный спутник, к тому времени уже скончался), из охотника превратился в огородника и виноградаря, научился даже собственноручно изготавливать терпкое тёмно-красное вино из выращенного им винограда.

Самым же главным и самым мудрым в поведении Лидии Павловны с тех пор, как она перестала играть роль капризной и своенравной девочки, стало то, что в их семейном дуэте она и дома, и на людях подчёркнуто довольствовалась ролью покорной супруги. И это Александр Петрович ценил больше всего.

Уверена, что и из меня бы получилась именно такая жена, которую ему хотелось иметь. Характером я пошла в бабушку Машу, а не в бабушку Юлю, меня совсем не увлекали мужчины, легко попадавшие под каблук жены – типа Толи Платонова или Толи Корбут-Смирнова.

Однако Александр Петрович почему-то не доверял мне. А, кроме того, он стремился не просто по-мужски главенство-

вать, но также опекать и защищать ту, которая ему доверится, как бы беспомощную брать под своё крыло. Возможно потому, что он сам, рано лишившись матери, наглотался обид и несправедливостей от мачехи, которая растила его вместе со своими собственными детьми.

Маленькая, хрупкая Лидия Павловна с её тоненьким голоском как нельзя лучше подходила к роли стебелька, нуждавшегося в опоре. Настроена она была почти всегда минорно, постоянно её кто-то обижал. Трогательное существо! Достаточно было на неё взглянуть.

А во мне никакой трогательности не было и в помине.

На долгое время между мной и Александром Петровичем оборвалась всякая связь, – даже почтовая. Каждый из нас считал именно себя незаслуженно отвергнутой, незаслуженно обиженной стороной. Я не прощала моему герою того, что он, сам в себе не разобравшись, вздумал на глазах у всего города разыгрывать роль мужа, а потом совершил акробатическое сальто в обратном направлении. Он же возмущался тем, что я «коварно» бросила его, не пожелав стать его побочной подружкой, «дамой для визитов», подобно тому, как такими дамами становились для А. П. Скафтымова многие его аспирантки и другие саратовские жительницы. Не прощал он мне и того, что я, как он решил, «поиздеваясь» над его отцовскими чувствами, увеза от него в другой город его ещё не родившееся дитя, которое он намеревался навещать и, согласно своей натуре, заботливо опекать. В представлении Александра Петровича я оказалась как бы бандиткой, беззастенчиво захватившей в своё единоличное владение нашу с ним общую собственность.

А мои девочки между тем подрастали и хорошели. И старшая, и младшая. На Юниной головке красиво завивались светлые кудряшки. Вот они, одна за другой, облеклись в традиционные школьные формы. Надели пионерские галстучки.

Я гордилась ими и ежегодно водила в фотоателье. Фотоснимки этой милой парочки щедро дарились всей нашей ближней и дальней родне. Посылала я их и саратовским друзьям, – в частности, Покусаевым, зная, что они обязательно будут показаны Александру Петровичу и желая этого. Шура писала мне, что эти

фотоснимки он у неё всегда отбирал. Я радовалась этому, не сомневаясь в том, что именно так и случится.

Каюсь, недобрые чувства мною тогда руководили! Хотелось не просто похвастаться, но и кольнуть человека: смотри, что ты потерял, чего лишился! Пусть позавидует бобыль со своей бобылихой моему богатству! Так ему и надо!

К счастью, время не только лечит людей, но и вразумляет. Поумнел с годами и Александр Петрович, многое передумал, переоценил. Какое тоскующее и покаянное письмо я однажды от него получила! Могла ли я на него не ответить? За что и была spolна награждена в его следующем письме словами благодарности и восторженными восхвалениями моих душевных качеств – и реальных, и мнимых.

Лёд треснул. Потом полностью растаял. Завязалась переписка. Всё более частыми и содержательными становились наши письма, всё более пухлыми конверты. Достаточно сказать, что те, которые я получила, вместе со старыми фронтовыми почти заполнили ящик комода, специально для них отведённый. С моими мой адресат обращался менее уважительно: совал их куда попало – в коробки из-под ботинок, на дно сундуков, набитых всяким хламом. Но тоже не уничтожил. Хранил. Следовательно, дорожил ими.

Не будь Лидия Павловна женщиной умной, она проявила бы по этому поводу ревнивое недовольство, и ничего хорошего для неё из этого не получилось бы. Нет, она повела себя как сущий ангел. Никакой ревности и обиды не выражала, никаких запретов не накладывала, только все письма, которые Александр Петрович от меня получал, обязательно проходили сквозь цензуру её внимательных глаз. Думаю, что и его письма с моим адресом, прежде чем быть опущенными в почтовый ящик подвергались этой же цензуре. Но Лидия Павловна имела деликатность не делать от себя никаких поправок и добавлений, за исключением приветов, на которые я вежливо отвечала. Иногда только она позволяла себе короткие приписки с просьбами прислать какое-нибудь лекарство, которого не было в саратовских аптеках, да и то не лично для себя, а для Александра Петровича. Благодаря этому я косвенно узнавала о его недомо-

ганиях, о которых сам он писать так же не любил, как и я о своих. Разумеется, я всегда исполняла эти просьбы, если это было в моих возможностях.

Аптекарские поручения, а иногда и диетические (не всегда в Саратове имелись необходимые для Александра Петровича гречневая крупа и «геркулес») были моей единственной связью с Лидией Павловной.

За мои посылочки она расплачивалась не деньгами, а также посылочками: то хозяйственную сумочку необычной формы пришлёт, то небольшую скатёрку... А когда у них завёлся садик, ко мне начали приходить и солидные фанерные ящики с собственноручно выращенными яблоками, грушами, а однажды даже с вином фирмы «Александр Медведев».

Если моя почтовая связь с Лидией Павловной держалась только на этом уровне, то с Александром Петровичем всё сложилось по-другому. У него возникла настоящая потребность делиться со мной впечатлениями обо всём прочитанном, увиденном, передуманном. Из года в год письма его становились всё теплее и душевнее, что стало особенно заметно после кончины А. П. Скафтымова – самого близкого его друга. Мои письма заполнили для моего корреспондента и ту нишу, которая без Александра Павловича для него опустела. А потом не стало и Евграфа Покусаева... Не стало двух ближайших его друзей. Обо многом писала ему и я. Материала было предостаточно. Очень многое хотелось мне ему рассказать о девочках, – они в то время были уже не только школьницами и пионерками-активистками, но и актрисами Театра им. Гайдара.

Ни одного спектакля в этом театре я не пропустила, будь то наивная «Белоснежка» с её гномами или революционная романтика М. Светлова. На школьные родительские собрания ходила исправно. Бывали мы втроём во многих театрах, музеях. Я отлично знала и всё дружеское окружение моих девочек, которое нередко собиралось у нас, хотя жили мы тогда, подобно всем москвичам, в тесной «коммуналке». Очень мне было приятно рассказывать обо всём, что касалось девочек. Но кому? Родители знали их жизнь не хуже, чем я, у родственников и у приятелей росли собственные дети... Один лишь Александр

Петрович с жадностью ловил каждое слово, связанное с моими материнским впечатлениями. Вплоть до мелочей.

Я удовлетворяла его ненасытное любопытство с радостью и как можно обстоятельнее. Только о ребячьих болезнях никогда не упоминала. Зачем? Помочь бы он ничем не мог, только разволновался бы. А волноваться ему не полагалось. Не одна Лидия Павловна щадила его здоровье.

Продолжала я посылать Александру Петровичу и ребячьи фотоснимки. Не только выполненные мастерами из фотоателье, приглашенные, но и домашние работы Гули. Преимущественно дачные, где девочки и их подружки сняты на фоне широкого водохранилища, возле лодки, с велосипедами, волейбольным мячом, цветами, грибами. При этом во мне ни капли не осталось от давнего недоброго желания кольнуть и подразнить моего адресата. Наоборот, хотелось по возможности приблизить его к нашей жизни, нашим радостям. Сделать его как бы их зрителем и участником.

В письмах Александра Петровича иногда ощущалась боль, которую мне искренне хотелось облегчить, но это было не в моих силах. Дело в том, что ему хотелось не только видеть родное существо, знать о нём как можно больше, но и расположить его к себе, завоевать его любовь и доверие, – словом, стать «папой» в настоящем смысле слова. Но как? Сердечное расположение того ребёнка, который находится при тебе, которого сам воспитываешь, приходится завоёвывать. А на расстоянии? Немыслимое дело. Ребячье сердечко нельзя преподнести кому-то «на блюдечке с голубой каёмочкой». Его необходимо самому завоёвывать, начиная с того времени, когда ребёнок ещё не вышел из младенческого возраста. К тому же человек, живущий в отдалении, знакомый лишь по фотоснимкам и чужим рассказам – понятие отвлечённое, а дети отвлечённостей не любят и не понимают. Юночка решительно отказывалась писать ласковые письма «неизвестному дяде» под мою диктовку. Юной девушкой, только что расставшейся со школьной скамьей, она согласилась у него погостить по моему настоянию и из любопытства, но при этом ни разу не назвала его «папой» – только по имени-отчеству. А Александру Петровичу так хотелось этого!

В меньшей степени ему хотелось стать как можно более близким человеком и для меня. И самому всё о себе рассказывать и обо мне всё знать. Мои письма заняли в его жизни очень значительное место. Они были достаточно частыми, но если по той или иной причине «выбивались из графика», нервничал и сердился. Упрекал меня за «долгое», как ему казалось, молчание, хотя оно никогда долгим не было, в каком бы служебной цейтноте я не находилась. Упрёки Александра Петровича были несправедливы, но меня не обижали. Напротив, радовали! От человека, к которому равнодушен, письма с таким нетерпением не ждут.

Лидия Павловна продолжала оставаться бдительным цензором. Мимо её внимательных глаз не проходило ни одно письмо, приходившее от меня, и ни одно, адресованное мне. Помня об этом, мой корреспондент всегда величал меня по имени-отчеству и на «вы», – соответственно, и я тоже. «Целую мою любимую, твой Шура», которыми завершались письма с фронта старшины Медведева, прочно заменились сухими инициалами «А. П.», что плохо соответствовало нашей заметно возмужавшей душевной близости и искренности.

Было ли это строгим требованием «цензора»? Уверена, что нет! Александр Петрович требований, тем более строгих, не стерпел бы. Нет, это было характерным для него опасением огорчить близкого человека, желание показать ему, что от «другой женщины» его отделяет стена строгой официальности.

А действительно ли Лидию Павловну огорчала наша оживлённая переписка? Иногда мне казалось, что я просто-напросто доставляла занимательное воскресное чтение обоим супругам. Наподобие «Огонька». Разве только без кроссвордов и цветных картинок.

Возможно, что Лидия Павловна совсем неспроста была столь ангельски снисходительна к нашему «роману в письмах» во вкусе Ричардсона (как иронически называла нашу переписку Маргарита Дотцауэр-Уманская). Лишний раз убеждая меня в том, что она женщина хоть и скучная, но неглупая, Лидия Павловна сообщила, что «Дульцинея» где-то за горизонтом безопаснее любой смазливой дамочки с соседнего двора. Я воображала саму

себя своего рода грозой, а фактически, совсем наоборот, исполняла роль громоотвода, сама о том не догадываясь.

Маргарита была единственной моей приятельницей, знавшей о нашей переписке. Относилась к этому «роману в письмах» ревниво и неодобрительно, полагая, что Александр Петрович моего внимания не заслужил, и я поступила бы лучше, если бы на его письма отвечала бы пореже, а чаще писала бы ей – моему испытанному и верному другу.

Однажды она съязвила в ответ на мою жалобу: все вокруг меня пишут и защищают докторские, а я никак не соберусь, откладываю:

«Никакой ты докторской никогда не напишешь! Всё своё время, бумагу и способности ты ухлопываешь на послания твоему ничтожному Петровичу». (Бывшая «почти жена» общепризнанного городского кумира А. П. Скафтымова – Маргарита – нередко позволяла себе отзывать о других саратовских джентльменах далеко не уважительно.)

Более чем вероятно, что в тот период, когда мы с Александром Петровичем, злясь друг на друга, расстались на добрый десяток лет, в его жизни были и другие женщины. Я этого не знала и не желала знать. Знала одну лишь Лидию Павловну. Он, она и я. Традиционный треугольник. Банальная геометрическая фигура, затрёпанная и в жизни, и в литературе. Однако наш треугольник мне банальным не казался, а, наоборот, с психологической точки зрения представлялся мне загадочным, необъяснимым. Только сейчас, на старости лет, я пытаюсь в нём разобраться.

Давно замечено, что даже те мужчины, которые не верны своим избранницам, остаются верными определённому женскому типу. Кому-то нравятся южанки, кому-то северянки, кому-то резвые Ольги, кому-то – мечтательные Татьяны. Один «величавых обожает», другой «миниатюрным цену знает», как поёт Сганарель в моцартовском «Доне Жуане».

Какая же нечистая втиснула меня и Лидию Павловну, таких и внешне и внутренне различных, даже контрастных, в одну и ту же корзинку? Казалось бы тот, кому когда-то приглянулась она, должен был бы равнодушно пройти мимо меня, и наоборот.

Думается, дело в том, что мы для Александра Петровича одна другую не заменяли (это было бы невозможно), а дополняли. Во мне он нашёл то, чего не хватало ей, а в ней ценил то, чего не было у меня. Таким образом, мы обе оказались нужны ему, даже необходимы. Мы составляли для него как бы двуцветную мозаику, фрагменты которой не смешивались, существовали отдельно, «зная своё место».

Комизм заключался лишь в том, что Александр Петрович первоначально любил свою жену, как беспомощное создание, которое он заботливо оберегал, но со временем, когда он физически слабел и начал прихварывать, их роли постепенно переменялись. В последние годы их брака не он опекал её, а она его. Заботилась о нём, лечила его. Только он этого как бы не замечал, неизменно считая именно себя главой и опорой.

Постепенно менялось и моё отношение к ним обоим. Из моей привязанности к моему герою естественным образом ушло сексуальное влечение, когда-то очень сильное, но остались нежность к нему и постоянная тревога за него. Одновременно с этим и Лидия Павловна в моём сознании превратилась из соперницы в подругу-не подругу, но в своего рода союзницу, когда она просила у меня достать что-нибудь для лечения или питания Александра Павловича.

Шли годы, и я совсем уже свыклась с мыслью, что моя личная встреча с ним никогда не состоится: мне ехать в Саратов было незачем, а для него Москва была запретна. В первые послевоенные годы далеко ещё не старые супруги Медведевы выезжали на отдых куда угодно: на юг, на Рижское взморье, в Ленинград, – только не туда, где жила я. Да и потом, когда наши тройственные отношения наладились, не смел Александр Петрович тревожить и огорчать женщину, которую заботливо оберегал.

Однако судьба распорядилась так, что в последние два месяца своей жизни он был неразлучен со мной и умер на моих руках.

Лидия Павловна опередила его – скончалась раньше. Неудачное падение на лестнице, перелом шейки бедра, неудачная операция и – конец. Об этом Александр Петрович сообщал мне

в коротких, торопливых письмах, в которых естественно уже обходился без моего отчества и обращения на «вы», подписываясь по старой памяти «твой Шура»: ведь с того момента, как Лидия Павловна попала в больницу, его писем, адресованных мне, никто уже не читал.

Естественно, я поспешила к нему, когда Лидии Павловны не стало. Вполне одиноким Александр Петрович не был: остались бывшие коллеги, бывшие ученики, добрые соседи. Но у каждого – своя семья, свои заботы. А когда человеку почти восемьдесят восемь, и здоровье никуда не годится, необходимо, чтоб кто-то близкий всё время, и дни, и ночи находился рядом.

Остаться в Саратове я не собиралась. В Москве жили мои дочери, мои четыре внука... Куда я от них денусь? Необходимо было перевозить Александра Петровича в Москву, что он радостно приветствовал: побыть в кругу нашей общей родной молодёжи, нашей общей весенней поросли было его давней, страстной мечтой, которая раньше представлялась ему неосуществимой.

Я никогда не посылала Александру Петровичу собственных фото, стыдясь моей сильно изменившейся за минувшие годы внешности, – особенно излишней полноты, которая меня уродовала больше всего остального. Но когда я ехала в поезде Москва–Саратов, мне совсем не думалось о том, как я выгляжу. Не до того было.

На вокзале меня встретила Надежда Генриховна Леер, решившая избавить старого больного человека от утомительного трамвайного пути. Он ждал меня на пороге квартиры и, прежде чем я успела на него посмотреть, крепко обнял меня и расцеловал, – разумеется, не так пылко, как когда-то, вернувшись с фронта, а как целуют очень родного человека после долгой разлуки. Этого я и ждала, но полной неожиданностью стал для меня возглас Александра Петровича:

– Седенькая стала. Но ни капли не изменилась! Такая же красавица!

Красавицей я сроду не была. Особенно тогда, в семьдесят пять. И всё же возглас был искренним, так как, на моё счастье и на свою беду, Александр Петрович тогда почти ослеп. Ката-

ракта в обоих глазах, отслоение сетчатки – результат и возраста, и фронтальной контузии... Читать и писать (сильно изменившимся, неровным почерком) он мог лишь с помощью большой лупы, а на окружающих смотрел сквозь очки с толстыми стёклами и различал их смутно, точно через матовое стекло или густой туман.

Моё зрение находилось ещё в сравнительном порядке, и я заметила, что мои саратовские корреспонденты были не вполне верны истине, твердя мне о поразительной молоджавости Александра Петровича: «всё такой же, ни одной морщинки». Были морщинки, и не одна. И прекрасные глаза, когда-то очаровавшие меня, утратили свою чарующую голубизну и улыбочивость, стали мутно-серыми. Прятались под очками. Однако он так же хотел мне понравиться, как и я ему: как я ещё в вагоне поезда навела подобие макияжа при помощи губной помады, так он встретил меня в живописном тёмно-синем берете, скрывавшем отсутствие волос.

Наши сборы продолжались недолго. Было решено захватить в Москву только самое насущно необходимое – его бельё, одежду, обувь, а всё остальное оставить в запертой квартире. Предполагалось, что за всеми прочими вещами Александра Петровича чуть позже приедет наша молодёжь, воспользовавшись своими отпусками, – что-то упакует и привезёт с собой в багажном вагоне, что-то распродаст или раздарит желающим. Несколько дней (приблизительно, одна неделя) было необходимо нам, лишь для того, чтоб привести в порядок кое-какие дела Александра Петровича – жилищные, партийные, больничные, всюду сняться с учёта и вооружиться всеми теми бумажками, без которых, как гласит советская поговорка, «человек – букашка».

Каким хлопотливыми, но вместе с тем, какими счастливыми были для меня эти несколько дней! Тот же голос, те же интонации, те же характерные движения, правда, более замедленные, точно знакомая кинокартина с привычным киногероем шла в замедленном темпе.

Я, естественно, старалась кормить Александра Петровича всем тем, что умела готовить, и что не было ему противо-

показано, – благо и рынок, и продовольственные магазины были рядом. Но даже туда (на десять – пятнадцать минут) Александр Петрович отпускал меня неохотно, – желая, чтоб я неотлучно находилась рядом. Решительно воспротивился моему желанию пройтись по памятным мне местам: «Нет, не уходи от меня никуда!» Только к Лиде Баранниковой мне однажды удалось вырваться, но... не успела она меня усадить за чайный стол, как тут же из телефонной трубки послышался требовательный голос: «Немедленно возвращайся. Сейчас же. Не могу без тебя».

Сначала мне казалось, что Александру Петровичу будет тяжело расстаться с родным городом, где прошла почти вся его жизнь. Но ошибалась. Он рвался в Москву с нетерпением чеховских трёх сестёр и находился во власти самых радужных планов. Забывая о своём возрасте и недугах, вслух мечтал о том, как мы вместе побываем в Большом и Художественном театрах, в Третьяковской галерее, а летом следующего года съездим вдвоём на теплоходе от московских Химок до Саратова, любуясь Волгой. Я не противоречила, даже поддакивала, но ясно сознавала, что всё это – химера. Какие театры! Какая Третьяковка! Какой волжский теплоход! Спасибо, если до «Девички» будем доползать, опираясь на наши тросточки и один на другого. Да ещё неизвестно, как сложатся взаимоотношения Александра Петровича с зятями, из которых ни один ангельским характером не обладал и его приезда не жаждал. А как встретят его внуки? Только в слащавых мексиканских сериалах потерявшие младенцев родители и их тридцатилетние дети, выросшие без них, – как ни в чём не бывало восторженно кидаются друг другу в объятия.

Кроме приподнятого настроения Александра Петровича, меня удивляло то, что он совсем не вспоминал Лидию Павловну, даже имени её не называл. А ведь они полвека прожили вместе, и её кончина была ещё совсем недавней. Как же так? Я недоумевала, мысленно упрекая его в чёрствости, а потом подумала, что он просто-напросто боялся душевно ранить меня, говоря о ней, так же, как раньше боялся ранить её, обращаясь ко мне на «ты» и без отчества? Щадил сначала её, потом меня.

И напрасно! Никаких неприязненных чувств к Лидии Павловне я давно уже не питала. Не оплакивала её, когда её не стало, но искренне огорчилась, правда, не прямо. А косвенно: не её мне было жаль, а Александра Петровича, которого её смерть лишила привычной заботы.

День нашего отъезда был уже назначен, билеты куплены, но внезапно произошло неизбежное для человека «в возрасте», пережившего сильные волнения, сначала горестные, потом радостные: инсульт, паралич, и через два месяца постельной неподвижности и полузабытья – смерть.

Пришлось теперь и мне стать круглосуточной няней-сиделкой. К счастью, добрые люди мне помогали: приносили продукты и медикаменты, стирали постельное бельё. Всё время приходили и врачи, и медсёстры, но отвлечь неизбежное никто не смог.

Слава богу, что мы ещё не успели выехать из Саратова! Страшно подумать, что было бы с нами обоими, если бы парализованного Александра Петровича вынесли из вагона на первой попавшейся станции, и около нас не было бы ни одного знакомого человека.

В свои последние дни, уже в полубреду, подзывая меня, умирающий часто вместо «Марины», окликал «Лиду». Это было естественно. Более естественно чем то, что он, пока его не свалил инсульт, этого имени не произносил. Мне не было обидно. И не обидно было опустить его гроб в её ещё свежую могилу и заказать для них общий скромный памятник с двумя именами под их общей фамилией.

Так завершилась моя Любовь, – сознательно пишу это слово с заглавной буквы. Как святыню.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Я уже не скорблю об Александре Петровиче, как и о других моих самых дорогих и близких, которых я потеряла. Но забыть его я не могу. Слишком много он для меня значил. Лишь он один называл меня «красавицей», наперекор очевидности. С Лидией Павловной его связывает общая могила. Со мной – общая кровь, общее будущее... Пока живут мои дети, внуки, правнуки – мы неразделимы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письмо Маргариты Доцауэр-Уманской М. Яхонтовой

Ессентуки 22 июля 1956 г.

Мой дорогой, единственный друг!

Живу я как-то странно, как на бивуаке – нет чувства осёдлости, устойчивости...

Куда-то надо всё время торопиться, спешить, опаздывать, волноваться...

Вот и тебе собралась написать.

Поручение твоё – вручить карточки бывшему романтическому герою – мною выполнено и повлекло за собой такой неожиданный эффект, что я пережила за тебя радостные минуты торжества... Вот об этом, прежде всего, я и хочу написать тебе.

Встретилась с «медведями» у Оксмана и сказала им, что на днях зайду, т.к. у меня к ним есть небольшое поручение. А потом обстоятельства сложились так, что сразу не выбралась. Звонит Лида – какие поручения? Я не скрыла, какие. Проходит ещё несколько дней. Новый звонок, на этот раз – Петрович. Каким-то очень напряжённым голосом он спросил, может ли он зайти за карточками, так как ему не терпится увидеть девочек. Я сказала, что жду его. Тогда подошла к телефону Лида, – мы обменялись самыми общими банальными фразами, и она выразила надежду, что мы скоро увидимся.

Каково же было моё изумление, когда раздался звонок, и передо мной предстали оба супруга, явно чем-то взволнованные и недовольные друг другом. Всё последующее дало мне понять, что Петрович старался придти один, но Лида, узнав, что он идёт ко мне, его одного не отпустила. Петрович был явно раздражён присутствием Лиды, но не счёл нужным скрывать свои истинные чувства...

Милая Марина! Если бы ты присутствовала при этой сцене, ты была бы за многое вознаграждена: т.к. увидела бы своего романтического героя повергнутым во прах, трепещущим,

голос его дрожал и прерывался, он говорил о тебе и девочках с глубоким внутренним волнением, которое даже не пытался скрыть. Первый раз видела я его таким. Когда он стал спрашивать о тебе такие детали, о которых я ничего не могла сказать, я заметила: «Александр Петрович, если вас так волнует судьба Марины, почему бы вам ей не написать?»

Он, бедный, весь затрепетал и прерывающимся голосом спросил: «А вы думаете, я могу ей написать? Она примет моё письмо?!»

Я пожала плечами: «Не знаю, но думаю, что примет...» По его просьбе я дала твой адрес... Получила ли ты его письмо?

«Героя» очень волнует вопрос, как у тебя с личной жизнью, не собираешься ли ты замуж. Я, избегая ответа на такой щекотливый вопрос, сослалась на свою неосведомлённость, – думаю, что поступила правильно. Да, не хотела бы я в этот момент быть на месте Лиды...

Словом, с Петровичем творится что-то неладное, – я уверовала в то, что он глубоко и искренне страдает и хотел бы вернуть прошлое. О тебе он отзывался просто восторженно: «умница», «талантливая», «необыкновенная» – всё в таком роде...

.....
Целую тебя, твоя Маргарита

ЭПИЛОГ

Всё. Пора кончать, что я и делаю. Не хочу вспоминать, как один за другим слабели и умирали мои родители, и неумолимое время сметало в небытие всё их поколение, когда-то плотно окружавшее и обучавшее меня. Последними из них были пережившие своё девяностолетие Елена Васильевна Воронцова и Александр Васильевич Ёлкин. Когда-то он помогал мне – ученице Седьмой трудовой школы – заменять тройками и даже четвёрками постоянно угрожавшие мне двойки по математике, а под конец его жизни я приходила к нему, чтоб почитать вслух журналы или газеты: в то время Александр Васильевич почти ослеп, как до этого мой покойный отец, и навыками квалифицированной чтицы я в достаточной мере обладала.

Грустно вспоминать о том, как вслед за старшим поколением, шаг за шагом начало уходить «в мир иной» и моё собственное – сверстники и даже те, кто был помоложе меня.

Из большой весёлой компании моих саратовских друзей уныло дотягивает свой век одна лишь Лида Баранникова – самая младшая из нас, пережившая на свою беду не только мужа, но и приёмного сына.

Ни души не осталось и от другой – тоже большой и тоже весёлой дружеской компании, которую в течение многих лет собирали на семейные праздники и за новогодним столом су-

пруги Лихтман. Нет Володи, нет Бориса, нет тех, кто с юных лет собирался у меня. Все-все ушли – и по одиночке, и супружескими парами. Чета Воейковых... чета Корбут-Смирновых... чета Охлябининых... Галя Мясникова вслед за значительно опередившим её Ивой Сахаровым, который был не только мужем близкой подруги, но и моим одноклассником.

Из всех моих коллег по отделу зарубежной литературы ИМЛИ продолжает там трудиться одна лишь Тамара Балашова, которую в ту пору по отчеству никто из нас не называл, – такой она была в то время молоденькой.

А остальные? Одних нет в живых, другие разбежались кто куда, так как, по словам Тамары, чахнет и сам институт. Научных сотрудников не балуют приличной и своевременной зарплатой, из-за чего трудовой энтузиазм горстки оставшихся заметно поубавился. Филологический отдел издательства «Наука» (сведениями о других отделах не располагаю) перестал поставлять на книжные прилавки свою продукцию за исключением тощих популярных брошюрок, которые серьёзные люди не покупают, а несерьёзные – тем более.

Умершие друзья... Не доведённые до конца издания...

Безрадостная картина! Видишь себя то забытым старым деревом, одиноко и бессмысленно торчащим среди сплошной вырубки, то, – ещё хуже, – валяющейся на пустыре сухой хворостинной. Для чего она? На что она может пригодиться? Кому она интересна?

Однако жизнь продолжается! Всякая вырубка со временем густо затягивается свежей молодой порослью. На её месте поднимаются хрупкие, но с каждым годом крепнущие деревца... Зеленеет трава... Шелестят свежие листья... Распускаются цветы...

Дети, внуки, даже трое правнуков... Какое богатство! Не об этом ли всю жизнь мечтали и я, и мой оставшийся бобылём далёкий саратовский друг – Александр Петрович?

А сухая хворостинка, чудом уцелевший обломок уже не существующего леса?

Сама по себе она ничто! Но, как составная часть икебаны

в японском вкусе, она может внести и свою ноту в общую гармонию, контрастно оттеняя и дополняя окружающее её многоцветье. Только бы она не вылезала на передний план, знала бы своё место.

Пора знать своё место и мне! Умолкаю. Но очень надеюсь, что кто-нибудь из моих близких или дальних потомков подхватит на лету выскользающее из моих рук пёрышко и перекинет его из нашего «нелёгкого времени» в загадочное завтра, уже наплывшего на нас нового тысячелетия.

М. Яхонтова.

10 февраля 2001, Москва

Литературно-художественное издание

Яхонтова Марина Александровна

МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

мемуары в двух томах

том второй

Редактор – Владимир Жидков

Корректора, макет, вёрстка, обложка –

Сергей Ворончихин

студия «Бюро-СВ» <http://or-ko.ru/burosv/>

Подписано в печать 06.07.2020 г.

Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 8,87.

Заказ 484. Тираж 50 экз. Свободная цена.

Отпечатано в ООО «Издательство «Аверс».

610020, г. Киров, ул. Труда, 70.

Тел.: 8 (833-2) 47-42-77, +7 (905) 870-88-77.

E-mail: avers@kirovnet.net

